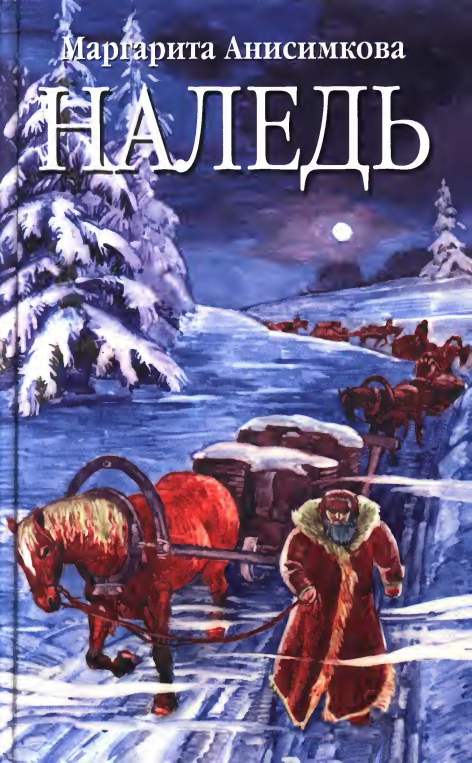
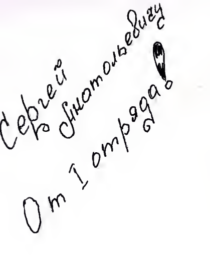


Маргарита Анисимкова
НАЛЕДЬ


Сергею Анатольевичу
от I отряда!

Маргарита Анисимкова

Наледь

Исторический роман

ЕКАТЕРИНБУРГ
Средне-Уральское книжное издательство.
Новое время
2000

ББК 84Р7
А 67

За финансовую поддержку издания
автор выражает глубокую благодарность
администрации Ханты-Мансийского автономного округа,
лично губернатору
Александру Васильевичу Филипенко,
а также главе администрации г. Нижневартовска
Юрию Ивановичу Тимашкову.

Рецензент
*М.Е. Бударин, доктор исторических наук,
профессор Омского государственного университета,
член-корреспондент Академии наук Высшей школы.*

ISBN 5–93714–001–X

Посвящается
70-летию
Ханты-Мансийского
автономного округа

Глава первая

Пегая лошаденка, с трудом нанятая за последний табак в Мануйловской ямской, то и дело останавливалась, натужно всхрапывала, отчего судорожно подрагивали ее впалые бока.

— Ну-ну, пошевеливайся! — подгонял Ефим лошадь, но та от каждого окрика только приостанавливалась.

Отяжелевшие от куржака брови и ресницы слепили глаза, и он закрыл их, пытаясь уловить в воздухе хрустальную звень промерзших снежинок, вылетающую из-под копыт лошади, саней-розвальней и собственных шагов. Густая борода Ефима свалялась за трехнедельную дорогу и походила скорее на растрепанную банную мочалку. Полы ветхой шинели, промерзшие на морозе, издавали монотонный шорох при каждом шаге. «Упасть бы в розвальни, укутаться в тулуп и подремать», — настойчиво точила мозг одна-единственная мысль, будто кто-то невидимый подталкивал его сзади. Он в страхе откидывал голову, шел почти на ощупь по санному следу, нарочно отставал от саней, чтобы не искушать себя: в розвальнях и уснуть можно. Очень даже можно. Пегая тут же остановится, и привезут домой бездыханного, а разве для того, считай, полных три года в окопах мерз, вшей кормил, возле смерти ходил. Упади тут враз — и прихватит морозец, ласково так пригреет, потихоньку подкрадется.

За этими мыслями он не увидел, как лошаденка остановилась. Запнувшись за полоз, Ефим грохнулся на сенную подстилку, и его зычный голос, прорвавшийся через хрипоту, потряс воздух, разгоняя сонную одурь.

Лошаденка побежала рысью, отряхивая иней с длинной обвисшей гривы.

— Ну-ну, торопись, пегая! Ну, пошевеливайся! — кричал Ефим, размахивая концами вожжей. — В кого ты такая тихоходная? Или укатали ямские дороги? — В голосе появилась та живая струна, которая держит в постоянной власти ямских лошадей, привыкших к длинным, заснеженным перегонам.

Луна давно поднялась над высоким берегом, ползла над черной стеной леса, освещала еле приметную дорогу по широкому руслу могучей Оби.

Вдруг впереди послышался словно звон битого стекла, и лошадь, вздрогнув, встала. По-молодецки соскочив с розвальней и проваливаясь в снег, Ефим обежал лошадь, схватил за уздцы, но сам споткнулся о кучу надолбленного льда.

— Ну, пегая, слава Богу! — облегченно вздохнул Ефим, слабой рукой похлопывая лошаденку по шее. — Митрохинская протока. Теперь, считай, мы с тобой дома. Теперь хоть ползком, а до печки доползу. Вона и речушка Шургайка, вона Яр. Как это я раньше не разглядел?

Лошади передалась его радость. Она, несколько раз качнув головой, проскрежетала зубами, как будто перекатывала во рту мелкие речные гальки, и посмотрела на Ефима большими глазами, в которых катилась луна.

«Ишь, гадина, опять всю речку перегородил. Опять всю рыбу вычерпал», — недобро подумал Ефим о купце Мялищеве, владеющем всеми ближними протоками рек. Его взгляд остановился на грудах свежевыдолбленного льда, припорошенного легким снежком. Представилось, как тяжелыми чугунными пешнями и топорами мужики кололи лед, тянули из темных полыней мокрые снасти, трясли их по льду, выбирая рыбу, а вечером вели подводы с большими плетеными коробами в купеческие амбары. Ефим знал, что этот купец — главный заправила в селе. Он один поставлял в таежные села товары. «Теперь все, теперь свою власть установим. Жизни решусь, а поперек дороги мялищевской лягу», — Ефим с яростью распинывал ледяные кучи.

Он вновь тронул вожжи, и лошадь рысью побежала по дороге. «Теперь налимья пора. Брюхатый налим холоду не боится. Посреди зимы умудряется икру метать. А какая уха из налимьей печени!» Засосало под ложечкой. Проглотив слюну, Ефим машинально потянулся к холщовой котомке, но вспомнил, что еще утром догрыз последний кусок мороженого хлеба.

За поворотом показалось село, прижатое рекой к горе и спрятавшееся под ее боком от ветров и метелей. Придавленные снегом избы казались черными гнездами, выдолбленными в снежных заносах. Ефиму представилась большая русская печь с приступками, источающая ровное тепло, способное разморить, убаюкать, дать утомленному телу покой. Он поежился, ощутил спиной холодную, давно не стиранную исподнюю рубаху, — по телу пробежали мурашки.

Лошаденка, похрапывая и напрягая силы, поднималась на берег. Знакомые изгороди, заборы, палисадники, ворота, дома односельчан. Его охватило чувство радости и тревоги. Он не думал об этой минуте, не готовил себя к встрече. Все казалось простым и обыденным: подъехать к дому, постучать в ворота, но это только думалось, только казалось... Все ли живы, здоровы? Из пяти полученных писем, которые бережно им хранились завернутыми в тряпицу вместе с боевым крестом, он знал, что отец, простудившись на охоте, надрывно кашлял, отчего носом и горлом часто шла кровь. Писали, что прошедшей весной пала одна лошадь, что детишки растут, как грибки после дождя, особливо дочка Маняша, родившаяся без него. Эти строки пришли на память именно сейчас, когда лошадь, почуяв скорый отдых, бежала рысцой вдоль широкой улицы.

— Тпр-у-у-у-у-у! — протянул Ефим, натягивая вожжи, он остановился, не доезжая двух домов до своих ворот. На миг показалось, что он вовсе никуда не уезжал, не видел чужих земель, чужих городов, что только вчера он ходил по этим горбатым сельским улицам. От волнения перехватило горло. Ефим взял лошадь под уздцы и, прихрамывая на правую пораненную ногу, будто крадучись, подошел к своим воротам. Порывисто снял с головы шапку, обтер лицо пропахшей табаком и потом подкладкой, перекрестился, постоял с минуту и постучал. Встревоженный стуком пес негромко взлаял и смолк.

— Буянко, Буянко, — тихо позвал Ефим. — Или не узнал? Буянко!

Пес бросился к воротам, жалобно заскулил, потом громко залаял. Ему отозвались другие собаки в селе, но в это время распахнулась дверь в избе.

— Даша, оболокайся! Кто-то за воротами свой. Вишь, как Буянко захлебывается, — Ефим узнал голос матери. Кто-то торопливо спустился с крыльца, потянул палку, припирающую на ночь ворота. По частому дыханию, по невнятному бормотанию он понял, что это Даша.

— Господи, ну что же это такое? — вырвался громкий, с плачем, возглас. И тут тяжелая березовая палка, наконец-то поддавшись силе, вылетела из скобы и грохнулась на землю.

— Так и чуяла! — распахнув ворота, выкрикнула Даша и, не взглянув на Ефима, упала ему на грудь, уткнув лицо в шершавый заиндевелый ворот шинели. А он стоял безмолвный, с трудом удерживаясь на ногах, и только руки, успевшие в первый миг обнять Дашины плечи, крепче прижимали ее к себе. Сколько раз он рисовал себе эту встречу! Там, на войне, и в долгой дороге к дому он таил в себе самые сокровенные, самые нежные слова, какие только жили в его душе, потому что не знал большего счастья, чем его Дашутка, когда-то сбежавшая к нему из дома богатого отца. Сколько проклятий было послано на ее голову! Сколько бед пережила она за эти годы и сколько еще придется пережить!

— Что это мы? Пошли, Ефимушка, домой. Пошли, — не отрываясь от шинели, Даша взяла его за руку.

На столе горела свеча, которую зажигали только по большим праздникам. Светлая, тяжелая капля растопленного воска медленно сползала по медному подсвечнику. Свеча освещала передний угол и зеркало, закрытое большой темной тряпицей. Ефим снял шапку, перекрестился, чувствуя, как к горлу опять подкатывает ком.

— Так и не дожил отец до встречи. Все дни торопил, — сказала мать. Она не заголосила, не запричитала. Она к этому времени уже успела выплакать все горькие слезы. Глаза, сухие и ясные, смотрели на сына не с мольбой и жалостью, а пристально, вопросительно, словно о чем-то спрашивали его. Мать, показалось Ефиму, не постарела за эти годы, только похудела. Черный платок, повязанный вокруг головы, подчеркивал ее бледность.

— Христовый ты мой Ефимушко, — согнувшись в низком поклоне, проговорила она. — Видно, дошли до Бога мои молитвы. На все есть Господня воля.

В эту минуту она собрала все силы своей души, чтобы не заголосить, не разрыдаться на груди сына.

Ефим немигающе смотрел на нее, и она, истосковавшаяся по этому взгляду, не вытерпела: вдруг возле левого глаза дернулась синяя жилка, скривилась щека, собрались морщинки возле сухих бесцветных губ, и она запричитала:

— Солнышко ты мое ненаглядное! Радость ты моя единственная!

Но испугавшись своего вопля, Ефросинья Алексеевна зажала рот сухой тонкой ладонью и перевела взгляд на печь, откуда во все глаза смотрели вихрастые ребятишки.

— Николушка, Сергуша, — подошла она к печке, — чего же это вы? Тятька ваш пришел. Али не признали? Али испугались?

Ефим шагнул к печке, протянул руки ребятам, помогая им слезть. Но Николушка сам проворно спрыгнул и оказался ростом отцу по самую грудь. В это время тоненький плач донесся из-за приступка. Ефим вздрогнул, но никто не заметил его удивленного взгляда.

— Иди сюда, ласточка-касаточка. И тебя разбудили. Иди погляди на своего тятьку, — звала Ефросинья Алексеевна.

Черноглазенькая девочка с двумя крохотными косичками морщилась, готовая вновь расплакаться, и только ласковый, воркующий голос Ефросиньи Алексеевны удерживал ее.

— Вота, Маняша, тятька твой. Вота он какой. И глазки у тебя, как у него, черненькие. Ну пойди, пойди к нему. Он еще не держал тебя на руках. — И она передала Ефиму девочку. Та опасливо посмотрела на незнакомца, заплакала и стала вырываться из его рук.

— Попривыкнет. Сразу-то и козу не приучить, — сказала Ефросинья Алексеевна.

Маняша родилась без Ефима. Ему писали об этом, он знал о рождении дочки. И пытался убедить себя, что нет у него на этот счет никакой черной мысли, но это было легко, когда он был на большом расстоянии от дома, когда все, что касалось не только его семьи, а даже села и всего сибирского края, было свято.

В это время с улицы пришла Даша. Распрягая лошадь, укрывая ей спину рогожей и развешивая упряжь, она не переставала думать, как Ефиму полюбится Маняша, как повернется к ней его сердце.

— Вот и все, — весело сказала она, стряхивая возле порога снежинки и сенную труху с шерстяной шали. Высокая, ладная и румяная, она показалась Ефиму до того красивой, что он отвел от нее взгляд, притянул к себе Сергушу, шмыгающего курносым носом. Достал из внутреннего кармана пиджака деревянный гребень, причесал Сергушке волосы на левый пробор.

— Стричь тебя пора, вон какие длиннющие космы расхохлились. — Потом поправил ворот помятой рубашки и

широкую лямку через плечо, поддерживающую сермяжные штанишки с заплатами на коленях. Взял в ладони улыбчивое лицо сына и припал к нему обветренными губами, готовый захлебнуться в слезах, которые были совсем рядом.

— Ну как вы тут живете? — шепотом спрашивал Ефим сына.

Ефросинья Алексеевна, улавливающая не только слова, а каждый вздох Ефима, ответила:

— Про нашу жизнь че спрашиваешь? Хуже некуда. Дедушка помер — совсем осиротели. В последний-то вечер ему вроде полегчало. Открыл глаза, поглядел на печку, позвал ребятишек к себе и благословил. Я глазам не поверила. Считай, с самой осени руки не подымались, из ложки кормила, а в этот час поднялись. Еще хотел Маняшку по головке погладить, а рука-то как плеть упала. Охнул и утих. — У Ефросиньи Алексеевны задрожали плечи. — Народ в одночасье сбежался. А кто горю поможет? Руки не подставишь. — Говоря это, она суетливо металась от печки к столу, потом остановилась и, не глядя на Ефима, в горечи сморщив губы, шепнула: — Про какую-то советскую власть сказывают, будто верховодит всем Степан Голощапов. Да купцы и есть купцы. При ранешней власти торговали, а теперь людей заморить норовят. Полные амбары хлеба и не торгуют. Пусть, говорят, вас ваша голодранская власть обеспечивает, а что у нас есть — то не про вашу честь.

— Это мы еще поглядим, про чью честь, — ответил Ефим.

— Плетью обуха не перешибешь, — вздохнула Ефросинья Алексеевна.

Она и не предполагала, что сын с самого начала февральской революции и до демобилизации из армии, до осени 1917 года, был членом солдатского комитета своей части и ехал домой с твердым решением бороться за эту новую советскую власть.

Даша, стоя возле стола, хмурилась от каждого слова Ефросиньи Алексеевны.

Почувствовав на себе их взгляды, Ефросинья Алексеевна замолчала. В избе стало напряженно тихо, и только разгоравшиеся в самоваре угли чуть слышно потрескивали, раскаляя стенки жестяной трубы. Скоро самовар вскипел, брызги окатили пузатые стенки и темный расписной поднос.

Стояла глубокая ночь. Яркая луна глядела в окно. На оконном стекле крепкий мороз написал хитрые узоры.

Большая деревянная кровать стояла на старом месте, возле стены, под образом Девы Марии, те же перьевые подушки, то же стеганое одеяло.

Сколько ночей мечтал Ефим об этом крохотном уголке, сколько раз он снился ему! Но сейчас, когда он стал раздеваться, его охватило чувство смущения и страха. Это чувство не прошло и тогда, когда, очутившись под одеялом, он коснулся горячего тела Даши. Она лежала тихо, будто притаившись, ее дыхание было редким, совсем неслышным, но Ефим ощущал его на своей щеке. Он сердился на себя за то, что не смог сразу, по-жадному, безрассудно, просто по праву мужа и хозяина схватить ее в объятия, не размышляя и не раздумывая ни о чем. Так было бы лучше, а теперь нависшее молчание отгородило их друг от друга.

— Ох, какая большая Маняша выросла, — неожиданно для себя вымолвил Ефим, положив голову на запрокинутые руки.

Даша, ойкнув, села на постели, уставилась на образ Девы Марии, несколько раз перекрестилась и, не проронив ни слова, отвернулась лицом к стене.

— Даша, — позвал он. Она не отозвалась. — Ты прости меня, Даша, — заговорил Ефим, положив руку на ее плечо. — Устал я, Даша. Измаялся, вот утром истопим баню, приспокоится душа, и все будет как следует. Не такие мои годы, чтобы не дрожать подле здоровой бабы. Устал я, Даша. Устал.

— Не трожь меня. Отодвинься на край, — не оборачиваясь, сказала она и сбросила его руку со своего плеча.

Ефим вспыхнул, хрипло прокашлялся и встал с постели. Сев к столу, он уронил голову в холодные шершавые ладони.

Голосисто, по-утреннему задорно прокукарекал петух. В ответ ему стала весело роститься какая-то хохлатка, клевать крепким клювом в пустое деревянное корытце. Будто ожидая петушиного крика, с постели поднялась Даша.

Она долго застегивала лиф на ряд пуговиц, нашитых сбоку, собирала волосы, скручивала их в большой узел на затылке, натягивала шерстяные чулки высоко за колено, и, хотя делала это ловко, по каждодневной привычке, Ефиму показалось, что делает она это специально для него.

— Ты чего в такую рань? — спросил он шепотом.

— Баньку топить, — не скрывая раздражения, ответила Даша.

Неловко и тяжело было на душе Ефима. Ему подумалось, что односельчане, узнав о его приезде, очень скоро один за другим станут приходить в избу, радоваться его возвращению и что ему надо быть повеселее. Но он сидел разбитый, расстроенный, не хотелось вставать с табуретки.

— Ну что ты, Даша? — с дрожью в голосе спросил он, пересаживаясь на лавку возле печи. Она обернулась. На осунувшемся лице резко выделялись глаза в темных больших глазницах. Ночью, в час его приезда, перед ним была будто другая Даша.

— Не-е-е-т, так не будет. Тиранства над собой не потерплю. Побои снесу, обиду снесу, а тиранство нет. Век слишком долгим покажется, — проговорила она, чуть шевеля губами.

— Ты это о чем, Даша? Какое же это тиранство? Устал я. Измучился, — виновато оправдываясь, Ефим поглядывал на печь, где зашевелилась Ефросинья Алексеевна. Но Даша, не дослушав его, хлопнула дверью и выскочила на улицу. Вернулась скоро. В руках ее был широкий плотницкий топор.

— Руби, если Маняша не твой ребенок. Не трусь. На войне не такие страхи видывал! — крикнула Даша, сдергивая с головы платок. — На что мне такая жизнь? Все равно в ней все черно! — Даша распахнула дверь, рухнула наземь и положила голову на порог.

Ефим обомлел. Он был в такой растерянности, что ничего не мог сообразить. Морозный воздух туманными клубами перекатывался через порог, окутывал голые Дашины плечи, путался в темных волосах, а она лежала на полу неподвижно.

— Пресвятая Богородица, образумь его, — запричитала спросонья Ефросинья Алексеевна и бросилась к снохе. — Простынешь, Даша, — силилась она поднять ее. — Разве дам я кому обидеть тебя? Пока носят ноги, никому не дам!

Ефим, размахнувшись, вышвырнул во двор топор с крепким березовым топорищем.

Еле приметная тропа вела к проруби. Чтобы ее не заносили снежные бураны, была она обставлена пихтовым молодняком. «Почистить бы надо хорошенько», — вяло подумала Даша, разбивая лед обледенелой палкой с чугунным наконечником.

Как она ни крепилась, не могла удержаться от слез. Перед мужем она была чиста, а потому не хотела сносить на-

прасную обиду. Сейчас она невольно сравнила себя с рассупонившейся лошадью, у которой до этого все время были натянуты вожжи. Даша заметила, что походка у нее стала вялая, зыбкая, и шла она, часто проваливаясь в снег. Покрасневшие от слез веки, распухшие крылышки носа, натертые углом шерстяной шали, пощипывало, но радость от приезда Ефима жила в ней. Эта радость, казалось Даше, витает в воздухе, кружит над ее головой, летит впереди, касается ее щек, лба.

Низенькая, почерневшая от времени банька стояла на краю огорода, поближе к берегу. Вылив воду в чугунный котел, Даша села на лавку в предбаннике. Легкий ветерок пробежал по крыше, прошуршал в промороженных сухих листьях березовых веников, дружками связанных под потолком. Эти знакомые звуки навеяли ей воспоминания, она увидела Ефима, широкоплечего, с круто выпирающими большими лопатками, с прилипшими к мокрому телу березовыми листьями.

— Чего топор-то посреди двора валяется? — узнала Даша голос Степана Голощапова. Приподнявшись, увидела, как он поднял топор, с размаху всадил в одно из поленьев в поленнице. Из-под крыльца с запоздалым лаем выскочил Буян. — Ладно, ладно тебе! — прикрикнул на собаку Степан и махнул рукой, но пес, оскалив зубы, зарычал.

Даше бы тут в самый раз прикрикнуть на Буяна, но она, сама не зная почему, юркнула в баню.

Распахнулась избная дверь. Послышался голос Ефима и радостный возглас Голощапова. «Откуда он узнал про его приезд? Если бы Савелий прибежал, или Поликарп, или Ванюха — дело соседское, а то — Степан Голощапов. Вроде дружбы не вели, в обозы вместе не ходили, не рыбачили».

Подожженная березовая кора сначала коробилась, потом скручивалась в трубочку и наконец вспыхивала яркими языками огня. В остуженной трубе еще не было тяги, и черные, едучие клубы дыма валили в баню. Даша закашлялась и выбежала, запнувшись о порог.

Если бы не пришли смутные времена, никто и не стал бы интересоваться родословной Степана Голощапова. Жил он спокойно, ходил по деревням, клал печки, а тут перемыли ему все косточки, вспомнили, что его отец с матерью были сосланы в эти края, жили под строгим доглядом исправника, и что в избе у них часто что-то искали. Но тогда

никому до этого не было дела. Степан подрос, научился завидному ремеслу печника и жил не хуже других.

А сейчас прошел слух, что занимается он какими-то прокламациями. Толком никто не знал, что это такое. Но, видно, прокламации — дело серьезное, если приезжие из Тобольска всю ночь допытывались у Капитолины, его жены, где Степан. Капитолина твердила одно: сном-духом не знаю, сама жду со дня на день. Как ушел с весны по деревням печки чинить да новые бить, так и не бывал.

— Печки он бьет, — усмехнулся усатый мужчина с толстыми, короткими, словно обмороженными, пальцами. — Веревка его скоро сгниет, а его все найти не могут.

Вскоре после тобольских гостей объявился Степан Голощапов. Прискакал в село на лошади. С ним Антон Шмигельский — мужик из соседнего села. Лошадь под ним вороная, уздечка новая. За ними все мужики из каждого двора, как тараканы из щелей, потянулись в управу. Бабы к окнам.

— Нестора-то Прохоровича туром вышибли из управы, полдороги гологоловым шел, пока уши мороз не защипал, — говорила Таська Тиунова соседке. — Шел как пьяный, все оборачивался и говорил сам с собой. Видела, как губами шевелил.

— А мужики-то там остались? — обтирая мокрые руки фартуком, спрашивала Степанида.

— По-моему, Нестора-то Прохоровича выгнали с его законного места.

Таисия Тиунова как в воду глядела. Именно на этом сходе Степан Голощапов был избран председателем новой власти в селе Сатарово.

Ворота заходили ходуном. Буян тявкнул еще раза два и, повиливая хвостом, по тропе побежал к бане.

— Че попусту лаешь? — дотронувшись рукой до холодной шерсти Буяна, говорила Даша. — Вона Любка в клетчатой шали прибежала, а вона подолом снег метет Прохориха. Никто наш дом сегодня не обойдет. Никто, Буянко. Хозяин домой, слава Тебе Боже, воротился. Всем повидаться охота, поговорить. И мне охота. Уж как стосковалась я! — Буян, обласканный тихим Дашиным голосом, водил маленькими торчащими ушками, колотил по полу пушистым хвостом. — И мне охота знать, что говорить будут.

Даша причесала гребенкой густые волосы и вышла, оставив приоткрытой дверь бани, чтобы быстрее вышел наружу первый дым, и пошла в избу.

— Наших-то мужиков, Прошку Слинкина и Максима Тарасова, не встречал? — спрашивал Степан. И Ефим горько вздохнул: «Где там в этой мясорубке?! Сам черт не разберет: сегодня бои идут, завтра — перемирие, послезавтра команда — отступление! Каждый думает об одном — живым бы остаться!» Губы Ефима чуть заметно скривились, на пожелтевших скулах выступило багровое пятно.

— Дома-то дел у тебя сколько, — кивнул Степан в заиндевелый угол.

— Везде руки надо. Теперь только не ленись.

Ефросинья Алексеевна, натерпевшись за утро страху, бестолково толклась возле печи, перетянув голову холщовым полотенцем. Делала она все машинально, по привычке, чувствуя не проходивший в голове гул. Но к словам Степана прислушивалась, знала: неспроста пришел он в такую рань.

На печи захныкала Маняша. Ефима как ветром сдуло с лавки.

— Ну иди, иди ко мне, — разнеженно-ласково позвал он Маняшу, и та, зажмурившись, протянула ему ручонки, прильнула мокрым носом к его шее, притихла, присмирела. Ефим гладил ее по худенькой спинке, ощущая под рукой каждое ее ребрышко. Искоса взглянув на него, Ефросинья Алексеевна устремила взгляд в угол, к иконам, и зашептала молитву.

— А мы теперь на селе хозяйничаем, — вставая с лавки, чтобы достать из кармана кисет, сказал Степан и посмотрел на Ефима, который при сумрачном свете зимнего утра показался ему больным.

— Слыхал, — сдерживая кашель, чтобы не вспугнуть Маняшу, еле шевеля губами, ответил Ефим. — Еще в Тобольске слыхал.

— В начале января большой сход собираем, всей волости. Работы много.

— Ага, — ответил Ефим, легонько покачивая на плече уснувшую Маняшу.

— А сегодня надо решить, везти ли на продажу рыбу купца Мялищева.

С кухни долетел тонкий смешок:

— Вот туто и вся ваша новая власть, — высунула голову Ефросинья Алексеевна. — Без купцов-то вам ни шагу. У кого деньги — у того и власть, а у вас в кармане только вошь на аркане. Я вот вчерась слыхала, что супротив ваших советов готовят страшную силу.

Не вступая в пререкания с Ефросиньей Алексеевной, Степан стал свертывать самокрутку.

— Ой, и начистят вам хвосты-то, начистят, — доносилось из кухни. С грохотом что-то упало и разбилось. Обломок глиняной крынки влетел в горницу, кружнулся возле Ефимовых ног. — Где тонко — там и рвется, — ворчала Ефросинья Алексеевна, подбирая черепки.

— Посуда бьется — к счастью, — попытался Ефим успокоить мать, но та больше не отозвалась.

— В тайгу, к вогулам надо людей посылать. Купцы-то их крепко прибирают к рукам. Приходи.

В сенцах послышался скрип промороженных половиц. Распахнулась дверь. Даша вошла с полными ведрами воды.

— Баню топишь? — заметил Степан.

— А как же? Мужа отогревать надо, — с напускной игривостью ответила Даша. — Наше бабье дело такое.

В избе запахло печеным. От этого запаха у Ефима потемнело в глазах.

— Давай-ка, Степан, садись поближе к самовару, — уже веселей проговорила Ефросинья Алексеевна. — Я квашню ставила, загадала: удачной будет — жить хорошо станем, неудачной — рукой махнуть. И не сказала бы, да только квашня-то так и пышет, так и трогается. Может, правда и на вашей стороне, так кто в это верит? Вы ведь, поди, и сами-то не верите!

Глава вторая

К вечеру повалил снег. Большие пушистые снежинки, неслышно касаясь земли, засыпали на дороге каждый след. Снег будто специально принарядил землю к Рождеству Христову.

Бывший староста волостной управы Нестор Прохорович Шлеин шел на сход помимо своей воли. Ни за что бы он не перешагнул этот порог, где теперь за его столом сидел Степка Голощапов. Он перебирал в памяти всю жизнь Степана и никак не мог понять причину, побудившую его с такой яро-

стью крушить сложившиеся порядки, говорить богохульные слова о самом государе. Нестору Прохоровичу, прослужившему верой и правдой без малого четверть века волостным старостой, было от всего этого не по себе. Не могла его душа примириться с тем, что творилось вокруг, и терпел он только потому, что верил: не быть этим безобразиям вечно. «Придет истинная власть. Начистит тебе хвост, Степка. Ох и начистит! Ссыльные-то сгинут с глаз, расползутся по своим домам, а тебе бежать некуда. Тут, на этой земле все твои корешки», — рассуждал Нестор Прохорович.

Мимо него прошел Алексей Чудинов, буркнув на ходу: «Мое почтенье!»

— Здорово! — ответил вдогонку староста, ощутив прилив крови к лицу. Ему вдруг стало жарко, и он расстегнул ворот дубленой борчатки.

«Если бы ни снаряжать рыбный обоз купца Мялищева, да ни просил меня о том Степан, — нипочем бы не пошел в управу. Какое мне дело, о чем они там болтать будут. Сколько ни хорохорятся, а без крепких мужиков им и шагу не сделать. Собрались голь да рвань».

Он прищурился, пытаясь узнать мужиков, идущих навстречу. «Неужто Ефим Дорошин вернулся? — в походке мужчины в длиннополой шинели угадывался дорошинский размашистый шаг. — Ишь, воронье слетается. Этот, пожалуй, похлеще Степки слова знает да и востер. А ведь на него бумага приходила в волость о неблагонадежности».

Встретились они возле крыльца.

— Здравствуйте, Нестор Прохорович, — поздоровался Ефим.

— Здорово, здорово, Ефим, как тебя по батюшке-то?

— Быстро позабыли моего родителя.

Староста смутился: похороны Николая Дорошина были недавно, и навряд ли успели справить сорокоуст. Досадуя на себя, он стаскивал с головы беличий треух, отряхивая его от снега. Тяжелый, грузный, осунувшийся за последнее время, он высоко поднял ногу в сером пиме, еле перебрасывая ее через порог.

Просторная комната с широкими лавками вдоль стен была полна народу. Сизый дым самосада перемещался в воздухе, тонкой струйкой тянулся к печи с приоткрытой вьюшкой. За широким столом сидел Степан Голощапов. С краю на столе лежали его старая лисья шапка и шубенки. Нестору Прохоровичу показалось, что стол стал низеньким, а Сте-

пан, наоборот, приподнялся над ним, положив оба сжатых кулака на середину.

«С отправкой обоза можно и погодить недели две. Куда это заторопился Василий Афанасьевич? — размышлял бывший староста. — Все рядились, канителились и враз в обоз стали собираться. Будь он у власти, обмозговал бы все, докопался до сути, доказал бы Василию Афанасьевичу, в какую копеечку выпрыгнет его торопливость, а теперь... все трын-трава».

Сомнения бывшего старосты были небезосновательными. В Сатарово вчера вечером пришла секретная эстафета: из Тобольска на Север командирован карательный отряд под руководством поручика Турова с целью ликвидации на местах всех новоявленных советов.

Степан понимал, что надо под разными предлогами отправить из села всех активистов. Мялищевский рыбный обоз был самым верным прикрытием.

— Вота ваш стульчик, Нестор Прохорович, — подсуетился писарь Саввушка. Все обернулись, а он как-то сжался, приклонил голову, обтер правой полой пиджака сплетенный из прутьев весеннего ивняка стул, всегда стоявший в углу и предназначенный для приезжих гостей, низко поклонился Нестору Прохоровичу и бесшумно сел за стол.

Никто никогда не видел этот стол без Саввушки. Когда писарь уходил и приходил в волостную управу, никто не знал, а если случалось увидеть его на улице, то обязательно в каждой избе скажут об этом, словно прибыл в село новый человек. Встретить Саввушку можно было только в церкви или по дороге в лавку. Сельская ребятня, наслышавшаяся о затворнической жизни волостного писаря, не давала ему прохода: «Саввушка? Глянь-ка, Саввушка!» Оставив свои забавы, они обгоняли его, забегали вперед, стараясь разглядеть острую козлиную бородку, большие, выпуклые, как у ночной совы, глаза.

Люди постарше помнили, что Саввушка получил образование и был определен в управу с помощью купца Василия Афанасьевича Мялищева. Так он здесь и сидит, старательно перебирая на столе разные прошения, договоры, решения сельских сходов и другие бумаги.

Нестор Прохорович подставил стул ближе к купцам Василию Афанасьевичу и Ивану Валериановичу Земцову — главному поставщику лодок и каюков по всему Обскому побережью. Рядом с ними сели два приказчика казенных магазинов и вышибала из трактира Зосима Кукушкин.

От волнения, а может, собираясь с мыслями, Степан покусывал обветренные губы. «Сидеть-то за столом сижу, а с чего начать — не знаю, — думал он. — Как бы про карателей они не узнали. У этих хозяев ушки на макушке. Только учуют — и все полетит кувырком». Он мимоходом бросил взгляд на купца Мялищева, который, сопрев, стал стаскивать полушубок.

— Всю ночь не спал. По пояснице будто кто палкой огрел, — тихо пожаловался он Нестору Прохоровичу. Тот молча тянул за рукав полушубок, помогая купцу. — Ох-хо-хо, — выдохнул Василий Афанасьевич, — кого слушать собрались? А надо.

В ответ Нестор Прохорович прикрыл глаза.

Накануне вечером в управу по одному приходили мужики-обозчики. Рассаживались вдоль стен на широких лавках, курили самосад и молчали, каждый боялся первым начать разговор о предстоящей дороге.

— Рановато, можно и погодить.

— Нет, поторопиться надо, — буркнул Степан.

— К чертям его с обозом! Надоело каждый год сотни верст снег топтать да мерзнуть, — раскуривая самокрутку, говорил Савелий Тиунов. — У меня от этих обозов и скрипа саней круглый год в ушах звенит. Пущай сам идет или других дураков ищет.

— Не для Мялищева это — для нас. Соберемся завтра. Надо не сразу соглашаться, покуражимся перед купцом. Если сразу согласие дать — заподозрит. Ушлый. На мякине не проведешь.

— Ну тогда он у меня покусает хвост, — хихикнул Савелий.

О сходе Василий Афанасьевич узнал от писаря Саввушки. Тот вошел в купеческий дом тихо, плотно прикрыв за собой дверь.

— Чего так торопно? Вчерась Степан морду кривил, а сегодня согласился? Откуда ветер подул? Никаких там бумаг не было?

Саввушка вспыхнул, но вместо слов мотнул головой:

— Разве...

— Ты, как я погляжу, совсем онемел, — перебил его Василий Афанасьевич. — Передай этой рвани — приду. Куда от них деваться?

Оставшись один, купец долго сидел за столом, думал: какой снаряжать обоз, какую положить поденщину, прики-

дывал выручку. «Теперь они горло-то расхабарят. Каждый норовит побольше из моих карманов выгрести. В моду вошло — деньги в чужих карманах считать».

— Ты уж свой голос подай, Нестор Прохорович, — усаживаясь поудобнее, шепнул Василий Афанасьевич, когда Степан поднялся из-за стола.

— Не секрет, что пока за хлебом, солью, сахаром, керосином идем на поклон к Василию Афанасьевичу, — начал Степан. — Все эти товары у него в амбарах. На днях он обратился к нашей выборной власти с просьбой — помочь ему собрать обоз и отправить сельчан для продажи рыбы на ярмарке.

Василий Афанасьевич выдернул из кармана клетчатый носовой платок, обтер вспотевший лоб. Мужики курили, недокуренные самокрутки совали в поддувало. Савелий Тиунов яростно тыкал окурок в толсто подшитую подошву пима. Запахло паленым. Сидевший рядом с ним Сергей Шарапов громко зачихал.

— Ране-то он сам полюбовно с мужиками договаривался! — крикнул Савелий.

— Времена пошли ненадежные! — выдохнул купец.

— Как я понимаю, за спиной новой власти захотели спрятаться?

— Береженого Бог бережет! — вставил купец, для чего-то тряхнув головой с жидкими прядями седых, давно не стриженных волос.

— Да твоей-то рыбы, Василий Афанасьевич, только хвостик и чешуя, а остальное все дармовое, — прогнусавил Сергей Шарапов. — Не твоя работа-то — наша.

— Тебе, Серега, грех роптать. Кому-кому, а тебе поденщины больше других бывает, — совестил мужика купец.

— Мне-то? — закричал Серега. — Да у меня с малолетства каждый палец тобой скручен. На-ка, взгляни. — Серега протянул ладони с узловатыми пальцами.

— Нет у мужиков желания в обоз идти, — незаметно подмигнув Степану, сказал Савелий.

— Брюхо-то чем полнить станете? — вскочил с лавки Василий Афанасьевич. — Горло-то легче драть.

— В обоз не пойдете — весной в ногах валяться станете, — со свойственной ему сдержанностью поддержал купца Нестор Прохорович. — Власть властью, а брюхо хлеба каждый день просит.

— Не пужайте, не из пугливых!

Зимние сумерки подкрались незаметно, окутали окна бусой дымкой. В управе полумрак. Настенные часы щелкнули, и послышался ровный мелодичный бой.

— Саввушка, засвети лампу, — по старой привычке отдал распоряжение Нестор Прохорович.

Писарь, как мышь, шмыгнул за дощатую перегородку. Скоро запахло керосином, и, высоко подняв над головой медную пузатую лампу, Саввушка повесил ее на стенке у стола, за которым сидел Степан Голощапов.

— Обоз-то большой собираете? — спросил Савелий.

Мялищев, засунув палец в ухо, стал трясти его, склонив голову к плечу.

— Погляди-ка на него: оглох враз! — засмеялся Савелий. — Доподлинно знаю: пятьдесят подвод.

— Да не более трех десятков коробов наберется, — через силу ответил Василий Афанасьевич. — Ответ мне точный дайте: пойдете в обоз или нет? А то в другие деревни поеду договариваться.

— Какую поденщину собираешься класть, Василий Афанасьевич?

— Ну, ей-Богу! — вскочил с лавки купец, будто кто-то щипнул его сзади. — Как всегда, не пообижу. Не меньше прошлогоднего.

— Нынче надо деньги вперед выплатить.

— Так не бывает, — пропыхтел Василий Афанасьевич. — Не бывает и не будет. Под запись дам, а остальное после продажи. Этот вековечный порядок не нарушу. Лучше все сгною, а на своем стоять буду.

— От твоих расчетов Егорка Хромой в петлю залез.

— Пить меньше надо. Вино денег требует, а у него, у Егорки-то, глотка луженая была. Все лилось, не задерживалось.

— Ну тогда... — собрался что-то сказать Савелий Тиунов.

— Не грозись! А то вонь-то вытрясу. — Это подал голос Иван Валерианович Земцов. Его голос заглушили мужские матерки.

— Голосуй, Степан, за рублевую поденщину! — выкрикнул Ефим. — Голосуй.

— Я жаловаться стану: это чистый разор!

— Считай, Саввушка, голоса, — попросил Ефим писаря. Тот, втянув голову в плечи, изрек:

— Единогласно.

— Как единогласно? — возразил Нестор Прохорович. — Считай, кто против такого беззакония.

— Ну, заверховодила красная зараза, — подал голос трактирный вышибала Зосима Кукушкин. — Все равно не будет по-вашему, — и, размахнувшись со всего плеча, дал Савелию Тиунову оплеуху. Тот отлетел в сторону. Началась свалка. Кто-то затушил лампу. Загрохотали табуретки, затрещали полушубки. Нестор Прохорович, присев в углу, оборонялся от чьих-то тумаков. В распахнувшуюся дверь выталкивали друг друга взашей. Кто-то ударил по голове поленцем писаря. Он стонал, прижав ладонь к кровоточащей ране.

Савелий Тиунов, выхватив из забора жердь, гнал вдоль улицы купца Мялищева.

Дом Василия Афанасьевича стоял на изгибе реки. Крыша из листового железа, двенадцать окон в белых резных наличниках, высокое парадное крыльцо с крашеными ступеньками. Двор обнесен тесовым забором с двумя воротами. Приставлен к ним дворник Маит — мужик возраста неопределенного, расторопный, с бельмом на левом глазу.

Хозяин Василий Афанасьевич терпеть не мог распахнутых ворот, взыскивал строго. Недавно удержал он с Маита рубль, а провинился он в том, что не успел к выходу хозяина расчистить ворота с речной стороны. «Открываем-то их посезонно, — рассуждал Маит. — В летнюю пору — по прибытии судов с грузами, осенью — на время рыбной путины, зимой ввозим сено с покосов, да еще один раз распахивали, когда рыбный обоз отправляли. Разве че делать крадучись от сельчан надумал? Тогда они в самый раз: никто здесь тебя не увидит, и в один миг за две версты от села оказаться можно».

Во дворе у Маита дел полно. За амбарами, конюшнями, коровниками, дровами догляд нужен.

Кроме всего, стоят во дворе две крохотные сторожки окнами во двор. Одна для упряжи, а в другой совсем недавно поселился новый конюх — здоровенный глухонемой парень Сенька Шитоев. Откуда он появился — неизвестно, но принял его сам Василий Афанасьевич, а отказать старому конюху Евлампию причину нашел: будто тот не умеет ухаживать за выездными жеребцами, которые нуждаются в особой чистке и в особом уходе. Жалко было Маиту смотреть на Евлампия. Уходя, старик рыдал навзрыд, с каждой лошадью, как с человеком, прощался. Сивой кобыле по клич-

ке Варвара на лбу челку в косичку заплел. Так она и бегает с этой косичкой. А Сеньке и дела нет до лошадей, пришел Маит к такому заключению, когда увидел однажды, как тот хлестал вожжами по морде любимца хозяина — горделивого Воронка.

Маиту Сенька Шитоев не глянулся: взгляд у него недобрый, вороватый, и все его сердило, все было не по душе. И лошади его не любили, при виде него начинали бить копытами, фыркать. «И что его Василий Афанасьевич пригрел, — сокрушался дворник, приколачивая соскочившую с петель калитку. — Чужой он и есть чужой. Сколь волка ни корми, он все в лес смотрит».

Он не заметил, как Сенька погнал лошадей на водопой. Он обернулся только тогда, когда тот с силой сбрасывал с ворот поперечную перекладину, выструганную осенью из цельного ствола пятигодовалой березы.

— Ты че хряпаешь-то ее? — возмутился дворник. — Гаркнул бы, я бы открыл.

Сенька злобно зыркнул на него. Маит посторонился, уловил запах лошадиного пота, прелого сена, который принесли лошади из конюшен на своих парных спинах.

— Идите, идите, лошадишки-работнички, — ласково приговаривал дворник, пропуская лошадей. — Ты бы, Сенька, прикрыл ворота, — сказал Маит, сторонясь и морщась от боли в плече: к непогоде, видимо, ломит.

— Ладно, — услышал в ответ и не поверил. Да и Сенька приостановился, вздрогнул, будто кто-то его схватил за шиворот, но не обернулся, а пошел какой-то не своей упругой походкой.

С испугу о ломоте в локтях и плечах Маит сразу забыл. Широко расставив ноги в стоптанных старых пимах и приложив к уху ладонь, дворник долго стоял возле распахнутых ворот и вслушивался в громкие окрики Сеньки. Вдруг разболелась голова, заныл зуб, который Маит успокоил было табачным дымом.

«Может, Василий Афанасьевич не знает, что вокруг него творится неладное? Без злого умыслу тут не обойдется. А вдруг ограбят хозяина? Или, чего хуже, пустит красного петуха? Времена смутные пошли», — сокрушался дворник, при этом старался убедить себя, что ему все только послышалось. Но слово «ладно» назойливо звучало в ушах.

Сенька, по всей видимости, тоже струсил: мимо Маита мышью шмыгнул во двор, заперся в конюховке и сидел, не

зажигая свечи. Маиту казалось, что из окон сторожки за ним следят злые Сенькины глаза. Он торопливо пошел со двора. «Наплевать мне на этого Сеньку, — уговаривал он себя. — А все оно тут че-то неладное. Чует мое сердце».

В это время послышался какой-то звон, донесся отчаянный крик. Дворник побежал за угол купеческого дома. Легкая штора, подхваченная ветром, вылетела из окна и, порхнув в воздухе птицей, влетела обратно.

Кричала купчиха Акулина Федоровна.

Березовое полено валялось на полу, выбитая рама висела на одной петле, а легкая расшитая штора раскачивалась на ветру.

— Нехристи, — кричала купчиха, — неужели кто еще недоволен нашей милостью, а? Почитай, все село хлебом-солью питаем. Сам-то хоть где? Урядника звать надо, — кружила она по залу. — Куда Никита-то девался? Васса, Васса! — Кричала она в западню между кухней и вторым этажом. — Ты, поди, знаешь, паршивка, где он? Может, опять у тебя на кухне?

С шумом распахнулась входная дверь. В нее, запыхавшись, весь в снегу, с оторванным у шапки ухом и кровоточащей ссадиной на щеке ввалился Василий Афанасьевич. Остановившись посреди зала и тяжело дыша, расширенными глазами смотрел он на березовое полено, потом одним рывком оторвал висевшее на нитках ухо шапки, бросил на пол и стал топтать, заливаясь каким-то клокочущим смехом.

— Чего глаза-то пялишь? Или не узнала? Или заместо меня Нестора Прохоровича ждала? Ишь, принарядилась. — Он рванул красивую оборку на блузке жены. Ткань треснула и повисла, как ненужный лоскут. — И твоему Нестору Прохоровичу морду начистили. Слышал, как кряхтел он да молитвы наговаривал. Да от этих паразитов, от красной заразы, никакими молитвами не спасешься. Для них, для безбожников, ни чинов нет, ни званий. Крушат все напропалую. Куда наш разгильдяй-то девался? Сколько греха из-за него. Пусть бы лучше в армии служил... Где он?

— Не знаю, — сквозь слезы ответила Акулина Федоровна. — Говорил, да я мимо ушей пропустила.

— Выйди-ка на улицу, мужики тебе вмиг уши-то прочистят. Кажись, по уху-то мне Савелька Тиунов заехал.

Акулина Федоровна охала, металась в растерянности, не зная, что предпринять, как угомонить Василия Афанасье-

вича, а тот не мог успокоиться от потрясения, и злые слова, одно горче другого, помимо его желания, лезли из него.

— А вы чего тут мозолитесь? Чего глазеете? Соображения нет? Позвать кого из мужиков! — закричал на сбежавшуюся прислугу.

Васса, подобрав подол юбки, побежала во двор за дворником. Маит, кряхтя, стаскивал с ног пимы, боясь встать обутый на красный ковер.

— Эко своротили, — вздохнул, смахивая с подоконника снег. — Туто плотника надо.

— На всю ночь, что ли, такое поддувало оставить? Вымерзнем, как тараканы.

— Может, подушкой заложить? Все так делают.

— Да ты разуй глаза-то. Тут не подушку — целую перину тащить надо.

— Истинный Бог, перину, — согласился Маит.

— Давай-давай, Маит, делай. Дам тебе рубль. Рублем больше — рублем меньше, какая разница. Все сквозь пальцы уйдет. Кругом разор. Смотри-ка, Маит, цветок совсем сварился от мороза. Смотри! — Василий Афанасьевич ощупывал вялые, сморщенные листочки цветка, стоящего на подоконнике. — Ты как-нибудь до утра изладь окно, лишь бы снег не мел, а с утра плотник придет.

Купец говорил и говорил: про Савельку Тиунова, про Нестора Прохоровича, про Степана Голощапова, но Маит ничего не понял. Кое-как изладив раму, откланялся и бесшумно закрыл за собой дверь.

Василий Афанасьевич, оставшись один, почувствовал боль на лице — ущупал ссадину, припухлость, расползающуюся по всей щеке.

— Вот и дожили. Жизнь-то какая пошла — глаза бы не глядели, а ведь все живешь и лучших дней ждешь. А лучшие денечки, видать, прокатили мимо, — горько усмехнулся купец и снова потрогал ссадину. — А Маит-то чего топтался? Вроде сказать чего хотел, а я со своими цветочками перебил его. Они, дворовые-то, иногда побольше хозяев знают. Может, от мужиков что слыхал. Васса! — крикнул он и, услышав скрип западни, распорядился: — Верни-ка Маита!

В выстуженной комнате воцарилась немая холодная тишина, и только редкие всхлипывания Акулины Федоровны слышались из-за дверей соседней комнаты, да доносился с улицы тревожный лай собак.

— Маита и след простыл, будто за ним кто гнался, — доложила чернобровая кухарка. — Во дворе конюх Сенька расхаживает, может, его позвать.

— Не надо! — отмахнулся Василий Афанасьевич. Напоминание о конюхе вконец испортило настроение купца. — Навязался на мою голову! Уговор был на один месяц, а уж четвертый живет. Соглядатай! Нахлебник! Да еще винца требует! Вот времена пошли! И не тронешь, не откажешь. Стал бы раньше держать какого-то лоботряса? А теперь приходится. Маита вот, как хочу, так и ворочу. Куда он без меня?

Маит тем временем заперся в своей избушке и только тут почувствовал, как трясутся у него руки.

Он не пошел хлебать похлебку, улегся на теплую лежанку возле печи и долго лежал с открытыми глазами — смотрел, как из щелей выползали усатые тараканы и, пробежав по приступку, юркали в расщелины возле трубы. Сон не приходил. Баба его, глухонемая Лукерья, принесла кружку с отваром маковых зерен. Маит выпил, обтер смоченные усы. «А Сенька-то! Сенька! Из-за одного слова порешить может. Кулачищи-то как кувалды. Надо было Василию Афанасьевичу сказать. А вдруг да и Василий Афанасьевич вместе с ним какой-нибудь злой умысел имеют? На что им моя жизнь? — Дворник вздохнул, ощущая усталость в натруженных руках. —Им бы в своей жизни теперь разобраться. Вона Василий-то Афанасьевич с какой оплеухой домой явился. Когда такое было?» — Маит переворачивался с боку на бок, то и дело поправлял подушку и сердился, что под ним скрипят рассохшиеся доски лежанки. За окном расшумелась метель, снежные хлопья хлестали в низенькое оконце избушки. «К непогоде, видно, уснуть-то не могу, а всякую причину ищу. Страх на себя навожу», — с облегчением подумал Маит, прислушиваясь к завыванию разыгравшейся метели, но все-таки встал, накинул полушубок, вышел до ветру. По привычке взглянул на купеческий дом, замер. Чья-то темная фигура маячила возле парадного крыльца. Маит хлебнул ртом воздух, прикрыл ладонью изувеченный глаз. «Нет, не ошибся, кто-то там шарится. Видать, чужой, а то бы в калитку, во двор и к прислуге. Васса постоянно там». Маит вспомнил про оторванную доску в заплоте, побежал вдоль забора и юркнул через нее во двор. Не успел стукнуть в переплет рамы, как увидел в нем Вассино лицо. Дворник жестом показал на верхние хоромы хозяина.

«Слышу», — кивнула Васса, впуская Маита. Очутившись на кухне, Маит сел на порог.

Наверху послышались шаги хозяина и щелчок крючка. Васса с проворством кошки полезла по крутым ступенькам лестницы, придвинулась к дырочке, прорезанной для кота, и замерла.

— Кто?

— Саввушка, писарь, — сползая со ступенек, на ухо Маиту шепнула Васса и снова взобралась обратно.

— Я сейчас. Я на минуточку, — доносился дрожащий голос писаря. — Я ведь с самого вечера тут топчусь, не знаю, с какой стороны постучать. Боязно. Теперь ведь и у стен уши. Хорошо, метель, а то бы все равно кто-нибудь увидел.

— Да не тяни ты, — нетерпеливо требовал Василий Афанасьевич. — Что там стряслось?

— Погодите. Дайте дух перевести.

— Да говори.

— Да чего говорить-то? Вот бумага — она лучше моего вам все объяснит. Я только и скажу, что заместо Степана Голощапова эту бумагу вам показываю. Казенная бумага-то. По привычке полюбопытствовал и обомлел.

Васса видела, как на стене ползала тень от большой головы хозяина, взъерошенной бороды. Потом борода его приподнялась и задрожала.

— Не верю! Ни в жизнь! Это наговоры! — неожиданно крикнул Василий Афанасьевич.

Саввушка, изловчившись, успел приложить к его губам холодную ладонь. Василий Афанасьевич, защищаясь от невиданной дерзости писаря, ударил его по руке.

— Тише! Тише вы! — разобиделся писарь. — Я ведь мог ее и не принести.

— Не верю! Не верю! — хрипел купец. — Наговоры!

— Не могу знать, Василий Афанасьевич, — неожиданно четко произнес каждое слово писарь.

— Кроме тебя видел кто-нибудь эту бумагу?

— Как есть никто. Почтарь принес поздно. Глянул: печати-то новой власти — вот любопытство и взяло. А как прочитал — волосы дыбом. Подумал: выручать вас надо. Может, от этой бумаги Степан Голощапов к вашей семье послабже будет. Она ведь вам право дает сказать: мол, мы тоже не враги новой власти.

— И ты туда же, беспутная твоя голова? — овладев собой, построжал купец. — Считаешь, купца Мялищева не ста-

ло! Так вот что я тебе скажу, и ты это запомни, на носу заруби: ты этой бумаги не видел, не получал и все, что в ней записано, забыл!

Мелкий, перекатистый смешок писаря долетел до Вассиного слуха.

— Я за нее свою роспись у почтаря оставил. Спрос с меня будет. Неспроста я прибежал ночью. Добра вам желаю, удар от вас отвожу.

— Неужто сын супротив отца идет? — с трудом выдавил из себя Василий Афанасьевич.

— Не могу знать, — бойко ответил Саввушка.

— Замри ты, не тебя спрашиваю, — стонал купец. — У себя спрашиваю. — На черта мне твой ответ. — Василий Афанасьевич смял в кулаке казенный лист. Саввушка подпрыгнул с места, схватил купца за руку.

— Цыц! Не забывай, чей кусок всю жизнь ешь! — погрозил перед носом писаря Василий Афанасьевич. — Язык свой держи за семью замками, не то немым останешься, а с Никитой я сам разберусь. Вы теперь все-е доброхоты, а у самих теплая вода за зубами не держится. За молчание завтра деньги получишь.

— Грех на душу брать приходится, — уже робко и покорно отвечал писарь.

— Бог простит тебе, — донесся от двери слабый голос Акулины Федоровны. — На все Господня воля.

Давно не открывавшаяся парадная дверь скрипнула. Васса с Маитом, припав к окну, увидели: пурхаясь в сугробе, выбрался писарь Саввушка на дорогу и побежал по ней без оглядки, погоняемый ветром.

Наверху, забыв взаимные обиды, шушукались хозяева.

Но ни Васса, ни Маит не могли взять в толк и понять, зачем все-таки приходил писарь. Было ясно только одно: говорил он хозяину о его сыне Никите, который вечером, как только Василий Афанасьевич ушел на сход, уехал в дальнее село Балашиху, к матери Акулины Федоровны.

Глава третья

— Чует сердце, погибель будет обозу, — жаловался Василий Афанасьевич жене. — Вчера на сходе-то как куражились: то давай им расчет наперед, то поденщину клади рублевую, то шли в обоз отборных лошадей. И кто орал? Савелька Тиунов, Серега Шарапов. Уж они-то как облупленные все порядки знают, а в занозу. Не собирать обоз — совсем в убытке останусь. Месяц-другой — и рыба весь вкус потеряет. Кто ее брать-то станет? А еще заторопились, будто петух в задницу клюнул: завтра в ночь — да и только. А уж после эта потасовка зачалась. Голова вкруг! Зосиму Кукушкина ублажить надо. Черт с ним, отдам частый невод — давно просит. Пусть берет да в обоз идет. На него только полная надежда. Как скажу про невод — глаза-то забегают, а если узнает, что рублевую поденщину положу — без оглядки за обозом побежит. Натура у него такая.

Акулина Федоровна плохо слушала мужа, вздыхала, ежилась под пуховым одеялом.

«Сына бы послать...», — с горечью подумал Василий Афанасьевич, но махнул рукой и стал одеваться.

Прислуга давно проснулась: колола во дворе стылые дрова, хлопала дверьми, скрипели на коромыслах ведра.

— Зосима чтоб ко мне без оговорок явился, — приказал Василий Афанасьевич шорнику. — И чтоб одна нога там, другая — здесь. Знаю я вашего брата, лишь бы за воротами скрыться.

Зосима Кукушкин — трактирный вышибала — одет был по-дорожному: в меховых унтах, в беличьей безрукавке под овчинным тулупом, в пыжиковом треухе.

При виде его купец зашвыркал носом, стал вытирать платком покрасневшие веки.

— Вместо моих глаз там будешь. Не пообижу, — шепотом, с придыхом промолвил купец.

Зосима озорно подмигнул, распахнул полу безрукавки и показал блестящую рукоятку пистолета.

— Откуда у тебя эта оказия? — поперхнулся купец. Но тут распахнулась дверь, и ввалился приказчик Филипп, сказал с порога:

— Из амбаров рыбу грузят!

— Кто-о-о-о? — заорал Василий Афанасьевич.

— Мужики. Сказывают, в ночь отправляться станут. Распахнули амбары.

— Я один разве с ними совладаю? Они подле меня ходят, как подле чурки с глазами. Липатий так толкнул — шапка с башки слетела. У их, видать, ярость с вечера не стишает.

— Кто верховодит, того в обоз не возьму — пусть рот не разевают. Товар пока мой, — придерживая рукой поясницу, говорил Василий Афанасьевич.

— Ефим Дорошин говорит: торопитесь, только складывайте все путем.

— Ефим-то куда рвется? — удивился трактирный вышибала. — Еще онучи высушить не успел, чаем брюхо отогреть, а в обоз собирается. У самого кожа да кости.

— Голод-то — не тетка, — изрек купец. «Уж лучше пусть пять крикунов, как Савелька Тиунов, идут, чем один молчун Ефим Дорошин, — вздохнул Василий Афанасьевич. — У Савельки что на уме, то и на языке, а этот... Хотя, если припомнить, сколько раз сам просил, уговаривал Ефима сходить с обозом, потому что знал: все без утайки будет выложено перед ним на столе. Это не Зосима, не Филипп, которые глотают гривенники — лишь бы утаить. А теперь на них опора, но какая это опора? Все, как на подпиленных столбах, зыбко. Того и гляди, все рухнет. А чего делать? Ефим-то, ясное дело, перемахнулся к большевикам. Не по нутру ему старые порядки. И чего добиваются? Понять не могу. А эти-то, — сморщился купец, взглянув на Зосиму, — эти-то что: куда ветер — туда и ум, лишь бы платили».

— Че делать-то? — топтался приказчик.

— Тебе на своем месте быть, — отрезал Василий Афанасьевич. — И в ночь вместе с ними — в обоз. И чтобы — в оба глаза!

— Так у меня спину отсекает. Как только простужу — пластом лежу. А там какая стужа будет... — заканючил приказчик, представив страшные снежные переметы, крутые взвозы, сугробы. — Вона, Василий Афанасьевич, глухонемого Сеньку пошли. Глаза у него как шило, а в обозе-то идти — в молчанку играть. А лошадей он не любит. Вчерась так чересседельником Воронка понужал — у того глаза налились кровью. А сам все время шнырит, шнырит и все выглядывает. Чужой он.

— Не твоего ума дело! — осек хозяин и, набросив на плечи полушубок, вышел из дому. За ним, нервно теребя заячий пух на шапке, семенил Филипп.

— Что это такое, люди хорошие? — потерянно спрашивал Василий Афанасьевич. Но его вроде никто не слышал: шла деловая толкотня — погрузка рыбы в короба. Рогожные кули мужики складывали на сани, больших осетров несли, как бревна, на плечах.

— Поберегись, хозяин! — услышал сзади. Обернулся — ткнулся в лошадиную морду и будто ожегся, — почувствовал на щеке прикосновение заиндевелых клочков шерсти. Перехватило дыхание, показалось даже, что все это происходит во сне, а не у него во дворе.

— Ну ты, потише! — рявкнул на мужика трактирный вышибала, заметив растерянность хозяина. Но растерянность купца скоро прошла. От окрика Зосимы он вроде бы проснулся. Сбросив с плеч полушубок, схватил лошадь под уздцы, оттолкнул юркого мужичишку и в припадке гнева заорал:

— Во-о-о-н! Вон со двора, голытьба! Не касаться! Не подходить! Все сгною! В реку выброшу! Вон, чтобы духу вашего не было, чтобы глаза мои не видели! — Он схватил было с земли тяжелый бастрыг, но тут же бросил его себе под ноги и затряс кулаками над головой, повторяя одни и те же слова: — Без вас обойдусь. С голоду всех уморю!

Мужики остановили погрузку.

— Все за ворота, — цедил сквозь зубы трактирный вышибала, шаря взглядом, кого бы первым схватить за шиворот и выбросить за ворота. Юркий мужичишка Липатий, заметив медленное шевеление пальцев Зосимы, успел вожжами хлестнуть его по руке. Зосима взвизгнул.

Из конюховки с винтовкой вышел Сенька Шитоев, но тут же вернулся, никем не замеченный. Со стоном прижался он спиной к стене и долго стоял, кусая себе губы, сгорая от желания перестрелять эту толпу.

Ефим Дорошин сел рядом с купцом, когда тот, грохнувшись на сани-розвальни, втянул седую, непокрытую голову в широкие квадратные плечи и сплевывал себе под ноги. Ефим отряхнул от снега валявшийся возле ног купца полушубок и набросил ему на плечи.

— Рано. Рано вы меня хозяином считать не стали, — выдавил купец.

— Вспомни, Василий Афанасьевич, раньше-то как было? Разве тебя кто будил, когда грузили рыбу? И раньше

так было. Погрузят рыбу, а уж тогда и спрос: когда обозу отправляться? Может, за эти годы, что меня не было, ты другой порядок установил?

— Не про тебя, Ефим, разговор, — ответил Василий Афанасьевич. — Знаю: ты пакость не сделаешь, копейки не утаишь.

— Так ведь тут все мужики наши, сельские, ты их знаешь.

— Наши, да не наши, — покачивая головой, тихо произнес купец. — Вроде все так и все не так. Каждое слово поперек сердца кладется. Ты-то, Ефим, куда собираешься? Какой тебе обоз? Я тебе и так все дам по нашей старой памяти, знаю: в долгу не останешься.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — уклончиво ответил Ефим.

— Не ходи, Ефим, в обоз. На что тебе такая маята? — Мялищев по-дружески хлопнул его по плечу вялой, тяжелой рукой.

— Грузить-то можно? — вместо ответа спросил Ефим.

— Черт с вами, грузите. Только Савельку Тиунова в обоз не брать. Если пойдет — пусть на своей лошади.

Савелька хохотнул:

— Где я ее, лошадь-то, возьму? Ведь знаешь, Василий Афанасьевич, осенью она околела.

— Савельку в обоз не брать. Платить ему, горлохвату, не стану. Слово мое крепкое!

Все шло, как надо: плетенные из ивняка короба, до отказа наполненные рыбой, накрытые рогожными покрывалами, перевязанные веревками, стояли на санях. Оставалось одно: запрячь лошадей и отправиться в путь-дорогу.

Снаряженный в долгий поход санный обоз всегда вызывал у сельчан таинственную грусть. Редкий год возвращались все мужики живы-здоровы. В прошлом году по прибытии из обоза домой повесился Егорка Хромой в предбаннике. В позапрошлом — угодило в наледь пять хозяйских подвод. Ухнули под лед, только и видели. Еще раньше годом Мишка Тренихин ноги обморозил. Еще раньше кого-то из-за драки в каталажку посадили. И так на людской памяти с обозом связано много бед.

В селе было заведено: перед отправкой в обоз каждая хозяйка баню топит, квашенку ставит. Все для того, чтобы чаще о доме думал.

Степан Голощапов был спокоен: с обозом собрался идти Ефим Дорошин.

Ефим заболел неожиданно. Еще с вечера красноватое пятно возле сквозного ранения разгоняло по всему телу жар, и своего нездоровья он не мог скрыть ни от Даши, ни от матери. Решил не поддаваться хвори, пошел с мужиками обоз грузить, да тут, во дворе, сразу после разговора с Василием Афанасьевичем, потемнело в глазах, и он не помнит, как подкосились ноги. Открыл глаза только в избе.

— Это ему дорога в стужу отрыжку дает. Какой ему обоз? — расслышал он чей-то голос, но снова темные круги, как черные клубы дыма, накатывали на глаза, застилая свет.

Степан Голощапов в управу пришел спозаранку. Саввушка уже сидел за столом с примочкой на голове. Почувствовав, что Степан хочет о чем-то его спросить, засуетился, не зная куда спрятать трясущиеся руки.

— Странный ты человек, Саввушка. Кто тебя так напугал?

— Отродясь такой, — выдохнул писарь.

— Я вот смотрю и думаю, а не перебраться ли нам во вторую половину избы. Не нравится мне в этой управе. Все управа да управа. А какая теперь управа? Теперь мы исполнительным комитетом зовемся.

— В той половине холодно, окна на северную сторону выходят, да и вьюшка там неплотно закрывается.

— Все это ерунда: северная сторона, вьюшка.

— Плохо там, неуютно, — оглядывал писарь свой письменный стол.

— К чертям собачьим, чтоб я сидел на месте волостного старшины, — отставляя стул в сторону, резко сказал Степан. — Его стол, его стул. Как глядел на него вчера Нестор Прохорович да как тяжело вздыхал. Жалел, видать... Давайка, Савелий, ты — за этот стол, я — за твой, — решил Степан. — По отчеству-то ты ведь Лукич? До какой поры тебя все Саввушкой будут звать?

— Благодарствую за память к покойному родителю, — засмущался писарь, пытаясь сдвинуть с места свой стол. — Дунька моет, никогда не отодвигает, ножки-то и прильнули к полу, как приколоченные, — тужился Саввушка.

— Ступай, скажи Дуньке — пусть протопит вторую половину, перемоет, и мы все перенесем.

Во время передвижения столов прибежала в комитет Даша Дорошина сказать, что Ефим неожиданно заболел. Она долго не знала, с чего начать, стояла, теребила кисть

шерстяной шали: «Когда пришел в себя, велел сказать: Антона Шмигельского с обозом надо послать».

— Обоз-то... Вожусь тут со столом, а там... — заторопился Степан.

— Обоз-то, мужики сказывают, готов. Нагружены тридцать коробов, с ними Зосима Кукушкин пойдет да хозяин приказчика Филиппа посылает.

Без Ефима срывалось дело. Мужики могут не все предусмотреть, не всегда послушать один другого: в трудную минуту станут делать всяк по-своему.

— У кого лошади получше? — рассуждал вслух Степан, мысленно пробегая по крестьянским дворам.

— У Арси Попова, — подсказала Даша.

Арся, мужик немногословный, Степана понял с полуслова.

— Обоз пусть в ночь выходит, мы с Антоном возле Чащинской протоки встретим его. Моих-то ребят пусть возьмут в обоз — не маленькие, привыкать надо.

Он мигом запряг лошадь и прямиком, сеновозной дорогой, поехал к Антону.

Антон Шмигельский был польских кровей. В Сибирь был сослан на вечное поселение.

Пришел он в эти края зимой, в лютые морозы. Вокруг ничего живого: птицы в снегах попрятались, звери — в дуплах и норах. Ветер дурил несколько недель, ворочал снежные сугробы, перемел и без того еле приметную дорогу.

Он шел под монотонный скрип санных полозьев, треск перемерзшей упряжи да редкие возгласы конвоира Лаврентия Туева. Иногда сквозь мглистую пелену снега виделась в тумане вершина горы Коргувки, горбатая, с пологими отрогами. Антон тер рукавицей глаза, стоял с минуту, стараясь отогнать видение, и снова шел, запинаясь о снежные переметы.

— Но-но, пошевеливайся, — подбадривал его конвоир, погоняя кнутом лошаденку. — Кажись, немного осталось. Ден семь пройдем, сдам тебя — и делу моему будет конец. Ох, и велика Сибирь-матушка. Вон какая. Идем, идем, а ей все конца-края не видно. — Конвоир говорил для себя, потому что ссыльный не слышал его из-за скрипа полозьев. — Вот освобожусь, и тогда гуляй, Лаврентий, нет тебе заботы.

Споткнувшись о выбитые лошадиными копытами комья снега, ссыльный упал в сугроб.

— Экий ты неловкий. С виду-то вроде и молодой, — сползая с саней и пурхаясь в длинном овчинном тулупе, бормотал Лаврентий. Он шел, прихрамывая: ноги отекли, в коленях мозжило. — Ну, чего растянулся-то, вставай, — деревянной рукояткой кнута похлопывал он Антона по плечу. — Место нашел! Ты давай не дури, мне за тебя ответ держать. Если бы старик был, я бы посердобольствовал — посадил бы в сани, а про тебя прописано в бумаге: идти всю дорогу пешим. Ясное дело, тоже наказанье. — Лаврентий присел возле ссыльного. — Давай, парень, подымайся. У меня дома-то семеро по лавкам. Не от веселой жизни в снега пошел. — Конвоир говорил, отдирая сосульки с рыжих усов. — Да ты, видно, отощал. Давай, однако, пошевеливайся, парень.

Антон слышал и не слышал конвоира. Не было сил приоткрыть глаза.

— Что ж ты, парень, — уже сбросив с плеч тулуп, пыхтел Лаврентий, вытаскивая Антона из сугроба, — так и пуп сорвать недолго. Истинный Бог! Экая каланча. Да я тебя сейчас в сани положу. Нарушу бумагу-то — кто тут видит? Снег да ветер. Им там че? Написали: чик-чирик, а тут иди такую даль! И за че такие страдания принимать в молодые годы?! Не живется вам тихо да смирно. Не разбойники ведь. Видать по обличью — благородный. Молчишь. Я вот раз вел арестанта Жорку Колокольчика... С подводы-то меня выволок, я у него Христа ради в сани просился, а ваш брат, благородные-то, с ног падают, а не попросят. Чтоб тебе не сказать, не попросить меня? Так нет! И почему это вас, благородных, в этакую даль шлют? С разбойниками, с теми другое обращение: их сразу в тюрьмы, в каталажки, на замок, кого закуют в цепи, кого к стенке прикуют, а вашего брата, благородных, все в снега гонят, ближе к морозам, от людских глаз подале.

Словоохотливость напала на Лаврентия со страху: поставят в вину недогляд, самого затурят в каталажку. От сумы да от тюрьмы — нет зароку. А угодить туда — не приведи Бог!

Долго не раздумывая, конвоир опрокинул парня на тулуп и, забыв о боли в ногах, поволок его, затащил в сани-розвальни и только потом, отдышавшись, стал снова тормошить: жалко стало парня, кем-то гонимого на край земли, жаль самого себя, оставленных полуголодных ребятишек, жаль брата, вернувшегося с войны безногим, жаль валенки, которые так быстро сносились. И жизнь в эти минуты показалась ему никудышной, и нисколько ее не было жаль, и очень

даже просто он может лечь рядом с этим парнем, заснуть и к утру окоченеть. Он даже примостился рядом.

— Нет. Это я сдурел окончательно, — вскочил Лаврентий. — Помереть-то и дома можно, по-путнему, у людей на глазах, а чего тут-то? Помру, запорошит снегом, кому какая печаль? Был да не стало Лаврентия.

Конвоир тряхнул головой, дернул вожжи и свистнул. Лошаденка навострила уши, стряхнула с гривы легкие снежинки и побежала до первого перемета.

Лаврентий, жадно хватая ртом воздух, слизывал с усов налипший снег. Увидев впереди узкую полоску солнца над горизонтом, бегущую навстречу поземку, засмеялся от радости.

— Ну ты, шевелись, парень. Открывай глаза-то, открывай. Вот и хлебец тебе. Я его за пазуху положу, пущай отогреется — перемерз в мешке.

Распахнув дряхлый полушубок ссыльного, Лаврентий увидел на его шее золотую цепочку, потянул — на груди у парня оказался золотой крест.

«Золото! — И он уже, забыв обо всем, стал делать прикусы на нагрудном кресте. — Золото! Уж я-то знаю в этом толк. Граммов тридцать будет. Отведи, Господи, от соблазна. Отведи, не искушай, — молился Лаврентий, закрыв лицо ладонями. — Не к добру это. Золото — всегда не к добру. На что оно мне? Куда с ним? Господи! Тридцать граммов! Ай, ты Боже мой, подскажи, че делать твоему рабу Лаврентию. Знаю, знаю, на темные дела у тебя совета не просят. Тут черти начинают ум мутить. Мне каяться перед тобой надо за греховные мысли, а я отвязаться от них не могу».

Конвойный, перестав сопротивляться своему желанию, закрыл глаза и думал только об одном: куда спрятать золотой крест. Он отвел от лица руки и, оцепенев, встретился со взглядом ссыльного. Из груди Лаврентия вырвался отчаянный крик. Лошадь рванула сани и понеслась, выбрасывая из-под копыт сыпучий снег.

На счастье Лаврентия, у самой кромки болота показалась струйка черного дыма, вонзавшаяся тонкой стрелой в темное тугое облако. Это был чум вогула Ильки Хатанзеева по прозвищу Кривая Нога. В нем было тепло, пахло снегом, прокисшими шкурами и собачьей шерстью.

На другой день, когда охотник Илька разглядывал ружье Лаврентия, Антон отвел конвоира в сторону, положил в его руку золотой крест и сказал: «В обмен на свободу».

Лаврентий поперхнулся табачным дымом, кашлял долго, не осмеливаясь поднять глаза.

— Оставь меня здесь, — подсказал Антон конвоиру. — Сам хозяйство поправишь. Только не сразу. Не жадничай.

— А вдруг да самого в острог? — отдувая от губ отросшие в долгой дороге усы, шепнул Лаврентий.

— Бог высоко, царь далеко.

— Чум-то малый, — вытирая со лба пот, сказал Лаврентий. — Ребят много. Может, другой чум поищем. Здесь они часто станут попадаться.

— Здесь останусь.

Лаврентий ломал голову, как упросить Ильку Кривая Нога оставить в своем чуме неизвестного человека. Пришлось расстаться с ружьем.

Засыпая на шкурах под нескончаемую песню пурги, Антон часто видел во сне три высокие сосны возле монастыря, гору, с которой он с друзьями-товарищами должен был напасть на царский гарнизон. Тут Антон вскакивал, сбрасывал с себя оленьи шкуры, пугал уснувших в ногах собак, выползал из низкого жилья и кружил возле него.

Илька Кривая Нога тоже просыпался, косолапил за Антоном, говорил на ломаном русском языке.

— Не бойся. Совсем не бойся. Медведь спит. Крепко спит. Не бойся. У Ильки корошое, корошое ружье есть. Спи, парень. Долго спи. — Доверчивому и простодушному Ильке были непонятны душевные страдания Антона.

А ночь тянула отведенное ей время, и снова, лежа на оленьей шкуре, сквозь дрему он будто слышал голоса повешенных товарищей: «Беги, беги, Антон. Измена!» Он прислушивался к тишине и от таинственного шороха снега, тягучего, нескончаемого завывания ветра и метели испытывал томительную тоску. Безымянный пятнистый песик, прижавшись к ноге Антона, тыкался влажным носом. Рука Антона коснулась всклокоченной шерсти на его спине, пальцы дотронулись до острых ушей, и обласканный пес от наслаждения жалобно скулил, облизывая шершавым языком его большие ладони, вилял хвостом. А Антону виделось хлебное поле, гнездо аистов на крыше дальнего сарая, часы на башне ратуши и на самой ее высоте золоченая труба горниста, который, открыв окошки, трубит на четыре стороны света. Слезы катились по щекам Антона, прятались в густой бороде. «Неужели здесь, в этих заболоченных местах, придется доживать свои дни?»

В неказистом жилье Ильки Кривая Нога никто не замечал страданий Антона. Каждый жил своей жизнью, а сам хозяин с утра уходил на охоту с ружьем Лаврентия, возвращался, засыпанный снегом и заиндевелый, заносил в чум запахи леса.

— Скоро солнце придет. Скоро, скоро, — говорил он, вынимая из лузана шкурки соболей. — Скоро, совсем скоро. Соболь шкуру менять собрался. Илька больше не станет бить соболя. Плохая будет шкурка, купец брать не будет. Зачем стрелять соболя? Пусть бегает. Пусть бегает.

Весна приходила нехотя: солнце шарило по горизонту, освещало макушки деревьев, будто боялось коснуться лучами промерзшей земли. От его отблесков снег твердел, покрывался толстой ледянистой коркой. Пятнистый пес носился по насту, как по мощеной дороге, прижимал уши и заливался лаем. Звонкое эхо перекатывалось по болоту, улетало вдаль.

Однажды с дальней стороны ветер донес крик. Илька Кривая Нога приложил ладонь козырьком ко лбу, долго глядел, слушал, затем махнул рукой:

— Потепка Меланью косы таскает, — сказал и пошел обратно в чум.

Потепка, седой старик, зимой приезжал к Ильке. Он долго и до пота пил чай, разглядывал ружье Лаврентия, искоса поглядывал на Антона. Руки у Потепки были большие и сильные. В глубоких складках возле рта темнели бороздки от разморенного табака, положенного за губу.

— Потепка богатый. Шибко богатый. У Потепки много-много оленей, — говорил Илька Кривая Нога, проводив гостя. — Потепка, как собака, сердитый. Плохой Потепка.

На противоположном краю болота обозначились темные пятна.

— Беги, беги, — сказал Антон пятнистому щенку, и тот, прижав уши, пустился бежать по скользкому насту, заливаясь радостным лаем.

— Плохой Потепка. Опять Меланью волосы таскает, — сказал Илька Кривая Нога. — Беда, беда. Совсем плохо живет Меланья.

Илька не успел войти в чум, а щенок, жалобно скуля, бежал обратно, подпрыгивая на трех лапах, волок переднюю, то ли перебитую, то ли онемевшую от сильного удара.

Антона будто кто-то толкнул в спину, он сделал несколько шагов, но провалился в снег.

— Не ходи, не ходи. Потепка злой, как собака, — уговаривал Илька Антона, подавая ему широкие охотничьи лыжи, обитые оленьей шкурой.

Антон шел на лыжах неумело: запинался, падал, упираясь руками о колючий наст, поднимался.

Потепку он узнал сразу. Тот сидел на нарте и толкал хореем в спину женщину, привязанную к нарте кожаными ремнями, и клокочущим нервным криком, казалось, подбадривал себя. Он делал вид, что не видит Антона. Да и кто мог помешать ему, Потепке Самбиндалову, у которого пять стад оленей?!

Встретившись взглядом с Антоном, он спрыгнул с нарты, поднял хорей над головой и с размаху ударил по спине женщину. Та, сделав несколько шагов, провалилась в снег, уткнувшись лицом в ладони, подставляя Потепке покатую спину. Черная коса, привязанная к ремням, распалась, и волосы, подхваченные ветром, кружили над ее головой.

Антон от гнева забыл все слова. Он смотрел на Потепку и не видел его лица, перед ним расплывалось круглое пятно. По-видимому, вид у Антона был устрашающим. Старик с визгом метнулся к нарте и вытащил из-под шкур топор. Потепка умел драться, но те драки были из-за оленей, пастбищ, из-за охотничьих угодий. Никогда в своей жизни он не дрался из-за женщин. Отцы сами привозили ему в жены своих дочерей, меняли их на оленей. Так было всегда, и ему было совсем непонятно, за что огрел его пришлый человек.

Потепка лежал в снегу и не верил, что руки его связаны за спиной. Он плевался, роняя в снег мокрые крупинки табака, и кричал, кричал что-то женщине на своем, непонятном Антону языке. Она стояла неподвижно, не поднимая головы, только вздрагивали плечи от ее рыданий. На незнакомого человека взглянуть она не смела.

— Потепка убивать будет, — неожиданно сказала она порусски. — Потепка купил меня. Потепка бить будет.

— Я из него дух вытряхну, — пообещал Антон, с отвращением глядя на старика. Тот барахтался в снегу, в ярости бил о снег ногами и хрипло выкрикивал какие-то ругательства.

— Не будет тебя Потепка бить, не будет, — говорил Антон, лихорадочно отвязывая Меланью. — Я ему шею сверну. Слышишь ты, старая собака!

Меланья стояла перед ним маленькая, напуганная.

— Не бойся. Пойдем со мной. Пусть он тут валяется.

Потепка понимал сказанные Антоном слова и истерично кричал:

— Меланья! Меланья!

Но рука у Антона была сильная. Он вел Меланью к чуму Ильки Кривая Нога. При виде ее Илька встал на лыжи и побежал к Потепке на край озера.

Старик искусал в кровь губы, но не кричал на охотника, не грозил ему проклятиями. Он обмяк, ссутулился, еще больше постарел.

Илька Кривая Нога вернулся понурым.

— Он боится Потепки, — сквозь слезы прошептала Меланья.

— Ты не бойся! — говорил Антон, собираясь в дальнее русское село.

Меланья ушла с Антоном Шмигельским. И вскоре народила ему трех здоровых и крепких сыновей.

Глава четвертая

Проскрипел плетеными коробами рыбный обоз, и скоро в мглистых сумерках расплылись очертания лошадей, подвод, мужиков. С высоты взгорья казалось, что на тверди скованной морозами реки образовалась темная трещина и разделила ее на две половины.

Василий Афанасьевич стоял с непокрытой головой, мял в руках лисью шапку, сквозь прищур пытался отличить одну подводу от другой, но перед глазами плыла темная полоса, и только редкие окрики мужиков глухими отзвуками ласкали его слух. Скоро все стихло, и над селом воцарилась привычная тишина. Раньше, проводив обоз, он шел домой, веселый от сознания, что все рыбные хлопоты позади и можно спокойно жить до новой путины. Он думал о том, какая прибавка будет к его капиталу и в какой оборот пустить предполагаемую прибыль. Он всегда был уверен: никто его не обманет. А сейчас его обуревали сомнения и не отпускало чувство тревоги. «Нонешний год мужиков будто подменили, будто муха какая их укусила — на слово каким-то коми-

тетчикам поверили. Того не понимают: богатством всяк силен — хоть человек, хоть власть. Ну чего есть у этой голодраной власти, кроме стола, отобранного у волостного старшины, впридачу с Саввушкой? — рассуждал купец, негодуя. — Раньше-то все горохом на берег выкатятся — обоз провожают, а тут никого нет. Вот наказанье-то. Филицата, что ли, там маячит? — заметил он женскую фигуру на берегу. — Она. Кто же еще? Молодчина баба. Не она, так Филипп давно бы учинил растрату или спился. А она все блюдет, счет ведет. Воротятся, надо будет ей подарок сделать — платок кашемировый».

Василий Афанасьевич обернулся и увидел дворника Маита. Тот стоял без шапки, кланялся в пояс ушедшему обозу. «Может, чего знает? — по-своему рассудил хозяин усердие дворника. — Ну проводил мужиков, так не до такой же степени кланяться. А может, предчувствие какое имеет? Они ведь, чернь, всяким приметам верят. Может, какой сон видел, вот и открещивается, отгоняет сомнения. В церкови-то нашей перестали служить. Не стало батюшки. Тьфу ты, прости меня грешного! Батюшка! Называть так подлеца язык не поворачивается. Сбежал. Ну и хлюст, — Василий Афанасьевич вспомнил день накануне переворота в селе, — видать, знал обо всем доподлинно. Ограбил Божий храм и сбежал без стыда и совести. Крест-то золотой был, риза тобольским митрополитом подарена — красы неописуемой. А иконостас весь изумрудом украшен. Неспроста такое богатство в храме было — за дело, за обращение в Христову веру язычников-остяков да вогулов. Нет, ранешние-то батюшки верой и правдой служили. Все помнят отца Никифора — пример богослужения и смиренности. А этот-то прощелыга не оплошал! С виду хорош — слова худого не скажешь — благообразный, мысли всегда ясные, слова сладкие клал на сердце, а, видать, нос по ветру держал. Убежал, и след простыл, как сквозь землю провалился. Если бы по ранешним временам, так вчера бы перед уходом в обоз молебен отслужили. Мужики в церковь всегда приходили. Перед дальней дорогой в жаркой бане березовыми вениками нахлещут бока да спины, выпьют по кружке бражки и стоят в покорности краснощекие. Любо глядеть. Под треск и копоть свечей просили у Бога благополучия в дороге да заступничества, а ныне — свистнули и покатили». Купец сплюнул под ноги, натянул на голову шапку, подошел к Маиту.

— Лоб-то расшибешь. Чего уж так усердствуешь?

— Ох, не приведи Бог, какую им дорогу класть надо.

— Впервой что ли? — в сердцах сказал купец.

— Не впервой, да комом как-то собрались.

— Теперь все комом. Все шиворот-навыворот, — ответил Василий Афанасьевич и пошел, еле переставляя ноги, будто нес на плечах мешок.

Мороз набирал силу к вечеру. В это время, когда земля отходит ко сну, люди торопятся управиться со своими последними делами. Село к вечеру наполняется разными звуками: окриками и разговорами, кашлем и ударами топоров, скрипом ворот и дверей, звяканьем ведер и подойников. Вечерняя мелодия уходящего дня.

Незаметно иней обдал белизной кудрявые завитки бороды, припорошил усы Василия Афанасьевича, мороз щипнул его нос и щеки. Вдруг из переулка донесся скрежещущий скрип конских копыт.

«Другого времени не нашлось напоить лошадь, — ругнул про себя купец ленивого хозяина. — Теперь, поди, и прорубь-то затянуло. Мороз силу набрал». Но тут его обдало жаром, он поперхнулся: гуськом на водопой шли его лошади. Ременный кнут с визгом резал морозный воздух, и, боясь его, лошади бежали трусцой...

Сенька, не ожидая встречи с Василием Афанасьевичем, шарахнулся в сторону, запоздало стащил с головы шапку.

«Как же так-то? Как же? — растерянно кружась на одном месте, неизвестно кого спрашивал купец. — На кой черт мне этот нахлебник? Евлампий-то говором гнал лошадей на водопой, посвистом из конюшен выманивал, ворковал над каждой, а этот разбойник... — Василий Афанасьевич сжимал кулаки. — Да к чертям его собачьим. Пусть лучше даром хлеб жрет, может, подавится моим куском, а к лошадям не допущу. Не только людям — курам на смех: в такое время купеческих лошадей к водопою гонять! Луна-то вона к горе карабкается, а он поить лошадушек погнал. Объявился тут на мою голову! Вот пойду сейчас в управу, все комитетчикам расскажу — выведу его на чистую воду. Пойду и скажу: так, мол, и так, попросил меня по дружбе тобольский купец Крашенинников взять на постой глухонемого, чтоб я его при первом же удобном случае в снега к остякам да вогулам отправил. Я пообещал, мне это дело нетрудное. Все знают: вогулы ко мне наезжают, в секрете не держу. В конюхи его определил, думал, не зря же кормить такого жеребца, Ев-

лампия держать не стал, а он мизинца его не стоит. Да, видать, и не немой он вовсе, а соглядатай. Ох, голова моя разламывается. Вот обскажу комитетчикам — они на него управу найдут. Заберут — туда ему и дорога. Одной ниткой с дезертиром Лаврентием Лазаревым связаны. Тот в голбце целые дни сидит. Ждет чего-то. Пусть бы обоих за шкирки выволокли. Тот тоже к вогулам собрался, спасения ищут».

Купец и в самом деле пошел к комитетчикам. «Дом, что ли, переставили задом наперед? Огонь-то у них почему в другой половине светится? Или уж у меня в голове все перевернулось?» — Василий Афанасьевич приподнялся на цыпочки, вглядываясь в окно. Вот зайду к ним, и все как на духу расскажу. — Схватившись за штакетину, купец было уже сорвал с гвоздя дощечку, но неожиданно мелькнула мысль: вот выхлещу вам окна! Скрежетнув зубами, Василий Афанасьевич развернулся и торопливо зашагал по широкой, тихой улице.

Луна уже успела высветить каждую избенку, баню, расчерченные жердями огородные межи. Впереди Василия Афанасьевича бежала его тень, похожая на копну сена с торчащим на макушке клоком. Он с силой прихлопнул ладонью лисью шапку.

Сенькин свист подстегнул его, и он торопливо поднялся по скрипучим ступенькам крыльца, широко распахнул дверь и в изнеможении сел у порога.

«Наплевать на эту рыбу, — услышал он над своей головой тихий голос Акулины Федоровны. — Или у нас капиталов не хватит?» Ей хотелось сказать, что копить их достаточно, что Никите на уже сколоченном капитале можно спокойно прожить жизнь. И она тут же спохватилась: ведь давала себе слово не начинать самой разговора, от которого у Василия Афанасьевича возникает зубная боль.

Акулина Федоровна тихо сняла с него шапку, отряхнув от снега, повесила на гвоздь, провела мягкими ладонями по голове мужа.

— Васька-то-шаман когда приедет?

— Пора еще не подошла, — уткнув бородатое лицо в плечо купчихи, чуть слышно сказал Василий Афанасьевич.

— Скорей бы уж, — вздохнула Акулина Федоровна. — Хоть бы от этого разбойника избавились.

— Не было печали...

— А он, Вася, вовсе и не глухонемой. Я нонче пошла в амбары посмотреть: много ли рыбы осталось. Много ее, хватит до новых уловов да еще и останется, — перешла на ше-

пот хозяйка. — Слышу: в конюшне матерится кто-то. Наша прислуга никогда не матерится, если иногда Маитко где какое слово вывернет, а тут прямо как в извозе. Я прижалась к косяку, сама боюсь, поблизости никого. А это Сенька на лошадей грозится, всякие им напасти сулит. Чем они ему не по сердцу? Для всех одно заглядение наши лошади, а он...

— Потерпи, — касаясь холодными, дрожащими губами ее руки, говорил Василий Афанасьевич. — Если чего, так я в комитет схожу. Там все наши мужики.

С этими словами Василий Афанасьевич поднялся и отправился спать.

«Сон-то потерял, — стонал Василий Афанасьевич, жалея себя. — Заботы сон отбили. Сплю как петух на жердочке. Головная боль сном лечится, и рад бы дать отдых телу, забыть обо всем, но не могу. Ну в этот ли час про обоз, про Сеньку или про комитетчиков думать?! На кой леший они мне сдались?! Сейчас бы спать, десятый сон досматривать. Ведь утро вечера мудренее, утром-то я с какой радостью все обмозговал бы. Теперь в голове только гул стоит».

Ему казалось, что он и не спал, а лай собак прослушал. Вскочил от стука в дверь.

— Шаман Васька приехал, — сказал с порога Маит. — Собаки все село разбудили. Сенька-то их палками дубасит, — судачил дворник, со сна протирая кулаком здоровый глаз. — Я уж и не знал, на какую напасть думать. Распахивать ворота-то? Али как? — повернулся к Акулине Федоровне.

— Распахивай! Отворяй, Маит, — сказал Василий Афанасьевич, для чего-то надевая новую синюю косоворотку.

На дворе тявкали охрипшие собаки. Им откликался из двора волостного старшины привязанный на цепь грозный пес Полкан. Возле ворот, окружив со всех сторон оленьи упряжки, вразнобой брехали сбежавшиеся со всего села собаки. Человек, сидевший на нартах, походил на снежный ком, если бы не отмахивался хореем.

— Кыш, по домам! Экая невидаль — оленьи упряжки! — с натугой отодвигая тяжелые ворота, бурчал Маит. — Я вот покажу вам, как сон людей разгонять, пустолайки.

Купец бежал к оленьим упряжкам, широко расставляя руки и принимая в объятия сурового, промерзшего в долгой дороге Ваську-шамана.

— Ну, слава Богу, явился. Вот радость-то, Василий Николаевич. Айда, айда, — бормотал Василий Афанасьевич. —

Найдется кому твои упряжки во двор завести. Еще найдется! Айда греться. Дорога-то какая у тебя долгая, поди, весь до косточек промерз.

Глава пятая

Наутро, после того как отправили в дорогу рыбный обоз, поднялась метель. Непроглядная белесая мгла бушевала над Обью: с завыванием и свистом переворачивала миллиарды снежинок, гнала их вдоль пологих берегов, забрасывала лодки, бани, кособокие крестьянские избы. Ее грозная сила нарастала: сорвала крышу с мехоношинской избы, вымела с поветей сено, и оно кружило над селом, подхваченное мощными потоками воздуха. Собаки, поджав хвосты, спрятались в конурах или уползли под сени изб. Бабы в натопленных избах бегали от окна к окну, вроде как чувствовали свою вину, что мужики ушли с обозом, и, не выдержав душевных переживаний, вставали возле божниц, просили у Господа Бога заступничества.

— Собаки-то уж дня три по снегу на спинах катаются. Первый признак метели, а мы не берем в толк приметы, торопимся, все поскорее, как на пожар, — выглядывая в запорошенное снегом окно, ежась и потирая руки, говорил Саввушка. — Я вон через огород пошел, так куда там, по самое брюхо в снегу увяз. А мужики как? Лошади все из сил выбьются.

Степан Петрович промолчал. Трудно было не согласиться с писарем: день — другой можно было повременить. Непогода для всех непогода.

— Ох и холодно в этой половине. У меня зуб на зуб не попадает, считай, целый час возле печки сижу, а согрева никакого, а в той половине теплынь.

Степан Петрович ощупывал ладонями потрескавшиеся кирпичи, разглядывал черные полоски, чем давал повод писарю поговорить: — И угарно тут, и непривычно, и углы какие-то холодные, и из-под пола дует. Перетащим столы обратно? Все одно, как называли этот дом управой, так и станут звать, хоть в какой половине сиди. Разве только спа-

лить его да другой выстроить и то неизвестно, станут ли называть его сельсоветом. Незнакомое слово. Для всего время надо, а мы теперь мерзни в этой половине.

Степан Петрович и сам подумывал, что поторопился с перетаскиванием столов. И, махнув рукой, решил переезжать.

Саввушка радостно хихикнул, схватился за столешницу и, кряхтя, изо всех сил поволок свой стол. Распахнув пинком дверь и не замечая наметенного в сени снега, он стал сновать из одной половины в другую: перетащил стулья, табуретки, не забыл вытащить из-под печки лампу.

— Ну, слава Богу, — радостно вздохнул писарь и, сощурив глаза, стал смотреть в белесую муть за окном.

— Парень, что из Тобольска приехал, сюда идет, — сказал писарь, вглядываясь в бесформенную фигуру человека, кутающуюся в длиннополый полушубок, обороняющуюся от яростных порывов ветра.

— Власов? — спросил Степан Петрович.

В это время распахнулась дверь, и посетитель перемахнул через порог. По виду это был совсем молоденький паренек. Не отрасти он усов, то с первого взгляда его можно было принять за девчонку. Слишком белым и гладким было его личико с веселыми темными глазами.

— Фельдшер Павел Власов, — стаскивая с головы шапку, представился паренек и, немного подождав, добавил: — Командирован в снега.

— Знаю, — протягивая руку пареньку, ответил Степан Петрович и, пристально посмотрев на Власова, отметил, что тот слишком утомлен. Ему перво-наперво отдохнуть надо, а уж потом о деле.

И вдруг Власов, вглядываясь в Голощапова, произнес:

— А я вас видел раньше, в Тобольске. Даже день помню.

— Да, Тобольск — город известный.

— Всем навеки запомнится Тобольский каторжный централ, кто побывал там, — сказал фельдшер.

Саввушка удивленно пучил глаза на паренька, не веря, что этот молоденький фельдшер побывал там. Дрожащими от изумления губами он пролепетал: «Господи, оборони и помилуй от такой напасти! Про этот централ такие ужасы рассказывают, аж мороз по коже».

Степан Петрович стоял, отвернувшись к окну, и, как показалось писарю, лицо его было почти веселое, вспыхнувшие жаром щеки выдавали его волнение.

— Я про тот день говорю, — продолжал фельдшер, — когда государь в Тобольск прибыл.

У Саввушки оживился взгляд, весь он приосанился и вдруг высказал свое соображение:

— Уж и государя готовы упрятать в каторжный централ! Все кругом рушится, а государь при чем? — Голос писаря дрожал от негодования. И скрыть он этого не мог. Но тут же, испугавшись своих слов, писарь перекрестился.

— Тебя самого бы не мешало в этот централ турнуть, ежели у тебя такие понятия, — ответил фельдшер. — Царь готов за здорово живешь отдать Россию немчине. Больно им нужны российские мужики! Немцы они и есть немцы. Кабы не в Тобольск их отправили, так давно бы за границу сбежали.

— Россию-то, поди, не взяли с собой! — проворчал писарь.

Кто-то в сенцах стряхивал с пимов снег, топтался, громыхал промерзшими половицами. На пороге появился Алексей Чудинов и с порога сказал:

— Зосима-то Кукушкин, сказывают, много ружьев в короб напрятал. Как бы с мужиками перепалку не учинил.

— Доподлинно знаю, взял, — подтвердил Саввушка.

— Чего молчал? — крикнул на писаря Степан Петрович.

— Запамятовал, — жалобно протянул писарь. — Но знаю доподлинно, своим глазами видел: складывал Зосима ружья в короб.

— Не маленький, мог и сообразить: зачем в обоз ружья?

— Так завсегда берут. Мало ли зверь какой. И гармошки берут и балалайки.

— Не те времена теперь, — ответил Степан Петрович.

За окнами не стихала метель. Саввушка ловко вскочил на стул, проверил — хорошо ли прикрыта вьюшка. Мужики встали и засобирались.

— Погодите! — закричал им вслед писарь. Когда он выбежал на крыльцо, они уже свернули в проулок. «Пущай идут, быть может, я им помехой стану», — подумал Саввушка. Он шел домой по узкой дорожке и часто проваливался в снег. От какого-то мучительного предчувствия неприятностей заломило в висках. И, уже не разбирая тропинки, он брел по снегу наугад в сторону своей избушки, мечтая скорее закрыться на крючок и лечь на печь.

Глава шестая

Олени неслись по заснеженной равнине, выбрасывая из-под копыт комья снега. Васька-шаман лежал на нарте, закрыв глаза, и думал. Он ездил кропить святой водой оленье стадо рода Гагар, где стали дохнуть олени. Он говорил: «Испугались гагары северных ветров, оставили своих детей, сидевших в гнездышке, улетели в далекую теплую страну. Оставили вас на земле северного ветра. Батюшка Нуми-Торум, защити их от смерти. Скоро прилетят их трусливые матери, принесут на крыльях тепло. Встанут на ножки маленькие олешки, подымутся на быстрые ноги уснувшие олени, и станет опять полниться стадо рода Гагар!» Там он жил три дня, три ночи, а потом в каком-то волнении поехал к жене Прасковье. Чтобы успокоить себя, он изредка зычно кричал на оленей, помахивал хореем, лежавшим возле руки. Хорей не доставал до спин животных, и рука поднималась с трудом. Что-то колыхнулось в душе Васьки. Он еще не допускал мысли о старости, но кто-то будто нашептывал ему об этом на ухо, да и руки стали ныть по ночам к непогоде. «Это злые духи мучают меня», — подумал Васька, приподнимая перед собой ладонь. Широкая, с длинными узловатыми пальцами, с круглой желтой мозолью от хорея, она показалась ему чужой. «Может, и лицо мое стало таким же старым и дряхлым? Может, шея моя стала, как у весеннего глухаря, может, спина изогнулась в нартовый полоз?» Он испугался этих мыслей, крикнул на оленей гортанно и властно. Вислоухая олениха встряхнула рогатой головой и встала. Два других оленя споткнулись, шарахнулись в стороны. Васька вскочил, обежал нарту, глубоко проваливаясь в снег, схватил за ухо олениху и сердито ударил ее по отвисшей губе.

— Жрать охота. Болото узнала! — кричал шаман, направляя упряжь. — Скоро отпущу. К Домне не поеду. Пусть. На Молебный Камень к Ваське-шаману не приедет ни одна упряжка.

Васька боком сел на нарту, олени опять понесли его по переметенной снегом тропе. Ветер трепал украшенные косы, хлесткие, острые снежинки били по лбу, по щекам, и, щурясь, он радовался их прикосновению, ощущал свежесть

и даже улавливал прилетевший с гор воздух, настоенный на сосновой хвое.

Легкая поземка заметала заячьи следы, сбрасывала с кочек снег. Васька прислушивался к завыванию ветра. Ему казалось, что он родился с этими звуками. Под эти звуки его трясло на ухабах и болотных кочках, швыряло из стороны в сторону. А когда замолкала метель, не бушевал ветер, ему казалось, что уши заложены сухим мхом.

На берегу извилистой речки показался черный сруб. От него тянулась еле приметная тропка к обрыву. Юрта старшей жены Прасковьи стояла под крутым берегом. Издали не видно было пологой крыши, занесенной снегом, и только густой дым, из широкого отверстия увала клубами сползающий к земле, да столб вылетающих искр указывали к ней дорогу.

Надвигались быстрые зимние сумерки: даль потемнела, тень от засыпанных снегом ивовых кустов отпечатывалась пятнами, будто вдоль берега разлеглись олени, повернув к юрте серые спины. Собаки, признав Ваську-шамана, завиляли хвостами, а старый Серко, потревоженный радостным визгом щенка, лениво выгнул спину и оскалился, словно нарочно показал шаману свои затупившиеся, кривые зубы.

Прасковья не слышала, как подъехала нарта. Она сидела на оленьей шкуре, сосредоточенно смотрела на пляшущие языки огня. Поставленные вдоль стенок чувала сосновые полешки нагревались на углях, желтели, блестели мелкими каплями прозрачной смолы. Потом полено вспыхивало, обволакивалось пламенем, словно отдавало лучи солнца, собранные за долгую жизнь. Прасковья размягчалась, тело слабело, безвольными становились движения.

Пламя высвечивало плоское морщинистое лицо, большой блестящий лоб, седой клок из-за правого уха. Вдруг она вздрогнула и вскочила с пола, очутилась лицом к лицу с Васькой. Вздох вырвался из ее груди, она испуганно смотрела на него узкими подслеповатыми глазами. Потоптавшись на месте, она стала помогать Ваське стаскивать через голову заснеженный савик. Торопливо и молча она хватала то одну, то другую руку шамана, тянула косматый башлык. Васька почувствовал, что Прасковья стала бессильной, но упрямо не помогал ей. «Старая олениха», — зло подумал он.

Большой савик, брошенный на пол, занял половину юрты. Забившийся в мех снег еще не таял, но запах отсыревшей оленьей шкуры уже наполнил юрту. Васька присел

на корточки возле чувала, подставил пальцы огню, пошевелил ими.

Прасковья, выскочив на улицу, притащила белую шкуру для постели, мягкие подушки из лебяжьего пуха. На груди блеснул расшитый бисером нагрудник, прозвенели прицепленные к тонким косам серебряные монеты. Васька слышал, как она, бегая вокруг юрты, отпускала оленей, прикрикивала на собак, стучала длинным шестом, прикрывая отверстие чувала. Скоро шаман, облокотясь, лежал на белой шкуре и украдкой посматривал на ловкие, узловатые пальцы Прасковьи.

«Зачем приехал Васька?» — подумала Прасковья, подставляя котел с горячей олениной. От ароматного запаха вареного мяса подкатил комок, Васька несколько раз шевельнул губами, проглотил слюну, ощущая неприятную горечь во рту. Жирный мягкий кусок Васька разжевывал крепкими, как у волка, зубами.

«Долго Васька был в дороге, — определила Прасковья. — Долго не грелся на шкурах. Разве Софья или Мария не накормят его? Нет, они не отпустят Ваську голодным. А где еще был шаман? К кому ездил? Охотники все в лесу». Прасковья сидела возле него на корточках, подставив худую костлявую спину чувалу, от которого тянуло теплом. Она заметила, как Васька осунулся, широкие скулы обтянула кожа, и видно было, как шевелятся желваки.

— Шибко много на твоем лице морщин. Худые мысли сидят в твоей голове, — неожиданно проговорила женщина. Он взглянул на Прасковью и бросил недоеденный кусок на берестяную скатерть: ему показалось, что эти слова произнес он сам. Прасковья вскочила, кинулась к двери, но Васька даже не повернул головы. Прижавшись к косяку, она стояла, со страхом глядя на шамана, и не узнавала его. Обычно Васька не прощал обидных слов, он тут же вскакивал и бежал за Прасковьей, ловил и бил ее. Он хватал ее в свои сильные руки, а она ловила их, припадала губами, целуя, потом обнимала его за шею, держалась крепко и не отпускала до тех пор, пока его не оставляли силы. Удары Васьки становились редкими, он слабел, а она, простив обиду, звала его в юрту, на теплые мягкие шкуры.

Прасковья — старшая жена Васьки. Она самая богатая. Отец Васьки привез его к ней молодым пареньком, когда умер ее муж, шаман низовой стороны. Прасковья учила Ваську песням и пляскам на Молебном Камне, кропила свя-

той водой, учила заклинаниям и игре на бубне, чтобы он смог заменить старого Тарка. «Васька тогда был могучим, как кедр, красивым, как солнце», — думала Прасковья, сделав несколько бесшумных шагов.

— Не убегай, — непривычно тихо сказал Васька, обтирая жирные руки о подол темной рубахи. — Верные ты сказала слова. — Васька просто забыл, сколько прошло лет. Васька все время думал, что старость пролетит мимо него.

— Ты не старый. Ты совсем не старый, — присев поодаль, шепотом сказала Прасковья, испытывая незнакомое чувство радости.

— «Старая! — опять подумал Васька, лежа на мягких шкурах. — Домна совсем молодая, вся блестит, как весенний березовый лист».

Нагретые глиняные стены чувала обдавали теплом, уставший и промерзший в долгой дороге Васька-шаман тяжелел от этого ласкающего тепла. Отвернувшись к стене, задремал. Он еще слышал, как тихо подползла к нему Прасковья, пробормотал что-то непонятное, но сон одолел его.

Прасковья гладила поседевшие кудри Васьки, трогала жесткие, как осенняя трава, брови и часто вздыхала, догадываясь, что на душе у него неспокойно.

Прежде чем залаяли собаки, Прасковья уловила звон колокольчиков. Она тихо сползла со шкур. Приоткрыла дверь, но не вышла из юрты. Звон колокольчиков то терялся, то вновь летел, перемешиваясь с завыванием ветра. Из-под нарты выскочил молоденький пес черной масти, принюхиваясь, он время от времени взлаивал. Словно по его команде из-под всех нарт выскочили собаки и залаяли громко, наперебой. Зная, что собаки понапрасну не лают, Прасковья стала будить Ваську.

Он просыпался нехотя, долго соображая в чьей юрте находится. Водил безразличным взглядом по потолку, прислушиваясь к неистовому лаю собак. «Кто бы это мог быть?» — подумал Васька, перебирая в памяти всех охотников, живущих в округе. Он знал, что в эту пору дома никого нет, что все охотники на промысле, а оставшиеся в юртах и чумах бабы и ребята не посмеют приехать к нему или Прасковье. «Разве купцы? И купцам рано. Купцы приезжают за мехом, а меха еще нет». — Васька встал, приоткрыл дверь, прикрикнул на собак. Старый хромоногий пес Лыско обернулся на его окрик, повернул набок голову, пропрыгал мимо, несколько раз гавкнув на бегу. Шаман схватил лежавшую воз-

ле двери палку и бросил ее в сторону неугомонных собак. Звон колокольчиков приближался. «Это колокольчики купца Федьки Рогалева. Почто так рано едет купец Рогалев?» — удивился Васька, возвращаясь в юрту.

Прасковья разожгла чувал, занесла покрывшееся инеем оленье мясо, подала Ваське красную, сшитую из атласа рубаху.

Скрип нарт, перемерзшей упряжи, тяжелое дыхание оленей, хруст снега под их ногами наполняли округу.

Федька Рогалев в большом заиндевелом савике сидел на нарте, бросив под ноги хорей. Борода, усы, ресницы и брови были сплошь покрыты инеем, при лунном свете виднелись только его глаза.

— Не признал, что ли? — раздраженно спросил он, и смутившийся шаман подал ему руку, помогая слезть с нарты. Рогалев отказался от помощи, встал, посмотрел на заднюю нарту.

— Помогай. Там сидит моя Капитолина Петровна. — Васька не сразу понял. — Баба моя там, — пояснил купец.

Шаман подбежал к нарте, устланной мягкими перинами и подушками, в которых сидела женщина, и подал Капитолине Петровне руку. Купчиха повисла на ней, навалилась всей тяжестью. Шаман испуганно смотрел на плачущую женщину и не знал, что делать.

Капитолина Петровна, оказавшись в снегу, присела возле нарт, не в силах сделать шагу.

— Обезножила в дороге. Сколько раз просил: пробеги, пробеги, так нет, — бурчал Федор Рогалев, помогая жене подняться. Громко всхлипывающую купчиху ввели в юрту, посадили на деревянную лавку. Увидев Прасковью, она перестала стонать, попыталась расстегнуть полы собольей шубы, но не могла: озябшие пальцы не слушались. Прасковья молча подбежала, так же молча помогла расстегнуть шубу. Для Прасковьи привычным было говорить с мужчинами, она знала, как распрягать упряжки, куда отпускать на корм оленей, какую стлать постель, чем угощать. Мужчины — частые гости в ее юрте, а женщины по тайге не ездят. «Русские бабы, — говорил ей Васька-шаман, — сидят дома на печках, пекут пироги, ходят в баню». «Зачем же теперь Федька-купец привез свою бабу? Она совсем не умеет сидеть на нартах», — заключила Прасковья.

Сбросив посреди юрты савик, Федька-купец крепко обнял Ваську-шамана, сморщил бородатое лицо. В ответ зап-

ричитала Капитолина Петровна, обтирая белым платочком глаза и щеки.

Васька, не зная, о чем заговорить с приезжим купцом, поторопился на улицу — стал затаскивать в юрту перину, одеяла, подушки с нарты Капитолины Петровны. Делал он это неторопливо, стараясь оттянуть время и дать купцу успокоиться после долгой дороги.

Купец вышел за ним и молча стоял, остановив взгляд на пегом кореннике.

— Долго бежал олень: кормить надо, отдыхать надо, — уловив его взгляд, сказал шаман.

— Не подохнут, а и подохнут — не больно жалко.

— Как так не жалко? — возразил Васька.

— Не жаль, да и только. Ничего теперь не жаль!

Васька схватил с нарты Капитолины Петровны шкуры и заторопился в юрту.

— Ничего теперь не жаль! — вваливаясь в юрту через низкую дверь, говорил Федор Рогалев. Васька виновато смотрел на него, на Капитолину Петровну, спрятавшую лицо в пухлые ладони. Он не мог понять, отчего так громко плачет купчиха. Если пришла к купцу Рогалеву беда, то зачем он поехал в тайгу? Зачем пригнал много упряжек, груженных ящиками? Сколько лет прожил на свете Васька-шаман, но никогда не видел и не слышал от стариков, чтобы купцы приезжали за мехами со своими женами.

— Утро вечера мудренее, Васька, — хлопнув шамана по плечу, сказал купец. — Утром и обскажу тебе свою печаль, а пока давай спать. — Он улегся на савик, уткнулся лицом в ворсистый башлык и лежал так не шевелясь. — Трое суток без передыху гнал оленей. Ладно, сегодня след твой заметил, а то хоть поворачивай, да поворачивать мне нельзя.

Васька увидел, что плечи купца вздрагивают, он не мог поверить, что Федор Рогалев плачет.

Прасковья прошептала что-то Ваське, но купец, не поднимая головы, ответил:

— Не надо никакого чаю. Ничего не надо.

В юрте долго слышались тяжелые вздохи Капитолины Петровны, потом они стали реже и совсем стихли, Васька лежал встревоженный: казалось, какой-то злой дух летал по юрте.

— Ты спишь? — услышал голос купца.

В ответ Васька повернулся на шкуре. Купец встал, молча вышел из юрты. В крохотное окно смотрела луна, и виделась сгорбленная фигура Рогалева.

— Вставай, Васька, водку пить будем, — распахивая дверь, сказал он. — Беда, Васька, пришла. Такая большая беда, что и сказать не знаю как.

— Какая такая беда? — насторожился шаман, присаживаясь на корточках к низенькому столику. Запотевшая бутыль с высоким горлышком стояла посередине. — Какая такая беда? — опять спросил шаман. — Васька помогать будет. Васька богатый. У Васьки много меха, много оленей.

— Нет, Васька, тут мехом не отделаешься.

— Как так?

— Тут только ружья надо, винтовки надо, убивать всех надо. Всех этих голодранцев — Алешку, Никитку, Ивана, Мефодия, — перечислял купец имена знакомых и незнакомых Ваське мужиков. При этом большая рыжая борода купца тряслась, пальцы дрожали, дробно постукивая о стенки бутыли.

— Васька лося бил, медведя бил, соболя, белку. Человека Васька никогда не бил.

— Дурак ты, — ответил купец, разливая по кружкам водку. На шкуре пошевелилась Прасковья.

— Садись и ты, Прасковья, — позвал Федор, знавший ее пристрастие к водке. — Выпей.

Прасковья, прикрывая лицо платком, протянула руку из-за спины Васьки, взяла кружку, выпила, захлебываясь и кашляя.

— Эх, Васька, Васька, — обтирая усы, сказал купец. Из глаз его выкатилась слеза, пробежала возле горбатого носа и спряталась в бороде. — Ничего ты не знаешь. Был купец Федор Рогалев и не стало купца.

— Как так не стало? — удивился Васька, сердясь, что не может ничего взять в толк.

— А так. Все, что было у купца Рогалева, забрали мужики. Дом забрали, коней, коров, драгу с богатым золотом.

В тишине послышался приглушенный плач Капитолины Петровны.

— Перестань ты сердце мне рвать! — прикрикнул купец, наливая в кружку водки.

— Революция свершилась в России, понял? — крикнул Рогалев.

— Нет. Не понял, — ответил шаман, услышав незнакомое, непонятное слово. — Васька не знает, что такое революция.

— А вот что это, — расстегивая ворот косоворотки, ответил купец: — Это когда охотник Егорка отберет у тебя всех оленей, а тебя выгонит отсюда. Вот это и есть революция.

— Как так Егорка возьмет моих оленей? — рассердился шаман.

— А так. Возьмет и все. И будут на оленях Васьки-шамана все охотники на охоту ездить. Меха будут сдавать не тебе, а в магазин.

Васька молчал, покусывая нижнюю губу, никак не представляя себе, как можно, чтобы кто-нибудь из охотников взял его оленей.

— На моих оленях тамга стоит. Все знают: это олени Васьки-шамана.

— В том-то и беда вся, что никто тебя спрашивать не станет. Олени будут общие.

— Нет, плохая такая революция. Васька оленей не даст.

— Спрашивать они тебя не будут. У меня вот дом взяли. Да чего там говорить, все взяли, вот только что успел прихватить да к тебе привезти — то и осталось. Больше ничего нет. Дома нет. Дороги домой нет. Если бы не убежал, убили бы или в тюрьму посадили.

Шаману и слово «тюрьма» было незнакомо.

— Кто такую релюцию делал? — спросил он.

— Большевики делали. Ленин делал. Есть такой человек — Ленин. Он и учил мужиков, как революцию делать.

— Нет! — категорично ответил Васька, обтирая рукавом атласной рубахи пот со лба. — Оленей мне отец давал. Ленин не давал. Прасковья давала — Ленин не давал.

— Хорошо тебе, Васька, — вздохнул купец, наливая в кружку водку. — Живешь, ничего не знаешь. Ездишь из юрты в юрту, из чума в чум. Когда еще сюда придет революция! И кому она здесь нужна? Будешь жить сто лет — никому дела до тебя не будет, — вслух рассуждал Рогалев.

Из-под шкур послышался монотонный напев Прасковьи. Захмелев, она позабыла свои тревоги и печали. Заунывная мелодия, похожая на плач, становилась громче, прерывалась причитаниями, и этот голос старой вогулки терзал душу купца.

Шаман осмысливал малопонятный для него разговор, он сознавал, что не так легко и просто было купцу приехать сюда, да еще с Капитолиной Петровной.

— Долго такая релюция будет? — не глядя на Рогалева, спросил шаман.

— Кто его знает? Может, и навсегда. А может, перебьют этих голодранцев и тогда вернут все. Тогда берегитесь! — крикнул Федор, неизвестно кому угрожая кулаком. И тихо,

на ухо, шепнул Ваське: — Уезжаю я. За границу уезжаю. Вместе с Капитолиной Петровной. Сын-то мой уже там. И нас через десять дней перекладные ждут. К морю куда-то повезут. Ох, и далеко уезжаю... На кой ляд мне чужая сторона, да делать нечего. Долго, наверное, не приедет к тебе в гости купец Федор Рогалев, не попьет с тобой огненной воды. — Голос купца дрогнул. При слабом свете коптилки обозначившаяся лысина белела пятном, плечи опустились, спина сгорбилась, и казался купец стариком.

Он понимал, что советская власть пришла надолго, что за нее насмерть дерется каждый бедняк, что кончилось в людях долготерпение, и уже ничего не удержит русского человека.

— Ну и пусть сменилась власть. Пусть. Земля-то, реки, леса не сменились. Все родное. Кому я нужен на чужой стороне? И чего испугался? — убеждал он себя, лелея мысль о возвращении. — Купчиха Мохнатчиха поумнее меня оказалась: добровольно отдала все. Сама во флигелек пошла жить. Хоть во флигеле, да дома. У меня вот столько лет возле окна на березе скворушко по весне птенцов выводил. А нонче прилетит — кто-то другой его песню слушать будет, — Рогалев застонал. — Сколько ни ругался, ни злобился, а по их, по мужицкой власти, вышло. А куда оно, богатство мое? Растрясут все по снегам, по копеечке рассыплют... А все равно, Васька, ненадолго уезжаю. — Купец обнял обеими руками шамана и стал целовать его в лоб, щеки.

«Видно, сильная эта релюция, если так ревет купец Рогалев», — думал шаман.

— Я тут привез тебе свое добро, Васька. Спрячешь его на Молебном Камне. Куда мне с ним? Возьму один воз да золотишко. А остальное все здесь. Все к тебе привез.

Васька молчал, будто прислушиваясь, о чем поет пьяная Прасковья.

— Чего молчишь? Онемел? Или места в твоей тайге мало?

— Места хватит, — машинально ответил шаман, но купцу показалось, что говорит он как-то неохотно. — А сюда релюция не придет?

— Какая тут революция, и кому она нужна в этом таежном крае? — вздохнул Федор. — Живи себе на здоровье, молись идолам, лечи людей, собак, справляй праздники. Лес, зверь, снег — кому это надо?

Приближался рассвет. Далеко за лесом показалась узкая светлая полоска. Деревья вытянули вершины и четко прорисовывались на небе, озаренном первыми лучами солнца.

Поднявшись, Федор неверными шагами вышел из юрты. Сильный порыв ветра принес из хвойного бора с берегов реки запах земли, и этот запах болью и тоской отозвался в душе Федора. Бессильно опустив руки, он смотрел и смотрел на румяный восход солнца, словно навсегда прощаясь с этим самым красивым на всем белом свете краем.

Все валилось из рук, падало под ноги, и Рогалев не наклонялся, не подбирал упавшее — распинывал его по сторонам. Капитолина Петровна, достав из-за пазухи иконку, молилась, боясь посмотреть в сторону мужа.

— Это все, Васька, отвезешь к себе на Молебный Камень. Поставишь там хорошенько, по-хозяйски. Прибережешь до моего возвращения. — Он ходил вокруг нарт, ощупывая каждую. — На этой нарте ковры разной работы, на этой два сундука материй и заграничные сукна, на этой — шелковые полога. А тут, — он искоса взглянул на Капитолину Петровну, — тут, Васька, нарта с утварью и посудой. Она самая дорогая. — Купец зло пнул ногой по полозу нарты. — Тут вдоль обоих полозьев спрятано золото. Видишь жестяные заклепки? Его на всю жизнь и мне и тебе хватит. Ты эту нарту в сторонку поставь, чтобы сумление ни в ком не вызывала. Мало ли сколько старых нарт у Васьки-шамана? — Перед его глазами промелькнула шахта, горы золотоносного песка, мужики с кайлами и лопатами, драга, веселый говор баб, промывающих породу, шуршание песка и гальки. Этот шорох стоял у купца в ушах, и он не мог освободиться от него.

— Ты поставь мне на хорее свою тамгу, — попросил он шамана, не отводя взгляда от нарты. С ней каждый охотник покажет мне дорогу.

— Не торопись. Живи тут. Юрту рубить будем. Живи, — радушно приглашал шаман, чувствуя, с какими нелегкими думами собирается в неведанную дорогу купец. — Снега много, морозу много, зверя много.

— Все-то ты знаешь, все разумеешь. И на добром слове спасибо тебе, Василий. Может, и сделать по-твоему, стать охотником... Чем плохо? Живешь же ты тут господином. А там время все на свою дорогу выведет. Теперь ведь, наверное, многие в леса подались! Кто где свое спасение искать будет. У голытьбы нынче звездный час. А ты, Василий, перед каждым-то добротой своей не щеголяй. По доверчивости тебя еще в какую-нибудь беду втравят. Оберегайся чужих.

Вас, лесных людей, Бог добротой наградил, а худому человеку она только на потеху. А я, видать, с нечистой силой обвенчан. Ехать мне надо и все тут!

Прасковья запрягала оленей. Отдохнувшие за ночь животные стояли спокойно, изредка взмахивая головами, и от ременной упряжи с нашитыми вокруг шеи колокольчиками по округе летел перезвон. Прасковья гладила оленьи морды, стряхивала со спин снег, похлопывала сухой ладонью крутые бока, каждым движением выражая свою любовь.

Протяжно скрипнула дверь. Тяжело и неловко переставляя ноги, вышла Капитолина Петровна. Она сощурилась от яркого света, сияющей белизны снега. Покрасневшие, опухшие веки вздрагивали, равнодушный, безразличный взгляд блуждал по всему, что было вокруг.

— Ты, Василий, дай мне свой охотничий нож, который я в прошлом году подарил тебе на празднике. Только не побидься на меня. Век бы не попросил, да надо. Для дела надо.

Васька-шаман посмотрел на купца, нащупал рукой деревянные ножны на поясе, вынул охотничий нож с расписной рукояткой из слоновой кости, не глядя подал Рогалеву.

— Этот нож мне на заказ в Тобольске один косторезный мастер делал, — голос купца дрогнул. — Но теперь, Васька, не про то речь. Если вдруг нам с тобой больше не доведется свидеться, — отдашь мои нарты человеку, который передаст тебе этот нож. Такого ножа ни у кого нет. Ты его сразу узнаешь.

— Как не узнаю! — ответил шаман.

Рогалев трясущимися руками вертел в руках нож, трогал острое лезвие, нервно покусывал посиневшие губы.

— Ты понял, что я тебя прошу?

— Как не понял! Все понял.

Федор Рогалев встал на колени возле нарт и стал молиться, прося Бога поскорее пронести это смутное время. Он знал, что не будет в его душе на чужбине покоя, не вернутся к нему силы, а плачущая душа будет неистово тосковать по всему родному. Приподняв голову, он посмотрел в заснеженную даль и будто услышал вдалеке призывные звуки. Он вскочил, отряхивая снег с коленей, и помог Капитолине Петровне поудобнее сесть на нарту.

Васька провожал убегающие упряжки купца Федора Рогалева, которого до смерти напугали большевики. Ему, Ваське, трудно было понять страхи купца Рогалева и его стремительный отъезд.

«А вдруг эти большевики уже пришли в тайгу? — подумалось ему. Видел же он вчера чей-то запорошенный нартовый след, но не остановился, не посмотрел. — Может, они только на Урале? Может, в верховьях Оби нет этих большевиков? Тогда зачем Федор Рогалев погнал упряжки вниз по Оби, к морю?» Невольно взгляд шамана остановился на нартах Федора Рогалева, и он, верный данному слову, решил ехать на Молебный Камень — к старой юрте, где живут его идолы.

Весь день шаман был в дороге. Он по-особому, по-хозяйски вглядывался в леса, в болота, в озера и речушки, встречающиеся на пути, — они принадлежали ему. У подножия Молебного Камня стоял могучий сосновый бор. Желтостволые деревья с кудрявыми кронами укрывали его от больших снегопадов, собирая снег на пушистых ветвях. Метели облетали бор стороной, и в любую погоду здесь стояла глухая тишина. На крайних деревьях висели шкурки белок и горностаев, черепа зверей и птиц. Искусной рукой Васьки были вырезаны деревянные идолы, измазанные кровью жертвенных оленей. Возле высокой сосны с темным дуплом стояла старая юрта. Метель замела к ней все следы, и она сиротливо покосилась на один бок. Оленьи и лосиные рога украшали стены старой юрты. Отбросив в сторону сосновую жердочку, прикрывавшую дверь, он стал отгребать ногой снег. От легкого удара по косяку в снег свалились рога. Васька вздрогнул, отскочил в сторону, увидел в этом недоброе предзнаменование. Он долго смотрел на упавшие рога, и какая-то непонятная сила медленно подкрадывалась, разрушала в нем всегда живущую веру в силу всемогущих богов.

Шаман резко оттолкнул дверь, она проскрипела протяжно и жалобно. Тусклый свет, проникающий через крохотное оконце, освещал темные углы, покосившиеся нары с белыми оленьими шкурами, разбросанные по полу маски и бубен с бубенцами. Чужой показалась старая юрта, в которой он всегда находил успокоение. Руки шамана дрожали. Он заметил это, когда разжигал чувал. «О чем всегда думают люди, опускаясь на колени и с надеждой всматриваясь в выпуклые глаза деревянных идолов? Просят ли они то же самое, что просит в своих молениях шаман? — думал он. — И буду ли я теперь просить своих духов о пище, здоровье, хорошей охоте бедным охотникам? Буду ли молиться о Домне, которая прячет от меня глаза?»

Сидя в сумерках возле разгоравшегося чувала, он не находил успокоения. За стенами юрты крепчал мороз, на равнинах, за бором, бушевала и выла метель. Захотелось закрыть глаза, уснуть, увидеть во сне голубое небо, тайгу в цвету, караваны пролетающих птиц, но сон не приходил. Пересилив себя, снял малицу и начал готовиться к молению. Вымыл снегом лицо, достал из ящика рубаху старого шамана Тарка, его пояс, его песцов. Сегодня Васька вынул черных соболей и белых колонков, приготовил много масок птиц и зверей. Приоткрыв дверь, приложил к косяку ухо — вслушивался в вечерние голоса бора, всматривался в побледневшее небо, в луну, которая от темно-зеленой хвои стала голубоватой и, остановившись на другом краю неба, не собиралась уходить, зная, что до утренней зари еще далеко.

«Буду ждать утра», — подумал он, зная, что небесная мать живет на востоке у солнца и каждое утро на кончике солнечных лучей присылает на землю души рождающимся людям.

Всю ночь шаман был словно в бреду. Но вскочил со шкур проворно, как только на небе стали появляться первые лучики далекого солнца. Начал развозить нарты с добром купца Рогалева: одну увез к подножию горы, другую — к старому кедру, третью оставил возле кустов, а четвертую — самую старую — с полозьями, набитыми золотыми слитками, опрокинул за юртой, рядом со сгнившими шкурами жертвенных оленей.

Вернулся в юрту усталым не от дел, а от дум о купце Рогалеве. Разжег чувал. Веселые огоньки заиграли на сухих полешках, светились бликами на полу, на оленьей шкуре. Огонь, живое существо, бывает добрым и злым, рождается и умирает. «Огонь умеет говорить, — рассуждал Васька, — но не всякий понимает его язык». В шипении разгоревшихся дров ему слышалось: «Погибнет Федор, погибнет Федор».

В бору проскрипело подсохшее дерево, треснула от тяжести снега ветка, вспугнув присмиревших оленей. Васька стремглав побежал к нарте, выхватил из-за пояса нож, ударил под левую лопатку сытого оленя, принося его в жертву. Пронесся протяжный храп, не успевший вырваться мычанием. Тяжелая голова животного качнулась на шее, словно раздумывая, в какую сторону упасть, вздрогнуло тело и повалилось в снег. В судорогах задние ноги пробороздили копытами гладкий наст. Несколько темных капель крови

окропили снег, и Васька-шаман припал губами к пораненному месту, отхлебывая теплую, как молоко, оленью кровь. От оленя пахло шерстью, потом и парным внутренним духом. Скоро шаман стал ощущать солоноватость на губах, прилипшую ворсинку и улавливать легкое шуршание тающего под коленями снега.

С трудом поднялся на онемевшие ноги, холодными липкими ладонями ощупал одежду и лицо и в изнеможении рухнул на шкуры. И сразу потеплело на душе, он явственно ощутил удары сердца, услышал свое дыхание, перевел взгляд на жертвенный нож, испещренный знаками тамги и глубокими зарубками, уверовав в то, что с его помощью к нему вернулось просветление. Со вздохом он взял нож, увидел вспыхнувшее от солнечного луча лезвие, и спрятал под широкую плаху над дверью.

«Может, к купцу Мялищеву поехать? — мелькнула мысль. — Может, Василия Афанасьевича не выгнали большевики? Может, он живет-поживает, горя не знает?»

Олени понесли нарты по вчерашней тропе, уже переметенной на низких местах. Некормленные ослабевшие олени набычились, подставляя встречному ветру широкие лбы, часто останавливались, пытаясь свернуть к болоту. Снежинки падали на лицо. И все перед глазами мелькало в белой снежной мути, расплывчатой и безбрежной.

Вдруг олени остановились. Шаман соскочил с нарт. Он увидел свежий след оленьих нарт, который вел в сторону Молебного Камня. Жаром охватило тело, мелкой испариной покрылся лоб, и шаман не мог сообразить, пот это или растаявшие снежинки. Прикрыв глаза, он стал приглядываться, намереваясь взглядом промерить след, и быть может, увидеть убегающие упряжки. Олени шумно дышали, выдувая ноздрями ямочки в рыхлом снегу. «Может, это большевики? — подумал Васька. — Может, они, как говорил купец Рогалев, поехали торговать с охотниками?» — Приподняв над оленьими спинами хорей, шаман крикнул во всю силу, услышал свой голос, летевший по заснеженной равнине.

Он хотел объехать юрту Прасковьи, но, подумав, что к купцу нельзя ехать без подарков, свернул к реке. Мысли о богатстве купца Рогалева, как ему показалось, остались там, на Молебном Камне, он захоронил их вместе с оставленными ящиками и сундуками.

Прасковья, узнав о намерении шамана ехать к купцу Мялищеву, ойкнула, прижала руки к усохшей груди. Погру-

женная в мысли, что, быть может, никогда больше не увидит Ваську-шамана, Прасковья достала красную рубаху с белыми перламутровыми пуговицами, новые белые унты и малицу.

Выложив все на середину юрты, заплакала, и Ваське, как никогда в жизни, стало жаль ее, но он не знал слов, какими можно остановить слезы женщины. Он просто никогда этого не делал, он твердо знал одно: слезы приходят и уходят. Прасковья, наклонив голову, видела ноги Васьки в расшитых кисах с разноцветными кисточками из шерстяных ниток.

— Не езди, Васька, — сказала она, побледнев. — Разве плохо тебе живется?

Он уехал в ночь на двух сытых упряжках с богатой поклажей дорогих мехов.

За три дня езды оленьи упряжки оставили позади много урманов и янг, рек и перелесков. Впереди показались крутые берега великой реки и темный пихтовый лес. В стороне стали попадаться охотничьи лыжни, проезжие сеновозные дороги. Васька остановил оленей, поправил упряжь, колокольчики, старательно выколотил забитый снегом савик.

Шамана волновала встреча с купцом. Возгласы Василия Афанасьевича: «Дружок! Василий Могучий! Бог прислал тебя ко мне» — насторожили шамана, и он подумал, что и сюда пришла страшная релюция.

Исподлобья бросая взгляд на купца, Василий Могучий обнаружил в нем перемены. Лицо показалось ему серым, осунувшимся.

Он повел шамана в верхние комнаты, где раньше тому никогда не доводилось бывать. На стене в комнате пошевелился человек. Шаман смутился, догадавшись, что на него смотрит его собственное отражение. Он сделал еще несколько движений, робко подошел поближе, поправил взлохмаченные волосы. «Какой старый стал», — мелькнула мысль, и он круто повернулся спиной к зеркалу.

На столе шумел самовар. От фарфорового чайника шел пар, вкусно пахло чаем, рыбными пирогами, шаньгами. Купец бренчал посудой, отыскивая рюмки в настенном шкафу.

— Давай, дружище, погрейся с дороги. Давай погрейся, дорогой Василий Могучий.

Шамана клонило ко сну. Он мучительно пялил глаза, но не мог удержать головы, которая откидывалась то в одну, то в другую сторону. Не было силы одолеть дремоту.

— Ну и времена пошли, Василий! Ну и времена. В своем доме приходится шепотом говорить, — разливая по рюмкам водку, говорил купец, и его редкие вздохи, дрожащий голос, боязливый взгляд казались шаману похожими на рогалевские.

— Каким ветром занесло тебя в наши места, Василий Николаевич? Просто так тебя не заманишь. — Купец искренне дивился появлению в селе шамана.

— Шибко на улице холодно. Шибко. Охотник из урманов ишо не пришел. Я мехов привез. Хорошие меха. Прасковья дала.

Василий Афанасьевич понял, что шаман не хочет отвечать на его вопрос.

— Тебе хорошо, Василий. Живешь в тайге, в тишине. Я думаю к тебе приехать. Что вокруг делается — глаза бы не глядели. Все вверх тормашками летит.

«Вот она какая релюция. Плохо, видно, живется купцам в своих больших домах», — думал шаман.

— Бежать надо! Бежать, — все говорил и говорил Василий Афанасьевич. — Никаких мехов твоих не надо, Василий. Все равно все прахом пойдет. Люди все как сдурели. Бежать надо. Да куда бежать?

— Федька Рогалев к океану бежал, — сказал шаман.

Василий Афанасьевич враз уронил голову.

— Скрылся! Успел! — В глазах купца потемнело, к горлу подкатывала тошнота. — Давай, Василий, спать. Ничего не говори, ничего не спрашивай.

Пошатываясь, купец повел шамана в большую комнату, к мягкому дивану. В это время и раздались два выстрела.

— Совсем рядом ружье выстрелило. Совсем рядом, — встревожился шаман.

Глава седьмая

Зимой утро начинается задолго до рассвета. Человек чувствует его приближение и просыпается от каких-то тихих внутренних толчков. Сон отходит медленно, ему на смену торопятся мысли о неотложных делах.

Ефим три дня был в полубреду. Когда он открыл глаза, на дворе стояла ночь. Прислушиваясь к ровному дыханию Даши, он сполз тихонечко с кровати и на цыпочках, боясь скрипа рассохшихся половиц, подошел к окну. Облокотившись о подоконник, рассматривал освещенную луной дорогу и по ней пытался определить: прошел ли, отправлен ли мялищевский обоз. Но метель успела замести санные следы. «Кто пошел с обозом? Нельзя было отправлять его без опытного человека. Каратели неминуемо попадут им навстречу, — терзала мысль, но тут же он старался успокоить себя. — Да Степан-то Голощапов не дурней меня. Больше моего знает».

Перед рассветом, как бы отходя на отдых, мороз еще раз пробежал по селу, звонкими щелчками треснули на заиндевелых стеклах узоры куржака, из проморозенных углов полз по половицам жгучий, студеный воздух.

— Простудишься, — будто кто-то не сказал, а дохнул над ухом. Это говорила Ефросинья Алексеевна, спавшая с ребятишками на печи.

Последние дни она не то чтобы хворала, а просто вдруг обессилела. С вечера лезла на печь, прижималась спиной к прокаленным кирпичам, грела поясницу, которую будто разламывало пополам.

— Не знаешь, обоз-то как? — спросил Ефим.

— В тот же день мужики отправились, не замешкались. На, брось под ноги, — протянула она рукав от старой шубейки.

Во сне захныкал Сергуша, приподнял над подушкой вихрастую голову, поглядел сонными, бессмысленными глазенками.

— Спи, спи, голубок, — воркующим шепотом говорила Ефросинья Алексеевна, не сводя глаз с сутуловатой спины сына. Вздохнула незаметно: «Как быстро пролетели годы-то. Ничего ты не видел, Ефимушко. Прости меня, грешную.

Ничего, окромя нужды и забот, не досталось на твою долю. Вот уж и спину согнуло, а жизни не видел. Как сами были горемычные в вечных батраках, такую, видно, и вам долю оставляем. Вроде и ерепенитесь вы, об чем-то думаете, только не под силу вам, не под силу!» Тяжелый вздох вырвался из груди Ефросиньи Алексеевны.

— Захворала, что ли? — шепотом спросил Ефим.

Выстрел громко ухнул над селом, но тишина будто проглотила его. Тем не менее люди уже вскакивали с постелей, подбегали к окошкам.

— С реки, с реки стреляли! — кричал Маит на всю улицу, на бегу застегивая полушубок. — Я токо услышал удары пешни — проснулся. Токо достал с печки пимы, токо вышел на крылечко — и тра-а-а-а-ах! Та-ра-рах! Чья-то тень мелькнула по подберегу, — перепуганный купеческий дворник бежал через проулок к реке.

— Алеха! Это же Алеха Чудинов! — закричал Маит, остановившись возле проруби в растерянности. Перед ним лежал неподвижный, безмолвный Алеха.

— Кто стрелял? Кто? — спрашивал Степан Голощапов, заталкивая на ходу в валенок угол суконной портянки.

Сбежавшиеся к проруби сельчане стояли безмолвно, склонив головы, словно каждый чувствовал свою вину.

Неистовый голос Клавдии Чудиновой заглушил всхлипывания баб.

— Чуяло мое сердце, чуяло. Говорила, недалеко до беды, — причитала Клавдия. И только коснувшись холодного лица мужа, словно обожглась: — И на кого нас оставил? Как жить-то без тебя станем? Как жить-то без тебя, отца-кормильца. — Причитания неслись над селом, и каждое слово отдавалось в звонком морозном воздухе.

Мужики подняли еще теплое тело Алексея и понесли осторожно к дому. На снегу осталось темное кровавое пятно, тут же припорошенное морозной пылью.

— В спину. В спину выстрелили, — поддерживая голову Алексея, говорил Власов.

Степан Петрович в первые минуты растерялся, но тут же пошел напрямик в сельский совет. Он не сел, а грохнулся на стул, положив голову на руки и не обращая внимания ни на шаги, ни на разговоры.

— Собрать всех комитетчиков, — услышал Саввушка.

— Ага. Я мигом. Дунька в один конец села побежит, я — в другой.

— Кто же стрелял? Кто? — спрашивал Степан Петрович пришедших в совет мужиков.

— Купчишки особняком живут. У всех ворота на палках, да псы на цепях носятся. Кто там у них прячется? А, видать, прячется, — говорил Митрич.

Митрич уже лет пять как квартировал у многодетной солдатской вдовы Ольги Суховой. Уж какие были между ними отношения — одному Богу известно. Только по первым годам каждое его подсобление Ольге вызывало толки: мол, все это неспроста. Какой это мужик, что живет возле здоровой бабы, да не воспламенится.

Хозяйку свою Митрич навеличивал по имени и отчеству — Ольгой Марковной, никаких обидных слов в ее сторону не допускал. Ребятишки, а их у Ольги шестеро было, росли помощниками.

Квартирантом был в суховском доме Митрич, а как сказал, что на Север дорога предстоит, Ольга всплакнула. Митрич даже растерялся, заныло сердце, и он вдруг понял, как славно жить под теплой крышей среди хороших людей и знать, что тебя ждут, а быть может, как своего, жалеют. Но раздумывать над этим у него не было времени. Надо было выезжать на Север, объехать многие стойбища. Ладно бы налегке, а то трое груженых саней! А тут беда с Алексеем!

— К купцам дороги ведут, больше и грешить не на кого, — негодовал Митрич. — К Мялищеву ночью Васька-шаман приехал. Наверное, мышью спрячется и носа не покажет. И кто бы о нем знал, если бы Маит ворота с речной стороны раньше не отворил, да собаки на все село лай не учинили?

Вот на Урале у купчиков имущество конфисковали, а кто супротив законной власти голос подал — под ружье! А у нас? Только и есть, что не стало волостного правления. И Нестор Прохорович, и Василий Афанасьевич или хоть этот жадюга Земцов живут в свое удовольствие да за нами поглядывают, вслед нам плюют, да своего часа ждут.

Вошел Ефим Дорошин, он был бледен и слаб:

— На Урале проще: там заводы, рабочий класс, в руках кое-что покрепче наших граблей да литовок. А убийцу искать надо — далеко не ушел. Метель следы порошит. Маита звать надо — он вроде кричал: тень чью-то видел. Наверное, помнит, с какой стороны выстрел грянул.

Утро распахивало даль. Тяжелые грузные облака ворочались в ожидании порывистого ветра, готовые высыпать на равнины, покосы, крыши домов снежную лавину.

— Поезжайте, Митрич, — сказал Степан Петрович. — Ждать нечего. Поторопитесь.

«Нам только подпоясаться», — Митрич хотел сказать, что Алексей еще со вчерашнего вечера проверил груз, обвязал его рогожными кулями, но слова застряли в горле.

Дороги Лаврентия Лазарева и Шитоева перекрестились еще на фронте. Шитоев помог Лазареву дезертировать, с полгода они жили в какой-то деревне, а потом стали пробираться на Север. До Тобольска добрались без всяких приключений, документы были в порядке, а потом пробирались как придется.

К своему селу Лаврентий подходил, как к месту казни. Он не увидел ни одного огонька, если не считать свет в избушке старой Лупентихи, но и в темноте он сразу отыскал крышу своей избенки. «Лучше застрелиться, — вздыхал он, нащупывал за пазухой пистолет, из которого не сделал ни одного выстрела. — Зачем мне этот поручик Шитоев? Как проходить мимо своего дома? Легче еще пройти тысячу верст, чем десять шагов мимо своих ворот. Господи, наказанье-то какое, я ведь дезертир при старой власти, а при мужицкой-то, поди, и нет. Чего ее бояться? На кривую-то тропинку легко сворачивать, а потом на широкую как выходить?» Порой ему казалось, что он кричит и голос его слышат во всем селе, порой ему чудился голос Анны, зовущий его домой. Лаврентий уткнул лицо в рукавицы. «Замерзну тут, как бездомный пес. На что человеку жизнь дана? Не для того же, чтобы, перетерпев столько мытарств, окочуриться возле своего порога! Господи, лучше бы не видеть этих белых наличников!» Он приподнял щеколду, сел на сосновый чурбан, поставленный на попа.

— Так и знал — не устоишь! — вздрогнул он от хриплого голоса поручика Шитоева. Хотелось упасть здесь, во дворе, и лежать, не поднимая головы и не открывая глаз.

— Не дури, — приподнимал Лаврентия за ворот полушубка поручик. — У купца отсидимся. Потом на Север пойдешь, на все четыре стороны.

— На какой мне ляд четыре стороны? Мне одной своей до смерти хватит, — Лаврентий, скуля, на четвереньках выполз из собственного двора.

— Недолго, Лаврентий, осталось. Сам посуди, какая-то сотня шагов. Давай, не дури.

Лаврентий, не в силах говорить, молча кивнул и, пошатываясь, пошел с Шитоевым к калитке купца Мялищева.

Василий Афанасьевич встретил Сеньку Шитоева прохладно, сразу определил место в конюховке. Узнав в солдате с обмороженной щекой Лаврентия Лазарева, перекрестился, хотел было позвать кухарку, чтобы та сбегала за Анной, но Шитоев процедил:

— Твое дело держать язык за зубами. Запомни, почтенный, с этим и жить станем.

Три месяца просидел Лаврентий в подполье конюховки, по вечерам слушал ругань поручика. Лишь ночью, взбираясь на крышу сарая, видел лошадей, везущих с покосов сено. Сельчан узнавал по походкам, кланялся каждому в спину, слизывая слезы с усов.

В одну из ночей в конюховку пришла Анна. Сквозь щель в западне увидел он узловатые руки, сложенные на груди, увидел круглое лицо с вздернутым носом и настороженные глаза.

— Где он? Может, записка та с фронту, — говорила она сама с собой, веря, что купеческий конюх в самом деле глухонемой. — «Глухонемой» вроде бы улыбнулся, встал на западню, топнул ногой. Это был условный знак Лаврентию. Западня приоткрылась, и Анна, увидев обросшее волосами чудище, попятилась к двери.

Лаврентий, выползший наполовину, уткнулся лицом в пол и заревел навзрыд. Анна птицей вспорхнула от порога, упала рядом, лихорадочно ощупывая голову, лицо, плечи Лаврентия, и запричитала...

— Такая, видно, твоя доля, Лавруша, — вздыхая, примирительно говорила Анна, помолодевшая от жадных желаний Лаврентия. «Даша-то, Даша Дорошина все бегом, все с улыбкой. Голым-голехонька, а уж веселости не занимать», — с завистью думала Анна, убегая глухой ночью через подворотню мялищевских ворот.

Как-то, прибежав в конюховку в полночь, притащила в подоле картофельных шанег. Лаврентий, то ли нездоровилось ему, то ли устав от вонючего подпола, разговаривал мало, ни о чем не спрашивал. Ел вяло, как-то не по-людски, наклонив над лавкой голову. Крошки сыпались изо рта, попадали на бороду, повисали на усах, а он жевал хрустящие корочки крепкими зубами, и ей чудилось, что он мурлычет, как голодный кот. «Так и дичают люди», — вздохнула Анна.

— Завтра мужики к вогулам едут. Хлеб им бесплатный везут. Прямо так, привезут в чум и отдадут — ни денег, ни мехов не возьмут. Запрещено новой властью. Митрич с Алек-

сеем Чудиновым собираются, да с ними парень молодой, фельдшер из Тобольска. — «Глухонемой», лежавший на лавке возле порога, заворочался, заскрипел просохшими досками лежанки. — А Даша Дорошина с Ефимом в Реполово собрались. Она прибегала, у меня бусы попросила. Помнишь, ты на ярмарке мне покупал. Камушки такие желтенькие, точеные. Я уж сама-то их надену, когда ты домой придешь. Ребята тебя ждут — дни считают. Я сказала, будто ты из Тобольска письмо прислал и скоро сам объявишься. Теперь если где кто стукнет — они к дверям.

— Ефим-то зачем туда? — спросил Лаврентий.

— Да у власти какие-то свои дела. Даша говорила, да я в толк не взяла. На что мне знать про все это?

С самого утра Сенька Шитоев следил за избой Алексея Чудинова. Гонял лошадей на водопой и увидел: грузят три подводы, стягивают поклажу веревками. Не пропустил Митрича, который водил в кузню подковать лошаденку. «Вроде все верно болтает Анна», — доставая винтовку, подумал поручик, и совсем было собрался выйти, да собаки подняли небывалый лай.

— Сейчас успокою одну, — буркнул он сквозь зубы. Лаврентий, нервно покашливая, припал к подоконнику, долго приглядывался и, приоткрыв дверь, шепнул:

— Погоди. Там, однако, вогулы приехали. Гляди, сам хозяин бежит.

Шитоев разразился бранью.

— Ты чего, Семен Фролыч? Это ведь на наше счастье. С ними уедем. Считай, сам Бог послал. В такое время вогулы не приезжают. Кто-нибудь их побеспокоил. Чего им делать в селе в такую пору? Сейчас все на охоте. Самая охотничья пора. Я вот тоже люблю лесовать. Дал бы Бог выползти из этой могилы, — разговорился Лаврентий, смахивая кулаком слезы. — Вот и Маитко носится.

— По этому одноглазому пуля тоскует. Кривой, а все видит, все слышит.

— Ты бы только и играл с этой игрушкой, — укоризненно сказал Лавретий, отодвигая подальше винтовку.

Они снова припали к окну. Распахнулась дверь, и Василий Афанасьевич выбежал навстречу приехавшему.

— Наверное, сам Василий Могучий, шаман. Больше никого хозяин так встречать не станет.

Маит цыкнул на собак, и они, поджав хвосты, попрятались в конуры.

— Ну, с Богом! — подбодрил себя Шитоев, когда во дворе стихло. Как волк из логовища, крадучись, вышел он из ограды, сжимая кулаки в кипящей злобе на все, что происходило вокруг: и на то, что живет в неведении, и что вынужден гонять лошадей, притворяться для всех глухонемым, и на то, что сам напросился в этот туземный край. Не подвернулся бы Лаврентий — не было бы и соблазна. «Местный, все тропы-дороги знает, а трус. Связался!» Холод пронимал до костей. Он стал подпрыгивать, стараясь согреться. Уже нет сил держать курок наизготовке и скрюченный в напряжении палец. Еще немного, он сорвется и выстрелит в мглистое небо, в метельную мглу, в снег, в стог сена, в крышу дома, в прохожего человека, в оленя, в собаку! В черта! В дьявола! Хоть в кого!

Алеху Чудинова Шитоев все-таки укараулил. Увидев его с пешней, смекнул: пошел долбить прорубь. «Лошадей перед дорогой напоить собрался», — шептал Сенька. Он даже не целился. Казалось, только нажал на курок — и глухой выстрел сбросил с него напряжение. Он захохотал и даже подпрыгнул, когда увидел, что не промахнулся.

В конюховку он не бежал, а полз по снегу. Пробравшись в свою нору, сплевывая, изрек:

— Прикончил одного комитетчика.

— Кого? — оторопело спросил Лаврентий, придерживая головой западню.

— Одного из троих, кто к туземцам собрался. А завтра этого Дорошина приголубим, и можно в леса. Верно сказал: туземец на счастье приехал.

— Ефима? У меня рука на Ефима не подымется. Стрелять — не стану. Из-за этого с фронта сбежал, а тут в своих пулять! Даже думы такой не держи, Семен Фролыч.

— Замри! Не рви душу, — цедил Шитоев. — Куда ты денешься? Одной веревочкой связаны.

Терпение у Шитоева иссякло. Раздражало буквально все: конюховка с крохотным грязным окном, висевшие на стене хомуты, от которых несло лошадиным потом, грязный пол, грязная постель, шорох ползающего в подполье Лаврентия. Грохнувшись на лежанку, скрежетал зубами, проклиная все на свете. Сейчас он был готов покончить все одним нажатием курка, от этой мысли Шитоев вскочил и долго сидел в задумчивости. «Все. Только бы к этим вогулам съездить. Узнать, что там и как. На что этим туземцам какая-то новая власть? Старой власти до них не было дела, а этой,

народной... — Тут Сенька сплюнул — подступила тошнота. Он прокашлялся. — А уж этих, Господи, прости, голодранцев, назвать «властью» и язык не поворачивается. У самих заплата на заплате, а к вогулам едут, хлеб бесплатный везут. Увезут — ни денег, ни мехов не возьмут. Запрещено новой властью», — Шитоев вспоминал разболтавшуюся на радостях жену Лаврентия и сгорал от нетерпения во что бы то ни стало остановить комитетчиков. «С одним покончено. В селе переполох, но этот Митрич не побоялся уехать вдвоем с фельдшером. Ничего, еще встретимся на узенькой дорожке. Ждать осталось недолго. А напоследок еще Ефима Дорошина прикончить. Так и отблагодарю сатаровцев за приют», — цинично рассуждал Шитоев, обозлившись на весь белый свет за несостоявшуюся жизнь.

Ефим Дорошин недомогал, но откладывать поездку в село Реполово было нельзя. Зашифрованная Никитой Мялищевым записка подтверждала, что в этом селе верховодил купец Яков Лапшин, агитируя мужиков остаться в селе и хлебом-солью встретить вооруженные отряды. Он хотел общими усилиями вернуть извечный покой и порядок. Ему за это была обещана должность волостного старшины. В торговом деле он был в постоянном убытке, держался только тем, что от отца осталось. А коль будет власть, то прожить можно будет и без торгового дела.

Вот и собрался в Реполово Ефим Дорошин помочь сельским активистам развенчать перед сельчанами лапшинские байки да и самого купца приструнить, а то он что-то вдруг гоголем заходил.

Езды от Сатарово до Реполово полный день на сытой лошади. Даша обрадовалась поездке в родную деревню. Три года не была, хотя вроде и рядом совсем. Ефросинья Алексеевна посоветовала снохе надеть батистовую кофту, чтобы не выслушивать деревенских судов-пересудов, что, мол, в чем из дому ушла, в том и явилась. Нитка бус, взятых у Анны Лазаревой, оказалась кстати, подходила к Дашиным большим зеленоватым глазам.

— Поезжай-поезжай, — подбадривала Ефросинья Алексеевна сноху. — Да и Сергушку возьми. Сколько разов обещала. Бабушка-то Полина его только младенцем видела.

Выехали пополудни. Дорога после метели заметна только по бороздкам из сенной трухи. Снег поскрипывал под полозьями кошевы, равномерно звенел маленький коло-

кольчик, закрепленный на крутом изгибе расписной дуги. Иней покрыл бороду, усы Ефима, Дашину прядку темных волос, выбившуюся из-под шали, воротники полушубков.

— Замерз? — спрашивал Ефим, ощупывая теплой рукой нос Сергушки. Тот весело смеялся и, высунувшись из теплого тулупа, как из мехового гнездышка, тянулся к вожжам, понукая, как отец, лошадь.

Откинувшись на спинку кошевы, Ефим пристально глядел на появляющиеся на небе звезды. Вечерело. Он вслушивался в звон колокольчика, с трудом приподнимал отяжелевшие веки, чтобы не пропустить своротки к кедрачам, после которой они окажутся в трех верстах от села. Лес стоял темной стеной, сквозь которую даже не проглядывала оранжевая полоска уходящего за горизонт солнца. Из-под нависших снежных козырьков на разлапых ветвях смотрела густая, дремучая чернота, хранившая в себе многие тайны. Темно-зеленые ветви кедров гнулись к земле под тяжестью снега и скрипели.

Никто не заметил, когда и с какой стороны вышли из кедрача люди, схватили под уздцы лошадь. Это было как во сне, неожиданно.

— Стреляй! — донесся голос, и сразу же выстрел рассек воздух, испуганная лошадь со ржанием поднялась на дыбы. Сергушка, спросонья не понявший, что происходит, визжа, карабкался на облучок.

— Бери змееныша за ноги и об дерево!

Мелькнули в воздухе ручонки Сергуши — и глухой, бухающий удар по стволу. Даше показалось, что дерево дрогнуло от корней до крохотных завязей шишек на макушке и в страхе замерло, роняя на снег прошлогодние иголки. Ее истошный вопль поглотил снег.

Глава восьмая

В большом купеческом доме Васька-шаман спал плохо: скрипела деревянная кровать, били настенные часы и было жарко от натопленной печи. И прожил-то у купца всего три дня, а затосковал. По лесу, по чуму, по снегу, по оленям. Купец вроде и не держал его, не уговаривал, а только вздыхал, как больной: «Погоди, Василий Могучий. Погоди. Куда тебе торопиться?»

Шаман кивал головой, соглашался. А ночью опять вспоминал свою бескрайнюю снеговую сторону.

По тому, как луна взобралась высоко над звездами и как они дрожали, шаман знал: ночь перевалила на дневную половину. Он зевнул, потер замозжившие колени.

— Василий Могучий, — неожиданно позвал Василий Афанасьевич, — домой собирайся, друг любезный.

Шаман отозвался, но, сев в постели, долго не мог взять в толк, что от него хочет купец. Потом встал, одернул помятый подол длинной рубахи, поправил пояс с ножнами, ловко натянул и привязал к поясу тонкими ремешками меховые кисы и вошел в горенку.

На полу в тяжелом медном подсвечнике горел огарок.

— Мальчонка-то как крикнул! В ушах крик стоит. Прости меня, Господи! — молился мужик, стоя на четвереньках.

— Хватит мух-то ловить, — рыкнул здоровенный конюх, к которому уже пригляделся шаман. — Распустил нюни. Мешок с дерьмом!

— При мне-то не лайтесь! Знать про ваши дела ничего не знаю и знать не желаю, — помогал Лаврентию подняться с пола Василий Афанасьевич. — Экие страсти творите, безбожники.

— Собирайся, — сказал Сенька. — Пятки-то все равно смазывать надо, и, потоптавшись возле скамейки, неожиданно для всех заорал: — Встать!

Василий Афанасьевич с перепугу грохнулся на стул, прикрыв глаза ладонью.

— Что, хозяин, онемел? — истерично кричал поручик, забыв про всякую осторожность, но тут же, обтирая носовым платком лоб, извинился: — Прости, Василий Афана-

сьевич, не сдюжил. Сам знаешь: сила на силу идет. Скажи гостю, чтоб в своем царстве-государстве помогал нам.

— Про то его просить не могу и не стану, — резко ответил купец, успокаиваясь. — Там его власть — там он хозяин!

— К чертовой матери! — опять взвился Сенька. — Развелось хозяев — ни вздохни, ни охни. Сам разберусь. Только плохо, что он нашу перебранку увидел. Насторожится. — Шитоев сел на скамейку рядом с Лаврентием, по-дружески положил на его плечо руку. — Чего, друг, поделаешь? Жизнь пошла такая: дерись-бранись, а за сильных держись! Суждено нам с тобой в тундре дни коротать — своих поджидать.

— Мне домой надо, у меня ребятишки малые, со дня на день домой ждут.

— До-мой! Выдумал. Василий Афанасьевич передаст Анне, что как был ты военной обязанности, так и остался. Был тебе приказ в тундру ехать — и делу конец. В лесах да снегах, может, умные мысли придут. Собаки заперты? — обратился он к Мялищеву. — А то опять на все село лай подымут.

И тут Василию Афанасьевичу показалось, что в доме хозяин не он, а Сенька Шитоев и что в этом человеке спрятана страшная, непонятная ему, злая сила. Сердце забилось учащенно, перед глазами россыпями посыпались искры, и, чтобы не упасть, Василий Афанасьевич прижался к стене, приоткрыл дверь, и все вышли во двор.

— Во какая релюция, — выдохнул Васька-шаман, сметая со спин оленей снег и с тоской оглядываясь по сторонам. — Зачем релюция поехала в тундру? У охотников ничего нет. Лес, снег, болото — кому надо?

— Не знаю. Ничего я не знаю. Все путается в голове. У себя под носом разобраться не могу, а уж про твою тайгу и тундру судить не стану.

Шаман засопел, заговорил быстро-быстро на своем языке, и по жестам, по привычке грызть на большом пальце ноготь Василий Афанасьевич угадал его волнение.

— Где там Лаврентий? Поторапливай своего гостя! — нервничал Шитоев. И не зная, куда деть силу, схватился за скобку ворот, потянул на себя.

— Пуп сорвешь, — разглядывая следы санных полозьев, сказал Маит, будто выросший из-под земли.

— Ты опять тут, одноглазый леший? — При виде дворника у Шитоева от злости перехватило дух.

— Но-но! — Маитко юркнул за оленьи нарты. — Ишь, разговорился, жеребец выездной. Как заору «караул!» — мужики-то прибегут да завернут тебе за спину белые ручки. Убивец! Ты Алеху-то убил. Ты!

Шитоев, потеряв над собой контроль, кружил возле нарт, орал:

— Едемте или я перестреляю вас всех!

В предутренний час, когда даже петух в курятнике еще не решался подать голос, во дворе купца Мялищева творилось невообразимое. Купец сидел на ступеньках крыльца, словно оглушенный.

— Зачем Сенька в тундру просится? Худой человек Сенька. Злой, — шептал Васька-шаман, — присаживаясь рядом с Василием Афанасьевичем. — Поедем со мной. В тайге тихо. Лес шумит — люди молчат, слушают. Зверь кричит — люди слушают, птица летит — люди глядят. Поедем.

— Ох, добрая твоя душа, — растрогался Василий Афанасьевич. — Нельзя мне пока. Сам видишь, нельзя. Чужого добра никому не жаль. А ты там хозяйствуй, Василий Могучий. Хозяйствуй.

Шаман резко встал, стащил с нарты савик, ловким движением набросил широким подолом на голову и плечи и предстал перед купцом богатырем. Он искал взглядом хорей, и Шитоев вовремя уловил намерение шамана неожиданно крикнуть на оленей и выехать с купеческого двора. А там — ищи ветра в поле!

— Куда? Куда лыжи навострил? Не шути, хозяин туземной стороны. Не тот час. Пуля быстрей твоих оленей. — Но шаман будто не слышал Сеньки Шитоева — приподнял над оленьими спинами хорей, и бык-коренник, натянув упряжь, пошевелил приставшие к снегу нарты.

— Где Лаврентий? — кричал Шитоев, не выпуская из рук другой конец хорея. От нетерпения у него перекашивались губы. — Гад ползучий! Я с тобой еще разберусь, — грозился он.

— Лавруха-то повесился, — закричал Маитко, выбегая из конюховки. — Повесился Лавруха-то. Да и как ему, сердечному, не повеситься, ежели рядом такое чудище!

Шитоев вцепился в косматый савик шамана. Затрещали нитки в его крепко сжатых пальцах.

Захлопали в людской двери. В конюховку бежала прислуга. Холодные капли пота выступили на лбу поручика, по спине пробежал озноб. Слабеющей рукой он толкнул в спи-

ну Ваську-шамана. Тот гикнул, и застоявшиеся олени выбежали в распахнутые ворота.

Глава девятая

Даша лежала навзничь поперек кошевы, будто разглядывала на небе тучи и звезды. Иней запорошил лоб и брови, но возле приоткрытых губ таял. Скуляще-протяжный собачий лай доносился, казалось, из-под земли, и, не в силах ничего понять, она попыталась поднять голову.

— Буянко, — пошевелились губы, и мохнатый снежный ком уперся сильными лапами в ее грудь, ткнулся в лицо мокрой пастью, лизнул щеки, потянул за полу полушубка и, отскочив в сторону, заскулил. — Сергуша, Ефимушко, — простонала Даша, боясь поверить в то, что случилось на лесной дороге. Перед глазами все плыло и качалось, падала и проваливалась в тучи луна.

Лошадь, почуяв людскую возню, перестала храпеть, ударила копытами по раздробленному облучку кошевы, застрявшему между березовыми стволами.

— Ох, люди вы, люди-и-и, — стонала Даша, ползая по сыпучему снегу возле кошевы. Ефим, не успевший выскочить из нее, лежал на тулупе в луже крови. — Сергуша, Сергуша, — звала Даша сына, шаря руками под облучком кошевы, думала: быть может, мальчонка спрятался там со страху. Неистовый лай Буяна звал ее к высокому кедру. «Как рука поднялась на ребенка? Дитятко ты мое», — с жадностью хватая губами то одну, то другую ручонку сына, рыдала Даша. Не помнит, как несла отяжелевшее тело Сергуши, как положила рядом с отцом, развернула лошадь на дорогу. Та без понуканий побежала рысцой. Впереди, будто указывая ей дорогу, бежал Буянко.

Весть о бандитском нападении на семью Дорошиных моментально облетела село.

Саввушка вздрогнул, опрокинул на выскобленный ножом стол пузырек с чернилами, стал торопливо собирать разложенные бумаги, проклиная час, когда остался работать в советах. «Тогда думать и размышлять было некогда, — оп-

равдывался перед собой писарь. — Степан Голощапов и не спрашивал, желаю ли я, писарь управы, вести дела при новой, народной, власти. Как откажешься? Как сказать: не стану? Они бы за ушко да на солнышко. А, может, и не так было бы. Нашел бы место приказчика или учетчика. И жил бы спокойнехонько».

— Не мирятся господа со своей участью. Ни старого, ни малого не щадят. У твоего дружка-то, Василия Афанасьевича, конюх-то — глухонемой вроде, а Маит сказывает: притворяется. Да еще кто-то там в избушке сидит, ночами лунатиком по двору бродит, — укоризненно говорил писарю Степан Петрович.

— Перед ним, купцом-то, все шапки снимают, знают — кормилец! — писарь втянул от страха голову, жалея, что проронил вслух такие слова.

— Ладно, беды — бедами, а дела — делами. Время не ждет, — остановил Саввушку Степан Петрович.

К обеду с близлежащих деревень съезжались комитетчики.

«Ноги бы моей там не было, — думал Нестор Прохорович, собираясь в совет. — Но раз пригласили — схожу. Послушаю. Да говорить-то там кому? Степке-печнику? Скоро еще Маитке слово дадут».

Ненадеванное с прошлой зимы пальто оказалось ему велико, плечи повисли. Только теперь он заметил, как похудел — опала пышность и стать, которой он гордился и которая, как ему казалось, подходила к его чину волостного старшины.

Из-за поворота во весь мах неслась тройка, впряженная в роскошную кошевку с откинутой на сиденье медвежьей шкурой. Наездник стоя раскручивал вожжи над головой и пронзительно свистел.

«Однако у Якова Лапшина отобрали лошадей, разбойники, — вспыхнул Нестор Прохорович. — Чего доброго и до моих доберутся. Кто их остановит? Скоро ли законная власть придет? Чего медлят в Тобольске? Эти-то по-настоящему заворачивают, силу чувствуют, если на заседание из других деревень шпарят. Ну да ничего. Мы их все одно голодом морить зачнем», — сплевывал он под ноги.

— Посторонись! — послышался голос сзади. С заиндевелой бочки на санях, привстав, понукал лошаденку мялищевский дворник Маит.

«Этот-то одноглазый в именинниках ходит. Истинных виновников как на блюдечке обрисовал, и Василия Афана-

сьевича на чистую воду вывел. И ведь кто мог подумать?! Нет, сам-то Василий Афанасьевич ничего путем не знал. Не стал бы он в эти дела впутываться. А этого дворника-то близко теперь допускать не надо. Он, видать, им воду везет. Я бы не пустил. Нипочем! Хозяина своего ославил, и хоть бы тебе что! Гонит лошаденку и посвистывает». — Нестору Прохоровичу до того стало муторно, что он не поленился наклониться — поднял с дороги мерзлую глызку и бросил вслед Маиту.

Он искренне жалел Василия Афанасьевича, да и Алеху, и Лаврентия, сельских мужиков, ему было жаль. Чего он не мог сказать про Ефима Дорошина.

Василий Афанасьевич в это время, приложив к голове холодную тряпку, сидел в кресле. Светлое пятно на стене — крохотный отблеск солнечного лучика, пробившийся вверху оконной рамы, подмигивал ему, вселял надежду. «С обозом-то теперь где мужики? Пожалуй, полдороги прошагали. Нет, полдороги много. Может, верст триста. Только триста. На краю же света живем, на краю — и такая кутерьма. А что там-то, где людно, делается?»

Акулина Федоровна вошла в комнату на цыпочках, боясь скрипнуть половицей.

— Не сплю я, — отозвался Василий Афанасьевич. — Какой тут сон!

Купчиха, перепуганная смертью Лаврентия Лазарева, до тошноты пила валериановый настой и лежала в постели. Вспомнив о письме Никите от образованной барышни из соседнего села, решила порадовать Василий Афанасьевича.

Тот раскрыл его, прочитал и вздохнул с облегчением:

— Я и не верил, что он может против отца пойти, — прослезился Василий Афанасьевич, складывая вчетверо мелко исписанный лист. — Чуяло мое сердце — барышню завел. Дело молодое. А Саввушке я припомню, если все будет, как есть. Я ему еще покажу, как наводить тень на плетень. Обрадовался. Среди ночи прибежал — бумагу важную казать, а самому только подачку получить. Радетель. Только бы поживиться, только бы руки погреть. И ведь все норовит купцу Мялищеву шпильку подсунуть. Но вот и слава Богу! — перекрестился Василий Афанасьевич. — Вроде ты меня, моя голубушка, живой водой напоила. Вот только сидел и думал: на что так за все радею? Нам с тобой хватит и того, что сколочено. Все ему бы передать. Чтобы все в дело пошло, чтобы в памяти у людей осталось: мол, крепкого достатку купец Мялищев был.

Акулина Федоровна молча слушала мужа. Она не очень-то верила письму, но не хотела расстраивать Василия Афанасьевича.

— С Вассой что-то делать надо, — шепотом сказала она. — Никакого послушания не стало, будто кто подменил.

— Не связывайся ты с кухарками. Где лучших-то возьмешь? К этим привыкла, да и они ничего без спроса не трогают. Спокойно живешь: где что положила, там то и взяла.

— Никита-то к ней ходит!

— Ну и пускай ходит, Господи. Дело-то молодое, — раздраженно ответил Василий Афанасьевич, сбрасывая на пол тряпку с головы. — Стану я еще о кухарках думать!

— Вовсе не все равно, к кому у него сердце клонится, — продолжала свое Акулина Федоровна.

— Сердце клонится, сердце клонится! На кой черт тогда принесла письмо от этой барышни?

— Нашла и принесла, а к Вассе он то и дело забегает, а если и не забегает, так глаза на кухню таращит.

— У нас все не слава Богу! Все шиворот-навыворот! Одно хорошо — другое плохо. Хоть бы про кухарок не говорила.

— Как не говорить-то? Ты-то тоже на кухню ныряешь. Я ведь слышу, когда от тебя настойкой-то разит. Другая не даст, а эта: бери, бери, хозяин.

— Ха-ха, — повеселел на минутку Василий Афанасьевич. — Если хозяина будет ни во что ставить, как тогда быть?

— А вот пусть попробует еще! Пусть коснется к бутылям. Я сама их сургучом запечатаю. Пусть попробует открыть! В суд подам.

— Ты хоть говори да не заговаривайся. Где он теперь, суд-то? Да кто слушать станет? Боже ты мой! Ведь и на кухарку не найти управу! — сплюнул Василий Афанасьевич, расслышав стук в дверь.

— Заходите, заходите, — Василий Афанасьевич поднялся с кресла.

Широко распахнув двери, вошел Иван Валерианович Земцов.

— Вот гость так гость. Всем гостям гость! — засуетился Василий Афанасьевич, не зная, на что и подумать: так просто Иван Валерианович не пойдет. У него все дела, все хлопоты, все заботы. Без лодок, каюков, барок, колданок — здесь никуда. Все как зайцы на острове. Все перед ним на коленях, особенно купцы. Даже Василий Афанасьевич. Кто бы он был без барж и лодок?! Рыбьего бы хвоста не видел.

— Милости, милости прошу, Иван Валерианович, — сгибаясь в поклоне, говорил купец. — Ох и денек у меня сегодня. Ох и денек! Лавруха-то что учудил. Уехал бы уж в тундру, так нет — в петлю полез. Ох ты, наказанье какое. Ума не приложу, как перед Анной ответ держать.

— У Анны свое горе — вдовье, а вот в совете про тебя круто веревки вьют. В вину ставить хотят и смерть Алехи, и раненье Ефима Дорошина, и кончину мальчонки его. Так и требуют: к ответу купца Мялищева! За укрывательство бандитов.

— Я почем знал! — задыхаясь, шептал Василий Афанасьевич. — Мое дело с краю. Сном-духом не знал, никаких кровавых дел не видел.

— Я был там и пришел сказать. Не прибавил, не убавил — что слышал, то и говорю.

— Проходи, проходи, Иван Валерианович. Правда-то всегда наверх выйдет. Ни при чем я тут. Совсем ни при чем. Сеньку-то Шитоева все видели. По селу ходил, не прятался, а когда Лавруха объявился — не знаю. Тайком, видать. Видно, у них договоренность была. По ночам-то я в ограде не бываю. Ты вот знаешь, что у тебя творится? Там, может, не один Лавруха притаился. Теперь все, как тараканы по щелям, прячутся.

Ивана Валериановича мучила одышка: он облизывал губы, прежде чем сказать слово, а тут поперхнулся от неожиданного поворота разговора.

— Ты, Василий Афанасьевич, говори, да не заговаривайся. Я не за тем к тебе пожаловал, чтобы напраслину выслушивать.

Василий Афанасьевич сконфузился, вовсе не имея намерения обидеть уважаемого человека:

— Милости прошу к столу. И чего только не скажешь, чего только не сболтнешь, себя защищая, — винился купец, подставляя кресло. — Вот сюда, Иван Валерианович. Вот сюда.

— Обоз-то у тебя, Василий Афанасьевич, богатый? — откидывая голову на спинку кресла, спросил Земцов, искоса поглядывая на купца.

— Обоз-то? — не зная, как сразу ответить, переспросил купец. — Да середненький. Уловы-то нынче, слов нет, хорошие были. Особенно осетр шел. А зачем тебе знать, любезный Иван Валерианович?

— А за тем и пришел сказать: может, как-то его спасти можно. На совете они хоть прямо и не говорили, так я не

лыком шит — все понял: обоз-то твой для прикрытия отправили, чтоб больше мужиков из села ушло. Отряд какой-то карательный ждут. Вот и сегодня говорили: всем в леса идти, не оставаться в селе. Все возле этого разговор вертелся, хотя вроде главное — какую-то мудреную резолюцию принимали. Не знаю, кто ее в толк возьмет, только у меня ума не хватило ее понять.

— Как же! — вскинулся Василий Афанасьевич. — Рыба-то там отборная. Осетры икряные, муксуны колодкой соленые, нельма как одна в льдинки спрятана, живьем ее водой обливали, замораживали. Больше тридцати коробов. Это же чистый разор! Я за такие дела государю жаловаться стану. Суда потребую. Денег не пожалею!

— Где он, государь-то? Был и нет. А ты: «Обоз с рыбой!»

Мялищев был не в силах что-то еще спрашивать. Он только теперь стал понимать, почему мужики так быстро согласились идти в обоз, и собирались как по команде.

— Обхитрят они всех, обхитрят. Я послушал. Так откуда что и взялось? Степан Голощапов телеграмму сочинил: мол, жители Сатаровской волости с дальней окраины России поддерживают советскую власть, приветствуют Ленина и Совет Народных Комиссаров. Голосуют, шумят, как настоящие, — с раздражением говорил Земцов.

— В толк не возьму ни одного слова, Иван Валерианович. Или уж из ума выживаю с этими передрягами, — сознался Василий Афанасьевич.

— Голощапов-то так и говорит: все вопросы продовольствия, снабжения, сельскохозяйственные машины, мануфактуры должны быть в наших руках. Говорит, будто ставит точку.

— Пусть шире рот разевают. Хлеб-то пока в наших амбарах лежит, — хорохорился купец.

После ухода Земцова Василий Афанасьевич, обмотав голову полотенцем, лег в пуховую постель, в которой раньше засыпал мгновенно.

«Прибыли-то какие раньше были, от зависти у людей глаза на лоб лезли. Видно, теперь только в ночи и повспоминаешь приятности. Бывало, ездил на ярмарку с приказчиками, да какой капитал привозил — во сне не приснится».

Купец Мялищев расширял и множил свое хозяйство, занимаясь продажей рыбы, скупленной у инородцев и пойманной на издавна купленных им угодьях. Наперечет знал

все речные ямы, где в осеннюю пору скапливается ценная рыба: осетр, стерлядь, нельма, муксун. Нередко по рекоставу, когда еще неокрепший лед трещал и гнулся под тяжестью человеческого тела, он приезжал на промысел.

В это время крупная рыба ложится на дно реки в глубокие ямы. Ее набивается такое множество, что иногда нижние слои задыхаются. Встревоженная самоловом рыба пошевеливается и попадает на крючки плавниками, жабрами, хвостами. «Река ты наша матушка, река ты наша кормилица!» — забыв обиды и бедность, радовались рыбаки, хотя не только обувь, но и одежда обрастала льдом толщиной в палец.

«По добрым ранешним временам прибыль-то была бы невиданной, — думал Василий Афанасьевич, ворочаясь с одного бока на другой, громко и протяжно вздыхая. — Рыбка-то какая! Во рту тает! С осетрины-то ноне можно брать по три рубля с пуда, а то и по пятерке пойдет. С нелемки-то осенней, из которой особливо вкусны рыбные пироги, трешницу брать надо — не меньше... — Но тут купец прикинул в уме, какую сумму придется заплатить обозникам, и проскрежетал зубами. — Это же подумать только — рублевую поденщину заломили, а? На свой аршин все измерили, а мужицкий аршин супротив купеческого вдвое длиннее. Да и поденщину-то растянут. Лошаденки у всех хилые, сено дорогое. Ладно хоть своих лошадей немного дал. Да они нынче вроде и не просили. Разве Липатий? А остальные все своих взяли. Как это меня раньше мысль не обожгла? Неспроста лошадей-то взяли своих. Неспроста. Я, дурья башка, не обмозговал. Оно, конечно, на ярмарку всяк свои излишки возит. Кто морошку, кто черемуху да малину сушеную, кто орехи кедровые. У прасинских, точно знаю, на продажу грузди соленые в кадках, у мелешинских бочонки с брусникой и клюквой. Раньше-то все на моих лошадях. На многое глаза закрывал, да разве это помнится? А в обоз-то нынче пошла голь перекатная. И на своих лошадях. Хоть у меня, старого козла, рог и крепкий, да обхитрили. Ох и обхитрили. А Зосиме да Филиппу с ними ничего не сделать. А больше и послать было некого, как сдурели все!»

Тут пришла Василию Афанасьевичу горькая мысль. Даже слезы из глаз выдавила. «Сына бы послать. Вот бы кому в это время в обоз идти, — горько вздохнул купец. — Не кому-нибудь капитал скапливаю! Не век жить буду. Придет время — не за горами. Дети от отцов наследуют, берут каждую

копейку, а мой-то как навоз в проруби. Нет никакого стремления, никакого желания к делу. У других, как коршуны над отцовским добром, а этот хоть сейчас все по ветру пустит. И в кого пошел такой — ума не приложу. Какое было бы у меня спокойствие на душе, если бы Никита пошел с обозом. Спал бы я безмятежно. И где он сейчас в этакую морозную пору? Был парень как парень, вернулся из этого Тобольска — как подменили, будто и не отец ему. Молчит, молчит, ни худого, ни хорошего слова не слышишь. Не передряги бы, так все одно как-нибудь разобрались, а тут не до него: то одно, то другое. Может, и правду Акулина Федоровна говорит, что к Вассе ходит. Вдруг не разговоры это, а на самом деле. Возьмет да принесет кухарка в подоле наследника. Нет, не допущу!» От досады и еще черт знает от каких мыслей Василий Афанасьевич скрипел зубами, прятал голову под подушку.

Глава десятая

Первые версты лошади шли медленно, будто примерялись к поклаже, к дороге, к окрику ямщиков. Разноголосый звон колокольчиков скоро стал привычным. Мужики в первые часы шли за подводами понуро, примеряли шаг, растаптывали туго стянутые дратвой новые заплаты на пимах, приглядывались к дороге.

Верст через десять Филипп Митрофанов, ехавший в плетеном коробе в голове обоза, громко засвистел, что означало время первого перекура. Лошади, бывавшие в обозах, остановились сразу, предвкушая отдых. Те, которые шли в обоз впервые, сделав несколько шагов, тыкались мордами в спину идущего за подводой ямщика.

— Ты гармонику-то не прихватил? — закричал через долгий ряд повод Липатий. — Я свою-то в мешок с сушеной морошкой толкнул.

— Еще дом за поворотом виден, а он уже гармонику запросил, — ответил Савелий Тиунов вместо Филиппа.

— Да это я так спрашиваю. Думаешь, он слышит меня? Вона, гляди, как сыч, из короба башку поднял.

Филипп Митрофанов не напрасно остановил обоз. Он увидел на развилке дорог две подводы — Арси Попова и Антона Шмигельского. «Эти-то здесь зачем? — с раздражением подумал Филипп. — Только их тут не хватало. Этим палец в рот не клади — откусят и скажут: так было. Не-ет, тут надо ухо востро держать». И, не дав мужикам докурить самокрутки, приказчик понужнул вожжами свою сытую лошадь. Обоз дружно двинулся вперед. Клонился к вечеру короткий зимний день. Неожиданно поднялась метель: будто сразу земля смешалась с небом. «Скорее к Паняве! — кричал Антон Шмигельский. — Торопите коней».

Крохотная избушка среди сгрудившегося на обрыве сосняка была занесена снегом. Тоненькой струйкой поднимался из трубы дрожащий дымок и таял в морозном тумане. В стоптанных пимах, из пяток которых виднелся сенной клок, стоял низенький, худенький, сгорбленный старичок с редкими длинными волосенками, раскиданными ветром в разные стороны. В заскорузлых руках он комкал старенькую шапку и низко кланялся каждой подводе.

— Жив, Панява? — кричал Филипп, подстегивая лошадь.

— Милости прошу. Милости прошу, — шамкал беззубым ртом Панява.

Мужики наскоро рассупонили лошадей, подпустили их к корму, а сами тут же завалились спать, кто на полу, кто на деревянных нарах, сколоченных вдоль стен, бросив под себя занесенные с возов тулупы.

Панява неслышно ходил по избушке, все время грозя сухим крючковатым пальцем серому лохматому псу, развалившемуся возле печи.

— Нельзя, Лохматко, шуметь, негоже это. Пущай ямщики глаза сомкнут. В обозах-то как пташки спят, будто их кто кнутом понужает. Торопятся. Нужда их гонит пуще кнута.

На наставительные слова хозяина Лохматко скосил голову набок, вилял хвостом, тихо хлопал им по темному полу. Громкий храп разнесся от порога. Лохматко вскочил на сильные ноги.

— Ложись, — приказал Панява и положил руку на мягкую спину собаки. — Это они от усталости. Скоко ишо впереди лихва будет.

Лохматко опять завилял хвостом.

«Они вот нам гостинцев привезли: хлебушка, кренделей, соли. Вот и доживем мы с тобой до весны, а там Бог пошлет, может, и сядем на обласок да кружным путем через острова в деревню махнем».

Эти разговоры со своим псом Панява вел каждую зиму, когда приходил обоз, когда присутствие людей будоражило в нем память и вызывало тоску. Он знал, что в деревне ему делать нечего, да и деревни его давно нет, разве только могильные кресты, не успевшие сгнить от времени. Оно бы и не мешало побывать на старости лет на месте, где прошла его жизнь, где ходил он здоровым и сильным, где похоронена Евлюша и ребятишки, которых в одну неделю покосила какая-то хворь, но он понимал, что пешим дойти не хватит сил, а выдолбленный из многолетней сосны обласок одному не дотащить волоком до речного берега. Лежит этот обласок уже лет десять возле избушки, почернел от времени и дождей, напоминает ему о времени, когда ныла и скучала душа по людям, а теперь все внутри приспокоилось.

В большом закопченном котле закипела вода: вначале по поверхности побежали мелкие пупырышки, срябили гладь и спрятались в воду. Вслед за ними вздувались и лопались легкие воздушные пузырьки, и вдруг, будто догоняя их, с самого дна вывернулся громадный пузырь, перевернулся на поверхности, расплескав по растрескавшейся от времени чугунной плите горячие брызги. Они подпрыгнули на каленой плите, прокатились, издавая шипящий звук, и тут же потерялись. Панява вскочил, прихватил подолом длинной холщовой рубахи дужку котла, оттащил на край. «Теперича пора мужиков будить. Времечко свое они отоспали, хоть на дворе ишо и ночь темная, буранистая ноне. Лошадям вброд брести придется. Шибко, Лохматко, им тяжело».

— Филипп Ильич, — Панява потормошил за плечо разомлевшего от тепла приказчика. Не отвечая на зов старика, тот яростно чесал вспотевшую шею и подбородок.

— Филипп Ильич, — постояв над нарами, прошептал старик.

Филипп рывком поднялся, тараща глаза. Пошарив руками, вытащил из-под тулупа ружье

— Господь с тобой, — Панява отскочил к печке, нечаянно наступив на лапу собаки.

— На што оно тебе, ружо-то? Али тут звери тебя кусать станут? — прошептал старик.

— Ф-у-у-у-у! — приказчик снова рухнул на нары, обтирая пот рукавом рубахи.

Ямщики проснулись, спросонья бурча, пошли на улицу впрягать лошадей.

— Грузно и метельно. Погодить бы надо, — воротясь с улицы, сказал Арся. — Лошадей угробим. — Но Филипп заспорил, закричал, заторопил мужиков.

Скоро послышались визг и скрип полозьев, легкие, еще не набравшие силу посвисты ямщиков.

Никто не помнит, когда и кем был проложен зимний обозный тракт в стороне от великой реки. Многим он казался неудобным, и не раз удальцы намеревались изменить его, сворачивая на почтовую дорогу. Но всегда с теми случалось что-нибудь непредвиденное: то погибала лошадь, то разбивался ямщик, то кто-нибудь что-то терял — одним словом, россказней всяких было так много, что никто уже не рисковал изменить этот путь. Тракт был глухим и пустынным.

К полудню обоз остановился на отдых, ямщики собрались в кружок, развязав матерчатые кисеты, потчевали друг друга своим самосадом.

— У тебя, Липатий, самосад с кислинкой, — сплевывая с губы табачную крошку, сказал Зосима Кукушкин. — Долго под половиками его твоя Настя морила, вот он и заглох. Но ничего, крепкий. — Он сделал несколько затяжек. — Я сам делаю табак, бабе не доверяю. У них к энтому табаку никакого радения нету, а раз радения нету, то по-путнему и не получается. А пошибче мово табаку, право слово, ни у кого нету.

— Да тебе токо кажется. Всяк к своей вони привыкший, — разобиженно ответил Липатий.

— Постойте-ка, мужики, — скосил голову Зосима. — Никак какая-то подвода навстречу несется. Слышите — колокольчик.

— Верно твое слово, — подтвердил Липатий, тут же вскочив на воз, чтобы оглядеть дорогу.

Навстречу, разметывая на бегу гриву, неслась лошадь с большим плетеным коробом. Размахивая вожжами, на возу стояла женщина. Завидев обоз, бросила вожжи и спрыгнула в снег. Запинаясь и падая, почти ползком выскочила на дорогу.

— Мужики, страсти-то какие! Страсти! — кричала она. — Отряд какой-то лютый идет. Порют мужиков до смерти. В Яровках-то Левонтия Силина до смерти заполостали, он так на досках и лежит, для пристрастки всем. Никого не щадят, никого. Баб волокут, старух, стариков — всех. Я-то в Яровки свернула ребят завезти, побоялась их одних в избе оставлять. Старшой-то озороватый. Ничего не понимает. Боюсь,

избенку спалит, я их всех в короб — да в Яровки повезла.

Это была Меланья Крохина — солдатская вдова, собравшаяся на ярмарку. Цветастый платок выбился из-под толстой шерстяной шали. Старенькая шубейка с новыми заплатками на локтях расстегнута.

— Я токмо въезжаю, а по деревне рев! — оглядывая сбежавшихся мужиков, говорила Меланья. — Гляжу, трое солдат волоком волокут Евсеича. Знаете вы его. Он по деревням ходил, тес пилил. — Меланья трясущимися руками похлопала по разрумянившимся на морозе щекам. — А он уж бездыханный. Я лошадь разворачивать, а она уросит, тоже, поди, перепугалась, сердечная, — говорила женщина, едва переводя дух. Спина загнанной в беге лошади враз покрылась инеем.

— Простынет, — Серега Шарапов сдернул с подводы Филиппа рогожину, бросил на спину Меланьиной лошади.

— Ну и чего такого, — вдруг, перебив Меланью, сказал Филипп. — Идет законная власть.

— Это кака ишо законна-то? Это про что она так лютует-то? — Меланья попятилась, перекрестив лоб. — Это же зверье в штанах.

— Но-но, ты, потише, — Филипп небрежно прошел возле Меланьи, поправляя на лошади сбрую.

— Неужто ты с емя заодно? Крест-то на груди пощупай, может, он в рассудок тебя приведет, — говорила Меланья.

Арсю Попова встревожили Меланьины слова, хотя он и знал, что из Тобольска на Север идет карательный отряд. Он прикидывал в уме, как расформировать мялищевский обоз, кого по каким охотничьим избушкам направить.

— Слушайте меня, мужики, — сказал Попов, вскочив на воз с рыбой. — Это идет карательный отряд, под чьим руководством — я не знаю, но цель у него одна: уничтожить всех, даже тех, кто сочувствует советской власти. Кровью и только кровью будет с ними расплата. Я предлагаю...

Как хищный волк, вскочил Филипп. Разъяренный, схватил Арсения за рукав, заорал:

— Душить его надоть, эту заразу! Душить!

— Погодь! — остановил его Астафий. — Это за что же его душить-то, а? Говори, Арся, свою линию, а мужики сами с усами.

— Задним подводам разворачиваться! Всем в лес к охотничьим избушкам! — Антон Шмигельский опрокинул в снег приказчика.

— Пустое! — орал Филипп, пурхаясь в снегу. — Им наперед известно, чей это обоз. Не тронут они его, пропустят. — Поднявшись, он выругался и побежал к подводе.

— Ружжж-ж-о?! — удивилась Меланья и с безумной бабьей силой толкнула в спину Филиппа.

Грянул выстрел.

Меланья заголосила, из плетеного короба выскочили трое одетых в лохмотья ребятишек. Старшенький, остроглазый, испуганно смотрел на обозленное лицо Филиппа.

— Во, гадина! — кричали мужики, связывая Филиппа вожжами.

— Поплатитесь за чужое-то добро! Поплатитесь! — сопротивлялся приказчик.

— Торопитесь. Торопитесь, мужики! — Шмигельский помогал поворачивать обоз.

— Арся, поворачивай! Домой. Пусть все уходят в леса. Так и передай Степану: встретимся, где условливались.

Мужики сгрудились, топтались на одном месте.

— Все равно догонят вас, — ныл связанный приказчик. — Далеко не уйдете.

— Опять кляп просишь? — первым сворачивая в сторону подводу, предупредил Савелий Тиунов.

Зосима Кукушкин надрывно хохотал, сам не зная над чем. Он помнил просьбу купца: в оба глаза глядеть за обозом. «А чего тут глядеть? Тут и так видно — все в распыл пойдет».

— Торопитесь, мужики, — подбадривал всех Антон Шмигельский. — Рыбу купеческую можно здесь оставить, а в леса — налегке.

— Разорители! Грабители! — орал Филипп и зажмурился, когда увидел, как Липатий, кряхтя, сталкивает в снег короб, груженный икряными осетрами. — Кожи на заднице не хватит!

— А я-то куда? — металась между подводами Меланья.

— Домой тебе надо, Меланья, домой.

— В прорубь брошусь. В прорубь. Мне на ярмарку надо — хоть помирай. За душой гроша нету. Рыбалила-рыбалила, а рыбу-то купцам задарма отдала. Опять в долги пошла.

— На ярмарке-то чего продавать станешь? Ребят, что ли?

— Горшки везу. Сказывают: глиняные горшки на ярмарке с руками-ногами берут.

— Ни на какую ярмарку не поедешь, — сердито сказал Антон. — Заморозишь ребят, да и время какое. Кому торговать-то? Кому нужны твои горшки?

— А кто вы мне будете, чтобы я вас послухала? — осмелела Меланья, поправляя выбившиеся из-под платка рыжие кудрявые волосы. — Про мою-то бедность никто не спрашивает, а тут указчики нашлись. Но-но!.. — закричала она на лошаденку.

— Домой поезжай! Ребят не губи! — закричал на нее Липатий, но она даже не обернулась.

Зосима Кукушкин, все время молчавший, басовито захохотал:

— Баба — не наши мужики. Она тебе не подчинится. У нее волос длинный, а ум хошь и малюсенький, а всегда при себе.

Обгоняя Меланью, Липатий загородил дорогу, сбросил с короба сено, прыгнул на горшки и стал топтаться, разламывая их в мелкие черепки. Горшки побольше поднимал над головой и бросал.

Меланья и все, кто был рядом, обомлели, а он молотил ногами с лихим остервенением.

— Люди добрые! Люди-и-и-и! — опомнившись, заголосила Меланья. — Мужики! Иль вы слепы? Разве вы не знаете, что я солдатская вдова. Или мир ноне оглох и ослеп?

— Ничего, Меланья, ничего, — успокаивал ее Сергей Шарапов. — Ничего. Так надо. Возвернутся тебе твои денежки — погоди немного. Поезжай домой. В селе мужикам скажи: пусть в лес уходят.

Меланья не слушала его, она причитала и жаловалась на свою несчастную бабью долю.

— Сколько денег-то хотела за свои горшки выручить? — спросил Липатий, потом пошарил по кармана, потряс грошами на ладони и подошел к приказчику: — Раскошеливайся! Давай пятнадцать рублей купеческих денег!

— Ты горшки грохнул, а купеческими денежками расчет вздумал производить! — прошипел над головой Липатия голос трактирного вышибалы. — На чужой каравай рот не разевай!

— Доставай деньги! — приказал вдруг Антон, вытащив из кармана наган. Круглое темное дуло было направлено на приказчика. Тот, сущурив глаза, закричал:

— Бери! Пусть пропадут они пропадом. Суй руку в правое голенище. Тамо в тряпице.

Зосима при виде нагана поперхнулся, разжал кулаки.

— Бери, Меланья, деньги за свои горшки, а у нас с Василием Афанасьевичем свой расчет будет. При свидетелях

отсчитываю тебе пятнадцать рублей, и чтобы без оглядки домой ворочалась.

— Лишку за мои горшки-то. Лишку, — говорила Меланья в нерешительности.

— Бери, Меланья. Арихметика тут простая: без обману с тобой расчет сделали. Твоя-то дорога да мытарство с робятами по такой стуже разве столько стоят, дурочка ты! Бери. Это, если говорить, подмога от новой власти. — Сказав, Липатий подмигнул мужикам.

— Падайте ребятишки на колени, падайте! Кланяйтесь мужикам, — запричитала Меланья.

Медленным, размеренным шагом брела по обочине по самое брюхо в снегу худая Меланьина лошаденка, объезжая обоз. Как галчата, выставились из короба трое ребятишек, не понимая, что творится на зимней дороге.

Зосима Кукушкин будто опомнился, когда увидел, как худая лошаденка Меланьи Крохиной, потряхивая отвислым брюхом, выехала на дорогу.

— Куда все расползаетесь? На кой черт мне ваши лесные избушки? Я от роду не лесовал.

— Спохватился. Все похохатывал, дурак! — обозвал обидным словом приказчик. — Теперя ответ вместе со мной держать станешь. Я все обскажу.

— Но-но, — протянул Зосима, доставая из-под сена ружье.

Но направленный в его сторону наган Антона Шмигельского удержал прыть трактирного вышибалы, готового перестрелять всех мужиков.

Обоз хорошо проторил дорогу. Она стала ровной и твердой, хотя две метельные ночи успели кое-где намести переметы.

Арся Попов настегивал лошаденку, и та бежала рысцой, стряхивая легкий куржак с длинной челки.

— Торопись, милая, торопись, — похлопывая меховыми рукавицами, говорил Арся. — У нас в селе дел много. Мы ведь все верили и не верили в карательные отряды. Не ближний свет в наши края идти, но по всему видно: приперли их наши на всех фронтах. Торопись, торопись, милая. Эти молодчики полютуют. Сорвут на мужике свою злость. Вооруженные все, кадровые — знают, что к чему, а у нас мужики военному делу не обучены. У них на человека рука не подымется. А пока жалеть станут, с ними быстро расправятся. Наше дело в лесах пробыть, да потихоньку их пощипывать, покоя не давать карателям.

Степан Голощапов только пришел домой. В избе пахло сваренным супом и дымной пригарью молока.

— У Дорошиных пробыла — молоко и выкипело, — объяснила Капитолина. — Прямо и сказать не знаю что: все вповалку — не считая маленькую Маняшу. Ей оно — хоть бы что: ползает по печке, играет, а на остальных глаза бы не глядели. Ефим память теряет. То вроде по пути скажет, то что-то непонятное несет, а все больше воюет. А про Дашу и Ефросинью Алексеевну говорить не приходится. Одна молчком лежит, другая — от слез глаза осушить не может. К Лупентихе бегала: настои разные принесла, да разве какой травой успокоишь горе? Тут годы надо и то...

Серый пушистый кот Буско клубком катался возле Капитолининых ног, трогал лапами, хватал зубами за шерстяные носки, мурлыкал.

— Нашел время, — укоризненно говорила Капитолина, отбрасывая кота к порогу. — Все бы игрался, брысь! — А тот, прижав ушки, опять подкрадывался из-за угла.

— Иван-то Карлович приехал из Мануйлово? — спросил Степан, стаскивая с ног подшитые валенки.

— Приехал. Но что он, Иван-то Карлович? Руки не подставит. Хлопочет, видать, от души, уколы ставит, говорит: время надо — ранение серьезное. Всю грудь насквозь прошла пуля.

Капитолина — женщина крепкая, белая. В селе ее все звали Капитолина Репная. Бог не наградил ее детьми. Степан женился на ней по любви и не упрекнул ни единым словом. В том, что он комитетчиком стал, Капитолина, вздыхая, винила себя. «Не стал бы он политикой заниматься, народи я ему ребятишек. Отцом бы стал, печному делу их учил, а так чем ему было заняться? Вино пить? Да потом меня по деревне гонять? Нет уж, пусть лучше комитетчиком будет», — по-своему рассуждала Капитолина. В спокойные дни Степан пытался говорить с ней о борьбе рабочего класса, только она ничего не слушала, а стояла на своем: «Виновата я перед тобой, Степан, виновата. И делай ты, как на твоем роду написано. Я завсегда при тебе буду, как топор за поясом».

Первые годы, как он уходил на заработки, она тосковала, из окошка в окошко глядела, на дорогу выходила, а потом привыкать стала. Месяц-другой Степана нет. Кто что болтает, а Капитолина свое: «Куда он денется? Дела сделает и объявится». Один раз полгода его не было. Пришел ху-

дой, бледный — сказывал, в тюрьме сидел. Потом опять на год потерялся. Тут Капитолину стали в управу вызывать, допытываться: «Кто у вас бывает? Какие книжки есть дома?» — «Кроме Закона Божьего да Святого Евангелия — ничего. Так он их в руки не берет. Я всегда у Бога заступничества просила, так Степан сказал: брось эту муть читать!»

Прошло какое-то время, ночью к ней в избу какие-то незнакомые постучались: опять Степана спрашивали. «Я сама его обличье забыла, — дрожа от страха, отвечала Капитолина. — Все жду, жду. Можно уже в пяти деревнях печи перекласть, а его все нету. Раньше-то с кем-нибудь деньги пересылал, а тут никаких весточек. Не знаю, жив ли».

Видно, слова Капитолины были слишком верными, голос и слезы искренними — ушли люди незнакомые, больше ее не тревожили. А потом, когда царскую власть скинули, его в Тобольске кто-то увидел. Только в прошлом годе домой явился. Истосковалась она по нему. Да и ему она нужна была: «Ох ты, Капитолина моя Репная! И кто только такую правду про тебя придумал? Вон сколько твоих ровесниц уже старухи старухами, а ты все на зависть мужикам», — сказал, как домой пришел, и больше о том ни слова. Только собрания да споры. А с кем спорить? С купцами? — удивлялась Капитолина. Вначале боялась им на глаза попадать. А теперь пусть кто что скажет худого про новую советскую власть! Она и сама не заметила, как поверила в ее правоту.

— Я же знал, кого в жены брал, — говорил Степан, когда узнал, как она подговорила сельских баб не таскать земцовский тес, пока тот не рассчитается за разгрузку баржи.

— У своего муженька противиться законам выучилась? — сверкая глазами, спросил лодочник.

— С кем поведешься, от того и наберешься, — не задумываясь, ответила она. Лодочник не нашелся, что ответить, закашлялся.

Залаяла собака. Заслышав шаги, Капитолина сказала:

— Кто-то с дороги. Пимы-то как на снегу скрипят!

В дверях появился Арся Попов. Он стоял возле порога, сгребая с бороды ледяные сосульки и стряхивая с шапки иней. Заурчало в животе от увиденной на столе тарелки супа.

— Видать, дома-то не был? — спросил Степан.

— Не до дома. Лошадь гнал без отдыху. Каратели идут. — И он рассказал о встрече на дороге с Меланьей Крохиной и о том, как они с Антоном Шмигельским распорядились насчет обоза.

— Ешь да в совет пойдем, там решим, как быть с Ефимом Дорошиным. Его надо срочно вывозить в лесную избушку.

К Дорошиным Степан пошел сам. Ефросинья Алексеевна, сникшая, ссутулившаяся от свалившегося на их семью горя, увидев его с печки, приподняла голову:

— Мы теперя не запираемся, — ответила она и после недолгого молчания с укоризной проговорила: — Путные-то дела засветло делаются, а ты чего-то на ночь глядя пришел.

Даша вышла из-за перегородки.

— Тебя надо, — сказал Степан.

— Ежели что про Ефима, то здесь говорите, не прячьтесь от меня.

— В избушку его отвезти надо. Карательный отряд через наше село пойдет. Нельзя Ефиму оставаться дома. Нельзя.

— И помереть-то не дадите по-человечески, — Ефросинья Алексеевна, свесив с печи худые костлявые ноги, смотрела на пол в тупом оцепенении и покачивала из стороны в сторону головой. Потом перевела взгляд на промороженный угол избы, думая о том, что давно пришла пора переворошить избные гнилушки, встроить новые венцы, и что делать они станут это непременно нынешним летом, когда румяными зорями будет озарено небо и от каждого бревна будет пахнуть смолой и хвоей, и что потом, когда придет новая зима, стойкие лесные запахи наполнят ароматом маленькую кухонку.

Глава одиннадцатая

Слухи об отряде дошли до села. «Неужели регулярное войско? — подумал бывший волостной старшина Нестор Прохорович Шлеин, но усомнился: — С чего бы вдруг им по Северу кружить? С кем воевать?» И решил, что отряд послан на усмирение или на соединение с какими-нибудь частями и пройдет мимо Сатарова.

Вечером пришел к Василию Афанасьевичу поделиться своими размышлениями, кому и как принять отряд. «Не обед-

неем, а память о себе оставим да благодарность получим от командования», — уже возле порога сказал, подмигнув.

Наутро Василий Афанасьевич проснулся ни свет ни заря.

— Эти ворота тоже распахивай, — приказал он Маиту, расхаживая по двору. — И от конюшен все под метелку, чтоб чистота была.

— Снежищу-то навалило — страсть, на лошадях вывозить надо.

«Вот бы сам и принимал гостей, — думал Василий Афанасьевич о бывшем волостном старшине. — Раньше-то когда именитые ездили, на дороге встречал, перехватывал, чтоб за свой стол усадить, а тут прибежал».

Василий Афанасьевич подошел к конюховке, черенком деревянной лопаты постучал в окно.

— Чего, говорю, спишь? — крикнул конюху.

— Вроде петух не пропел, — выскочил босым на снег перепуганный Евлампий.

Но Василий Афанасьевич шел уже в другой конец широкого двора, к высоким ровным поленницам сосновых дров, потом подошел к кошевам под навесом, осмотрел замки на рубленых амбарах. «И все это бросить за здорово живешь? Или сказать: нате, берите. А фигу не хотите?» Купец пошел напрямик к кухне, где уже топилась печь, и летучие языки пламени плясали в проеме темного окна.

— Благодать-то какая, — вздыхал он, подходя к шестку. — От одних запахов сыт будешь. Вон как масло-то слезой тает. Так и пригореть может! — повысил хозяин голос.

Из-за печи вышла Васса, еле слышно поздоровалась. Пламя осветило смуглое лицо кухарки: белый платок, повязанный вокруг головы, касался густых черных бровей и бугрился над тугим ободком кос. Купец посторонился, но сам того не замечая, уставился на Вассу, будто впервые увидел ее.

— Ишь какая! — сказал, пятясь. — Чего глаза-то не поднимаешь? Чего это ты мою хозяйку не стала слушаться? Она за тебя радела, грамоте выучила, а ты?

— Я, как и прежде, к ней с почтением. Она со мной разговаривает, а сама все в сторону смотрит.

— А ты поласковей, — поучал Василий Афанасьевич. — Будто и не видишь. Будто и не понимаешь.

— Че не понимать-то, ежели при всех шлюхой обзывает. Слушать и не слышать? И так воды в рот набрала, молчу, а она ярится.

В печи затрещало, защелкало смолевое полешко, выбрасывая на шесток горячие угольки.

— Гостей-то будет! Гостей! — заговорила Васса, смахивая их обратно сухим глухариным крылом. — Так мама всегда говорит: стрельнет уголь — гостя жди.

Василий Афанасьевич, вспомнив о непрошеных гостях, сел на табуретку возле берестяного чумана с брусникой. Занесенная в избу с вечера, она оттаяла и сейчас блестела, словно промытая осенним дождем. «Конечно, они и Нестора Прохоровича не обойдут, и Земцова, и Курышина, но те что: купили-продали, лодки построили — продали, завезли — торгуют. А я купец другого покрою, — рассуждал Василий Афанасьевич, сбрасывая в рот ягодку по ягодке. — У меня хозяйство круглогодичное. Всегда все на ходу». Кольнуло сердце, он поглядел на Вассу.

— Не могу, — тихо ответила кухарка. — Вчера Акулина Федоровна своими узелками завязала бутыли.

— Это как не могу? — возвысил голос Василий Афанасьевич. — Я в доме хозяин или нет?

— На кухне Акулина Федоровна. Все под ее доглядом. Вот и рыбины все сосчитаны, и мука отвешана на безмене, и масло, и мясо — все на учете.

Смолевое полешко опять выкинуло угольки, и Васса, схватив кружку воды, плеснула на пол. Мышиным писком затухал горячий уголек, оставляя после себя тонкую струйку едкого дыма.

Василий Афанасьевич в сердцах хлопнув дверью, ушел.

Хромоногая Дуська, мастерица по рыбным пирогам, прибежала, когда Васса сгребала загнету.

— Молодой-то купчик сегодня тоже всю ночь не спит, — подмигнула Вассе. — Раза два видела, все на лошадях мимо нашей избы проезжал, — сказала Дуська, распластывая жирные спины муксунов.

— Сегодня всю ночь село ходуном ходит, не спят. Гостей каких-то ждут.

— Хорошие ли гости? Если те, которые с винтовками едут, добра ждать нечего. Сказывали, как они лютуют по деревням. Всех до смерти секут, — шепнула Дуська.

В воздухе стоял снежный туман, мешавший смотреть на дорогу, которая с широкого купеческого крыльца просматривалась обычно версты на три.

Василий Афанасьевич, то ли что-то предчувствуя, то ли страшась чего, раздражался по всякому поводу.

Прискакал конюх Нестора Прохоровича и оповестил, что он самолично видел: по дороге в Сатарово идут какие-то люди, а впереди обоз лошадей в десять.

— Гнедого выводи! — крикнул Василий Афанасьевич. Прокопка, подпоясав тулуп широким красным кушаком, давно был готов к выезду. Нахлобучив на глаза шапку-треух, сел на облучок, туго натягивая вожжи застоявшегося в конюшне выездного жеребца. Конь от нетерпения дрожал, мял под копытами снег. Положив в кошеву медвежье покрывало, Василий Афанасьевич сел, Маит распахнул ворота. Гнедой птицей вылетел со двора. Лошади, привыкшие к каждодневной работе и ругани мужиков, выбегали из ворот рысцой, лениво потряхивая косматыми, давно не чесанными гривами.

— Неужто все подводы за гостями побежали? — прижавшись к окну, спросила Дуська.

— Ага, — робко сказала Васса. — Хозяин говорил, какой-то полк идет.

К полудню с улицы раздался выстрел, потрясший воздух. Дуська перекрестилась, во дворе испуганно залаяли собаки, накоротко привязанные к конурам. В распахнутые ворота въехали подводы. Солдаты по-хозяйски ходили по двору, прикрикивая на собак.

Рядом с Василием Афанасьевичем сидел высокий стройный мужчина. По-молодецки выскочив из кошевы, Василий Афанасьевич семенящим шагом поспешил в дом, закричал с порога срывающимся голосом:

— Чего рты-то разинули? Люди с дороги. Накрывайте столы!

— Лушников, солдаты пусть разместятся у старосты и у пристава, — лениво проговорил хмурый господин, не поднимая тяжелых красных век.

— Будет исполнено, Николай Михайлович, — ответил высокий мужчина, оказавшийся рядом с кошевой. — Он щеголевато прихлопнул голенищами высоких пимов и приложил руку к правому уху меховой шапки.

Выйдя из кошевы, Николай Михайлович поставил на снег обутые в меховые сапоги ноги, потер короткими и мягкими ладонями колени и, выпрямившись, постоял с минуту. Пристально и долго осматривал купеческий двор.

— Затекли? — спросил Лушников подобострастно. Тот кивнул головой.

— Милости прошу, — улучив минуту, с поклоном позвал Василий Афанасьевич. Поднимаясь по ступенькам, он по-

чувствовал тупую боль в сердце и приостановился, чтобы перевести дух.

Увидев накрытые столы, остался доволен расторопностью Акулины Федоровны, стоявшей у порога в новой плисовой юбке и белой кофте. Василий Афанасьевич не успел гостей пригласить за стол, как со двора донесся ружейный выстрел. Забыв учтивость, купец выскочил на крыльцо и увидел, как, оставляя на снегу кровавый след, лез в конуру издыхающий пес.

— Ох ты, Господи, — простонал купец. — Пес-то молодой, понятливый.

У порога раздевался Николай Михайлович Туров — начальник карательного отряда, идущего на Север.

Глава двенадцатая

Оленьи упряжки Васьки-шамана бежали по еле приметной дороге, виляли между низкорослыми кустарниками, перелесками, крутоярами, берегами узких речушек и болот. Высокие кочки с пересохшей осокой в сумерках походили на женские головы. Все вокруг вызывало в душе Сеньки Шитоева неприятные чувства. Они подкрадывались к нему откуда-то изнутри, щипали сердце, холодили кровь, отчего у него стучали зубы. Сквозь ветер он слышал шуршание пересохшей осоки, похожее на таинственное перешептывание, а доносившаяся с передней нарты песня шамана, похожая на плач, терзала его душу.

Первые дни езды по оленьей тропе Сенька ложился на нарту, просил Ваську-шамана привязать его ремнями, чтобы не свалиться, втягивал голову в меховой башлык и лежал, не желая вслушиваться в тишину дикарей, полную бесовских звуков. От быстрого бега оленей, подбрасывающих на ухабах нарты, появилась тошнота, и, проклиная все, Сенька вдруг истошно заорал.

Васька-шаман подошел к нарте. Сенька бился головой о нарту, дрыгал ногами и орал, не открывая глаз. Безмолвие и однообразие езды истощили его терпение и привели к душевному расстройству.

Увидев Ваську-шамана, Сенька заскрежетал зубами.

— Долго ты будешь ныть? Тянуть свои песни? Душа вся навыворот! Лучше в каземате сдохнуть, чем в твоем снегу! Это же каторга! — причал он, в исступлении стуча кулаками по меховой шкуре.

Шаман не раз видел, как купцы, долго ездившие по тундре, слабели душой: кричали, били каюров, стреляли из ружей, до изнеможения катались по снегу, а потом в каком-то полубредовом состоянии замолкали и по нескольку дней не принимали ни питья, ни еды, никого и ничего не узнавая вокруг.

— Скоро, совсем скоро будет юрта Гришки, — пытался успокоить шаман Шитоева, пугаясь его блуждающего взгляда.

Если бы неделю назад Шитоеву сказали, что он будет рыдать на глазах у дикаря, он бы не поверил. Одно дело на несколько месяцев притвориться глухонемым конюхом и другое — эти бесконечно изнуряющие снега. На дай Бог ему было посмотреть на себя со стороны. По небритым щекам его катились слезы. Он безостановочно швыркал носом, всхлипывал, шарил трясущимися руками по подолу оленьего савика, намереваясь достать носовой платок. Вдруг он вскочил, схватил хорей и с неистовой силой стал избивать оленей — по спинам, бокам.

— Бросай! — закричал Васька-шаман. — Бросай или стрелять буду!

Сенька не слышал его. Он уже не мог остановиться. Ружейный выстрел отрезвил его.

— Кто стрелял? Кто? — кричал Шитоев. Кто-о-о? — не выплеснувшаяся через край ярость обессилила его. Он рухнул на нарту лицом вниз и лежал неподвижно.

Скоро олени стали сбиваться с ровного бега.

— Олень дохнуть будет, — думал Васька-шаман и долго стоял возле бородатого коренника. Олень — почитаемое животное северных народов, символ чистоты. Олень почитается как наивысшее благо, ниспосланное небом, чтобы дать людям жизнь и пищу. Они верят, что бубен шамана, сделанный из шкуры оленя, можно оживить, только надо справить праздник оживления. Этот праздник длится семь дней и ночей. Люди собирают каждую шерстинку зверя, кости, все смененные за его жизнь рога. Все это шаман поливает водой, после чего бубен (олень) считается ожившим. Но у шамана много оленей, он не справляет такого празд-

ника. Это его дело. Он хозяин, а Сеньке не позволит бить оленей. С этим намерением он и подошел к Шитоеву, но тот спрятал под шкуру голову.

В карательном отряде Турова Семен Шитоев находился с самого его формирования. Он вступил в него без колебаний, намереваясь воздать большевикам за отнятые у отца земли, разоренное имение и за то, что они отняли у него его привычную жизнь, уровняли ее с жизнью крестьян-лапотников. До революции все у него было просто и ясно. Он — барин, полновластный хозяин обширных хлебородных полей, по праву старшего сына получивший от отца лучшие земли по берегам полноводной Веселухи.

Сейчас, в эти минуты, когда тело ныло от тупой боли в каждом суставе, сквозь миллион снежинок, вылетавших из-под оленьих копыт, Семену увиделась крестьянская девушка Груняша: тоненькая, русоволосая, с ясными голубыми глазами, похожими на васильки, которые осыпали дольние межи полей. Она вырывала их с корнями, складывали в корзину и, наполнив, волокла на обочину. Семен ехал по полю. Тонкие стройные ноги вороного коня с белыми ободками выше копыт вдруг затоптались, заплясали на одном месте неподалеку от корзины с васильками. Всадник смотрел на хрупкую девушку, не смевшую поднять на него глаза. Неудержимое желание овладело им, оно было сильнее голоса рассудка. Он спрыгнув с коня, схватил Груняшу за маленькую тонкую руку, потащил к разросшимся кустам молодого рябинника. Перепуганная девушка от страха потеряла голос. Она извивалась в его сильных руках, кусалась, но это не остановило его. Он не помнил, как в клочья разорвал и без того ветхий ее сарафан, исцарапал грудь, оставил багровые подтеки на шее. Груняша лежала бездыханно, запрокинув назад головку, сжатые кулачки ее еще не выронили траву. Отпущенная лошадь, изредка вскидывая голову к кустам, побрякивала удилами, смачно жевала сочную траву. Подойдя к корзине с нарванными васильками, обнюхала и отошла.

Испуганно вскочив, он осмотрелся по сторонам, сгреб в охапку гибкое и теплое тело девушки, потащил к крутому берегу Веселухи. Груняша пахла землей и травой. Он бросил ее с крутого берега и опрометью кинулся к дороге. Увидев на меже корзину нарванных васильков, остановился, постоял, в диком беспамятстве пнул их к кустам. Настеги-

вая лошадь нагайкой, мчался с поля, часто оборачиваясь, будто спасаясь от погони.

Над полем плыло высокое летнее небо. Одинокая птица замерла в воздухе, будто высматривая место среди кустов.

— Груняша-а-а-а-а! — летел по полю женский голос.

Чтобы больше не слышать его, Шитоев забежал в дом и, наскоро простившись с матерью, уехал из родового имения в надежде вернуться, когда людская память забудет этот его грех.

«Уходи, Груняша, уходи! — бормотал Сенька, пытаясь избавиться от постоянного ее присутствия и тихого сдавленного плача. — Ты прости меня. Не велико счастье и у меня, Груняша. А может, это моя смерть пришла?» — Подумав так, Шитоев вскочил на нарте.

— Э-ге-ге-ге-е-е-е-е! — закричал, стараясь криком отогнать терзавшие его мысли.

Шаман повернул упряжки в урочище своего единственного сына Гришки. Заметив след чужих нарт, он ничего не сказал Сеньке.

Когда Васька остановил упряжки на очередной отдых, Сенька спросил:

— Скоро жилье?

— Скоро. Совсем скоро, — ответил шаман, всматриваясь в почерневшее болезненное лицо попутчика. — Софья живет. Гришка живет.

— Кто такой Гришка? — заинтересовался Сенька.

— Мой сын, — нехотя ответил шаман.

— У тебя, наверное, здесь в каждом чуме жена, сыновья и дочери.

— У Васьки-шамана один сын! — Сенька уловил жесткие нотки в голосе шамана. «Ишь ты, свою власть почувствовал», — подумал Шитоев.

— Тогда торопись! — От мысли о тепле Шитоев сощурился, представляя, как ласково и незаметно обнимет его невидимая, неосязаемая истома, разморит, разнежит тело и успокоит.

Васька внимательно всматривался в густой сосновый бор, он не знал, в каком месте Гришка поставил новую юрту. «Один Гришка не слушает. Один Гришка делает, как придет в голову, — шаман был недоволен характером сына, часто на него сердился, а уезжая — тосковал. — Там живет моя Софья. Моя красивая Софья». Он вспоминал день, когда тайком увез ее с праздника на белых оленях. Они жили с

ней в дальних чумах тридцать дней и тридцать ночей, пока старая жена Прасковья не послала по тундре и тайге разыскать Ваську-шамана. Но Васька не оставил Софью. Он привез ее в юрту к старой Прасковье. Старуха, шатаясь, подошла к Ваське, упала к его ногам и заскулила, как издыхающая собака, хваталась за руки и тянулась к нему, дрожа худым, сгорбленным телом.

— Ложись, пьяная баба, пустое воронье гнездо, — отталкивая от себя Прасковью, говорил он шаманке. — У тебя никогда не будет сына.

— Нет, — закричала она. — Я все равно выгоню Софью в тайгу! Я все равно не дам ей родить сына. Я позову на помощь всех духов. Я пошлю на нее все болезни. — Она тут же начала кричать и коткать по-глухариному, взревывать по-медвежьи.

Васька опять уехал к Софье в тайгу. Он привез ее к берегам Талтии, поставил чум, потом выстроил юрту. К весне Софья родила сына, но старая Прасковья не находила покоя. Она кружила на нартах вокруг Талтии днями и ночами, меняла оленей, предлагала их тем, кто обещал убить сына шамана. Однажды, когда Васька уехал на Молебный Камень, Софья пропала. Шаман изъездил всю тундру, побывал в каждом чуме, в каждом стойбище. «Может быть, искать ее надо в Зауральской стороне», — думал он, но та сторона была ему мало знакома...

Мимо сожженной Прасковьей юрты проезжали упряжи зауральского купца Чертищева. Увидев женщину на свортке дорог с ребенком, забрал ее с собой. Это была Софья. Никто не спрашивал ее, чья она, откуда, куда идет. Ее привезли как пушнину, как добычу в русское село. Конюх купца Чертищева Кирюха, горбатый, но проворный мужик, сразу заметил красивую вогулку.

Он тайком наблюдал, как она выделывала шкурки соболей и лис, шила, вялила мясо, солила рыбу. К Софье он не подходил, а отыскивал мальчонку, доставал из кармана гостинцы, гладил по голове и уходил. Ночами Кирюха прокрадывался на кухню, где спала с мальчонком молодая вогулка, и смотрел, затаив дыхание, прислушивался к каждому ее вздоху. Истомившись в одинокой тоске, горбун пал в колени хозяину.

— Ну-ну, — нахмурился купец. — Разглядел красу. А я смотрю — так Митьша все возле нее вертится.

— Вертится, вертится, шельма. Ему что? Ему бы только поозоровать, а я — на всю жизнь!

— А она-то как?

— Ее уговаривать стану. Тоже на колени паду. Сам вижу — красавица, хоть и из дикого племени.

— Ну-ну, — опять сказал Чертищев неопределенно, отчего плечи Кирюхи опустились, и голова поникла.

— Чтобы перед Богом, перед церковью брал ты ее! Чтобы никакого тиранства над ней и над ее дитем не творил, — сказал купец и добавил: — Знаю я вас, горбунов!

— Пусть меня Бог накажет! — взмолился Кирюха.

— Куда больше-то? — сухо буркнул Чертищев, наблюдая, как неловко с полу поднимался горбун.

Софья не испугалась русской церкви. Она стояла под образами, ощущая на себе взгляд священника, и только чувствовала, как Кирюха крепко сжимает ее руку тонкими длинными пальцами. Она слышала его глубокое, еле сдерживаемое дыхание, готовое вырваться в крик. «Счастливая звезда недолго будет держать меня под собой», — говорил горбун после венчания.

Тяжелый недуг точил Кирюху, иногда он в одиночестве рыдал, но не от телесных страданий, а от невозможности счастья, каким одарила его Софья, от того, что скоро придется с ним расстаться. В ранешние годы он часто просил и молил Бога послать ему смерть, он был не в силах сносить насмешливые взгляды.

С женитьбой на Софье он вроде помолодел. На всегда желтом морщинистом лице заиграл румянец, взгляд стал сосредоточенным и спокойным, а не испуганно-дрожащим, как прежде. Софья словно приняла на себя все любопытные взгляды. Ее оглядывали, рассматривали нарядное расшитое узорами платье, украшенные цветными нитками косы и удивлялись: «Это надо же!»

Кирюха вздыхал, понимая людское удивление и чувствовал себя виноватым перед ее красотой. Свое уродство он искупал любовью, добротой и щедростью. Все сбережения Кирюха отдал на учение сына Григория.

— На что ему грамотность? — говорил Кирюхе Чертищев, касаясь потной руки горбуна. — На что ему грамотность?

— Пусть учится! — настаивал Кирюха. — Знаю, скажешь — не я отец. Отец его — Васька-шаман. Лесной дикарь. Знаю, но я его сыном считаю, с тем и помру.

После этого разговора Кирюха прожил недолго.

Софья закрыла лицо черным платком и долго не показывалась на людях. Потихоньку тайком снесла на кладбище все вещи Кирюхи, сложила их в кучу, принесла ему кружку, ложку и чашку, веря в потустороннюю жизнь, в которой ей хотелось, чтобы доброму Кирюхе было не хуже, чем другим.

— Верно говорят: чужие дети быстро растут, — оглядывал купец Григория с ног до головы. — Читать-писать научился, так зачем-то тебя в Нюринский завод потянуло. Заруби себе на носу и помни всегда — ты лесной человек. Заводская сторона шумливая.

Григорий слушал купца, стоя возле конторки, где получал лично из его рук месячную сумму денег из оставленных конюхом на его учение.

— Там друзья мои, — ответил тихо.

— Вот-вот, про то и говорю: там собрались они басурманы. С ними и до беды недалеко, — поплевывая на пальцы, уже в который раз пересчитывал деньги Чертищев

— Да правильно, правильно, — не сдержался Григорий, заметив, как от волнения купец опять собрался перекладывать из руки в руку десять целковых.

— Гляди, в кандалы закуют! — у Чертищева задрожали руки.

— За народное дело можно и в кандалах походить.

Чертищев вытаращил глаза. Уж от кого, от кого, но только не от лесного человека он мог услышать такие слова.

— На это-то пошли Кирюхины денежки? Этому ты научился? — вконец разгневался купец. — А я-то думал: подучится парень, в родную сторону поедет. Приказчиком его поставлю, а оказывается, все старания коту под хвост! День ото дня не легче. И не думаешь, не гадаешь, с какой стороны придет беда.

— Да какая беда, Иван Степаныч? Какая беда? Поеду я в тундру, и мать моя все время просится, да боится вам сказать, боится показаться неблагодарной.

— В ней-то есть совесть, есть. Она кроткая, — выдавливал с передыхом каждое слово Чертищев.

— Если позволите, мы с ней поедем. Она дорогу знает. Говорит: каждый день во сне видит.

Григория радовал такой неожиданный поворот. Ему надо было во что бы то ни стало быть в своих северных краях. Он и деньги копил, чтобы купить оленей. Но главная причина

была в том, что партийная ячейка Нюринского завода поручила Григорию встретиться там с «Красной нартой», отправленной новой советской властью на оказание помощи коренному населению.

— Меня благодарить должон. Не Кирюха, а мои скупщики подобрали вас. Околели бы на морозе вместе с матерью.

Григорий молчал. Он знал, как их подобрали, от своей матери, слышал и о метельной зиме, о волшебных медвежьих игрищах, о стадах оленей и мудром шамане Ваське.

— Я ведь говорил Кирюхе: сколько волка ни корми — он все в лес смотрит. На что тебе грамотность и ученость? Научился счету и ладно, — опять повторял купец. — Тебе на роду написано лесовать, охотиться, рыбачить. Я вон своих не больно учением балую: пусть перенимают торговое дело, а про остальное знать нечего. Головы морочат, всякой дурью забивают, а все едино — голь перекатная. — Чертищев сплюнул, обтер кулаком губы. — Вон Леньша Пономарев из Питера явился. Отец в струнку вытягивался — последние крохи слал, мне все толмил: ученье — свет, неученье — тьма. А сынок явился в старых штанах. Ничего не скажу — обходительный, поговорить мастак, а к делу никакому не приучен. Все про революцию...

— Мать домой хочет, — повторил Григорий, когда Чертищев чуть отошел от волнения и полез в карман за кисетом.

— Я вот про тебя думал. Сколько денег-то Кирюха Ивану Евлампиевичу заплатил — не знаю. Может, и немного, а платил. И на что она, грамотность-то, лесному человеку? Лучше бы лишнюю рубаху себе справил, а все копил, все для учения. А вот что ты со своей грамотностью станешь в тайге делать? Сколько годов-то к Ивану Евлампиевичу ходил?

— Четыре.

— Во-от! Немало, — приглядывался к Григорию Чертищев.

Григорий учтиво слушал купца, и это нравилось Чертищеву.

— А чего тебе уезжать куда-то, Григорий? Я как посмотрю, ты гораздо надежнее станешь моего скупщика Тараса. Тот, шельма, себе на уме!

— Мать говорит, оленей надо, — твердил свое Григорий.

— Ты что же это мои слова мимо ушей пропускаешь? — рассердился купец. — Я перед ним бисер кидаю, а он даже и в голову не берет. Или я не ясно говорю? Оставайся у меня —

станешь скупщиком, и в свою вогульскую сторону ездить будешь не как-нибудь, а человеком дела. Ну, к примеру, поедешь ты сейчас с матерью в свой край. Что там? Лес, снег, зверье — и все. Если бы сызмальства там жил — другое дело. Софья-то и та мест своих не узнает, тоже затоскует.

Чертищев, заложив руки за спину, ходил по горнице, прислушиваясь к скрипу новых сапог и искоса поглядывая на Григория. «Как это мне раньше не пришла такая мысль? Да лучшего скупщика днем с огнем не сыщешь. Все везем из-за моря-океана кого-то, а тут под носом такой парень! Все при нем, а главное — честность. Ему только за честность деньги платить надо. Другие-то все искрутятся, извертятся. Все плутуют-мухлюют, а этот весь на виду».

— А насчет оленей так скажу: есть у меня еще Кирюхины деньги — бери да покупай. Знаю, Кирюха их по копейке складывал. Я вот про что сейчас думаю: поезжайте с матерью в тундру. Издали-то все видней будет. Я даже Тараса с вами пошлю, чтоб на дорогу вывез, а то еще плутать станете. Ты там живи, а думу обо мне держи. Знай: в любой день постучишься — двери открою. Слово тебе даю крепкое: приказчиком возьму.

На том и расстались.

Софья сидела на первой нарте, легкими окриками погоняя оленей. Хорей она держать разучилась, он казался ей тяжелым и часто выпадал из рук. Тарас подшучивал, а иногда и на полном серьезе говорил: чего тут, Софья, тебе мерзнуть, к старой жизни ворочаться? Жила бы поживала при купце, как у Христа за пазухой, а ты едешь сама не знаешь куда. Но Софья молчала, а купеческий скупщик не мог догадаться, не мог понять, как много лет ее сердце тосковало по родным местам, тишине, когда день и ночь можно слушать разговор метели, шорох снега и даже стук собственного сердца. А сердце ее всегда билось быстро и трепетно, когда она вспоминала Ваську-шамана: сильного, молчаливого. От него пахло лесом, снегом, сосновым бором, оленями. Она любила держать его руку — шершавую, с серебряными кольцами на каждом пальце. Она никогда не думала, что Ваську-шамана может не быть или не стать на земле, ей казалось, что он будет в этих местах всегда, пока есть снега и олени, и что он непременно явится за ней. Она не спала по ночам, все слушала и слушала ветер. Ей часто казалось, что где-то звенит колокольчик, и это непременно колокольчик Васьки-шамана.

Она нашла старую, давно заброшенную юрту Васьки-шамана. В углах наросла зеленая плесень, глиняный чувал рассыпался.

— Я все сделаю, все сделаю, здесь будет хорошо, — говорила Софья сыну. — Здесь всегда было хорошо. Скоро охотники увидят след наших нарт. Они обязательно приедут. Кто приедет? Не знаю, кто к нам приедет. Все равно приедут, — говорила она Григорию, а сама втайне ждала приезда Васьки-шамана. — Скоро люди приедут. У нас будет хорошо, — радовалась она, и Григорий не узнавал мать. Она почти никогда не радовалась. Там, у купца, она говорила мало, больше молчала, глядя на людей.

— Юрту новую рубить надо. Как тут жить?

— Хорошо жить. Шибко хорошо. Построим новую юрту. Срубим новую юрту. Скоро гости приедут. Обязательно приедут.

Она не ошиблась. Но звон колокольчика услышала поздно, только когда пес Мохнатко неистово залаял.

— Гришка, Гришка, — шептала Софья. — Вставай, Гришка, — она задыхалась от волнения.

В юрту вошел заснеженный человек. Софья сразу узнала в нем Ваську-шамана. Она ойкнула и повалилась на шкуру, но в темноте никто не заметил этого.

— Паче рума! — сказал Васька-шаман.

— Паче, паче, — не говорила, а перебирала губами Софья, но Васька-шаман услышал ее ответ. Он поверил и не поверил, но на ломаном русском языке спросил:

— Кто ночует здесь?

— Здесь живет Григорий Анямов.

Васька-шаман давно не слышал, чтобы кто-нибудь называл его фамилию. Русские скорее называли его Василием Николаевичем, чем Анямовым. Быть может, и Гришка навсегда остался бы Гришкой, не научи его учитель Иван Евлампиевич.

— Софья, — Васька-шаман, придерживаясь за черный косяк низенькой двери, медленно сползал на пол. От савика пахло снегом и долгой дорогой. Софья заплакала громко, как русская баба, и плач ее наполнил ветхую юрту, прозвенел метельным кругом над широким чувалом, отозвался звоном в ледяных сосульках на окне. И Гришка узнал в приехавшем человеке Ваську-шамана.

Когда зажгли огарок свечи, длинная тень возле порога пошевелилась и стала подниматься до самого потолка, Гришка сказал:

— Здравствуйте, Василий Николаевич.

Тот молча вышел из юрты, упал на нарту. Какое-то затмение накатило на него. Он долго смотрел отрешенно. Лицо его покрылось мелкими капельками пота. Еле-еле встал на ноги, но тут же присел на нарту, боясь повторения накатившей на него слабости, которая будто враз опустошила его. Всесильный шаман вдруг почувствовал свою немощность, это небесная стрела угодила в его сердце! Он еще долго сидел на нарте с непокрытой головой, а свистящий ветер выл и кружил над безбрежной снеговой пустыней да вихрил мириады снежинок, ударяя их о темные камни горы. «Неужели это Софья и мой сын?!» — через силу он выдавил из себя. Только они и жили в его душе все эти долгие годы. И вдруг! Вдруг!.. Крупные слезы, каких он никак не ожидал, будто сами, помимо воли, катились по его щекам. Но сердце стучало живо, и было Василию Могучему радостно от нахлынувшего на него простого и долгожданного счастья. Во взгляде молодого паренька, так хорошо говорившего по-русски, он узнал самого себя! Теперь шаман уже точно знал, что никогда и никому не позволит разлучить его с самыми дорогими его сердцу людьми. И тут он испугался, что мог не заметить след нарты Софьи и не заехать сюда. Ведь он хотел было свернуть, но услышал окрик Шитоева:

— Куда? Куда ты?

— Другой стороной лучше, — попытался схитрить Васька-шаман, но Сенька, приподнявшись на нарте, вглядывался в следы и будто чутьем угадывал добычу.

— Поедем к моей бабе Прасковье. Она богата. Много оленей.

— Туда завтра. — Шитоев спрыгнув с нарты, пробежал несколько шагов, проваливаясь в снегу, и, тяжело дыша, вновь упал на забитые снегом шкуры. — Сюда. К теплу, — бормотал Шитоев, — к теплу, к огню!

Олени бежали, звеня колокольчиками, подметал бородой снег бык-коренник. Предчувствуя скорый отдых, он тянул нарты из всех сил. И Шитоев представлял, как уснет крепким, смертельным сном прямо возле порога. Даже лай собаки казался ему уже началом сна. Он как сквозь туман видел женскую фигуру. Не было сил спросить Ваську-шамана, кто это, не было сил подняться, будто кто-то придавливал его к шкурам. И только несколько русских слов, произнесенные каким-то мужчиной, прозвучали ружейным выстрелом. Шитоев сел на нарте и, еще не сообразив, что к

чему, закружился, зашарил руками под шкурами, отыскивая винтовку.

— Кто это?

От его возгласа Григорий опешил, а Софья выронила из рук набранные поленья дров.

— Я спрашиваю, кто это?

— У нашего народа принято говорить хозяевам: паче рума, по-русски это значит: здравствуйте! — хладнокровно ответил Григорий.

Шитоев опешил, потряс головой, чувствуя, как слетают снежинки с заиндевелого лица, бороды, бровей. «Откуда он? Кто он?» — сверлила мысль.

— Кого ты привез, отец? — нарочно громко спросил Гришка, и Сенька, попятившись, сел на нарту. Сейчас ему нужно было тепло, только тепло. Он вошел в юрту пошатываясь, с трудом переставляя ноги, и тут же у двери уснул.

А в юрте Григория днем раньше был Митрич с фельдшером Павлом Власовым. Они спали у них две ночи, оставили часть муки и сахара. Васька-шаман заметил это сразу и высказал Григорию опасение. Еще добавил, что этот русский Сенька Шитоев надоел ему, что он устал и поедет дальше один.

— Ты куда лапы смазываешь? — вывалившись из двери юрты, хрипло спросил Сенька. Лицо его после недолгого сна опухло, над примятой бородой обозначилось багровое пятно — след обмороженного места.

— Мало-мало молиться поеду, — бесхитростно и просто ответил шаман. — Совсем мало-мало буду на Молебном Камне: три луны туда, три луны — обратно.

«Во, дикое племя! Им хоть камни с неба — молиться собрался. А чего я без него делать стану? Как ни крути, один — не двое. Был бы Лаврентий, можно было бы чего покруче предпринять. А один? Что же делать? И куда? В какую сторону теперь? Не тут же оставаться», — рассуждал Шитоев, не в силах сообразить, что предпринять.

И тут он увидел на полке плитку чая в новой упаковке. Она выделялась ярким пятном среди берестяной утвари. Шитоев прыжком оказался возле полки, схватил пачку и ткнул Софье в лицо:

— Откуда это? Откуда? Кто продал вам чай нынешнего производства? Кто привез его? — И не услышав ответа, подскочил к Ваське-шаману: — Кто? Ну? — Сенька понял, что «Красная нарта» успела опередить его.

Васька, подумав, что к нему снова пришла болезнь от снежного безмолвия, говорил спокойно:

— Мужики привезли. Хорошие мужики. Муку давали. Сахар давали. Чай давали. Соболя не просили, белку не просили, лису не просили.

— Где Гришка? — неистовствовал Сенька. — Давай Гришку. Пусть едет со мной, гонит оленей по следам чужих нарт.

— Гришка сам хозяин, — спокойно ответил Васька-шаман. — Гришка на охоту ушел. Гришка не хочет на тебя глядеть. Ты злой.

— Не хочет глядеть! А я тут должен прозябать? Завез в свое снежное царство, теперь хоть волком вой!

— Зачем? Живи. Можешь долго, шибко долго жить, — улыбался Васька-шаман.

Поручик Шитоев похолодел, только на один миг представив, что может навсегда остаться среди снегов.

Ветер поднимал выпавшие с утра снежинки, пригибал к земле кустарники, раскачивал верхушки деревьев. Монотонно и жалобно проскрипела сухара, треснул и упал в снег пересохший сук. Потемнела даль, смешавшись с вечерними сумерками.

Глава тринадцатая

Прижав уши и высоко забрасывая задние лапы, бежал заяц-беляк. Митрич свистнул, хлопнул рукавицами, и безобидный зверек в испуге кувыркнулся через голову.

— Скоро кустарники покажутся. Чего бы косому тут носиться? — подбадривал Митрич фельдшера, который от усталости и однообразной дороги приумолк. — Скоро Куземкин чум будет. Ребятишек у него — счету нет. Холод, голод, а все живут. Ты не приметил, с какой стороны несся заяц?

— Вон с правой стороны, — махнул Павел в сторону и, приглядевшись, заметил занесенный снегом след. — А кто, по-твоему, Митрич, приехал к Куземке? Ехал-то тоже с нашей стороны.

— И в самом деле, — остановил оленей Митрич. — Ну ты и молодец. Кто бы это мог быть? Васька-шаман гостит у

купца Мялищева, охотники — на охоте, скупщикам ездить рано. В самом деле, кто приехал к Куземке? А я вроде и подумал, что нартовый след, да усомнился.

Митрич присел на корточки, осторожно варежкой отгреб свежевыпавший снег.

— Не одна нарта прошла, и груженые.

Митрич — Иван Дмитриевич Соболев — был профессиональным революционером, его арестовали и сослали в Сибирь еще в 1905 году. Сразу же после февральской революции 1917 года он был избран членом волостного комитета, созданного вместо волостного правления. Когда встал вопрос об установлении прочных связей с коренным населением края и вовлечении его в борьбу с карательными отрядами, которые после падения советской власти в Омске и Екатеринбурге двинулись на Север, лучшей кандидатуры, чем Иван Дмитриевич Соболев, не нашлось. Дело это было не из легких, так как надо было успеть, пока бежавшие от советов купцы не успели враждебно настроить коренное население. Им надо было доказать, что новая власть — это не старая «русская власть», а народная, справедливая власть для всех. В это трудное и голодное время молодое советское правительство выделило хлеб и продовольствие коренным народам Севера. Его надо было разделить по юртам и чумам.

Нартовый след чьей-то упряжки насторожил Митрича.

— А Гришка-то парень смышленый, — сказал Павел. — Сразу смекнул, что привезенные припасы надо убрать подальше.

— Он долго среди русских жил. Надо бы его с собой взять, а мы не догадались.

Низкий берестяной чум, не переставлявшийся с места на место несколько лет, покосился, он не сваливался только потому, что одной стороной прижимался к развесистой сосне. Его легко можно было не заметить, не покажись на снегу следы.

Заслышав бег оленей, из чума выбежали ребятишки. В замусоленных савиках, сшитых мехом внутрь, они боязливо прижимались друг к другу, разглядывали незнакомых людей.

— Варвара! Отец-то куда ушел? — спросил Митрич на вогульском языке старшую девочку лет десяти, и сгрудившаяся кучка детей зашевелилась, двое мальчишек доверительно подбежали к оленям и стали выгребать заледенелые комья снега из широких ноздрей животных.

Маленькая и хрупкая, в коротких меховых чарочках, Варвара побежала к ближней чамье, приоткрыла дверь и, напрягаясь, стала вытаскивать мороженое мясо для угощения гостей.

— Не надо, не надо, Варвара, — остановил девочку Митрич, узнав, что отец с матерью на охоте много дней. Она не могла сказать сколько, а принесла палку с зарубками, на которой ножом отмечала каждый прожитый день. Павел насчитал тридцать шесть зарубок.

Встречаясь с людским горем, бывая в деревнях и захолустных селах, фельдшер видел нищету и грязь, бедность и болезни, но все это не шло ни в какое сравнение с жилищем охотника Куземки: берестяной чум среди непроходимых снегов, земляной пол, устланный кедровыми ветками, на которых валялись вышорканные оленьи шкуры. В продуваемом со всех сторон жилище пахло прелью, шкурами, непросыхаемой одеждой и обувью и еще чем-то кислым.

Он сел возле чувала. От догоравшего полена на земляной пол падали редкие блики. К нему подполз совсем маленький мальчик в балахончике, сшитом из шкуры олененка. Павел вздрогнул, заметив, как маленькая ручонка потянула его за полу пиджака.

— Сахар просит, — сказала Митричу Варвара. — Мужик приезжал — сахар давал. — Она взяла Митрича за руку, вывела из чума и показала нартовый след. — Он другой стороной ехал. Васька-шаман палку давал. Тамгу давал.

Варвара не могла объяснить Митричу, что за купец был у них в чуме. Она никогда не видела его.

— Совсем мало-мало был. Тамгу шамана казал. Баба кэхпэх, — девочка изобразила плачущую женщину.

В чуме послышался плач. Легкой птичкой Варвара влетела в низкий чум, присела на корточки возле очага, вскочила и покружилась возле него.

Митрич догадался: Варвара очищает себя и жилище, веря в силу огня. Потом шепнула в сторону сваленных шкур, и оттуда один за другим выползли младшие братья и стали беспрекословно кружиться возле чувала. У каждого из них на шее на тонком ремешке висел медвежий зуб — оберег — хранитель от болезней и смерти.

Потом девочка села на корточки, совсем не обращая внимания на приезжих людей. Митрич услышал ее ласковый голос.

— Давно возле нашей реки жил Отер — богатырь. Хорошо жил. Оленей много было. Пошли чужие люди отнимать

нашу землю, наши болота, нашу реку. Вышел на высокий берег Отер, крикнул: «Берите, люди, луки, точите стрелы».

Митрич затаился возле чувала, вслушиваясь в сказку Варвары.

— Намазали охотники рыбьим клеем рубахи, чтобы от них отлетали чужие стрелы, сели в кожаные лодки, поплыли. Храбрый богатырь Отер берегом шел и увидел: у врагов больше лодок. Дождались они ночи и стали забивать в речное дно деревянные колья, острием в ту сторону, откуда враги шли.

На другой день поплыли враги к нашим местам. А тут им беда. Как наткнется лодка на острый кол, порвет днище и тонет, тонет, тонет, — весело загибала Варвара на руках тоненькие пальчики. — Все утонули. Вышел на берег Отер, крикнул: «Гай! Гай! Гай!» Заплясали воины нашей реки. Долго плясали.

— Гай, гай, гай! — весело кричали под шкурами повеселевшие ребятишки.

Немного погодя, Варвара опять выбежала из чума, занесла берестяную скатерть, постелила на пол возле огня, принесла мороженого мяса и молча полезла под шкуры.

— Вот так. Везде своя жизнь, — заметил Митрич.

— Богатый мужик был? — спросил Митрич у Варвары.

— Богатый, богатый, — услышал в ответ.

Гонимый необъяснимым страхом, Федор Рогалев торопился. Даже на жалобы Капитолины Петровны не посмотрел, запряг оленей и погнал их в сторону северной стороны.

— Господи, умирать-то бы дома надо, — еле слышно говорила Капитолина Петровна, провалившись в перине, привязанной к нарте веревкой.

— Будет, милая, будет, — успокаивал ее купец, уставший не меньше от недельных скитаний. — Чего ты так расслабилась? Ровно и олени хорошо бежали, и погода, слава Богу, милостивая.

Жена судорожно хватала купца за руку.

— Тут я, тут, — отзывался Рогалев. — Теперь уж поздно возвращаться домой, да и осталось немного. Мне вот только с господином Гумберштейном встретиться. Денег не пожалею. Куда их? И мы с тобой к сыну, к Сереженьке. А вдруг...

— Федя, Федорушко, — простонала Капитолина Петровна. — А лучше бы ты меня у Васьки-шамана оставил. У него

и баба проворная, и чистенько так. У них бы поджидали тебя. Поедем обратно.

— Теперь уже скоро, милая, скоро, — шептал купец, борясь со сном.

— Жили бы как все. Пусть бедно, да дома.

Каждое ее слово терзало сердце купца.

— Послушала тебя, а зря. Побоялась одного отпустить скитаться по чужой стороне.

— Время такое пришло. Теперь не только мы — все такие лишения несут. Мы с тобой сытые, богатые, свободные. Добро наше все у Васьки-шамана в целости-сохранности будет. Нам только этот путь выдержать, а потом, когда обратно поедем, с поклоном в каждом чуме встречать будут.

— Ой, будет ли такое время? — прошептала Капитолина Петровна.

Купец не видел лица жены, но представлял, как скривились ее полные губы.

— А хорошо мы пожили с тобой. Лебеди в саду плавали. От самих Демидовых привозили. Помнишь?

— Как не помнить? Все помню. Как есть все помню. Хорошие песни у нас на Урале поют. Задушевные. Певучие. Любил ты, когда я песни пела?

— Любил, милая, любил, — соглашался купец с каждым словом жены.

— А строгий же ты был. Сердце у тебя не ко всем жалостливое, — не унималась Капитолина Петровна.

— Оно и нельзя по-другому-то. Солнышко и то всех не обогреет. Будешь ко всем добрым, так эти голодранцы разорят. На шею сядут.

— А был бы помягче, не стали бы нас зорить, а то, считай, все супротив тебя были.

— Что было — теперь не вернешь.

«Теперь до первого чума. До самого бедного, самого худого, лишь бы рядом люди были. Пусть грязные, пусть больные, — думал Рогалев, боясь приближающейся метели. — И деревья куда-то запропастились».

— Федорушко, — послышался голос жены. — Ровно вечер близко. Скоро, что ли, жилье-то?

Рогалев промолчал.

— Федорушко, или ты не слышишь меня?

— Слышу, милая, слышу, — отвечал купец, не решаясь взглянуть на Капитолину Петровну, которая могла сразу заметить его растерянность.

— Ровно метель собирается. Лучше бы жили в этом грязном чуме с ребятами — все веселее. Куземку бы дождались да с ним и поехали, а то бы — домой вернулись. Пусть бы эти большевики все у нас отобрали. Мы с тобой в бане бы прожили, у нас предбанник рубленый.

Каждое слово Капитолины Петровны звенело в ушах. Он и сам уже повернул упряжку, но не мог отыскать утренний след.

— А баня у нас хорошая. Тепло до самого утра держится.

— Тебе не холодно? — осененный недоброй догадкой, спросил жену Федор Рогалев. — Ноги не мерзнут?

— Теперь нет. Вначале мерзли.

— Пробежать тебе за нартой надо. Погреться.

— Выдюжу я. Скоро, неверное, приедем.

— Вставай, вставай, милая! — купец пытался стащить жену с нарты.

— Не тронь меня. Не тронь! — неожиданно закричала Капитолина Петровна.

— Тогда пальцами шевели, пальцами. Разогревай их. Давай им жизнь. Раньше-то, милая, чего молчала?

— Гони скорее оленей, Федорушко, гони. Чаю я горячего хочу. Поезжай, сердечный. Вези меня под какую-нибудь крышу.

Вдруг он вспомнил рассказы бывалых людей о том, что олень, почувствовав усталость, может сам по запаху дыма притащить упряжки к человеческому жилью.

«Бегите, бегите, милые олешки, может, даст Господь, вытащите меня из этого ада, — задыхался он от радостного волнения. — Испугался каких-то большевиков, дурень. Кого испугался? Мужичья? Страдания такие принимаю! За что?»

Он не сразу ощутил на плече тяжесть Капитолины Петровны.

— Капа, а Капа, — позвал он жену, боясь повернуть голову, — вон и кустарники вроде показались. Тут, наверное, чум Прокопки.

Но Капитолина Петровна молчала.

— Я голоса твоего не слышу, Капа. Он повернулся, вскочил. На теплую шкуру повалилось грузное тело Капитолины Петровны.

Боясь дотронуться до ее лица, чуть припорошенного легким налетом снега, он сделал шаг, другой и остановился от сильного биения сердца. Пуховое одеяло, прикрывающее ее ноги, бороздило по снегу, из-под него выставлялись обу-

тые в теплые топоги ноги. Рогалев смотрел на Капитолину Петровну, на воспаленных веках дрожали слезы, и ему чудилось, будто лицо Капитолины Петровны шевелится и вздрагивает.

— Капа, Капа, что это ты? Ребятам-то я чего скажу? Как перед ними ответ выдержу? — зарыдал купец, упав на безжизненное тело жены. — Будь она трижды проклята, эта революция! Будьте вы прокляты, большевики! — Слезы ползли по щекам, застывали на заиндевелой бороде.

Олени тронулись сами по себе, а он лежал, не зная, сколько часов был в полубреду, потерял счет времени. Олени иногда останавливались, разбивали копытами наст, кормились. Купец этого не слышал. Порой ему чудилось какое-то песнопение, хохот, лошадиное ржание. Потом перед глазами поплыли цветы, море цветов, лавина разных красок и оттенков, каких он никогда не видал.

Он сел на нарту, не решаясь открыть глаза. В голове шумело, в висках упруго пульсировала кровь, судорожно стягивало губы, чувствовалась тупая боль обожженных морозом щек. Рыжая борода торчала поверх тугого ободка мехового савика, она походила на болотную кочку с высохшей осенней травой. «Ешьте, ешьте, милые», — говорил он оленям, чувствуя в них жизнь и движение, радуясь возвращавшемуся сознанию, хотя и тягостному, похожему на кошмарное сновидение.

«Правду ты, Капа, говорила, правду. Хорошо нам дома жилось. Любил я твои пироги. Буду теперь есть хоть капустные, хоть грибные. Не стану куражиться», — и опять, понимая, что обманывает себя, он затрясся в судорожном смехе. С заиндевелой бороды летел мелкий иней и падал на пуховый платок Капитолины Петровны. Он протянул к ней озябшие, дрожащие руки, стряхнул снег, коснулся пальцами ледяной щеки. Глухой, клокочущий плач затряс его тело, сдавил горло тугим узлом.

Бежавшая в первой упряжке олениха вдруг споткнулась и рухнула рядом с нартой. Еще не поняв, что ей больше не встать, купец толкнул ее в бок мягким носком топога. Ременные постромки натянулись.

«Тебе еще бегать да бегать, а ты... околела?! — удивился он, увидев широко раскрытые остекленевшие глаза животного, ощупывая теплую еще шею оленихи. — Околела, ха-ха-ха! — ползал по снегу на коленях Рогалев. — У нас с тобой охотничий нож с тамгой самого Васьки-шамана, — не

зная кому говорил Рогалев. — Только по нему он отдаст наше богатство. Только по нему. И никому больше. У нас с ним договоренность, а он свое слово держать умеет. Это уж точно».

Нарта, на которой лежала Капитолина Петровна, накренилась, жалобно проскрипел надломившийся полоз. «Боже мой, все одно к одному, — вздохнул купец и, увидев кривоствольную сосну, побрел к ней, обнял, припал щекой к коре: — А вот тут, вот тут, возле этой сосенки и положу я тебя. Кто знает, сколько дней еще колесить по этим местам стану. Богу только одному известно. Не обману я тебя. Не обману. Обязательно вернусь за тобой. До самого моего последнего часа эту сосну не забуду. Кривоствольненькая, верхушка будто топором срублена. Ее издали заметно. — Он утоптал под сосной нетронутый снег, постлал на него оленью шкуру. — Я вот сюда, любовь моя, свое сердце положу. Вот сюда. Я вернусь. Разве можно жить человеку без сердца? А оно тут с тобой будет, — прикрыл лицо Капитолины Петровны белым головным платком, поправил сложенные на груди руки и увидел на безымянном пальце правой руки обручальное кольцо. Он припал губами к уже окостеневшим рукам, глотая слезы. — И я тут замерзну, — мелькнула мысль. Отшатнулся в рыхлый глубокий снег. — Ехать? Куда ехать? Рядом лежать будем. А вдруг никто не найдет? Неужто вся жизнь на этом и кончилась?»

И, не думая больше ни о чем, он побрел по пояс в снегу к оленьим упряжкам, еле отличил заснеженные спины от высоких снежных бугров.

— Чего вы молчите? Плачьте, безмозглые, плачьте! Не умеете? — Он вскарабкался на нарту Капитолины Петровны.

Глава четырнадцатая

— Вы не станете нас строго судить, если мы потесним вас? — Туров впервые обратился к Василию Афанасьевичу. — Быть может, мои люди и принесут вам кое-какие неприятности, так не взыщите: парни молодые, идут в снега, замерзли в дороге, устали, так что можно понять их.

— Ради Бога, — проговорил купец, шаря рукой по двери, отыскивая скобу.

— Мы все люди грешные, не лишены искушений и соблазнов. Облаченные полномочиями правительства, мы не стараемся перед народом казаться чистоплюями, скорее наоборот, желаем показать свою скрытую силу.

— Понятно, понятно, — бормотал Василий Афанасьевич.

Разговорившийся Николай Михайлович одновременно разглядывал обстановку дома сибирского купца.

Поручика приятно удивили подсвечники вдоль стен, ковры китайской работы, картины в громадных золоченых рамах и двери — белые, с тонкими украшениями из кости, выполненные тобольскими мастерами.

— Это все баловство, — отмахнулся купец, заметив, как Туров рассматривал спинки стульев, обтянутые бархатом, зеркало во всю стену, настенные часы, а в пролете между окнами дубовую горку. — Мы в этой половине не живем, она только для гостей.

— Ну, любезный, скажу я тебе, удивил ты меня, — не без восторга сказал Туров. — Мой отец, кажется, на всю губернию богатеем считался, а до такой роскоши не дожил.

— Рыбка все. Рыбка наша обская. Она ведь барыши собирает. Как иной год пойдет, пойдет, так амбаров не хватает, — разоткровенничался, было, купец, но спохватился: — Да удача у русского человека на трех сваях живет: авось, небось и как-нибудь. — Но его никто уже не слушал.

Громкий смех подпоручика Лушникова вывел Турова из состояния душевного блаженства, в котором он давно не был. Ткнув пальцем в скульптуру каслинского литья, Туров процедил сквозь зубы:

— Убери ее или закрой чем-нибудь.

Василий Афанасьевич не сразу понял, о чем попросил Туров.

— Скульптурку прикрой! — в сердцах повторил поручик, оглянувшись на смех.

Лушников шел вразвалку, за ним остальные, ошеломленные убранством комнат. После чарочки винца взор Лушникова затуманился.

Впереди, прикрыв руками голову, бежала молоденькая девушка. Офицеры ее подталкивали в спину и, изловчившись, щекотали.

— Отставить! — строго сказал Туров Лушникову.

Лушников повернулся на голос поручика, его щеки и нос успели налиться багровой краснотой от спиртного.

— Не сердись, — примирительно сказал Туров, почувствовав негодование Лушникова. — Свое наверстаешь. Кто от твоих лап увернется? Все твое — на что глаз упадет.

Акулина Федоровна, принаряженная по случаю приезжих гостей, увидев, что офицер бесцеремонно подталкивает горничную Манефу, присланную для подмоги Нестором Прохоровичем, попятилась. Ее неприятно поразило их поведение и вид: все они были похожи один на другого, у всех сутулые спины, шеи втянутые в высокие жесткие воротники кителей, от всех несет потом, табаком, перегаром.

— К столу, к столу, гости дорогие, — хлопотал Василий Афанасьевич, с трудом приподнимая стулья: почему-то они показались ему тяжелыми.

— Что правда, то правда: крепкий купец Мялищев! — потирая руки, сказал Туров, разглядывая на столе разносолы.

— Благодарствую на добром слове, благодарствую, — поклонился купец, обернувшись на дверь, в которой показалась фигура Нестора Прохоровича. Волостной старшина вошел в комнату стремительно, по обыкновению оглаживая правой рукой пушистую бороду, прищуренный колюче-строгий взгляд выдавал его негодование.

— Здрасте! — сказал Шлеин скороговоркой, посмотрев поверх сидевших за столом офицеров. — Молодцы-то ваши охальничают, господа хорошие. Никакой пристрастки не знают. Это же надо: считай с маху и под рубаху! Шары выпучил и ну в конюшню Настену затаскивать. Я его сзади сгреб, так он зверем рычит. Только слегой, что собак разнимаю, утихомирил, а то прямо в зубы норовит, охальник! — Нестор Прохорович обтер лоб носовым платком, шумно высморкался.

— Это Сосунов. Узнаю его натуру, — захохотал Лушников, дружески хлопнув Нестора Прохоровича по плечу.

— Некрасиво-о-о-о, — протянул Нестор Прохорович, убирая с плеча руку Лушникова.

— Не могу не предупредить вас, что нашим парням дана полная воля, — сказал молодой офицер Киргизов с жесткой щетиной на щеках и торчащими, как у кота, усами. — Да-да, полная воля. И не обессудьте. Мы за тысячи верст явились сюда не мед пить, а порядок наводить, и не какой-нибудь, а государственный, и не словечками-песенками, а ружьями, нагайками и плетками. И то, что вашу дворовую Настену наш солдат в конюшню сводит, — не вижу в том ничего предосудительного.

Раздавшийся за столом хохот, звон бокалов наполнили застолье говорливо-шумным весельем.

Нестор Прохорович улучил минуту:

— Это же насилие!

— Революция — насилие! — отпарировал все тот же офицер с кошачьими усами. — А наши парни молодые, но уже пулями обстрелянные. Многие, не приведи Бог, от притаившейся в вашем селе красной заразы могут жизни лишиться, а мы тут Настен, Марф, Пелагей облагораживать начнем.

Нестор Прохорович брезгливо поморщился.

— А уж если дальше говорить, то и вас не мешает спросить о порядке в селе. — Киргизов привстал, набычив глаза в сторону Нестора Прохоровича, будто смех застыл на его перекошенном лице.

— Киргизов! — прикрикнул на него через стол Туров.

— Знаете ли, я приехал, или лучше сказать, пришел, — говорил Киргизов, большими глотками отхлебывая из стакана налитое вино, — не природой любоваться, не пироги есть! Я пришел работать! — Он вдруг задумался, но через мгновение поднял голову. — А всякая работа требует от человека полной отдачи, а где полная отдача, там — самозабвение, а все остальное — к чертовой матери.

— Кто бы возражал против работы. Это единственный путь к благополучию, — не глядя на Киргизова, проронил Нестор Прохорович. — Но у вас в голове, молодой человек, все спуталось, как я послушаю. Где кони, где люди — все едино.

— Молчать! — крикнул Киргизов, вскакивая со стула.

— Экий желторотый воробей! — ответил Нестор Прохорович. Киргизов стоял остолбенело, расстегивал верхнюю пуговицу кителя.

Нестор Прохорович не терял самообладания и достоинства, хотя у него запрыгали губы и несколько раз еле приметная жилка дернулась возле левого глаза.

— А вы, однако, побледнели, милостивый, — язвительно проговорил Киргизов, опрокидывая в широко разинутый рот содержимое стакана. — А вам, как я посмотрю, есть за что бороться. Непросто на ветер пускать нажитое.

В это время Лушников, вконец захмелевший, сграбастал Киргизова, запел:

— Ох ты, Митька, братец мой,
Не любят девки нас с тобой.
Они тогда будут любить,
Когда по рожам будем бить!

Но Киргизов вырвался, намереваясь продолжить разговор с Нестором Прохоровичем, который задел его.

— Я, если вам угодно, сын бая, — продолжал Киргизов, — а в вашей Сибири околачиваюсь! Да еще такие разговоры выслушиваю. Не будь я Киргизовым...

— Киргизов! — вставая из-за стола, снова прикрикнул Туров, но в это время сильная оплеуха сбила Нестора Прохоровича с ног. Акулина Федоровна завизжала на весь дом, не помня себя от страха.

Поручик Туров помог подняться Нестору Прохоровичу, примирительно погладил по плечу.

— Во-о-о-н этих разбойников сию же минуту! — в гневе потрясая кулаком, кричал Нестор Прохорович. — Собак натравлю, а всех выкурю, если что, дом спалю!

Василий Афанасьевич впервые не позавидовал Нестору Прохоровичу.

— Не горячись, — сухо ответил Туров. — Не горячись. И не с такими, как ты, ребята управлялись. Слов нет — пакость последняя наш Киргизов, но ты и сам хорош. — Плач Акулины Федоровны остановил Турова.

Перед глазами Нестора Прохоровича все мелькало и плыло, но явственно вырисовывалось круглое, усатое лицо Киргизова. Не сумев остановить себя, он харкнул обидчику в лицо.

— Это уж слишком! — теряя над собой власть, закричал Туров. — Вон отсюда! И чтобы ни гу-гу! — и приказал закрыть дверь за Нестором Прохоровичем.

После всего случившегося Василий Афанасьевич старался сдерживаться. Его сердце жгла обида за старого друга. Зная характер Нестора Прохоровича, он за него беспокоил-

ся. Тот хоть и ушел домой на собственных ногах, но вряд ли сможет пережить оскорбление.

К полуночи табачный дым плыл по большому залу синей полосой, слегка покачиваясь и выплывая в коридор к приоткрытой вьюшке. Слышалось сиплое посапывание уснувшего за столом Киргизова. Время от времени он приподнимал голову и снова ронял ее на стол. Сморил сон и Лушникова. Храп сотрясал его отяжелевшее тело. Туров пытался разбудить его, отправить спать, но это оказалось ему не под силу.

У дверей вдруг возник шум. Ввалились ряженые — в вывернутых овчинных тулупах, перевязанных разноцветными кушаками, в надеванных поверх мохнатых шуб широченных старушечьих юбках. Разнесся оглушительный звон колокольчиков, будто в дом вбежало стадо оленей.

И надо же было Никите в первый день попасться на глаза Турову!

Мысль явиться в дом ряжеными подала Васса. Быстро сбегала ко всем старухам, собрала сарафаны да юбки, полушубки. Молодежь хлебом не корми — только позови играть в ряженых! Да еще в дом к Василию Афанасьевичу, да еще к господам офицерам!

— Что бы это могло значить? — посмотрел Туров на оторопевшего Василия Афанасьевича и ощупал кобуру.

— Так ведь святки идут. Людская потеха. Не знаю, в каких краях как, а у нас в Сибири это первое увеселение, — сказал купец, узнав в высоком парне, перепачканном сажей, Никиту.

— Глупая это затея среди ночи гостей беспокоить, — Туров дал понять Василию Афанасьевичу, что ему не нравится эта потеха.

— Ты чего, Никита, с ума сошел? До чего дурь-то доводит. Не вовремя, не вовремя явились! Господа с трудной дороги. В другой раз придете, в другой раз.

Один из ряженых парней растянул у гармошки меха, прошелся возле стола, потряхивая мехом вывороченной шубы.

Раздался выстрел из револьвера. С криками и воплями ряженые неслись в широко распахнутую дверь и кубарем скатывались со ступенек. Послышался грохот у накрепко запертых ворот.

Туров, прищурив глаза, пристально смотрел в темное дуло револьвера, изредка вскидывая взгляд на зеркало в простенке.

— Ну, брат, — с присущим ему спокойствием сказал Туров, прислушиваясь к крикам на улице, — какой у тебя сын — кровь с молоком! Вижу, постарше наших солдат, а в ряженые играет. Он что? — Туров повертел пальцем у правого виска.

Василий Афанасьевич побледнел.

— Что с сыном-то? — повторил поручик.

— Живет, — с трудом ответил купец.

— Что значит «живет»? И как «живет»? — спрашивал Туров исключительно по той причине, что Василий Афанасьевич своим испугом насторожил его.

Во сне заорал Лушников, заругался, вскочил, шарахаясь, выбежал в коридор. Послышался облегченный вздох, и тонкая струйка потекла по полу, замочив кисти и край китайского ковра.

— Завтра с вашим сыном поговорить надо, — резко сказал Туров. — В такое время в ряженые играть — слов нет — любопытно.

— Страшно-то как, — прижимаясь к Василию Афанасьевичу, шептала купчиха. Он вздыхал, истерзавшись за этот вечер. — С Никитой-то что теперь будет? — Акулина Федоровна заплакала, закрывшись с головой одеялом. — Кто его надоумил с ряжеными-то идти?

— Его надоумишь. Сам явился. Нарочно показался. И ряженые — его затея. Чувствую, что его. — Василию Афанасьевичу вспомнился Саввушка со злополучным письмом. «Господи, весь свет перевернулся вверх тормашками!»

— Глаза да глазоньки за ним теперь надо, — испугалась купчиха.

— Какие теперь глаза? Надо было за маленьким глядеть.

— И так глядела, — не принимая на себя вину, защищалась Акулина Федоровна. — В Тобольске просила Авдотью Сергеевну Малахову приглядывать за ним. Рыбу ей отборную посылала. Нравился ей наш Никитушка, письма ее посмотри. Все писала: умница, с друзьями хорошими водится.

— Молчи, и про Малаховых не вспоминай, забудь! Малаховского-то сынка без следствия, сразу к расстрелу. Всю молодежь в Тобольске взбаламутил. Как есть всю. Они там все как сдурели, супротив... — Василий Афанасьевич смолк. Он силился отыскать хоть какую-нибудь ошибку в бумаге Саввушки и не мог. «Если в бумаге все правда, так они же

заклятые враги», — Василий Афанасьевич перекрестился в постели. Этот жест испугал Акулину Федоровну, она торопливо перевела разговор.

— А эти бесстыдники-то какие! — Купец ладонью прикрыл ей рот. — В своем доме да еще молчи! Или мы тут не хозяева? Добро-то как наживали, а они все поганят. Тот жеребец-то на ковер напрудил. Подумать только, а мы ступить боялись.

— Замолчи! — прикрикнул Василий Афанасьевич, совсем неожиданно вспомнив про обоз. В суматохе он забыл о нем, и никто из приезжих ни словом, ни полсловом не обмолвился. «Не карета, не верховой, не сани-розвальни, а целый обоз, а все молчат. Сквозь землю, что ли, он провалился?» — распалялся купец, не слыша, как стучат в западню.

— Не слышишь, что ли? Девки зубонят. Опять какое-нибудь озорство, зря не разбудят.

Купец босой подбежал к западне.

— Мужиков полон двор. Слышите, стучат, — послышался голос Вассы. — Пьянущие. Лошадей требуют. Маита избили.

«Отведи тучу мороком!» — подумал купец и тихо, заговорщически шепнул:

— Запритесь как следует и сидите молчком. Утро вечера мудренее.

В спальне купец упал на кровать и лежал до самого утра с открытыми глазами.

Ни свет ни заря поплелся в зал. Сразу заметил старания Вассы. Паюсная икра, осетровые балыки, копченые стерляди и малосольные муксуны стояли посреди стола на аккуратно расстеленной скатерти.

В зал вошел Лушников.

Опухшее, одутловатое лицо, черная щетина, воспаленные веки и красные, потрескавшиеся от мороза губы делали его угрюмым и суровым. Недели две назад он решил отращивать бороду. Неудобства в дороге вынудили к этому, хотя он знал, что борода ему не к лицу. Не успевшая отрасти щетина стояла торчком.

— Башка трещит — нет спасу! — И, не получив ответа, развалился в кресле. — Тут у тебя горничная ходила — такая молодка: шеи не согнет, головы не повернет, прямо не горничная, а пава. Откуда привез?

— Здешняя. Из сельских, — нехотя ответил Василий Афанасьевич.

Появление Турова в новом, отглаженном кителе с погонами, гладко выбритого и надушенного, заставило Лушникова встать. Туров казался подтянутым, готовым сию минуту принимать доклады и давать распоряжения.

— Киргизов где? — спросил он Лушникова.

Тот вспыхнул, но четко ответил:

— С конвоем по селу пошел.

— Похвально, — сказал Туров, жестом приглашая Василия Афанасьевича к столу. Лушников, помня вчерашний вечер, подобострастно и старательно накладывал в тарелку Турова яства.

— Как там?

— Все в порядке.

Приступая к завтраку, будто между прочим Туров спросил Василия Афанасьевича:

— Как тут наш Семен Шитоев поживал?

— Слава Богу, — вымолвил купец, присаживаясь. — С немотой своей прожил честь по чести, если не считать, что Маитка, дворник, прознал про его обман. Он потом все его караулил — порешить собирался, да я пристращал. Говорю: где живешь, тут не гадь, гадь где-нибудь в сторонке.

— Проговорился, значит?

— Да кто его знает. Маит мужик-то полуглухой, поди, и не расслышал. А у страха глаза велики, вот и почудилось Сеньке, будто проговорился. Пустое это. Он потом на дороге дело свершил.

— С Дорошиными?

Василий Афанасьевич кивнул.

— Насмерть?

— Да нет. Промахнулись. Поранили Ефима, а с мальчонкой круто повернули: об лесину головой — и сразу дух вон.

Туров в сердцах бросил на стол вилку.

— Он чего, разучился стрелять? Или руки тряслись? Или пьяным был? Этого человека нельзя отпускать живым. Нельзя. В селе он?

— Где бы ему быть? Рана-то, сказывают, сквозная, опасная, слышал, доктора еще одного привезли.

— Распорядись: первым в управу доставить Дорошина, — приказал Лушникову. — Когда Семен уехал?

— Недели полторы. Васька-шаман ко времени подвернулся, и тут же в тундру отправились. Сказывал, что своих товарищей там дожидаться будет. Если я вам больше не нужен, то пойду по делам. Простите старика великодушно,

голова что-то разламывается, — признался Василий Афанасьевич.

— Я все-таки хочу вас спросить...

— Сын он мне. Сын, — опередил Турова купец. — Плохой, хороший, а мой! Ну и откупился, ну и дал кому следует куш, что теперь? Не всех же на смерть посылать. Надо же кому-то и наше купеческое дело продолжать, да осечка у меня вышла. Ни к чему было мне его учить всяким наукам да дисциплинам. Нечего их во дворяне выводить: кость не та! По-своему они понимают эту ученость — проматывают нажитое отцами наследство. В карты играют, вечеринки справляют, шампанское с девками пьют. Расшвыряют все по ветру, а потом вернутся к разбитому корыту. Никакой пользы. По моему понятию, лучше не доучиться, чем переучиться. Отозвал я своего Никиту с учения. Отозвал и точка. А как он радеет за отцовское добро? Как враг какой, все может пустить по ветру, а почему? Да все потому, что к делу отцовскому не приобщился, не научился денежки считать. Ну и болтается как навоз в проруби.

Туров по-дружески похлопал Василия Афанасьевича по спине.

— Мы ему работу найдем...

— Неужто с этим хулиганьем в одну компанию возьмете? — сник купец, жалея о сказанном в торопливой запальчивости.

— Определим в самом выгодном для вас положении, — постарался успокоить не на шутку встревоженного купца Туров. — Вашему сыну нужно приобщаться к полезному делу.

Глава пятнадцатая

От стука в дверь Саввушка вздрогнул. Пугая себя всевозможными предположениями, судорожно схватил с лежанки пиджак и припал ухом к темному косяку.

В дверь снова забарабанили, он отбросил крючок, попятился: в избу ввалились вооруженные солдаты.

— Собирайся, да живо! — молодой солдат сделал несколько шагов от порога к столу, задержал взгляд на трех темных деревянных сундуках с внутренними замками.

— Я писарь. Волостной писарь, — бормотал Саввушка, вталкивая ноги в новые, ни разу не надеванные валенки, приготовленные к той поре, когда надо будет показаться перед приезжими людьми в лучшем виде.

— Знаем, что писарь! Потому и пошевеливайся. Не будь ты писарем, сундучки-то твои раскурочили б. С виду рванье да заплатки, а в сундуках всякой всячины полно. Поди, и золотишко в уголках-то!

— Я ведь не агитатор, — торопливо оправдывался Саввушка. — Я писарь, исправно веду свое дело. Это какая-нибудь глупость, что вы пришли за мной. Это какой-нибудь наговор! И куда это запропастилась моя шапка? — стонал он, с замиранием сердца посматривая на винтовки в руках солдат.

— Недалече, можно и без шапки, — прикрикнул все тот же парень.

Посмотрев на него со страхом, Саввушка увидел, что тот высокого роста и достает головой до полатей над печкой.

— Вот твоя шапка, пошевеливайся. Дел полно! — Сорвав висевший на гвозде облезлый заячий треух, бросил писарю в лицо, бесцеремонно схватил его за шиворот и выставил за дверь.

— На замок. На замок заприте! — запахивая полы длинного пальто, Саввушка протянул замок, всегда лежащий в кармане.

Он шел в управу по своей проторенной между огородами тропке. Шаги за спиной и говор солдат пугали его, и он не смог понять ни одного слова в силу своего душевного расстройства. Он оступался, с трудом вытаскивал из снега тонкие ноги в новых валенках и шел дальше пошатываясь, боясь думать, что ждет его через пару минут, когда он очутится за порогом дома, в котором прошла вся его жизнь и куда он входил почти хозяином.

У порога писарь опять запнулся, сделал несколько быстрых шагов и очутился лицом к лицу с поручиком Туровым.

Саввушка мял в руках заячий треух, не поднимая глаз.

— Что же вы, писарь, не показываетесь? Или были заодно с комитетчиками? — Туров уже по опыту знал, как ведут себя канцеляристы.

— Видит Бог, не был я с ними заодно. Не был. Дела писарские справлял, а заодно не был! — разволновался Сав-

вушка. — Я человек государственный. Мое дело — верой и правдой служить. В волнении он обтирал вспотевший лоб то рукавом пальто, то заячьим треухом.

— Место-то твое где?

— Вот мой стол. Вот кормилец мой! — ткнул Саввушка в угол. Я на нем каждое пятно знаю, каждую трещинку.

— Ну, раз твой, то садись. Нам сегодня писарь нужен!

Саввушка, не поверив услышанному, постоял, сделал несколько несмелых шагов.

Дверь сзади распахнулась настежь, несколько раз ударилась о стену, проскрипев на старых петлях. Саввушка, услышав матерные слова, сжался и пошел к столу на цыпочках.

В дверях шла возня, послышался хриплый, простуженный голос Арси Попова.

— Да с ямщины я. С ямщины! Торопился, потому что Марюха на сносях. Вот-вот разродиться должна. Лошадей понужал, гнал что есть мочи.

— Не ври! — послышался грозный окрик. За селом схватили. Говоришь: по дрова поехал. А на санях ружья.

Лушников пристально смотрел на мужика.

— По дрова, значит?

— По дрова, — ответил Арся.

— Начистоту будем разговаривать или как?

— А и так как на духу.

— Говори, где Дорошин? Кто, когда и куда его отвез? В селе как ветром всех сдуло! Одни немощные бабы остались.

— Я теперя за всех в ответе? — резко спросил Арся, обрадованный полученными от Лушникова сведениями. — Я же говорю: из ямщины токо вечор явился. Про то все в селе знают. Я ишо ране обоза из села ушел. Сказываю, торопился: Марюха брюхатая осталась. Вот и приехал. Че теперя? За всех ответ держать?

— Нет. Ты нам про Дорошина скажи: где он?

— Истинный Бог, не знаю.

— Знаешь. По соседству живете.

— Не знаю, дома меня не было, — настойчиво говорил Арся, с каждой минутой смелея, отходя от страха. — Он раненый. Далеко убечь не смог.

Туров, молчавший во время разговора, не вытерпел, вставил:

— Канительно!

— Ты говори, где Дорошин, а не то шкуру сдерем, как с белки. Начистоту! — Лушников схватил Арсю за грудки.

От ворота оторвалась пуговица, ребрышком покатилась по полу и опрокинулась возле сапог Турова, в волнении ходившего из угла в угол.

Туров остановил взгляд на широких плечах Арси, обтянутых старым пиджаком, с аккуратно пришитыми заплатками возле карманов. Глядя на Арсю, он вспомнил, как обратил внимание на такие спины в недальнем от Сатарова селе, название которого не припомнил. Там в церкви во время обедни собрались сельчане в первый день пребывания отряда в поселке. Туров тогда, стоя у порога, обратил внимание на их спины. Ему доставляло удовольствие смотреть на сильные плечи сибирских мужиков. Рассуждая, Туров пришел к мысли, что грешно и бесчеловечно истязать их. Эта мысль была как наваждение. Она появилась после одного сна. Он видел гроб, обитый темным бархатом, свечи и своего отца, искавшего его взглядом. Он помнит, как отец молчаливым жестом приказал ему встать на колени. Туров видел его лицо как наяву. Отец перекрестил сына длинной сухой рукой, благословил и отвернулся. Туров запомнил его спину, содрогавшуюся в плаче. Она вздрагивала, уплывала медленно, как бы давая время насмотреться и запомнить ее. «Она походила на спину этого мужика», — промелькнуло сейчас в его голове. И, отгоняя от себя пришедшее наваждение, Туров махнул рукой.

Сильный удар Лушникова сбил с ног Арсю. Стоявшие рядом солдаты вышвырнули его за дверь.

— Дознавайте, где Дорошин, а остальное после! — кричал Лушников.

От страха Саввушка сжался и готов был влезть в кованый ящик.

— Расползлись, как вши. Шаром покати — нет в селе мужиков, — сплевывая, говорил Лушников, присаживаясь к столу. — В обоз, так их мать, ушли. Ни раньше ни позже, а прямо перед нашим приходом. И по дороге их никто не встретил, хотя каждую подводу просматривали, отпустили только бабу на дохлой клячонке, впряженную в короб с тремя ребятишками да разбитыми горшками.

— Ну-ка, писарь, погляди: не значится ли Арся в списках отправленных в обоз? — спросил Туров.

— Ноне нет таких списков. Мужики в одночасье решились и поутру выехали. Когда решили, где решили — не знаю. Все канителились перед Василием Афанасьевичем, цену набивали, а потом враз схлынули все.

— Схлынули? — проронил Туров.

Раздражение и негодование закипело в нем при одной мысли, что они проворонили Ефима Дорошина, не смогли поймать даже раненым, и вообще, позорно было признавать, что хватают всех, кто попадает под руку. Он вспомнил лицо Ефима Дорошина, но в памяти были только его глаза — ясные, с блеском, даже каким-то синеватым отливом, когда он держал речь перед делегатами уездного земства. Турову сказали: вот этот человек — одна из важных личностей, отправляемых большевиками на Север. Потом он видел Дорошина в окружении большой толпы солдат.

— Худой, высокий, прихрамывает на правую ногу, — говорил Туров вслух.

— Это Дорошин, — послышался голос писаря. Поручик чертыхнулся, а Саввушка, сморщившись, клял себя, вспоминая мудрые наставления покойной матери, что излишняя говорливость никогда не доводит до добра. «Отмолчишься, как в саду отсидишься», — говаривала матушка.

— А жена Дорошина тоже комитетчица? — обратился к нему Лушников.

— Никак нет. Скромная женщина, видная. Долгое время солдаткой была. Блюла себя, хоть и первостепенная красавица по всему селу. Никакое поганое слово к ней за все годы не пристало, — залепетал писарь.

— А тоже в лес ушла! — сказал Лушников писарю. — Скромная, тишайшая, а ушла.

— Неужто? — протянул Саввушка.

— Сидишь тут, как пень!

— Истинный пень, — согласился писарь, припоминая, какого дня видел Дашу Дорошину. Он тогда даже обернулся, провожая ее взглядом. «Кажись, вчера. Али позавчера? В больницу шла. Наверно, к Ефиму. Про него сказывали, будто долго без памяти был. И неужто Степан до такого додумался — в избушку отвезти? Они ведь все по избушкам разъехались. Про то вчера кто-то говорил. Но кто, где? А Степана, истинный Бог, вчера видел. На подводе, на розвальнях. Ровно тоже к больнице гнал лошадь. Кто еще шел? — Саввушка прищурился, пытаясь представить укатанную дорогу. — И отчего память стала такая короткая? От старости, что ли? Да какая старость? К сорока годам подвигается, это разве годы? А в голове мутно, и все от умственной работы. Все надо в голове держать. Это когда спокойно да тихо, в голове все по порядку. А теперь, когда такая по-

шла суматоха: кто? где? Сам леший не разберет. Тут такую голову надо иметь! На что Василий Афанасьевич смекалист да памятлив, а в последнее время заговариваться, плести околесицу стал. Все это жизнь голову мутит, а в мутной воде дня не видать».

Саввушка погрузился в размышления, ни на что не реагируя, и если бы только было возможно, выскочил бы из-за стола и побежал до своей избы, упал бы на лежанку и лежал, не открывая глаз.

От голосистого бабьего причитания писарь очнулся.

Ефросинью Алексеевну волокли волоком. Слабые кисти рук болтались, прижатые к жестким шинелям карателей. Темный платок сполз на лоб, прикрыл лицо, на одной ноге не было войлочного башмака, вырезанного из старых пимов.

— Дотащили, — сказал Киргизов, переводя дыхание. — Дохлая, а тяжелая, карга.

С улицы послышалось голосистое причитание, вернее, не причитание, а завывание, всю дорогу от самого дома за солдатами бежала соседка Анисья, Маитова жена. Не зная и не понимая, что к чему, она набрасывалась на солдат, кричала так, что было слышно на другом конце села.

— Оттащите вы эту бабу! — приказал солдату Лушников.

— Ее только Маитка уведет. Только он, — вставил Саввушка в надежде, что его пошлют за конюхом.

— Всыпьте ей да пошлите за этим Маитом, — сквозь зубы произнес Туров, доставая из кармана чистый носовой платок. Он взглянул на чистенькую, тонколицую старушку без единой кровинки в лице и распорядился: — Поставьте табуретку.

— Постою, сынок, — ответила Ефросинья Алексеевна, посмотрев на Турова. Стены, оклеенные полосатыми обоями, покачивались перед ее глазами.

— Где ваш сы-нок? — тихо, без злобы спросил Туров, дав понять Лушникову, что его присутствие необязательно.

— Не знаю! — выдохнула Ефросинья Алексеевна и развела руками. — Да и твоя мать, поди теперь не знает, в какой ты стороне.

— Говорят, он раненый. В больнице лежал.

— Правильно говорят. Люди, что на миру живут, всегда правду говорят. Не знаю, где теперь мой Ефимушка. Слыхала, ночью люди приходили, с Дашуткой разговаривали, а потом и ее позвали с собой. Она пошла. В лес, видно, его

товарищи увезли. Вас побоялись. Может, и не зря. Порешил бы ты его, а он окопы прошел. Считай, всю войну до самого конца провоевал.

— Красная зараза твой сын! Смуту несет, а ты, старый человек, неправду говоришь.

— А кто знает, где эта правда-то заблудилась? Вы вот ее в крови ищете. Людское ли это дело? — Ефросинья Алексеевна пошатнулась и вдруг повалилась. Когда очнулась, перед ней Турова не было. Она почувствовала, что сидит на табуретке, что ее кто-то поддерживает с правой стороны. Взглянув, узнала Саввушку, провела холодной ладонью по его пальцам, спросила: — Где они?

— В сенях Арсю Попова пытают. — Писарь, встав перед Ефросиньей Алексеевной на колени, уткнул лицо в ее подол. — Мне бы тоже надо было в лес с мужиками. Лучше замерзнуть там, околеть, чем душу пытать, — шептал Саввушка. — Они отпустили тебя, тетка Ефросинья. Отпустили до особой надобности. Если Ефима отыщут, тогда им до тебя дела не будет, — говорил Саввушка, силясь поднять Ефросинью Алексеевну.

Туров негодовал. Пожалуй, впервые за весь поход по сибирским деревням он допустил рукоприкладство, от которого давно отказался, потому что научился перекладывать это грязное дело на других. Он ударил в лицо Арсю Попова. Ударил так, что рассек два пальца о крепкие зубы мужика. «В обозе же был, сволочь! В обозе! И винтовки вез комитетчикам, а молчит».

— Где старуха? — возвратясь, спросил Туров писаря, пряча перевязанные пальцы за борт кителя.

— Как распорядились, ушла.

— Сама?

— Сама.

— Ну и живучи, черви. Мы еще до нее доберемся. А сам-то ты что за птица?

Пряча глаза от Турова, писарь промямлил:

— Здешний я. На помощь купца Мялищева грамоту получил, десятый год в управе писарем служу.

— Чего ты такой запуганный? Или грехов много?

— Отродясь такой. Вины за собой особой не знаю. Разве что когда письма раньше волостного старосты прочитывал. Из любопытства. В этом грешен.

— Ну и что в этих письмах вычитывал? Да ты подними голову! Чего под нос бубнишь? Ничего не слышно!

— Там не все мне было понятно.

— Врешь. Про Ефима Дорошина должна была быть бумага. На имя волостного старшины.

— Была вроде такая. Так с опозданием. Нестор Прохорович уже с этого места смещен был. Его Степан Петрович Голощапов получил.

— А комитетчики какие бумаги получали? Распечатывал? Чего в них писано?

— Степан-то Петрович завсегда раньше меня сюда приходил. Он не Нестор Прохорович. Я возле окошка дома сижу, гляжу в проулок, когда он из своей калитки выйдет, и прямиком в управу, — опять разговорился писарь. — А Степан Петрович с первыми петухами встает. Я приду, а он уже тут.

— И волостной староста не знал, что ты деловые бумаги раньше его просматривал?

— Не-ет. Один раз я только забыл заклеить, так повинился. Он добрейшей души человек.

В это время из другой половины донесся страшный крик Арси Попова. Саввушка побледнел, закрыл ладонями уши. Именно в эту минуту он понял, что наговаривает на самого себя, выкладывает начистоту то, в чем никому никогда не признавался.

— Так-с, — с раздражением ответил Туров, и Саввушка понял, что на этом разговор не окончен.

Дверь распахнулась, и на пороге оказался Никита Мялищев. Саввушка вздрогнул, вспомнив про недавнее письмо на имя Степана Петровича, им прочитанное. Съежившись, он сидел, уткнувшись в стол.

— Хозяйский сыночек! — притворно весело воскликнул Туров. — Похвально, что пожаловал сам. Ну как вчера побаловались?

— После вашего выстрела все мои попутчики врассыпную, по домам.

Туров пошевелил спрятанными за борт кителя пальцами и ощутил нестерпимую боль, сжал зубы.

— Пойдешь с нами дальше, на Север? — без обиняков, прямо спросил Туров Никиту, и тот, не задумываясь, ответил: «Да!»

С минуту ручка дрожала в руке писаря. Ведь он доподлинно знал, что Никита Мялищев комитетчик. Он самолично принес и отдал купцу бумагу с печатью. Он даже помнит, на каком листике и каким шрифтом была выведена его фамилия. «Только одно слово мне сказать и лежать тебе под

шомполами, — стучало в его голове. Казалось, слова эти сорвутся сейчас с языка. Но он вспомнил деньги, полученные от Василия Афанасьевича. Они лежат в сундуке нетронутой пачкой. Синенькие, хрустящие ассигнации. — Ох ты, купеческий сынок, вот ведь где твоя жизнь, вот, — сжимал писарь в кулаке тонкие пальцы. — Только одно словечко промолвить. Одно словечко. Знал бы, не задирал бы передо мной нос, а был бы в поклоне».

На улице раздались ружейные выстрелы. Он быстро наклонился к столу и витиевато застрочил на листке бумаги, скрипя исписанным пером. Придавил печать и не глядя подал приписное свидетельство купеческому сыну Никите Мялищеву.

Из управы Туров поехал на выездном мялищевском рысаке, холеном, откормленном отборным овсом. Высоко задрав голову с шелковистой, расчесанной гривой, рысак спорой рысью шел по сельской улице. Комья снега летели из-под копыт, дробно ударяясь о меховое покрывало. Густые тучи заволокли небо, спустились до крыш деревянных домов, наполнили свежей изморозью воздух. Скоро стало темно, ночь стояла за поворотом.

Туров почувствовал необходимость отдохнуть от постоянного гвалта, шума, криков. Жалобы, просьбы, стоны, слезы, матерщина вконец утомили его. Сегодня он не знал, что будет делать завтра. Обычно в его голове все было разложено по полочкам, он четко все планировал. День же, проведенный в Сатарове, безрезультатный допрос какого-то Арси, старухи раздражили его. «Еще этот слабоумный писарь! И никакой власти, будто ветром сдуло вместе с комитетчиками. Волостной старшина с утра влежку лежит, расхворался. Пристав где-то гостит. Разбрелись кто куда. Добровольно свою власть отдали — и по печкам, как тараканы!»

Туров, натягивая вожжи и стараясь сбавить бег рысака, присматривался к показавшейся впереди подводе. То, что в Сатарово нет никого из представителей законной власти, по-настоящему насторожило его, он только теперь понял, как прочно и основательно взяли в руки власть комитетчики. Они только на время скрылись по избушкам и, безусловно, вернутся, как только отряд уйдет из села. «Найти Дорошина и, как его, Степана Голощапова. — Туров сплюнул. — Устал. Курам на смех, чем занимались. Купец Мялищев о своем добре печется. В других селах пристав — пер-

вый в управе, каждому характеристику даст, подскажет, а здесь — тишь да гладь, да божья благодать. И ропщут на комитетчиков только купцы. Лодочник подходил, купец Земцов, еще какой-то пообиженный советами лавочник. А остальные? Остальные-то, видно, все под красным флагом жить собрались».

Вожжи в руке расслабились, рысак, встряхнув гривой, свернул с дороги. Буравя снег, потащил кошеву в сторону.

— Тпру-у-у-у! — не успев вытащить из кармана руку, Туров повалился на бок. Мимо бежала упряжка, и мужик стоя понукал лошадь, торопясь проехать мимо мялищевского рысака.

— Стой!

— Чего тебе? — отозвался грубый голос.

— Стой! — повторил поручик и выстрелил из револьвера.

— Ты чего, такую мать! — заорал мужик, выскочив из кошевы. — Я тебе не кто-нибудь, а пристав! Спиридон Бурмантов, ясно? В избушках надо комитетчиков ловить, а не проезжих обстреливать. — Отряхивая иней с окладистой бороды, пристав подходил к кошеве Турова.

— Кто их должен ловить? — рявкнул Туров.

— Кому надо, — ответил Спиридон.

— А тебе не надо?

Пристав, уловив строгость в голосе, смолк.

«Это же мялищевский рысак», — мелькнула мысль. Прищурившись, увидел на шинели погоны. С минуту Спиридон стоял в замешательстве, хватая ртом воздух.

— Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие, не обессудьте, болтал что попало. Да я верой и правдой... два десятка годов. В верховья ездил к обским остякам. Проводника вам искал. Надежного человека. Они в снегах как дома, а вам без проводников — погибель! Я как услышал, что отряд идет, смекнул, что без проводников нельзя никак. — Пристав говорил подобострастно. — Завтра ни свет ни заря в управе буду!

Туров натянул вожжи, щелкнул медной бляхой, и рысак, выгнув шею, зашагал по снегу, вытаскивая кошеву на дорогу.

— Саввич будет вашим проводником, медвежатник Саввич! — молниеносно перебрав в голове надежных мужиков, крикнул пристав в след.

Туров, не слушая пристава, набросил меховое покрывало, погнал рысака в темную заснеженную даль. Скоро ноги,

обутые в сапоги, стали чувствовать холод. Хлопья снега, попадая за ворот, таяли. Встреча со Спиридоном испортила ему настроение и намерение побыть одному, поразмыслить о полезности и необходимости его пребывания в этих местах, о сути похода...

До слуха донеслись голоса. Они то раскатисто ухали, то терялись. Так бывает в степных просторах: голоса глохнут, утопают в снегах, и человеку кажется, что у него теряется слух. Немота снежных пустынь удручает, давит безмолвие. Не зря же мужики в ямщине научились петь певуче-заунывно, петь для самих себя, мурлыкать под нос, чтобы отвлечься от тоски.

— Ну-у-у-у-у, милые! Ну-у-у-у-у, хорошие, — донеслось до слуха, и по протяжному «у-у-у-у-у-у!» он узнал Сосунова, маленького шустрого ефрейтора. «Вот лошадник! И хлебом не корми, лишь бы лошадей гонять», — подумал поручик, различая среди окриков и смеха еле слышное пиликанье гармошки, в котором невозможно было выделить какого-нибудь стройного лада.

Лошади неслись во весь мах, яро настеганные ездоками. Свист хлыстов резал воздух. Сквозь крик и гиканье пролетел тоненький плач и тут же потерялся. Оголтелая орава солдат барахталась в широких розвальнях.

Единственным желанием Турова сейчас было напиться.

Окна дома купца Мялищева были залиты светом, тени мелькали за занавесками. Оставив рысака возле двери, он вбежал в дом, будто за ним кто-то гнался.

— В Сатарове опасно отлучаться одному, — Киргизов уставил на Турова блуждающий взгляд. — Выстрелы слышали?

Лицо купца Мялищева, исчерченное глубокими морщинами, посерело. Видно было, что ему надоело все и вся, но больше всего удручало неуважение к нему как к хозяину, который широко распахнул двери своего дома, рассыпался в щедрости, какой давно никому не оказывал.

— Всех лошадей вывели из конюшен и гоняют. Сколько есть сил гоняют, без всякой жалости, — чуть не плача, говорил он, присаживаясь к Турову. — Я лошадей люблю наипервейшей любовью, поскольку безответное это животное. — Купец налил в стакан водку, отпил несколько глотков, поморщился.

— Про лошадей ли теперь говорить? — разразился пьяным смехом подпоручик Лушников. — Их ли жалеть? Российского

мужика в бараний рог крутим. Изводим, можно сказать, самое крепкое семя. Всех. Под корень! Вот по нему, дорогой купец, надо панихиду справлять, а ты — ло-ша-ди... Пропади они пропадом. Скотина она и есть скотина, а вот человека особой породы, как наша, не приобретешь. Нет, брат!

Водка скоро подействовала и на Турова.

В спальне горела керосиновая лампа. Ровный свет заливал широкую кровать, заправленную тонким расшитым бельем, высокими подушками. На стульях лежали ажурные накидушки. На полу медвежья шкура с когтистыми лапами. Туров по-барски расселся в кресле, медленно расстегивая пуговицы кителя. Вскинув глаза на стену, ахнул: «Какое ружье!» Он вскочил, схватил его, щелкнул затвором, рассматривая искусную роспись на ложе.

Василий Афанасьевич застал Турова в хорошем расположении духа, сел напротив. Голова его едва заметно тряслась. Так было уже однажды, когда загорелся амбар с годовым запасом хлеба.

— Не задержимся мы у вас, — пожалел хозяина Туров.

Мялищев, повесив голову, бормотал что-то бессвязное, губы его дрожали, он крепился, но все-таки не стерпел:

— Уж охальники, каких, поди, и свет не видел.

Туров, увлекшись осмотром ружья, ничего не ответил.

— За что такая неблагодарность, такой разор творится?

— Василий Афанасьевич, — крикнул Туров, в сердцах бросая ружье на постель. — Молите Бога, что с вами еще так разговаривают, мы сюда не на прогулку пришли. Не время сейчас совеститься, не вре-мя! Речь идет о жизни и смерти: или старая царская власть или советы. Серединки тут нет и не будет. Миссия нашего отряда четко определена: покончить на месте с комитетами, привести в чувство заблуждающихся людей. Методы... Сами решим — важен результат.

Вино согревало Турова. Он снял китель, неосторожно задев кровоточащий палец. Мысль о том, что рассек он его о зубы Арси Попова, привела поручика в крайнюю раздражительность.

— Йод! В комоде, — заторопился купец, но Туров ногой подвинул стул к двери, стараясь не выпустить из спальни Василия Афанасьевича.

Он глядел на поручика в недоумении:

— Мне, милейший, нынче на шестой десяток перевалило, а вы изволите со мной так обращаться, — и, силясь отодвинуть стул, крикнул: — Я пока еще в доме хозяин!

— Да бросьте вы, — с раздражением, сквозь зубы процедил поручик. — Не до вас мне. Нам еще не меньше двух тысяч верст идти...

Туров отодвинул от двери стул и закрыл лицо руками.

— Господи, — примирительно выдавил Василий Афанасьевич. — Господи, прости меня многогрешного. Никиту-то моего видели? — обтирая взмокшую лысину, спросил Василий Афанасьевич, чувствуя, что поручик расслабился и вновь потянулся к ружью. — Видать, облюбовали? — Невзначай спросил купец шепотом. — Если облюбовали, то — берите. Дарю. На память. А то какой-нибудь антихрист возьмет и спрашивать не станет.

— Сына твоего с собой возьму. При себе держать буду, — ответил поручик и, подозрительно оглянувшись на дверь, наклонился к уху Василия Афанасьевича. Тот в недоумении попятился, но поняв, что поручик собирается сказать ему что-то секретное, доверчиво подставил ухо. — Мы обратно этим же путем пойдем. Покрутим, походим по деревням, селам и вернемся. Ты припрячь богатство свое, еще пригодится. На обратной дороге и подарок взять не откажусь. Вещица-а!

— Вот и хорошо, да и с Вассой расстанется, а то никакого сладу не стало, все время торчит на кухне. Будто привязала она его к себе, — ни с того ни с сего пожаловался купец поручику.

— Губа у него не дура. От такой ягоды и в мороз малиной пахнет, не скоро оторвешься, — ответил он сухо и, опрокинувшись на мягкую постель, утонул в пуховиках.

Глава шестнадцатая

Пристав Спиридон Бурмантов занемог, чего раньше с ним никогда не бывало. Болели ноги: до того их стянуло судорогами, что лежа на лавке, он с замиранием сердца думал, что при ходьбе их придется как-то сгибать и разгибать. Ломоту почувствовал еще на охоте, когда юркий соболь, петляя в валежнике, незаметно заманил его к берегам Пы-

новки. В азарте погони за зверьком боли не замечал. А дома так скрутило, что хоть ревом реви.

Он сел и, раскачиваясь всем телом, потирал ладонями волосатые жилистые ноги. В избу вошла Федора с веником под мышкой.

— В первый жар пойдешь?

— Не пойду, — ответил Спиридон, хмуря нависшие брови. Припомнился разговор со встретившимся на дороге поручиком. «Кто его знал? — успокаивал себя пристав. — Не могу же я с каждым встречным-поперечным тары-бары разводить. Но как же я, раззява, мялищевского рысака не узнал? Как? Разве Василий Афанасьевич кому попало дал бы поводья? Ни в жизнь. Да этот выстрел меня с панталыку сбил. Так грохнул, что рысак на дыбы поднялся. Ишь, какой резвый! А вдруг да в меня, в государственного человека, попал бы, а?»

В баню он все-таки сходил, всю ночь охал, а поутру оделся по всем правилам и хромая пошел в управу.

Переступив порог, увидел на полу окровавленного Арсю Попова. Двое молодых солдат дремали, навалившись на винтовки. Лицо Спиридона вспыхнуло, он по-хозяйски строго проговорил:

— Что еще за порядки такие? Что за жестокости? Кто дал вам право тиранством заниматься?

Арся приоткрыл залитый кровью глаз и слипшимися губами попросил пить.

— Не подходи! — закричал молоденький солдат и качнул в руке винтовку.

Спиридон обернулся, чувствуя на спине взгляд Арси Попова, с которым каждую осень ходил лесовать.

Тут Спиридон увидел поручика. Он узнал его по высокой стройной фигуре и шапке, натянутой до самых бровей.

— Пристав, значит, объявился? — язвительно спросил Туров мимоходом

— Так точно-с, — выпалил Спиридон.

— Как он там? — кивнул Туров в противоположную сторону, и Спиридон догадался, что он спрашивает об Арсе Попове.

— Молчит. А если и говори, то одно: по дрова поехал.

— Продолжайте!

Пристав похолодел. Он представил, как эти молокососы опять станут бить Арсю, и не выдержал, подбежал к столу, за которым расселся Туров, выкрикнул:

— Это самый правильный мужик в нашем селе!

— Замолчите! — сморщился Туров, хотя и понимал, что встретить его надо было бы поуважительнее.

— Этак нам не сработаться, — сказал Спиридон, приседая на край табуретки. — Этак дело не пойдет.

Спиридон умел перед приезжими показать свою власть. Однажды он написал жалобу генерал-губернатору на поручика особых поручений Плесовских, который пребывал в Сатарове в постоянном запое и пытался пристращать пристава Бурмантова доносом за будто бы неверное взимание рухляди в казну. Но дело обстояло не так, и, не дав оклеветать себя, Спиридон послал в Тобольск депешу, после которой поручика особых поручений разжаловали в должности.

— Не сработаться, значит? — переспросил Туров. Желваки заходили на щеках. — А может, ты сам заодно с комитетчиками? Может, вчерашним вечером из их избушки возвращался? И про то, что в селе у них есть свои люди, знаешь.

Спиридон обомлел. Он мог услышать от поручика что угодно, но только не такое. В голове у Спиридона зашумело, перед глазами засверкали легкие светлячки. Незаслуженное обвинение было для него самым большим оскорблением. Еще в молодые годы, присягая служить на верность, он знал, что не стерпит ни от кого обиды. «Бог был милостив ко мне», — подумалось в эту минуту приставу.

— Кого из сочувствующих комитетчикам вы можете назвать? — не ища примирения с приставом, не снижая тона, расспрашивал его Туров.

— Комитетчики в лесах, — нашел в себе силу ответить Спиридон Бурмантов. — И не только комитетчики, но и другие мужики, было бы вам известно-с!

Туров еле заметными движениями постучал пальцами по подлокотникам.

— Да-с, — продолжал пристав, — в лесах решили переждать. Одним словом — собрались пар-ти-за-нить! Так-с! Или думаете, я, государственный человек, не знаю, что делается? — От своей смелости урядник вспотел, и ломоту в коленях как рукой сняло.

— Похвально, — протянул поручик, заметив, что пристав был с ним, хоть и запальчив, но откровенен, прям.

Саввушка, увидев из своего окна пристава, заметался. Он знал, что Спиридон Клавдиевич просто так не пойдет к нему

в избу. Он бросился к двери, намереваясь приоткрыть ее, но вернулся и сел возле печи. Прижимаясь спиной к горячим кирпичам, писарь не мог согреться. Он старался не думать ни о вчерашнем дне, ни о сегодняшнем. Увидел на полу налипшую возле порога стружку, сенную подстилку, выпавшую из старых бродней, которые он надевал по ночам, выбегая до ветру.

Вошел пристав:

— Чего жмешься, Саввушка? Или не сработался с поручиком? Или сон какой приснился, дрожишь?

— Теперь явь стала страшнее снов, — простонал писарь, натягивая на плечи выстеганное матерью пальто, как ему думалось, приносившее удачу. Он сдул с плеча пушинку от заячьего треуха и не выпускал ее из виду, пока она плавно, неторопливо опускалась на грязный, давно не мытый пол.

— Иди давай, — снисходительно сказал Спиридон Савушке, — крепись, а иди.

— Я пойду, пойду! — заторопился писарь. — Знаю — служба.

Возле управы стояли сельские мужики, охраняемые солдатами, между которыми суетился Маитка.

Оставшихся в селе мужиков принудили безоговорочно в положенный час явиться в волостное управление, или как называли все, в управу.

Здоровались друг с другом, дымили самосадом, бросали в снег недокуренные самокрутки. Об аресте Арси Попова знали все, но, как сговорившись, молчали. Они не ведали, что каждого из них ждет впереди. Кто-то высказал предположение о мобилизации в регулярную армию Колчака. Но это было маловероятным. Наемными были только войска белочехов, которым Антанта платила по 250 рублей золотом в месяц за одного солдата.

— У купца-то че деется! — кашляя от неумелой затяжки, говорил с передыхом дворник. — Разор. Все рушат: ворота с петель сорвали, доски подворотние изрубили, даже щеколду куда-то вышвырнули. Никакого порядку. Господа офицеры ходят и будто не видят. С лошадей пена хлопьями. Считай, половину коней спалили. Смотреть — жалость одна.

— Пусть крушат!

— Лошади же! Или вам, жеребцам, все едино — лишь бы крушили?

На широкое крыльцо, вымощенное тяжелыми сосновыми плахами, вышел Киргизов. Мужики зашли в управу.

Маит, оставшись возле крыльца, топтался на хрустком снегу. Только сегодня он заметил, что, перестав ходить в обоз, он постарел душой и одряхлел. Он сел на ступеньку, закурил самокрутку.

Мимо управы шла женщина в длинном мужицком полушубке. Ссутулясь, прикрыв лицо платком, она запиналась о комья снега. В другое время Маит не заметил бы этого: идешь и иди... А сейчас прищурил зрячий глаз, пристально вгляделся. Она тоже оглянулась, заторопилась, но ноги ее будто не несли — топтались на одном месте.

— Маит, — услышал он, и его будто ветром сдуло со ступенек, — про Арсю ничего не слышно? Вчерась взяли, и все ишо дома нет.

— Нет, Марюха, не слыхал, — ответил Маит.

На высоком лбу Марюхи вырисовывалось широкое пятно, по которому сельские бабы предвещали ей рождение сына. Она слушала, отмахивалась, хотя в душе желала именно сына, которого так ждал Арся.

В селе знали про его любовь-разлюбовь к бывшей монашке Груше, которая рассталась со своей затворнической жизнью и про которую втихомолку говорили, будто красой своей многих свела с ума. Узнав про это, отец круто поставил вопрос: жениться! Посватали Марюху Мохнаткину, бедненькую, тоненькую, чистенькую, и Арсю будто привязали к ней невидимой ниточкой. Где бы ни был, все торопился убежать в свою избу. И сейчас все прижимался ухом к Марюхиному животу и шептал: «Это сколько ден-то прошло, как мы обвенчались? Сколько? — Марюха краснела, силясь, отодвигала упрямую голову. — Нет, ты мне скажи, сколько?»

Марюха чувствовала: говорит он любя, просто считает, торопит время. Если бы не Марюха, не ожидание родов, он сейчас был бы в избушке на речке Неулевке вместе с мужиками, выходил бы на дорогу в дозор или на лыжах, огибая лесные речки, налаживал бы связь с другими партизанскими группами.

— Сказывают, у него на санях ружья нашли, — выпалил Маит, припоминая разговоры мужиков.

— Может, и нашли. Повез он их недалеко, только за село. Там надо было их в снег положить да ветку на дорогу бросить, и все. А он поторопился. Надо было сумерек подождать али меня послать. Да так уж Богу было видней. Соломку бы постлали, кабы знали, где упали, — говорила Марюха, не смахивая с лица слез.

В широко распахнутую дверь управы, запинаясь о порог, вылетел Никита Прохоров, на лету подхватывая слетевшую с головы шапку.

— Чего ты? — подбежал к Никите Маит.

— Видал? Туром поперли. Я что ли виноват, если пальцев на руке нет?! Оттяпал-то их на промысле. Давно было. — Он протянул Маиту культю левой руки. Лихоманка их берет, орут: с виду бык, а в армию негоден. Калека!

— Ну и слава Богу, — снисходительно, даже ласково проговорил Маит. — Если что, к своим мужикам в лес надо идти.

— Поговори про мужиков-то. Штаны снимут да такую порку сделают, век помнить будешь. Арсю-то Попова вчерась отпороли, чуть жив лежит, и еще пороть будут, если про комитетчиков не скажет.

Маит не успел подать Никите знак замолчать, и Марюха, ловившая каждое слово Никиты, пошатнулась. Вцепившись рукой в плечо Маита, Марюха пошла по улице, качаясь на слабых ногах. Он шел молча, уставив взгляд на дорогу, подчиняясь каждому движению женщины.

В управе Саввушка вертелся на стуле, как на колу, выкладывал из ящиков бумаги и старался не встречаться глазами с мужиками.

— Шапки снимайте! — крикнул Киргизов. — И по одному к столу.

Толпа шевельнулась.

— Оглохли? По одному!

— Меня пишите! — послышался голос. Мужики посторонились, пропуская Митюху Белова. Он для чего-то вывернул наизнанку заячью шапку, будто оглядывая залоснившуюся подкладку, в нескольких местах стянутую серыми суровыми нитками.

— Фамилия? — спросил Киргизов.

— Белов Митрий.

— Отчество? Или забыл, как отца звали?

— Ларивоном.

— Значит, Ларионович?

— Так получается.

— Год рождения?

— Сорок пятый или сорок седьмой идет, ладом не помню. Как надо, так и пишите. Не добавить, не убавить — все мои.

Саввушка писал старательно, было слышно, как скрипит перо, будто выскабливает на столе буквы.

— Работу какую выполнял?

— Ямщик я. Сызмальства ямщик. Сколько ужо лошадей по старости обезножил, а сам все хожу: Бурко, Буянко, Белолоб, Ветер, — загибая короткие пальцы, перечислял Дмитрий Белов своих лошадей. — Ветер всех больше дюжил, считай, десять-одиннадцать зим ходил.

— Семья? — перебил рассуждения мужика сидевший за столом Туров.

— Сколько ребят? — пришел на помощь пристав Спиридон Бурмантов.

— А то будто ты не знаешь?

— Ты не мне, а его превосходительству отвечай.

— Всего-то девять ртов с отцом да матерью. Баба снова брюхатая ходит. Это завсегда так, когда сена нет — опять теленок, денег нет — опять ребенок. У нас, у ямщиков, семьи большие. Считай, каждый год приплод. Придешь с обоза — обогреешься, а к новой поре уходить — в баню опять лесовичок человечка подбросит. То ли девчонку-зассянку, то ли парнишку-подсобника. Мне, слава Богу, все парней подбрасывает.

— Взрослые сыновья?

Тут Митьша Белов смешался на минуту.

— Да не маненькие. Вона Пашка с Гошкой стоят. — Он обернулся к порогу.

— А другие?

— Другие дома, им сюда ишо идти не пришла пора. Я поздно женился. Ребята у меня поздние.

— А Кириллка твой где? — поглядывая на Турова, тихо спросил Саввушка.

— Кирилл-то? — переспросил Митьша. Так он в обоз мялищевский ушел, будто не знаешь?

— Так обоза-то мялищевского нигде нет. Будто среди снегов провалился, и никто следов его не видел. Значит, сын-то заодно с комитетчиками? — повысил голос Туров, вставая из-за стола.

— Про комитеты энти сном-духом ничего не знаю. Мне бы лошадь была, а дороги среди снегов вековечно проложены.

— Даже дома про это не говорите?

— Про чего? — не понял Митька. — Про комитеты?

— Да про сына — Кирилла?

— О нем баба каждый день молится, это испокон веков ихнее бабье дело.

— В сарай его! — скомандовал Туров, и не успел Митька опомниться, как двое солдат взашей вытолкнули его за дверь, во двор.

— Будет пихаться-то, сам пойду, — донесся голос Митьши Белова.

Туров вынул из кармана револьвер, положил его перед собой на стол, вытянув из-под стола длинные ноги в начищенных до блеска сапогах.

— Следующий! — произнес он, не поднимая головы.

— Ванька Мошкин. Тоже ямщик. Семь ртов. Ребята маненькие, ишо в обозы не ходят. Покамест отцовский хлеб жуют.

— Отчество? — промямлил Саввушка. В ответ Ваньша хмыкнул.

— Отца-то как звали? — опять спросил Спиридон Бурмантов.

Ваньша Мошкин не знал своего отца. Его мать Федора Кузьминична, быть может, и согрешила-то один-единственный раз в жизни с ссыльным черкесом. Родился Ваньша весь в него и даже кривоногий, хотя это нисколько не портило его мужскую стать. Не зря же говорят: краса нужна луне да женщине.

— Ты че, Спиридон Ларионович, — сказал Ваньша, краснея. — Чего ты мне такие вопросы загадываешь, когда сам все доподлинно знаешь про моего отца. Не ты ли к моей матери свататься ходил? Меня сыном взять хотел? А теперь про отца спрашиваешь!

Пристав покраснел, обтирая шею платком.

— Пиши: Кузьмич я. Пиши по матери, как в бумагах написано. — Про черкеса-то писать ране нельзя было, он супротив старой власти шел, за то в эти края и выслали. Поп побоялся — не повенчал. Все село знает.

Ваньша вырос лихим и непоседливым, не по-сибирски горячим и вспыльчивым.

— Оставь! — прервал Туров и процедил: — Значит, черкес-то против старой власти был?

— Против! — ответил Ваньша.

— Следующий!

Мужиков сортировали быстро. Отпустили только пятерых, и тех по болезни. Остальных пороли.

В деревянной кадке, наполненной водой, мокли ременные плетки, поблескивали короткими черенками. Заниматься этим делом мог не каждый солдат. Одно дело привести

мужиков, охранять их, давать зуботычины, пощечины и совсем другое — порка. Для этой цели Туров взял с собой порекомендованных начальством четырех костоломов из тобольской тюрьмы. В селах и деревнях они работали старательно, остальное время пили, ели, спали и ржали, как сивые мерины, выбирая для потехи любую из увиденных в селе девок.

Туров всегда присутствовал во время экзекуции. Он садился перед привязанным к лавке мужиком и задавал вопросы.

— Этому тридцать с продером. Может, вспомнит, к какой протоке сын свернул. Может, память просветлеет.

— Вы чего? — в испуге Митьша попятился, но двое солдат толкнули его к прибитой лавке...

Мужиков секли упорно. Секли за то, что было когда-то сказано по мужицкой горячности, за молчание, за гордость и непокорность, за злые взгляды и просто за то, что они знакомы с комитетчиками.

Бабы бегали вокруг управы, голосили, молились, просили Пресвятую Богородицу заступиться.

Акулина Федоровна, услышав от дворовой девки, что поручик, который у них квартирует, сидит в «кровавом» углу управы, обомлела. Спустившись к Вассе на кухню, она улеглась на лежанку, приложила к голове мокрое полотенце.

А тюремные костоломы секли мужицкие спины. Как маховики, взлетали к потолкам их руки, пот катился градом, мокрые волосы прилипли к лбам.

— Этот черкес живуч и жилист, он знает побольше других. Его и сечь надо усерднее, — отхлебывая глоток вина, сказал Туров.

— Чего знал, все сказал! — ответил Ваньша.

— Не-е-е-т, — протянул поручик. — Ты да вон тот под лавкой, — показал он на Арсю Попова, — комитетчики. Сердце меня не обманывает. — Ему показалось, что этот бойкий мужик может принести ему самые большие неприятности. Он не знал, почему так думал, но хмельная навязчивая мысль разжигала ярость. — Этому сорок! — отдал приказ. Неожиданно он вспомнил про Лушникова, которого не видел с утра. — Где Лушников? — чертыхнулся. — Он бы заменил меня. Устал, — пожаловался Киргизову.

— Утром с купеческим приказчиком поехал к избушке комитетчиков. Велел передать, что вроде на след комитетчиков напали.

— Как так? — удивился Туров. — Сел и поехал? Что за бардак! Теперь ищи ветра в поле. — Туров, пошатываясь, вывел Киргизова на крыльцо и совсем неожиданно, таинственно проговорил: — Слышишь? Собаки лают! — Взяв Киргизова за рукав шинели, Туров повел его за угол управы и, прислушиваясь, прошептал: — Слышишь, как завывают? А Лушников куда-то поехал.

Киргизов понял, что поручика надо немедленно уложить спать. В последнее время после порок Турову слышался лай собак. Однажды ему даже показалось, что стая обозленных псов неслась за ним по улице. Он вбежал, плотно захлопнул дверь и весь вечер потом рассказывал, что явно слышал щелканье зубов и даже почувствовал, как одна из собак схватила его за полу шинели.

Киргизов повел пьяного Турова к кошеве с мялищевским рысаком. Рысак понесся по улице, но, круто свернув за угол, опрокинул кошеву, вывалил седоков в снег. Барахтаясь, Киргизов достал из-за голенища плетеный кнут и с остервенением начал хлестать разгоряченную лошадь. Разъяренный конь, не привыкший к жестокому обращению, захрапел, стал бить копытами по облучку.

— Какую лошадь губят! Какую лошадь! — причитал купец, боясь подступиться к рысаку.

Над селом плыла серебристая луна.

На столе, подрагивая, горел огарок свечи, освещая оконную раму. Федора Кузьминична, мать Ваньши Мошкина, прижимаясь к темной стене, крадучись поднималась по ступенькам крыльца. Еще слышались удаляющиеся шаги костоломов, а она, перекрестясь, уже стояла возле двери, позабыв о страхе: она решилась увезти из управы своего Ваньшу и Арсю Попова, увезти в старую избенку, служившую когда-то баней, которая давно вросла в землю, и единственным окошком смотрела на управу.

Ваньша с семьей жил отдельно, за огородом, звал мать к себе в новый дом, по пьянке грозился спалить ее избушку, разорить, но останавливался перед материнскими слезами. Не все знал Ваньша про свою мать. В нижнем венце избенки, в пазу, заложенном клочком пакли и мхом, лежали десять золотых. Их оставил ссыльный черкес. Она помнит день, как прятала их, как горько рыдала, будто вместе с ними хоронила свою молодость. Теперь, когда прошло столько лет, она, усмехнувшись, подумала: «Пришел и ваш час, золотые.

Видно, Богом вы были посланы мне на черный день». Она крадучись спустилась в подполье, достала деньги и спрятала их в поясе нижней юбки.

Сейчас они должны были сослужить ей службу. Она навалилась худым плечом на дверь.

— Кто там? — послышался голос конвоира.

— Сынок, — простонала Федора Кузьминична, протягивая парню золотые. — Отдай мне моего Ваньшу. Отдай. Я его на розвальни — и увезу...

Парень потряс их на ладони и положил в карман шинели.

— Не дури, парень. Руки у тебя отсохнут, если надумал обмануть.

Парень сел, облокотясь на стол, поставил винтовку между колен. Она мышью проскочила мимо него. Откуда взялись силы, но она выволокла Ванюшу, а потом Арсю.

Валил густой липкий снег, он лег на деревья, подновил крыши домов и бань, обелил изгороди, на приземистые столбы между пряслами надел снежные шапки с разными козырьками и околышками, а высокие сугробы будто взбодрились, приподнялись.

Подъехав к избе Арси Попова, она остановила лошаденку возле поленницы, прошла вдоль забора, придерживаясь за изгородь.

— Марюха, — позвала Федора Кузьминична, приоткрыв дверь. — Арсю я привезла. Там, за баней, в розвальнях лежит.

Марюха ойкнула, заметалась, побежала по снегу, оставляя после себя тропку, разметанную подолом юбки.

— Арся, Арсюха, это я, — шептала Марюха. — Мы сейчас с Федорой Кузьминичной, мы сейчас. Бабы ведь сильные. У них силов-то нисколько не мене, чем у вас. — Марюха бормотала эти слова скорее для себя, чтобы дотерпеть, добежать до избы, дотащить до порога хозяина, а потом уж как Бог распорядится ее жизнью.

— Легонько, Марюха, легонько. Мы его на тулупе уволокем, на тулупе. Я Ваньшу так же. Только с розвальней его стащить.

Арся еще не мог понять, кто стоит возле него.

В ночной тишине отчетливо слышались чьи-то шаги. Женщины притаились и замерли. Скоро из-за угла показалась фигура пристава Спиридона Бурмантова. Он шел тихо, ступал по снегу осторожно, будто подкрадывался, выследив добычу.

— Спиря, — идя ему навстречу, говорила сквозь слезы Федора Кузьминична, — обойди нас стороной, сделай милость, будто ничего не видел. А ежели хочешь — на колени перед тобой встану, руки целовать буду. — Она шагнула к Спиридону, но он попятился, отмахнулся от Федоры Кузьминичны.

— Кто вас не увидит? Снег-то весь будто вспахали. Ой, Федора, Федора, — сказал, повернулся и пошел обратно.

Было время, когда Спиря Бурмантов в течение пяти лет посылал к ней сватов, дрался с каждым парнем, кто собирался высватать ее, родившую парнишку от политического. В память о ней он женился на женщине с именем Федора — привез из другого села и, ни перед кем не таясь, говаривал: «Женился, лишь бы, закрыв глаза, называть свою бабу Федорой».

— Что теперь будет? — стонала Марюха, но Федора Кузьминична молчала, потому что не могла поручиться за Спиридона. Обещал он ей когда-то, что отольются ей, мол, его слезы. А память у людей длинная.

Но вдруг Спиридон вернулся, молча взялся за край тулупа, поволок Арсю к избе.

— Здесь ему несдобровать. С утра они залютуют, как звери, — сказал Спиридон и пошел.

Марюха взвизгнула так, будто разорвало ее. Арся, упершись руками о пол, приподнял голову, но тут же рухнул.

— Вот и ягодка созрела, отпадать собралась, — подхватив Марюху, проронила Федора Кузьминична и засуетилась, побежала за повитухой.

Глава семнадцатая

Подводы, груженные купеческой рыбой, разъезжались в разные стороны, их гнали в лесные избушки.

Приказчик Филипп Митрофанов долго лежал, ощупывая себя и стараясь понять, не сон ли это.

— Профукали. Профукали обоз-то! С кого взыщут! С кого спрос будет? — стонал приказчик, зная, что никакими объяснениями не оправдаться перед хозяином.

— Куда поедем-то? Засадят нас с тобой в тюрьму. Может, тоже с мужиками свернем? — посоветовал Зосима Кукушкин.

— Что будет, то будет. Домой хочу, — пробубнил Филипп, представляя жарко истопленную баню и березовый веник, пахнущий дымком. Сомкнув отяжелевшие веки, он думал сквозь дрему о мужиках, которые разъехались по избушкам, и никак не мог взять в толк, что им всем надо, что гонит их в леса. «Жили как люди, по извечным законам и порядкам, а теперь ничего не понять. Конечно, — рассуждал он, — справедливости нет. Ну чем лучше меня тот же Василий Афанасьевич? Да ничем. Хапуга, скряга. Сам работать не хочет — все бы делал чужими руками. Ну так и я бы на его месте не стал спину гнуть, или в обозы ходить, или рыбачить. Нипочем бы не стал».

Зосима дремал и даже не заметил, как остановились лошади.

— Ты, раззява! — кричал Филипп, заметив, как далеко отстала лошадь трактирного вышибалы. — К мужикам свернуть хочешь? Так не бывать этому. Один я ответ нести не стану, — приказчик, не стерпев, побежал к Зосиме. — Нашел время дрыхнуть! — орал Филипп, заметив растерянный вид Зосимы. — Я думал, ты к мужикам собрался, лошадь остановил.

В долгой дороге лошади устали. Прицепив торбы с овсом, приказчик с вышибалой их не торопили, не понукали, а сгорбившись, сидели, втолкнув руки в широкие рукава полушубков.

«Такой обозище прошел, такую дорогу выторили, а все перемело! Это же какую силу ветер имеет, а?» — рассуждал Зосима.

— Тамо будто что лежит. Глянь!

Зосима с неохотой побрел к кустам и сразу признал короб с рыбой.

Окрик Филиппа отвлек от мыслей.

— Однако короб-то с рыбой, — заметил Зосима.

— Да это нашенские мужики оставили, чего они, дураки — развозить купеческую рыбу? Теперь не до рыбы.

— Гляди! — закричал Зосима, показывая на дорогу. — Однако Хавроша бежит, — приглядываясь к лошади, сказал он и не ошибся.

Длинногривую, мохноногую кобылицу Хаврошу в селе держали на паях из жалости за добрую службу в ее молодые

работные годы. Заслуга ее перед сельчанами была в том, что в одну из путин она спасла рыбаков. Впряженная в невод для подстраховки, она сдержала такой напор воды и льда, что от натуги сыромятные ремни, впившись под левую лопатку, вывихнули ей ногу. Когда рыбаки подплыли к берегу, Хаврошa лежала в снежной няше, закатив глаза. Тогда было в самый раз прирезать лошаденку, но ни у кого не поднялась рука. Сельские старухи, мастерицы на заговоры, выходили ее, хотя всякий понимал, что работницы из Хавроши не будет. Миром-собором кормили лошадь, а она служила всем понемногу: кому охапку дровец подвезти, бочоночек воды из-под горы вытащить, или налегке в ближнюю деревню старуху отвезти, или пимоката, ходившего по деревням, или шорника. Эту зиму, когда пошла между людьми передряга, навалилось всякое горе, стало не до Хавроши. Все про нее забыли.

Нынешней осенью рано утром Ефросинья Алексеевна услышала скрип и шорох возле ворот. Вначале подумала, что ветром сорвало какую доску, и она поскрипывает, неловко примостившись на ржавом гвозде, но затем, прислушавшись к скрипу за воротами, накинула полушубок и вышла.

Возле забора стояла Хавроша. Снежной изморозью покрылась спина лошади. Впалые бока вздрагивали от каждого движения, на выпуклых ребрах пошевеливалась бурая кожа с вылинявшими клочками шерсти. Дрожащими губами лошадь обнюхивала перемерзшие бревна, слюнявила ледяную корку.

— Хавроша! — окликнула Ефросинья Алексеевна. — Экие мы бессердечные.

Лошадь, подогнув колени, хотела отпрянуть от подворотни, как делала не раз, понукаемая окриками, но зацепилась за жердину, остановилась.

— Иди, Хавроша, иди, — распахнув ворота, звала Ефросинья Алексеевна. — Проходи, сенца дам, а потом чем Бог пошлет. Скоро все по сено поедут: один даст навильник, другой — и прокормимся зиму. А там и ребята по дорогам посбирают, на обочинах сена много остается. А тебе много ли надо? Ты теперя как старушка. — Хавроша постояла возле раскрытых ворот, повела ноздрями, принюхиваясь к дорошинскому двору.

Сена в этом году в хозяйствах заготовили мало: в сенокосную пору шли проливные дожди, весенний разлив затопил травяные присады, из которых долго не выходила вода.

Даша, взглянув на убогую лошаденку, нахмурилась.

— Ниче, Даша, миром прокормим. Не подыхать же ей возле наших ворот.

А потом такие дела завернулись, что не только про лошадей, а про самих себя люди думать перестали. И никому невдомек было, что убогой лошаденке придется еще сослужить добрую службу.

Ефросинья Алексеевна, вернувшись из управы, чувствовала, что от этого молодого поручика-лихомана ждать добра нечего. «Жжет его сердце ненависть к комитетчикам. Того и гляди, сам себя съест от ярости», — она прилегла на лавку, закрыла глаза, а лицо поручика будто наклонилось над ней, как видение. Прочитала молитву, перекрестилась, а лицо все равно явью стоит: в пору плюй в глаза и только! Не вытерпела Ефросинья Алексеевна, позвала Маняшу, прижала к себе головку с мягкими льняными волосами, а у самой комок остановился в горле, продохнуть не может.

— Ты, бабушка, про Сергушу вспомнила? — спросила внучка.

— Про него да про лютых людей, — ответила Ефросинья Алексеевна, прислушиваясь к крикам и разговорам на улице. «Тиранствуют. Мне один конец, а при чем тут ребята? Да ведь не пощадят, не пощадят — лишь бы рану какую Ефимушке нанести, пагубу причинить. А какой он будет жилец, ежли душу опустошат? Спрятать бы куда ребят, так они — не ухват, не клюка. — Она все больше приходила к мысли, что оставлять в селе Ефимовых ребятишек нельзя. — Вот бы на Хавроше к сватье в Ярово уехать. Тихохонько. Не понужать лошаденку, не торопить, за ночь, может, и доедем. А вдруг да встанет Хавроша? Какой с нее спрос? Ей, как и мне, все одно помирать пора пришла, а ребята? Замерзнут, околеют, а дома, может, и пройдет все. И избу выстужу. Картошка в подполье замерзнет, да и цветок на окне. Ныне летом как геранька разрослась. Все окно алым цветом полыхало, а без протопленной печки примерзнет. Жалко. А может, в избушку сверну. Туто ближе. Дорогу-то я на ощупь найду. А избушка-то почернела, два венца с речной стороны сгнили. Все думала: приедет Ефим, сладит. Лес-то сосновый неподалеку растет. А подоконники целехоньки, ни одной трещинки. Ноне, когда по ягоды ходила, так увидела. И пошто так сбереглись? Может, солнце их меньше палит. А мох в пазах пересох: труха трухой. — Ей представилась охотничья избушка, стоявшая с давних пор на крутояре, выложенная из старых кирпичей печь с приступками,

широкой лавкой и бревенчатые стены с большими деревянными штырями, на которых висели веревки, ремни, берестяные короба. — А теперь там народу полно. Тесно, поди, но пущай, в тесноте — не в обиде. А у Ефимушки-то рана, поди, багреть зачала».

— Ох ты, Господи! — вслух промолвила Ефросинья Алексеевна.

Между тем мысль, что убогонькая лошаденка стоит в конюшне, не давала ей покоя. Хворь и бессилие, которые давили Ефросинью Алексеевну к лежанке, казались пустячными по сравнению с ее желанием вывезти Ефимовых ребятишек из села.

— Богородица! Заступница, — прошептала Ефросинья Алексеевна, всхлипывая без слез. — Ты сама имела сына, много слез лила. Услышь меня. Протяни святые руки!

Раньше она просила уберечь ее сына от пули на далеком, чужом поле, но в эту минуту нуждалась только в силе. «Когда же я лампадку зажгла?» — изумилась Ефросинья Алексеевна, поглядывая на вздрагивающий огонек.

— Маняша, — позвала она внучку. — Кто же лампадку зажег? Че-то я, старая, не припомню.

— Мы с Николкой. За упокой твоей души. Если завтра тебя поведут, то душу вытряхивать будут, это Николке Петька говорил. Николка испугался, прибежал и лампадку зажег. Так ему тетка Степанида велела. А ты лежала с закрытыми глазами, не видела. — Маняша картавила, говорила торопливо, посматривая то на лампадку, то на бабушку, заворачивала в головной платок тряпичную куклу, сшитую из старых лоскутков. — Еще тетенька велела Николке Хаврошу овсом накормить. Никола в сени ходил, а ты не слышала, — заговорщически говорила девочка.

Только теперь Ефросинья Алексеевна поняла, что какое-то время пролежала в забытье.

— Какая тетенька велела Хаврошу овсом накормить?

— Не знаю, — ответила девочка.

Ефросинья Алексеевна задумалась, перебирая в уме всех, кому могла бы понадобиться Хаврошка. Она не слышала, как скрипнула дверь. Как кто-то вошел. Она вздрогнула от чужого тихого голоса и закашлялась. «Какая-нибудь бродяжка», — подумалось. В этот год немало двинулось людей по деревням и селам: кто в Сибирь, кто из Сибири в Россию.

— Кака тебя печаль привела? — спросила Ефросинья Алексеевна. — В недобрый час, голубка, залетела. Лихоманство како в селе, слыхала?

— Не признала что ли? — спросила Васса.

— Нет, милая, не признала, — ответила Ефросинья Алексеевна. — Глаза никудышные стали, и голоса не припомню.

— Васса я. Служанка у купца Мялищева.

— Ага, — рассеяно произнесла старушка, хотела было улыбнуться, но вместо этого губы скривились.

— Уехать вам из села надо и ребятишек увезти, — услышала она. Упершись на локти, Ефросинья Алексеевна приподнялась и долго смотрела на Вассу настороженным, испытывающим взглядом.

— Как стемнеет.

Только тут Ефросинья Алексеевна, крепясь, чтобы не показаться девушке совсем немощной, стала приподниматься с лежанки. Она почему-то сразу доверилась Вассе и, не зная, что ей сказать, проронила:

— Не замерзнуть бы в дороге. Самой один конец, а вот ребятишкам...

Тут она вдруг разрыдалась, и с какой-то жадностью стала осматривать избу: печку, лавки, стол, табуретки, кровать, резную кухонную утварь. Ей было страшно оставлять все это, быть может, не имеющее никакой ценности, но совершенно бесценное для нее. На глаза попала стоявшая в дальнем углу на полке дедушкина табакерка. Ее давно никто не брал в руки, она запылилась, почернела от времени. Тут у Ефросиньи Алексеевны все огнем вспыхнуло внутри. Она взяла ее в руки, крепко сжала и долго держала в дрожащих ладонях.

— Не плачьте, все уладится, — растерянно говорила Васса, понимая ее тревогу.

— Страшно, — призналась вдруг старушка слабым голосом, запричитала: — О Господи! Когда настанет покой на земле? Угомони, Господи, людей. Образумь их.

Вассе было больно смотреть на Ефросинью Алексеевну. «Такая старенькая, слабая! И в такую морозную ночь!», — но поторопилась ободрить ее:

— Тетка Ефросинья, не бойся, тебя провожать будут. Мужики стороной пойдут незаметно на лыжах. Ты вот этот пакет Степану Петровичу передай, а пока я его в короб под сено спрячу.

— Ладно уж, — прошептала она.

В большом плетеном коробе сидеть ребятишкам было удобно, но Ефросинье Алексеевне часто приходилось вставать на колени, чтобы оглядывать дорогу, понужать Хаврошу, которая бежала рысцой.

— Но, но, Хавроша! — понукала Ефросинья Алексеевна, радуясь лошадиной прыти. — Быть может, тебе вспомнились дальние дороги, извозы, большие переходы.

В морозной тишине она стала явственно слышать какой-то посвист со стороны леса. Это ее не ободряло, а, наоборот, тревожило. Чтобы не задремать в коробе, она время от времени вставала на колени и начинала легонько посвистывать на лошадь. Неожиданно для себя она затянула: «Снег да снег круго-о-м...», — но тут же, испугавшись, замолчала.

Ефросинья Алексеевна давно заметила, что с приездом домой Ефима она совсем потерялась. Беда шла за бедой. Это ее убивало. «В церковь бы сходить, к батюшке. Очистить бы душу. Покаяться. Затеяли какую-то драку и с чем? С вековечными порядками. А взамен что будет? Сами-то путем не знают. Пока только кровь людскую льют. Господи, мне вроде и совестно супротив сына так думать, но думы-то сами в голову лезут, ответа просят, а ответа нет. Только и уповаю на свою любовь к сыну. Ведь кого мне еще любить, если не его и его ребятишек. Если бы не любила, не поехала бы ни в жизнь в такой мороз и Бог знает куда. Кто Ефима-то пожалеет кроме меня? А мне с ним и поговорить-то некогда. Как явился, так все в какой-то вертушке кружится. Вроде бы все так и надо. В церковь мне надо, в церковь».

Небо вызвездило, снег в полнолуние отливал матово-свинцовым светом, будто отбрасывал от себя морозные искры-снежинки. Человек двигался стороной вдоль дороги. Послышался звон колокольчиков бежавших навстречу подвод. Ефросинья Алексеевна перегнулась через край короба, но ничего не смогла разглядеть.

— Это кто Хаврошу запряг? — послышался голос, и стало ясно, что едет кто-то из сельских мужиков.

Кто-то выскочил из встречной подводы, взял Хаврошу под уздцы и, прижимаясь к оглобле, почти бухнулся в короб.

— Чего, как медведь, давишь? Там ребята сонные. Перепугаешь, — строго сказала Ефросинья Алексеевна, признав в мужике купеческого приказчика. — Это ты откуда едешь?

— Знал, да забыл.

— Ну-ну, — ответила Ефросинья Алексеевна. — А я вот в Ярово хочу ребят отвезти да сама у Панкратихи пожить. Грыжу надо поправить.

— Ефим-то живой ишо?

— Живой, — ответила Ефросинья Алексеевна. — На поправку пошел.

— И какая сволочь искалечила мужика? — проговорил Филипп сочувственно. Взяв под уздцы Хаврошу, провел мимо подвод.

Зосима, поздоровавшись, крикнул:

— Кто-нибудь из мужиков вернулся из обоза?

— А Бог его знает? — уклончиво ответила Ефросинья Алексеевна. — Я все дома на печке. Хворь одолела меня. Сами лучше разузнаете. У меня и память-то дырявая стала, как решето.

— Ну, поезжай. Шибко-то Хаврошу не понужай.

— На все Господня воля, — ответила старушка и посмотрела в сторону леса.

— Ты не знаешь, кто тамо стороной шел?

— Не приметила, кажись, задремала.

Лошади разъехались, весело позвякивая колокольчиками. Ефросинья Алексеевна перекрестилась, прилегла в коробе, прислушиваясь к бегу лошадей и редким посвистам в стороне.

Глава восемнадцатая

Ближе к селу дорога стала торная, и сани часто заносило в сторону. Уставшие лошади с храпом вытаскивали их, напрягая последние силы. «Кто же это ее так укатал?» — подумал приказчик и стал перебирать в памяти: сколько лошадей ушло в обоз, сколько осталось в хозяйствах, сколько в конюшнях купца Мялищева.

Накатанные коваными полозьями санные следы блестели при лунном свете. Две серебристые полоски убегали к лесу.

— Дорогу-то кто так укатал? — крикнул он дремавшему Зосиме. — Может, мужики наперед нас домой явились?

— Не скажи-и-и-и, — протянул трактирный вышибала, зевая.

— Чего «не скажи-и-и», — передразнил его Филипп. — Старухи, что ли, да бабы так дорогу отшваркали? Гляди: блеском блестит, а по сторонам ни одной сенинки не видно.

— Кто его знает? Домой приедем — узнаем, — ответил Зосима.

Веселым лаем встретил Филиппа косматый пес Трезор: прыгал, повизгивал, лизал его руки, пробегал вперед и, снова визжа, возвращался. В другое время Филипп прикрикнул бы на веселого пса, и тот, обиженный окриками, убежал бы к себе в конуру. Но сегодня приказчик сел на корточки, погладил собаку по мягкой, холодной спине. Нащупал на кончике длинной шерсти намерзшие льдинки, убрал их. Трезор лизнул Филиппа в щеку и, перевернувшись на спину, стал кататься по снегу.

— Ты, что ли? — угадал он шепот жены Филицаты. Он на расстоянии слышал ее тяжелое дыхание, к которому давно привык. Ответил не сразу.

— Зря приехал. Повернуть бы тебе обратно. В селе лихоманствуют. Порют каждого, а особенно тех, кто в обоз ходил, — хрипло говорила Филицата.

Филипп привез ее из приуральского села, куда ездил торговать мялищевскими товарами. По сравнению с другими невестами, которых приглядывал приказчик, она показалась ему смекалистее, рассудительнее, тверже характером. К тому же она была грамотна. А на вид она была розовощекой, алогубой, с длинной русой косой, хотя и толстовата для своих семнадцати годов.

Отец Филицаты хлопотал о продолжении ее образования в екатеринбургской гимназии. Но Филипп, парень сильный, здоровый, изворотливый, смекнул, что Филицата может стать его правой рукой в приказном деле, и ему не придется карябать отчеты, которые постоянно требовал от него Василий Афанасьевич.

Но с первого года их жизнь пошла наперекосяк. И дом полнился, и достаток рос, а они не милуются, не любуются, как бывает между молодыми в первые годы. Не раз думал об этом Филипп, сердце жгла обида на Филицату. А причина была в том, что мошенничество она считала грехом. Филипп же все за свое: то сахар подмочит, чтоб тяжелее стал, то нарочно мышей прикармливает, чтобы побольше товару напортили, а потом можно было вывернуть с купца лишнюю трешницу. «Ну, деньги — деньгами, дело — делом, а при чем тут ночь? — думал Филипп вечерами. — Да другая баба только запах мужика услышит — поджилки трясутся, а эта лежит, как каменная. Если что не так и делаю, то на пользу семье». Но стоило Филиппу поторговать честно, от-

куда только ласка бралась, руки у нее оказывались мягкими, плечи теплыми. Филипп нарадоваться не мог, ходил по лавке посвистывая. Но беда: своя рука владыка. Перекрестится, опять чего-нибудь да припрячет, чего-нибудь утаит, и опять постные дни настанут. А как-то беда с Филицатой приключилась: в осеннюю полынью угодила. Вытащил ее Филипп из-подо льда, но с тех пор стала она чахнуть, болеть, одышкой маяться, удушьем, кашлем. Филипп вины с себя не снимал. Сам повез ее на промысел — рыбу от рыбаков принимать. Там рыба почти дармовая, любую бери на выбор, а потом вместе с купеческим обозом — на ярмарку! И чистые денежки. Расплата с рыбаками пустячная: кружка дешевой сивухи за осетра! Житье на рыбалке каторжное. Заледенеет у мужиков душа от работы, скрючатся руки и ноги от холодной воды и льда — все согласен отдать за сивуху, лишь бы взбудоражить кровь, обогреться и крепко уснуть — притупить боль хмельным угаром. Увидела Филицата, как рыбаки в пьяном бреду валяются на полу — грязные, обросшие. Глаза бы не видели! А Филипп, как коршун, на добычу напал. Стоит рыбаку глаза открыть, он с сивухой тут как тут. И вины своей никакой не чувствует, толкует по-своему: отдых людям тоже давать надо! Вышла Филицата из избушки свежего воздуха вдохнуть, а полынью, из которой невод вытаскивали, снегом припорошило. Лед обломился. Ладно, Филипп трезвым был. Выскочил из избушки, а Филицата последний взмах рукой надо льдом сделала. Вытащил он ее из полыньи, да не ту Филицату, какой была.

— Бог шельму метит, — говорила она Филиппу.

— При чем тут ты? Ежли Богу наказывать, так меня надо, — сознавался он.

— И до тебя Господь Бог доберется. Не путайся с нечистой силой, не грей руки на чужой беде.

Запали ее слова в душу приказчика, а последние дни все чаще вертелись в голове, будто и не прошло с той поры двух десятков лет.

Филицата превратилась из розовощекой девицы в чахлую старушку, а будто приворожила Филиппа к себе. Он и сам не знал чем. Но если долго не видел ее, тосковал, торопился домой и, заслышав тяжелое ее дыхание, успокаивался.

Филицата стряхнула сухой ладонью со спины тулупа снег и подала ему свою маленькую ладонь, помогая подняться.

— Обоз-то где? — спросила она. — С тобой вернулся?

Филипп, не зная, что ответить, торопливо пошел к крыльцу.

Трезор повизгивал, обнюхивая хозяина, но Филипп топнул ногой. Пес постоял в нерешительности, с лаем бросился к воротам, припал мордой к подворотне и неистово залаял.

— Митрофанов? — кричал кто-то за воротами. — Отворяй!

— Кто тамо? — пробасил приказчик, стараясь быть спокойным.

— Отворяй! — кричали нетерпеливо, и сильный удар выломил в воротах тесовую доску. Трезор, поджав хвост, побежал в конуру.

— Это они комитетчиков ловят, — прошептала Филицата, кутаясь в большую суконную шаль.

— Какой я им комитетчик? Я купеческий приказчик, — говорил он, стоя посреди ограды.

За воротами стучали, орали, били со всего плеча какой-то жердиной.

— Отворяй! Велено к хозяину явиться.

— Чего так торопно? — спросил Филипп, подходя к воротам. — Я токо с дороги, еще через порог избы не перешагивал.

— Нам велено доставить к хозяину, а там разберутся.

— До утра, что ли, терпежу нету? — вытаскивая засов, говорил Филипп. Он одеревенело шел по улице, ничего не замечая кругом, и только издалека слышал плач Филицаты. Перед глазами все расплывалось. Когда Филипп оказался в доме Василия Афанасьевича и сам купец, поставив перед ним табуретку, сел напротив, он смотрел куда-то мимо, будто разглядывая на потолке трещины и тенета, скопившиеся в углах от часто топившихся печей. Спутавшиеся под шапкой волосы Филиппа спадали на лоб прядями.

— Да ты оглох, что ли? — в который раз спрашивал приказчика Василий Афанасьевич. — Ты скажи, в каком месте оставили обоз. Не увезли же рыбу мужики по избушкам?

— Зачем она им, — ответил Филипп, еле шевеля потрескавшимися губами.

— Я про то и говорил. Лошадей взяли, а с рыбой не станут связываться. Не станут грех на душу брать. Я знаю наших мужиков. Не пакостливы они, нет, — Василий Афанасьевич вскочил с табуретки, прошелся по избе, снова сел напротив Филиппа, положив широкие короткие ладони на колени.

— До утра, что ли, подождать не могли? — морщась, сказал Филипп. — Сырую одежду снять надо да сухое белье надеть.

— То-то и беда, Филиппушко, — сказал купец, — теперь минуты жизнь считают. Не до одежонок. Одежонка после, а пока делу служить надо правдой и верой.

Кукареканье петуха вывело Филиппа из оцепенения, он вопросительно посмотрел на купца.

— Вам-то чего не спится?

Лицо Василия Афанасьевича показалось приказчику неузнаваемо серым.

— Так рыба-то где? — снова спросил купец.

— Почем я знаю! — крикнул Филипп, решив разом отделаться от расспросов, а там будь что будет.

Василий Афанасьевич поперхнулся в каком-то полудетском хохоте:

— Неужто Зосима правду сказал, будто подле своротки короб с рыбой валяется?

«И когда успел? Токо в село въехали», — подумал про себя Филипп.

— А ему и до своей ограды не дали доехать, — угадал мысли приказчика купец. — Сцапали и все. Сразу все выложил. С тебя больше спрос, чем с Зосимы, а ты упорствуешь, молчишь. Я сколько возле тебя топчусь? Парни-то, молодчики-то, рассусоливать не станут. На козлы — и сечь!

Филипп опять замолчал, и это молчание вконец вывело купца из терпения.

— Ты все по порядку говори! Где эти голодранцы: Липатий, Астафий, Кириллка Белов?

— По избушкам поехали. Разве про то Зосима не сказывал? Все кто куда. В одно место не поехали. Может, потом сберутся, а так — кто куда.

— Кто куда! — процедил купец.

Подпоручик Лушников явился в тот момент, когда, почесывая взмокший лоб, приказчик говорил:

— Кириллка Белов недалеко свернул. Я его сани по кривому полозу знаю, да и Арся Попов короб оставил. Рыба-то — одна осетрина, а под кустами стоит — значит, сами рядом где-то.

— Арсю-то уже сцапали. Тридцать горячих плетей всыпали, — прошептал Василий Афанасьевич.

— Сколько верст до этой своротки? — прервал купца Лушников.

Филипп поднял голову. Легким, щегольским шагом Лушников прошелся по комнате, проскрипел по половицам до блеска начищенными сапогами. Из голенища одного выставлялся черенок ременной плетки.

— Верст пятнадцать, — нехотя ответил Филипп.

— А до избушки комитетчиков?

— Тамо дорошинская старая избушка, а подале Арси Попова.

— Вот-вот, — подпоручик для чего-то вынул из-за голенища плетку, махнул, будто разрезал воздух на части.

— Старуха Дорошиха на дороге нам попалась, — вяло проговорил Филипп.

— Кто-о-о-о-о? — Лушников встал перед приказчиком, дыхнул в лицо Филиппа перегаром.

— Старуха Дорошиха с ребятами. В коробе они спали. В Ярово поехала. К Панкратихе.

— Та Панкратиха-то померла, — визгливо крикнул купец и тут же пожалел, что не к месту вспомнил о кончине яровской знахарки.

— Это ж надо, — кричал Лушников. — Старая кляча, из которой дух чуть не вылетел, пока в управу довели, к знахарке поехала! А не к сыночку ли она своему, а? — подпоручик размахивал плеткой перед носом Филиппа.

— А может, и туда. Кто ее знает? — Филипп говорил правду и не мог взять в толк, отчего ярится приезжий человек.

— А где ее милость лошадь взяла, а? — прикрикнул подпоручик на Василия Афанасьевича, заподозрив его. — Не у вас ли, любезный, одолжила лошаденку?

— Да она на Хавроше плелась. Лошаденка есть такая слабенькая. Вот-вот может околеть. Общая она.

— Собирайтесь! — скомандовал подпоручик. — Поехали. Мы эту старуху и всех комитетчиков разом в избушке возьмем.

Через полчаса пять подвод, запряженных сытыми мялищевскими лошадьми, бежали по дороге к охотничьей избушке Дорошиных. Подпоручик Лушников намеревался врасплох застать всех, кто там обитает. Он даже представил удивленный взгляд Турова, его снисходительную улыбку, с которой он простит самовольство подпоручика. Лушников, конечно, доложил бы Турову об отъезде, если бы мог его добудиться.

Полтора десятка вооруженных солдат сидели на подводах. Укрывшись теплыми полушубками, они дремали, дос-

матривали прерванные сны. Из-под копыт летел снег, засыпал темные полушубки, шапки. Солнце шарило лучами за горизонтом, едва освещая небо с редкими снеговыми тучами. Прорисовались островерхие пики елей, зубчатой стеной огородившие речные берега.

— Далеко еще? — подставив ветру спину, спросил Лушников у прикорнувшего Филиппа.

— Нет, — вяло протянул приказчик.

— Сколько? Точнее. — Голос подпоручика был резким, и каждое слово будто врезалось в ухо приказчику.

— Да вона короб, к которому я подходил. В снегу следы мои да вона и Хаврошкин след видно. «Неужели старая Дорошиха в избушку поехала, да еще с ребятами?» — подумал Филипп и вспомнил о своей Филицате, которая уже давно истопила печь, занесла с мороза мельконькие пельмешки и, не дождавшись его, сбегала к Василию Афанасьевичу.

Лушников осмотрел дорогу, прошелся по свежему санному следу, увидев короб, полный икряных осетров, подумал: «На обратной дороге надо забрать!» — и свистнул, подавая команду:

— В строй!

Из-под куста вылетела куропатка, неловко хлопнула крыльями, полетела боком, потерялась из виду.

С саней повалились полушубки, солдаты разобрали винтовки, выстроились на обочине дороги.

— Версты три едем на лошадях, а дальше без шума, без кашля, без шороха пешими по следу. К охотничьей избушке! Окружить ее, чтобы ни одна живая душа не прошмыгнула. Ясно? Ни одна живая душа. Хватать каждого, вязать и в сани. Ясно? — Он выхватил из рук Филиппа вожжи, погнал лошадь по следу.

Кириллка Белов был в дозоре. Он не проморгал приближение Хавроши и, узнав, кто едет, пропустил, но сам в избушку не ушел, хотя не терпелось узнать, отчего не приехал Арся Попов, и как там отец. Он лежал на пихтовых ветках. Остроглазая лайка по кличке Белка лежала рядом, выученная здесь не поднимать шума при виде людей. Кирилл заметил, как Белка зашевелила ушами, стала тихо урчать, готовая вскочить из-за укрытия и разразиться лаем.

Кирилл подумал, что Белка не может успокоиться от встречи с Хаврошей. Но собака, вытянувшись, повизгивая, поползла на животе, буравя лапами снег. Кирилл взвел курок, выполз из-за укрытия. Вначале почудилось, что по до-

роге пробежал заяц. Приглядевшись, Кирилл увидел, как прижимаясь к земле, от куста к кусту ползут люди. Парень оторопел и выстрелил.

Раскатистым эхом прокатился выстрел, вспугивая в дуплах соболей и белок, насторожил в норах лис. Вздрогнула Хавроша, жевавшая сено, заржали привязанные к саням лошади. Мужики схватили охотничьи ружья, Даша выскочила из избушки первой. Она словно ждала этого выстрела. В ушах еще слышался радостный лепет Маняши, вздохи Ефросиньи Алексеевны, а неистовая сила несла ее к месту дозора, откуда просматривалась дорога к избушке.

После гибели Сергуши Даша словно окаменела, лишь временами, просыпаясь ночью, металась в неистовом горе. Сергуша, маленький хлопотун, все время стоял перед глазами и будто просил отмщения. Она на бегу взвела курок, кубарем скатилась в ложбинку к перепуганному Кириллке.

— Боязно стрелять: люди, — шепнул юнец.

— Стреляй, Кирюша. Стреляй. Это не люди — зверье, — сквозь зубы говорила Даша. — Они нас не в гости звать явились. — У Даши все клокотало внутри.

После выстрела Кириллки Лушников раньше других овладел собой. Забыв осторожность, бежал с поднятым пистолетом.

— Окружать! — скомандовал солдатам.

— Вон-а-а-а-а! — закричал приказчик, увидев, как объездной дорогой понеслась пегая резвая лошадь. — Это дорошинская!

Выстрел из-за выскоря угодил приказчику в спину. Филипп выпрямился, обернулся, словно хотел посмотреть, откуда летела пуля, но, еще не веря, что она попала в него, сделал два шага и стал медленно оседать. Лушников бежал к вывороченному дереву, как охотничья собака, почуявшая свежий след. Полы мехового пальто распахнулись. Провалившись в ложбине, греб по снегу одной рукой, другой держал над головой пистолет. Даша, увидев усатое лицо подпоручика, не моргнув глазом, выстрелила.

Вздрогнув, подпоручик успел нажать на спусковой курок и, превозмогая боль, рухнул рядом с Кириллкой.

Даша бежала к группе ползущих к лошадям солдат.

Ефрейтор Сосунов, бежавший за Лушниковым, видел, как тот рухнул в снег. Хотел было убежать, но вернулся. Лушников лежал на пихтовых ветках рядом с окровавленным парнем. По широко разбросанным ногам, откинутой голо-

ве, остекленевшим глазам было видно, что подпоручик мертв. Ефрейтор приподнял Лушникова, потряс за плечи, будто хотел разбудить, как бывало не раз во время пьянок. Сжатые губы подпоручика, сдвинутые брови вселяли в ефрейтора страх. Снежинки таяли на лице Лушникова в лучах восходящего солнца. Сосунов поволок подпоручика к дороге, проваливаясь в глубокий снег.

Оставшиеся без командира солдаты бежали к подводам.

Лушникова и приказчика Филиппа Митрофанова наспех положили на подводу, прикрыли лица каким-то мешком и, молча повернув лошадей и настегивая их, гнали в село, будто и ездили в лес для того, чтобы застрелили там Лушникова и Митрофанова. Сосунов, мало-помалу приходивший в себя, все твердил:

— Зачем? Зачем все это?

— Хватит нюни распускать! Разгуливать, что ли, явился? Что, винтовку-то вместо лопаты таскаешь? — Емельян Прохоров толкнул ефрейтора, зло процедив: — Это тебе не девок мять по углам.

Скоро показалось село. На обрыве выла собака. Издалека доносилось жалобное ее поскуливание, а по мере приближения Сосунову казалось, что собака воет с какими-то причитаниями, захлебываниями.

— Чует, — сказал он, укрываясь с головой в полушубок.

Трезор выл с той минуты, как Филиппа увели солдаты. Вой был протяжным и жалобным. Филицата, не сумев успокоить пса, распахнула перед ним ворота. Прошло немного времени, и она снова услышала вой.

Трезор выбежал на околицу села, сел, упершись передними лапами в запорошенную кочковину, и выл, запрокинув голову на спину. Когда лошади взобрались на покатый взвоз, он лениво оттолкнулся от кочки, побежал трусцой, опустив кудрявый хвост. Даже уши, всегда торчавшие рожками молодого олененка, повисли и болтались, как два лоскутка. Подбежав к подводе, Трезор обнюхал висевшие ноги Филиппа, тявкнул и побежал вдоль берега в лес.

Большой сосновый лес рос особняком на крутояром берегу речки Еловки. Срубленная еще дедом Ефима Дорошина избушка бессчетное количество раз становилась приютом тому, кому не хватало сил дойти до села, или кого настигало в дороге ненастье, или просто становилась привалом, если охотника звало тепло, о котором он стосковался, гоняясь за

зверем. Сколько баек и былей слышали ее почерневшие от времени стены. Сколько ветров прошумело над ее крышей. Сколько дождей омывало ее стены и одно-единственное окно с видом на солнечную сторону. Но никогда в ней не собиралось столько народа одновременно.

Мужики в мялищевском обозе разделились на две большие группы: одна, с Антоном Шмигельским, свернула к шараповской избушке — верстах в сорока от села, другая — к дорошинской. На дороге было сказано: расходиться по избушкам, но на самом деле решение комитета было не рассеиваться по всей тайге — жить в этих избушках, вблизи главной дороги.

Спали все, за исключением раненого Ефима Дорошина, на полу, вповалку. С вечера от жарко натопленной печи мучила духота, а к утру надевали полушубки. В проморозенные гнилые углы вползал мороз, покрывал куржаком щели, сыпал снег в расщелины бревен, где ветра выдули мох.

Из села не было вестей, а вчера под вечер от Антона Шмигельского пришел на лыжах связной Савелий Тиунов. Все ждали Арсю Попова.

Третий вечер вместе с дозорными выходил Степан Голощапов. Он вставал на лыжи, шел к перекрестку дорог, вслушивался в немую тишину, надеясь услышать клекот клеста, которым Арся должен был подать знак: он здесь, но поедет дальше в объезд, чтобы не оставлять к свороткe следов. Но вокруг было безмолвно, разве только хрустела обломившаяся под тяжестью снега ветка, падала, отшумев косматой хвоей.

А тут Хавроша, отряд Лушникова...

— На все Господня воля, — вздыхала Ефросинья Алексеевна, обмывая Кириллку: — Не ты бы, Кириллушка, никому бы не видать больше белого света. Сельчане тебя не забудут! А как матери твоей говорить про это — не знаю. Не знаю, голубок. И никто не знает.

— Уходить из избушки! Уходить, не медлить! — привстав на локти, торопил всех Ефим: — Уходить! — Он с трудом прочитал привезенную Ефросиньей Алексеевной бумагу от Никиты. — В отряде Турова почти триста человек. Не успеем опомниться — тут же вышлет своих молодчиков. — Ефим повалился на подушку. Все плыло и качалось перед глазами. Подозвал к себе жестом Степана.

— Запрягают мужики лошадей, — отвечал Степан. — Вот только Кирилла похороним и двинемся. Через час, не больше.

Ефим не мог разговаривать, волнение совсем отняло силы.

— В село кого-то послать надо, — сказал он Степану. — Да чтоб домой не заходил, пусть у Лупентьевны спрячется или к Маиту постучит.

— Про Маита не знаю, — ответил Степан. — Лупентьевна надежнее.

Ефиму стало хуже, потемнело в глазах, он плохо помнил, как его уложили в сани-розвальни. Очнулся он, когда вольный, ядреный ветер ополаскивал его лицо и из-под лошадиных копыт вихрем взметывались клубы снежной пыли.

Быть может, в эти самые минуты наступал перелом в его болезни, весы жизни перетянули на свою сторону и главной гирькой в них была эта повозка, снег, ветер, бескрайняя снеговая ширь, где всегда ему легко дышалось, светло думалось.

— Кто в село-то пошел? — спросил он еще не зная кого, слыша шаги за санями.

— Липатий Сорокин, — ответил Степан, по-молодецки запрыгнув в сани Ефима. Весело посвистывая, он погонял лошадь, та, по-видимому, не раз бывавшая в долгих обозах, отозвалась на свист быстрой рысцой.

Глава девятнадцатая

В полдень Арсю Попова и Ваньшу Мошкина, полуживых, с исполосованными спинами, заволокли в сани, прикрыли грязной конской попоной и, яро настегивая лошадей, повезли за село, к Луговинной балке. На второй подводе спиной к спине сидели Федора Кузьминична и молодой солдатик с тонкими, еле пробивающимися на верхней губе усиками, тот, что прошлой ночью взял от нее десять золотых. «Из-за меня парнишку-то на расстрел повезли, из-за меня», — подумала Федора Кузьминична, чувствуя спиной, как он вздрагивает. Она хотела повернуться, пожалеть его, но услышала рычащий хрип, будто кто-то схватил солдатика за горло и начал душить:

— Старая кляча, будь трижды прокляты твои золотые. Не ты, а какой-то сатана протянул их мне. Не ты! От тебя, из твоих поганых рук я бы не взял! Не взял, не взял! — хрипел солдат в истерике и с силой бил локтями и головой в спину старой женщины. Она не отодвигалась, а даже наоборот, плотнее прижималась к нему: толчки словно возвращали ее к жизни, выводили из сна. Приподняв голову, она посмотрела на дорогу. Санный полоз прорезал пуховый серебристый настил, он сверкал, лучисто рассыпая отблеск на обочины. Ближе к Луговинной балке дорога стала уже, и развесистые кусты, промороженные лютыми морозами, ударяясь об оглобли и сани, хрустко пощелкивали, ломались и падали в снег, на сани, на дорогу. Показались высокие кедрачи, стройной грядой отделяющие Луговинную балку от берега и села. Увидев их, Федора Кузьминична зажмурилась. В глубине души, в самых затаенных ее уголках шевельнулась радость, будто сегодняшний день должен принести ей спасение, освобождение от бесконечных горьких лет. Все ее хрупкое тело вдруг охватило жаром, и не было в ней ни одной клеточки, ни одной жилки, которые не подчинились бы ее желанию еще раз увидеть деревья с могучими кронами, с изумрудно-зеленой хвоей, с шершавой корой, из-под которой в весеннюю пору пробиваются живительные соки, просачиваются и катятся по могучим стволам, как чистые слезы. Потом они высыхают, становятся янтарно-прозрачными, замерзают каплями-сосульками, прячась в глубоких расщепах коры.

Подводы проезжали мимо развесистого кедра, отбившегося от ровной гряды. Вершина его была сломана грозой, и ветви, открытые навстречу солнцу, разрослись, кружком прикрывая от ветров и снегопадов выросший и окрепший рябинник. «Боже ты мой! Сколько лет я обегала тебя стороной, главный свидетель моей тайной любви. Сколько лет я глядела на тебя только издали, находила тебя среди сотен других с крыши своей избушки! Неужто ты увидишь и мой последний час? Неужели у тебя, такого могучего, не хватит силы отвести беду? Или то, что делается теперь, не под силу тебе?» — горестно думала Федора Кузьминична, выпуская на свободу слова, которые долгие годы крепким замком были закрыты в ее душе от всех на свете.

Окрики, свист солдат, конское ржание наполнили Луговинную балку, смешались в воздухе и летели окрест, подхваченные ветром. Лошади вязли в нетронутом снегу, хра-

пели, вставали на дыбы, ржали, получая по спинам и хребтам удары кнутом.

— Сто-о-о-о-о-ой! — разнесся громкий голос Киргизова. Вывалившись из кошевы, неверными шагами, высоко выбрасывая ноги и придерживая полы длинной шинели, он пошел к кедрачам. Из-под меховой шапки, натянутой низко на лоб, лихорадочно сверкали черные колючие глаза и, казалось, они не могли остановиться на чем-то одном. Изморозь обметала жесткие торчащие усы, и они чуть опустились, прикрывая красные толстые губы.

— Давай сюда! — приказал. И два коротких слова будто враз выбросили из саней полтора десятка солдат. Они сбросили с саней конскую попону и, подхватив под руки истерзанных Арсю и Ванюшу, поволокли. Босые ноги бороздили снег. Федора Кузьминична замерла. Она видела ноги Ваньши. Но вот ноги утонули в снегу, и Ваньша встал во весь рост. Она заметила, что на фоне солдат, одетых в меховые полушубки, он казался неказистым и щуплым, но не ежился на морозе, а, расправив плечи, стоял и смотрел вдаль, поверх деревьев, будто не было вокруг никого. Арся встать не мог.

По взмаху руки Киргизова двое солдат, размахнувшись винтовками, с силой вонзили штыки. Пальцы Арси сжались в кулаки, сгребая снег, и Киргизов, заметив их движение, отпрыгнул в сторону.

— Плии-и-и-и-и-и-и! — заорал он выстроившимся в строй солдатам. Прогремели выстрелы. Ваньша, повернувшись на выстрелы, рухнул в снег рядом с Арсей. Напуганные выстрелами лошади встали на дыбы. Опрокидывая сани, помчались в село, не подчиняясь крикам солдат. Выстрел Киргизова сразил выездного жеребца купца Мялищева. Конь пурхался в снегу, храпел, фыркал, пытался вскочить и — повалился. Лошади ошалело бегали по Луговинной балке, и подвода, на которой сидела Федора Кузьминична с маленьким солдатиком, понеслась к селу. Ефрейтор Сосунов, ловко подпрыгнув, схватил лошадь под уздцы.

— Вытряхивайся, карга! — кричал ефрейтор, сбрасывая Федору Кузьминичну с саней. — И живо к сыночку! Живо-о-о-о-о! — орал он, зажмурившись. — И ты давай поторапливайся! — ткнул прикладом в спину обезумевшего от страха солдатика.

Солдатик упал на колени, пополз по снегу, пытаясь схватить за подол шинели ефрейтора. Он пригоршнями хватал

снег, толкал его в перекошенный рот. Шапка давно слетела с головы, и густые рыжеватые волосы закрывали лоб, лезли в глаза, полные слез.

— Живей! — торопил Киргизов Сосунова. — Приводите приказ в исполнение!

Снова раздались выстрелы. Солдатик, до последнего вздоха не веривший в то, что за какие-то десять золотых, взятых от старухи, может получить расстрел, так и замер в снегу, на коленях.

Федору Кузьминичну расстреляли вслед за ним. На снег она падала медленно, оборачиваясь в сторону кедрачей, в ее глазах, дрожа, переворачивался могучий кедр с обломленной бурей вершиной, потом полетел искристый снег, все зазвенело в ушах и стихло. Ей чудилось, что с подветренной стороны реки летели осыпающиеся лепестки черемушника, роились, кружились в воздухе белыми бликами. Она даже ощутила горьковато-терпкий запах коры, корневищ, и снова тучи лепестков летели на нее... Она еще приподнялась, вздохнула всей грудью и медленно повалилась, чуть заметно вздрагивая правой рукой, будто хотела о что-то опереться.

— Живей! — слышалась команда Киргизова.

Оставляя Луговинную балку, каратели гнали лошадей. Киргизов украдкой обернулся и увидел темневшую на снегу шинель солдата. Больно екнуло сердце, он отвел глаза, с остервенением стал хлестать взмыленных лошадей, надеясь погасить в себе вспыхивающую жалость к этому юному невинному солдату. Он понимал: не будь убит Лушников, наказание для солдата было бы обычным: либо наряд вне очереди, либо получил бы двадцать горячих плетей, а тут Туров оказался неумолим и неприступен. Узнав о смерти Лушникова, он захотел поставить все вверх дном. Его раздражало каждое слово, каждый взгляд подчиненных. «Расстрел, расстрел, расстрел!» — вылетело из его перекошенного рта. Киргизов, подъезжая к селу, приостановил мчавшуюся лошадь.

Натянув вожжи, Киргизов выскочил из кошевы, на ходу смахнул перчатками снег с подола шинели, распахнул двери управы, вытянулся перед Туровым в струну. Приложив руку к козырьку, отрапортовал:

— Приказ выполнен!

Туров не поднял головы, но по тому, как на его щеках ясно выступили красные пятна, подпоручик понял, что Ту-

ров гасит в себе гнев. Перед глазами Киргизова промелькнула Луговинная балка. Тряхнув головой, он перевел взгляд на Саввушку. Прижавшись к столу, тот съежился, делая попытки что-то сказать. Киргизов впился взглядом в посеревшее лицо писаря, отчего тот поперхнулся, закашлялся.

Выхватив из кобуры револьвер, Туров в упор наставил его на Киргизова, целясь прямо в высокий лоб.

— Ка-ак у те-бя поднялась рука за-стре-лить такого жеребца?

Киргизов, онемевший от неожиданного вопроса, вытянул руки по швам.

— От одного вида этого жеребца у знающих людей дух захватывало! Осанка, поворот головы, грива, рысь! Все было в этом рысаке! — кричал Туров, бросив на стол револьвер. — Велика работа — застрелить двух полумертвых мужиков да старуху!

— И солдата Петушкова по вашему приказанию в расход пустили! — выпалил Киргизов.

Это-то и боялся услышать Туров.

— В расход пустил? — переспросил Туров с ехидной ухмылкой, искоса посматривая на лежавший на краю стола револьвер. — И поделом ему, другим неповадно будет вступать в преступную связь с комитетчиками. Пусть знают: не дрогнет рука всадить пулю в каждого, кто усомнится в нашем деле.

Мысли Турова были самые мрачные. Причин тому было немало. Одна из главных — бессмысленное и, пожалуй, безрезультатное пребывание в этом пустынном Сатарове, где, по всем данным, было главное средоточие комитетчиков, главный пункт формирования партизан. И вылазка Лушникова, его смерть — доказательство этому. «Все они начеку, все они тут рядом, а мы шарим по вонючим избам, волокем по сельским улицам мужиков-калек, баб да старух. И... даже умудряемся расстреливать своих же солдат! Надо двигаться дальше на Север, но что ждет впереди? Впереди нет ни одного приличного села, где были бы купеческие дома, как в Сатарово. Низкие избенки, высокие заборы, крепко запирающиеся на ночь ворота и собаки...» Турова пугала мысль, что он и его отряд должны идти вперед, в снега, а куда легче и лучше повернуть обратно, шаг за шагом приближаться к обжитым местам, к Тобольску!

— Сколько мужиков побывало в управе по списку? — спросил Туров писаря.

Саввушка не ответил. Он встал, уперся худыми трясущимися пальцами о край стола и, раскачиваясь взад-вперед, смотрел на поручика белесо-водянистыми глазами, в которых ничего нельзя было увидеть, кроме страха.

— Дай сюда список! — раздраженно крикнул Туров, сгребая со стола писаря аккуратно сложенные бумаги. Положив их перед собой, поручик в первую очередь увидел удивительно ровно выведенную каждую букву. Рассыпавшись по листу, мелкие буковки походили на изящные завитки и крючочки. «Такую красоту эти трясущиеся руки выводят», — подумал Туров, взглянув на пальцы писаря.

— Сколько человек? — переспросил он, положив на листки тяжелую ладонь.

— Семнадцать! — ответил писарь.

— Всего семнадцать человек?! — Туров чертыхнулся и только теперь посмотрел на Киргизова.

Тот ничего не ответил, находясь в глубоком раздумье, он был хмур и зол. Папироса во рту погасла, Киргизов не пытался ее раскуривать, а медленно, еле шевеля губами, мусолил, переворачивая с одной стороны на другую.

Последние дни Киргизов все время находился в глубоком похмелье, вел себя развязно, вечно с кем-нибудь задирался, о нем говорили, что он главный насильник, но Туров все пропускал мимо ушей. Правда, в тот вечер, когда он огрел увесистой оплеухой волостного старшину, Турова покоробило, но даже это сошло ему с рук. Вот и теперь он сидит перед поручиком насупившись.

— И зачем я дал согласие идти с этим отрядом? — сказал он, в упор глядя на Турова. — Плохо жилось? Или выхода другого не было? Мог бы пойти в армию Александра Ильича Дутова. Был бы в южных краях Оренбуржья, или на Южном Урале, а не в этих промозглых диких краях, где и смерть принимать муторно. Шлепнут вот так же! Пусть даже не шлепнут, так замерзнуть можно. Дикость. Дикость кругом! Ничего живого. — Киргизов вскочил со стула, нервно бросил на пол перчатки, но тут же поднял и, не зная куда их деть, перекладывал с ладони на ладонь.

Туров смотрел на него исподлобья, в другой раз он мог бы понять Киргизова, согласиться с ним и насчет дикости и прочего, но не сейчас. А ведь Туров даже думал назначить его своим помощником после смерти Лушникова. Туров, от сказанных слов Киргизова впав в ярость, грохнул по столу кулаком:

— Вон отсюда! Вон с моих глаз!

Киргизов вскочил, вытянулся перед ним в струнку. Но Туров тут же спохватился и взял его за руку:

— Прости великодушно. Нервы. Никуда не годными стали. Не время нам ссориться. Прости великодушно. Сделано дело — и все. Все былью порастет. Нам о будущем думать надо, — и, перебирая в руках поданные Саввушкой бумаги, натужно-весело проговорил: — Первым записан Никита Васильевич Мялищев — сынок нашего гостеприимного хозяина.

Внутри у писаря все похолодело и сжалось при мысли о бумаге, которую он тайно отдал купцу. И теперь, когда Туров назвал имя Никиты, перед мутными глазами Саввушки отчетливо встало слово «неблагонадежный». Оно было подчеркнуто два раза прямыми, ровными линиями. Он понимал, что если этим господам станет известно все о купеческом сыне, несдобровать не только Никите, но и самому Василию Афанасьевичу. Саввушке представился пожар купеческого дома, яркие языки пламени, клубы дыма, окутывающие крышу, крыльцо, резные окна. Он даже почувствовал запах гари.

— Этот молодчик пусть будет при нас, — подмигнув, сказал Туров. — У его папаши капитал завидный.

Киргизов, все время молчавший, неожиданно ответил Турову:

— Нелегко ему будет — не обстрелянный.

— Проклятущий край! — ни с того ни с сего сказал Туров, заложив руки за спину и несколько раз пройдясь от порога к столу.

Мучительно-страдальческая улыбка проползла по лицу писаря, ему хотелось крикнуть: «Постойте! Приглядитесь. Из-за этого человека будет погублен весь ваш поход! Не знаете, кого на своей груди пригрели!»

Вселившийся в Саввушку бес искушал его, ему казалось, что это тот единственный шанс, который может перевернуть всю его жизнь, сделать богатым и счастливым. Перед глазами опять промелькнул купеческий дом, но опять в дыму и пламени. «Не предзнаменование ли это? Не конец ли всей моей жизни?» — пронеслось в голове, и бородатое, искаженное страхом лицо купца выплыло из охваченного пламенем дома, цепкие, как клещи, пальцы будто схватили писаря за горло и стали душить. Освобождаясь от них, Саввушка закрутил головой и закричал... Очнувшись, он при-

открыл глаза и увидел, что в управе никого нет. Крупные слезы катились по лицу. Он не мог понять, что с ним: то ли сон, то ли какое наваждение. Возвращаясь к действительности, Саввушка сознавал, что мысли его — бредовые, что они могут обернуться бедой. Вскинув в передний угол глаза, он начал молиться. «Нет, подобру-поздорову мужики не отдадут свою власть. Все это наледь. Чистая наледь. Нахлынула, набуйствовала и пройдет. Пройдет, как проходит все, что непрочно, что стоит на зле и коварстве. На коварстве!» — повторил Саввушка, радуясь, что удержался, что с языка не слетели слова, за которые пришлось бы расплатиться жизнью.

Глава двадцатая

Липатий Сорокин шел в село стороной от проезжей дороги. По привычке рассматривал звериные следы, вспугивал копалух. Отметил, что зайцы совсем расхрабрились, куролесят по огородам возле стожков.

Еще издали уловил запах дыма топившихся в избах печей. Остановился, удивляясь: никогда не замечал, что село просматривается со всех сторон.

К городьбе мялищевской ограды подошел крадучись. Опершись о запорошенную снегом жердь, отпрянул — жердь треснула. Чертыхнулся, отошел в глубь кустарников.

К вечеру мороз набирал силу: уплывающее за гору солнце съеживалось в крохотно-огненный кружок, вбирая в себя остатки дневного тепла. В воздухе хороводилась колючая снежная пыль. Он без труда отыскал крышу своей избы и представил, как в этот час ребятишки стоят возле раскрытой дверцы печи, подставляя теплу руки, спины, бока и шепотом рассказывают друг другу страшные небылицы.

Липатий соображал, как пробраться незамеченным к избушке Лупентихи, и посчитал, что это надо сделать сейчас, когда в купеческом дворе суетно.

Отыскав в городьбе сломанную жердь, пригнулся, и, не разгибаясь, пополз. Прополз огородом на четвереньках, юркнул за угол и какое-то время стоял, прижимаясь к сте-

не. Прикрыв рот рукавицей, прокряхтел, чувствуя, как от приступа кашля дергаются плечи.

Отыскав на двери скобку, потянул на себя, открытым ртом хлебнул избной воздух.

— Кто-то из лесу? — сразу послышался из дальнего угла голос. — Одежонка промерзла. Шуршит. Разболокайся да грейся. Печку утром топили. В бане бы тебе попариться, багульничного настою попить. Да до бань ли нынче! Душонка-то теперь у всех, как овечий хвост, трясется.

— Закурить у тебя можно? — усаживаясь на порог, спросил Липатий.

— Кури. Куда теперь деваться. Все одно всю избушку испоганила. Наперекор Господу Богу во всем пошла. Кури, Липатий, кури. Говорят, мужики в куреве усладу находят.

Он жадно раскурил свернутую на ощупь самокрутку. Дым легкой струйкой потянулся к печи, прижался к темным закопченным углам и рассеялся под потолком избушки.

— Арсю да Ваньшу нонче расстреляли, и Федору Кузьминичну заодно, и парня, который у нее деньги взял, — Лупентьевна тоненько заплакала, часто швыркая носом и пряча его в край стеганого одеяла.

Липатий поперхнулся дымом, с поспешностью тыкая самокрутку в подошву пима, вскочил и встал посреди избушки, не зная, куда сделать следующий шаг. На какое-то мгновение ему показалось, что он боится ступить за порог, что во всем селе насторожены самострелы, и стоит только выйти из избушки, как какая-нибудь стрела сразит его наповал. Но тотчас овладел собой.

— Ну мы им, сволочам, обломаем рога! — громко пообещал он. — Пущай только в лес сунутся! Над безоружными мужиками да бабами куражиться!

— Твои бы слова да Богу в уши, — согласилась Лупентьевна и вдруг запричитала горько и безостановочно, и Липатий, только немного придя в себя, различил: — Улетели с земли ясные соколы! На кого вы нас оставили? На кого малых детушек?

— Ниче, Лупентьевна. Ниче. Пущай они только сунутся! Пущай на дорогах покажутся. Ты думаешь, мужики в лесу чай распивают? — уговаривал Липатий немощную, прикованную к постели Лупентьевну. — Сама знаешь, прихлопнули одного ихнего офицера. Прихлопнули. Еще не одного угрохаем. Пущай только на дорогах покажутся. У нас каждый кустик свой.

— Заодно ведь и Филиппа не пожалели, — снова заплакала старушка.

— А ежели бы не он, не найти бы им дорошинскую избушку, да и Кириллка Белов жив-здоров был бы. Мы в долгу не останемся, почистим их норки-то! — грозился Липатий.

— Ишь, значит, одного Господь прибрал. Сколько же их за одну неделю полегло? Всех подряд косят. Преставление света, что ли, началось. — Лупентьевна хотела перекреститься, но скрюченные в локтях руки не поднимались ко лбу, и она, наклонившись, тыкала лбом в сложенные щепотью пальцы.

— Не сказывай Беловым-то про Кирилла. Не сказывай пока, — Лупентьевна вдруг как-то сжалась, тряхнула головой. — Сказывают, лиходеи-то из села уходить собираются. Но это сорока на хвосте принесла. Купцы-то наши голосом воют. Слов нету — в разор их пустили. Им-то, нехристям, что: поели, попили, погужевали — по своим делам, а купцам опять копеечку с мужика вымарщивать придется.

— Ох ты Арся, Арся, как оплошал, — говорил Липатий. Мы еще с ним перед его дорогой в село мялищевских осетров в снег затаскивали. Я ему говорил: полегче, пуп сорвешь, а он смеялся да говорил: силу такую в себе чую, могу на спор сани вместе с коробом поднять.

— Вот тебе и сила. Плетки расшвыряли его силу, — сказала Лупентьевна и смолкла. Отвалившись на подушку, закрыла глаза и лежала маленькая, сухая, с заострившимся птичьим носиком.

Липатий почти машинально взглянул в крохотное тусклое оконце и замер. К избушке Лупентьевны бежала какая-то женщина. Она торопилась, на крутом взгорке прижалась к земле, поползла, согнувшись в три погибели.

— Баба какая-то, — отпрянул от окна Липатий.

— Может Капитолина, а быть может, и Васса. Они ко мне по утрам тропку торят, — спокойно ответила Лупентьевна. — Васса-то помогла Ефросинье Алексеевне в избушку уехать. Отправила и вся испереживалась, пока из разговоров купеческих постояльцев не поняла, что до избушки она доехала и что у вас там перестрелка была, что мертвого подпоручика от дорошинской избушки привезли да приказчика. Ох и перехлопают они вас! — вздохнула старушка. — А ведь у каждого полные полати ребятишек. Вот сирот-то останется.

— Чего ты нас хоронишь? — на всякий случай все-таки прячась за угол, возмутился Липатий.

— Да силища у них. Эко сколько винтовок, сказывают.

Дверь приоткрылась, но кто-то не сразу решился зайти в избушку, пока Лупентьевна не подала голос.

Встретившись с Липатием, Васса вспыхнула, но потом с радостью протянула ему обе руки.

— Слыхал про наши новости? — сразу выпалила она.

— Лучше бы не слышать. У меня голова заболела, — признался Липатий, чувствуя сильные толчки крови в висках.

— Нестор-то Прохорович ночью помер, — сквозь перехватившее слезами горло крикнула Васса. — Так и помер — слова сказать не смог. Язык отнялся. А все после той оплеухи. Как пришел домой, лег, так больше не поднялся.

— Еще бы, — после долгого оцепенения проговорила Лупентьевна. — Всю жизнь старшина волостного управления и вдруг оплеуха от каких-то молодчиков.

Липатий молчал. В эти минуты он испытывал к Нестору Прохоровичу жалость. Он, как и все в селе, сызмальства был научен низко в пояс кланяться этому человеку, при встрече обязательно останавливаться, стаскивать с головы шапку и стоять так, пока он не пройдет мимо. И теперь у него не повернулся язык сказать что-нибудь неуважительное о нем.

— Кого тут винить? — с горьким сочувствием говорила Васса. — Не явись он тогда к пьяным офицерам, не доведи до гнева себя и их, все было бы по-прежнему. А где теперь искать виноватого? Мертвые всегда правы.

— Нестор Прохорович, Нестор Прохорович, — запоздало запричитала Лупентьевна. — Давно между мной и тобой пробежала черная кошка. Только кто я супротив тебя была? Мышь. Вся правда на твоей стороне была. Не думала, что тебя оплакивать придется. Не думала...

По-видимому, у старой женщины были свои счеты с волостным старостой.

Липатий опять смастерил самокрутку, запалил ее, присев на корточки, приоткрыл дверь, выпуская через нее струйки дыма.

— А солдаты-то по избам ходят. Половики собирают. Своими ушами слышала. Туров приказывал: все избы обойти, — пожимая плечами, побожилась Васса. — На что им половики — не знаю. — Она присела возле Липатия на порог, но там ей показалось сидеть неловко, пересела на лавку, прибитую вдоль стены, но и тут не посиделось.

— Половики-и-и, — протянул Липатий. — А-а-а! В дорогу собираются. Вместо седел половики нужны. Ну, теперь

заберут подчистую всех лошадушек, — покачивая головой, он пересчитывал в уме, у кого в селе еще остались лошади.

— Неужели так всех и заберут?

— А ты думала, для чего половики собирают? Дорогу что ли выстилать? Да под задницу себе. Без седел верхом далеко не уедешь.

Васса по-домашнему сняла шубейку, ладонью убрала со лба выбившиеся из-под шали волосы, поправила на затылке тяжелую косу, присела возле изголовья Лупентьевны и опять, уткнув лицо в ладони, заплакала.

— Нестора Прохоровича жалко. Как придет, бывало, обязательно из кармана конфеткой угостит. Ни разу не приходил с пустыми руками. Все какая-нибудь безделушка от него останется... А у вас в лесу-то как? — обтирая слезы со щек, спросила Васса. — У нас в селе одна смерть. Вот беда.

— Хорошего мало: Ефим хворает, в избушке тесно — ступить некуда, еды, кроме рыбы, никакой. Хлеб кончается. Доедаем, какой в обоз брали. Ладно, еще Кириллка Белов всех от смерти спас. Не он — так прихлопнули бы всех разом, как мышей в мышеловке.

Лупентьевна ловила каждое слово, натягивая на себя угол сшитого из лоскутков одеяла, сказала не сразу:

— За что людям такие мытарства? Для дела ли, для пользы ли людей такая карусель?

Но не все беды в это утро еще кончились. Саввушка, у которого солдаты бесцеремонно вытащили из сундука аршинов двадцать половиков, пахнущих плесенью, пришел в полное отчаяние. Он не знал, что делать, как воспротивиться злу. В голову лезли мысли: поджечь свою избу, а заодно и волостную управу, или накинуть на шею петлю и враз покончить с этой жизнью. Но это были только порывы, а в самых потаенных уголках его сердца жило желание отомстить всем обидчикам, рассчитаться за всегдашние насмешки, показать всем, что не такой он робкий и трусливый.

Он не мог вспомнить, как бежал к дому купца Мялищева, опомнился только в тот момент, когда почувствовал, что влетел в какую-то дверь и чья-то крепкая рука схватила его за шиворот. «Опять за шиворот. Опять, как котенка!» — и тут, как наваждение, послышался голос поручика. Нет, Саввушка не ошибся. Он из сотни голосов узнает его надменный хриплый голос.

— И ты тут, милый мой! И тебе надоело сидеть одному. Сюда же. Где люди — туда и Марья слепая.

— Что вы такое говорите? — во все горло закричал Саввушка. — Как вы смеете надо мной глумиться? — В это время поручик отпустил писаря, а у того сразу ослабли руки, в ногах потерялась сила. Он присел на корточки. Перед глазами писаря поскрипывали на половицах до блеска начищенные сапоги поручика. Стоило ему сделать только одно движение, и взбунтовавшийся писарь угодил в дальний угол коридора.

— Ты чего тут, Саввушка? — уловив жалостливые интонации в голосе Василия Афанасьевича, писарь захлюпал носом. — Ко мне он. Я наказывал, чтобы ко мне пришел, бумаги об обозе привести в порядок, — сочинял купец, и от этой купеческой находчивости Саввушка совсем ослаб, не знал, как бы подняться с полу, если бы Василий Афанасьевич не подал ему руки.

Из соседней комнаты донесся голос Никиты, и писарь опять ощутил прилив злости.

Вдруг с торопливой поспешностью, пытаясь снять с себя пальто, он закричал, что хочет вина. Верхняя пуговица, пришитая суровыми нитками, не поддавалась. Сжав губы, он тянул воротник изо всех сил. — Помогите, задыхаюсь! — слетело с его губ как раз в тот миг, когда пуговица щелкнула и отлетела на пол. В другое время Саввушка обязательно стал бы отыскивать ее, но тут зарядил свое: — Вина хочу-у-у! Вина!

— Какого вина? — бледнея и морщась, спросил Василий Афанасьевич.

— Самого крепкого, — проговорил писарь. — Что же это ты, Василий Афанасьевич, не знаешь, какое подается вино уважаемым людям? Самого лучшего! Или нет для меня? Я у тебя последним сортом иду? — закружился вокруг купца писарь, впившись в него расширенными в истерике и без того выпуклыми глазами. — Я — так, низшим сортом, а они, — ткнул он пальцем в горницу, — они первым?

— Ты чего это, Саввушка? — не на шутку напугался купец. — Ты чего, христовый? Нам ли с тобой ссориться? И время ли? Чужие люди пришли и уйдут, а нам все равно бок о бок жить надо. Поди в комнату, полежи, отдохни. Я винца тебе принесу. Я от тебя такого не ожидал. Всю жизнь такой робкий, такой несмелый...

— Думай, думай, а я молчать не стану. Да ты у меня, старый лис, вот в этом кулаке весь! Как птичка пойманная. Вместе с сыночком. — И Саввушка протянул, сунул в нос купцу сухие, сжатые в комок пальцы.

— Ты чего мелешь? Захворал что ли? Да подайте вы ему вина! — не решаясь оставлять писаря одного, крикнул Василий Афанасьевич, понимая, что у него жар и потемнение рассудка.

Саввушке подали стакан с терпким вином. Он с поспешностью схватил стакан, поднес к воспаленным губам и стал пить шумно, большими глотками, запрокинув голову. Пот градом лился по его лицу. Опустив стакан, писарь так и сидел на табуретке, куда усадил его Василий Афанасьевич. Как окаменел.

— Фу ты, Господи, — в образовавшейся вдруг тишине расслышался голос Василия Афанасьевича. — Все с характером!

Туров, проходивший в это время мимо комнатки, удивленно пожал плечами, испытывая в эти минуты сочувствие к писарю.

— Ты чего это, светлая твоя душа, — немало озадаченный душевным надломом Саввушки, говорил купец. — Ты же парень умный. По грамотности многих за пояс заткнешь. Вот только отгрохочет это время, мы обустроим твою жизнь. Слово тебе купеческое даю. У меня для тебя и невеста в соседнем селе присмотрена. Я тебе и свадьбу справлю.

— А ты помнишь тот вечер, когда я тебе бумагу из управы приносил? Ну, вспомни, — хмелея на глазах, спрашивал Саввушка.

У Василия Афанасьевича уже не было сил спрашивать и переспрашивать писаря, которому в голову лезло все, что попало.

Из большой горницы доносились громкие голоса и смех, а то и отборная ругань. Писарь не в состоянии был узнать голоса. «Нет. Я все-таки в своем рассудке, — думал писарь. — Не допущу, чтобы Никита пошел с отрядом Турова. Мне не жаль его, ни капельки не жаль. И их всех не жаль. Мне все равно, но я хочу быть посерединке между ними. Я могу стать между ними великаном. Как трахну друг друга лбами, так и посыплются искры из глаз». От того, что он намеревался совершить в эти минуты, у писаря зашумело в ушах. Но вдруг он понял, что на его стороне все равно не будет никакой правды и повалился на кровать в полном бессилии.

Из-под подушки выкатился револьвер. Саввушка не сразу поверил в это, пока не ощутил в руке холод металла. Будто кто-то нарочно сию минуту подбросил его.

— Застрелиться? — сразу мелькнула мысль, он трясущимися руками попытался затолкнуть револьвер под подуш-

ку, но тот, как нарочно, выкатывался и блестящей рукояткой касался руки. «А чего? Только пальцем нажать и делу конец. Никаких дум...»

— Спишь, Саввушка? — просунув голову между занавесками на дверях, спросил Василий Афанасьевич, как тут же раздался выстрел. На минуту все замерло и стихло вокруг.

— Савелий, Саввушка, — завопил купец. Гурьбой бросились к спаленке офицеры, топтали на полу сорванные с дверей занавески.

— Чей револьвер? — не теряя самообладания, строго спросил Туров.

— Лушникова. Я его сюда положил, — показал Киргизов на подушку, перешагивая через лежавшего поперек маленькой спаленки Саввушку.

— Иди, Липатий, к мужикам. Я вроде выстрел расслышала, — поправляя на голове платок, печально сказала Лупентьевна. — Мужикам кланяйся.

Васса была в каком-то предчувствии беды: без всякого повода суетилась по комнатке, переставляла с места на место вещи, смотрела на дорогу и все ей казалось, что кто-то обязательно придет сюда и увидит Липатия. Обрадовалась, когда Липатий стал собираться, и даже чуть успокоилась.

Уже в сенцах, приоткрыв дверь, шепнула:

— Ты там скажи Степану Петровичу, что свой человек пойдет с отрядом Турова. Он знает. — Она держала в полной тайне отправку Никиты Мялищева с карательным отрядом, потому и не назвала имя.

Липатий крадучись, огородами вышел за село, постоял в лесочке, надел охотничьи лыжи, поглядел на крышу своей избы и, хватая ртом морозный воздух, пошел в глубь леса. Он не мог ответить, почему ему вдруг стало так жутко в лесу и все время казалось, что чья-то невидимая тень крадется сзади и он слышит какие-то шорохи и шипящее дыхание над головой. Липатий съежился, втянул шею и подбородок в заиндевелый воротник, но идти так стало неловко. На взгорке лыжи раскатились, наткнулись на запорошенный снегом пень. Чертыхнувшись, еле удержался на ногах, не оборачиваясь, зашагал быстрее.

К дорошинской избушке вышел напрямик. Мороз уже успел выстудить избушку, но не выветрил людского запаха, не остудил на печке прокаленных кирпичей. Не раздумывая, грохнулся на Ефимову лежанку, уткнулся головой в куль

старой рогожи, пахнущей какой-то травой. «Я сейчас. Я только закрою глаза. Устал я», — бормотал Липатий, будто проваливаясь в снежную лавину. Ему снилась Шараповская присада и большой снежный заслон, в расщелины которого смотрели большие зеленые глаза Степана Голощапова, и широкая дорога, по которой должен был двигаться карательный отряд Турова.

Глава двадцать первая

В усадьбе Мялищевых все было вверх дном.

— Проходной двор, — жаловался купец Маиту, пытавшемуся прибить петлю на тяжелых воротах. — Наплюй, не натруждайся... — Василий Афанасьевич махнул рукой и пошел по двору, запинаясь за неубранные комья снега, замерзшие глыбы конского навоза, переломленные оглобли. Ветер кружил по двору клочья сена, нес их в сторону огорода. Шуршал под ногами. Породистые откормленные собаки, раньше рыскавшие по двору вдоль длинных цепей, теперь притихли, жались в конурах. Двери конюшен были распахнуты. Подойдя к крайней конюшне, где раньше отдельно от всех стоял выездной рысак, Василий Афанасьевич с минуту постоял в нерешительности, но все-таки приоткрыл дверь. Прищурившись, оглядел стойло, новые ясли с мелким, запашистым сеном, но не уловил парного потного духа Гнедко. Не проскрипели влажные половицы, не донеслось легкое фырканье и ржание, приветствующее его по утрам. Мороз успел похозяйничать, выветрить конюшню. Сжав в кулаке кусок пшеничного хлеба, который по привычке положил в карман, Василий Афанасьевич навалился на косяк, не сдержал слезы.

— Сер-деш-ный, — всхлипывал Василий Афанасьевич. — За что такая немилость? Ты ответь мне, за что? — посмотрев на дворника помутившимися глазами, допытывался купец, но оторопевший мужик не мог ему ответить.

Гибель любимого коня была для Василия Афанасьевича ни с чем не сравнимой утратой. Этот рысак был единственным представителем особой степной породы. Три года на-

зад на специальной барже купец привез его маленьким жеребеночком. Он намеревался завести целое производство красивых и выносливых лошадей. Он уже наладил связи со степняками и подсчитал, что дело будет выгодное. Лошадь для сибирского мужика — главное богатство в хозяйстве.

Никита застал отца возле конюшни в жалком и беспомощном состоянии. Сколько он его знал, никакие споры и передряги не выводили его из равновесия. Отец мог злиться, кричать, грозить расправой, но ни перед кем не показывал слабости, даже если проигрывал дело.

Увидев сына, попытался улыбнуться, но ничего из этого не получилось: скривились губы, глаза защекотала слеза. Никита понимал, как нелегко отцу видеть такой разор, да и у самого у него болела душа. Он положил руку на плечо отца. Василий Афанасьевич вздрогнул, схватил руку сына, притянул к сухим губам, жарко дышал воспаленным ртом:

— Только ли о Гнедом печалюсь? Разве мужиков не жаль? Нестора Прохоровича не оплакивать? Саввушку не жалеть? Ведь все идет прахом. Не только у меня, у купца Мялищева. Не тебе ли радеть за это все, Никитушка? Ведь все твое, все. Не два века мне жить. Ну ты обернись вокруг — везде голь перекатная. И у поручика, вижу я, вижу, душа трепещет, голос ломается, как о богатстве заговорит. А тебе-то почему все равно?

Никита не смотрел на отца, который, по сути, говорил верные слова, и вряд ли кто мог ему возразить. Возможно, поэтому и он не находил таких слов, чтобы убеждать его в обратном.

— Вот с ними пойдешь, ведь сам напросился. А на что они тебе, такие охальники? Люди-то во всей округе будут знать, что ты с ними ушел. А на что это? Хватит моего позору. Уж я, старый дурень, промашку дал, распахнул ворота, распростер руки. Об том, сынок, и говорю, об том и слезы свои лью. А ты-то, Никитушка, как ветер в поле! — пытаясь встретиться с сыном взглядом, говорил Василий Афанасьевич. — Поезжай к мужикам в избушки. Найдешь их. А с этими я расплачусь. Заткну им глотки-то золотом. Один ведь ты у меня. Хоть тебе и восемнадцать годов и ростом вымахал, а все одно еще ребенок. Ты поздно у нас родился. Думал, на радость.

Никита, как показалось Василию Афанасьевичу, слушал его с почтением и учтивостью сына. Он совсем было оттаял душой, даже позабыл о погибшем Гнедко. Даже повеселел

и не замечал, как разбушевавшийся ветер раскидывал полы его полушубка.

— С отрядом пойду, — не сразу поверил Василий Афанасьевич, услышав слова Никиты. — Тулуп дай потеплее да положи в кошеву вогульские топоги.

— Заживо хоронишь! Заживо. Неужели ты ни разу не подумал, сколько слез о тебе пролито матерью, сколько бессонных ночей о тебе передумано? Заблудился ты, Никита, заблудился. Саввушка-то показал мне бумагу, про тебя написанную. Чему только верить? Не с бухты-барахты тебе про мужиков сказал. Которая у тебя правда? Ты мне подскажи, я туда и клониться стану. Из всех сил стану. Если ты с мужиками, так я им все долги прощу. Плевал я на эти долги. Я ведь хоть и неласковый, а плоть свою до смерти люблю. Может, не как все, а по-своему люблю. Хоть чем-нибудь успокой мою душу.

По промороженным плахам крыльца заскрипели кожаные подошвы сапог. Офицеры шли размеренным, твердым шагом, рывком распахнули дверь. Кто-то в сердцах пнул кота, тот, мяукнув, юркнул в дырку под крыльцом.

— Прикажи сгонять лошадей, — крикнул Туров задержавшемуся во дворе Киргизову.

Василий Афанасьевич вспыхнул, обтер ладонью лицо, горестно покачал головой и, вроде бы застыдившись своих пылких слов, повернулся к Никите спиной и пошел, еле переступая ногами.

— Евлампий! Где ты там? Маит, позови его. Он где-то тут бродит.

— В конюховке он, — подсказал Никита отцу, догадываясь, для чего ему понадобился конюх.

Маит шел на зов хозяина. По снегу волок веревку, она извивалась за ним змеей.

— Соколика загнали. Только зашел в конюшню и пал. Глаза бы мои не глядели. Слава Богу, хоть один глаз, а кабы оба были, какие бы страхи они увидели?!

— Евлампий, — позвал купец конюха, и как только тот подошел, наклонился к нему и стал ему что-то нашептывать. Тот согласно кивал, теребил ус, искоса поглядывал на входную дверь.

— Когда?

— Да хоть когда, — с негодованием посмотрел на него Василий Афанасьевич. — Да только чтоб незаметно, Евлампий.

— Воронка да Серко уведу.

— Ладно, ладно, — буркнул под нос. — Обнищаю совсем. В соседнее село не на ком будет выехать, разве только на водовозной клячонке.

Акулина Федоровна все уговаривала Василия Афанасьевича:

— Да не проклинай ты его! Не проклинай. Какое это дело собственным детям зла желать?!

— Прокляну, — все время грозился купец, а в последние дни замолчал.

Она потеряла сон, хотя раньше никому не верила, если кто жаловался на бессонницу. Она пожимала плечами или просто не слушала. Самой ей стоило прикоснуться к подушке, как она тут же погружалась в сладкий и крепкий сон. А тут ее одолела бессонница.

В окно светила луна. Взобравшись на синюю тучу, она остановилась напротив изголовья Акулины Федоровны. Она лила такой свет, что можно было разглядеть каждый шов на ночной рубашке. Чисто выбеленные стены отливали белизной, на них вырисовывались две красивые застекленные рамы с портретами Акулины Федоровны и Василия Афанасьевича. С фотографии молодая Акулина смотрела лукавыми глазами, прикрытыми густыми бархатными ресницами. Толстая коса, уложенная на левое плечо, красовалась на белой расшитой блузке. Вглядываясь в свой портрет, Акулина Федоровна испытывала горькое сострадание к себе.

— Да перестань ты, — повернувшись на своей постели, в сердцах буркнул Василий Афанасьевич, услышав сдавленные рыдания жены. — Половиков-то у нас много? — спросил неожиданно.

Акулина Федоровна сбросила с себя одеяло, села, торопливо собирая рассыпанные по спине волосы.

— Какие половики? Господь с тобой. Ладно ли? Может, за фельдшером девок послать? Про какие-то половики, Господи меня прости, спрашиваешь. Какие половики-то? — тормошила мужа купчиха, стараясь удостовериться в здравом уме Василия Афанасьевича.

— Обыкновенные. Какие на пол в избах стелют.

— На что они?

— Да на спины лошадей заместо седел. Где их, седел-то, набрать?

Акулина Федоровна облегченно вздохнула и расслабилась на постели.

Минут пять лежали молча, улавливали вздохи друг друга, а мысли сводились к одной заботе — о Никите.

«Вдруг Никита воротится домой таким же охальником, как эти? Свету белому будешь не рад. А вдруг да не вернется вовсе? Люди терпят, терпят да и сдачу сдавать начнут. За Арсю да Ваньшу стократ рассчитаются. Пуля — дура. Не разбирается, в кого попадать. Лушникова-то догнала. С виду красивый был, ладный. Мать-то, поди, ждет не дождется, а его и в живых уж нет. А ведь ростишь-то как! Каждого комарика сдуешь, каждую царапину обцелуешь, каждую соринку уберешь, а потом кто-то где-то... Сохрани и помилуй, Господи», — вздыхала Акулина Федоровна.

— Никита-то вроде с охотой собирается, — прервал ее мысли Василий Афанасьевич. — Я все ждал: может, супротивиться станет. Я уж с деньгами расстаться решил. Отдал бы этим нехристям, и пущай себе идут, а он бы остался. Я уж и так и этак, а он как глухой.

— Да какие еще им деньги! — возразила Акулина Федоровна. — В дело бы, так куда ни шло. Если уж кому золотом отдавать, так тому, кто чином выше. Этот, Туров-то, только здесь козырем ходит, а ну-ка в Тобольск его! Сразу руки по швам вытянет. Нет, Вася, выкинь эту мысль из головы. Лежит золото, пить-есть не просит и пускай лежит. Мало ли какие еще черные дни впереди будут! И так разорили нас: все в доме перещупали, облюбовали, лошадей угробили...

Василий Афанасьевич, приподнявшись над подушкой, прислушивался к скрипу половиц.

— Это Никита к Вассе пошел. Я его шаги знаю, — проговорила Акулина Федоровна.

— Не мели.

— Вот тебе и не мели. Он своего не проворонит.

— Дура! Нашла время.

— Дура, значит? Не эта бы суматоха — сконфузила бы перед всем честным народом.

Василий Афанасьевич сплюнул, наскоро оделся.

Нашарив на полу кольцо, открыл западню. Спускался на кухню, придерживаясь за зыбкие перила.

— Где эта мокрохвостка? — купец, будто не замечая Никиты, тяжело шел к печи, возле которой стояла Васса.

— Постыдись, — остановил его Никита. Купец, наверное, не расслышал его и весь напрягся, готовый схватить и выбросить кухарку. Злость, которая копилась в нем много дней, давила грудь, раздирала на части.

— Да я! Сейчас, немедленно! Чтобы духу твоего... Я пока еще хозяин тут! — Василий Афанасьевич затопал ногами. — Не допущу! Не допущу! — кричал в истерике, обхватив голову руками.

Сильная рука Никиты остановила его.

— Перестань! — уже громче и требовательнее сказал Никита. — Никуда она не пойдет из нашего дома. Ни-ку-да! — растягивал он каждое слово. — До моего возвращения будет жить тут, и попробуй что-нибудь сделать.

Туров, разбуженный шумом, нащупал револьвер и через внутреннюю дверь побежал в хозяйскую половину. Он появился в тот момент, когда купец бросил в двери глиняную крынку и черепки с грохотом разлетались у порога.

— Что за шум в благородном семействе? — спросил он, одергивая полы кителя.

— Шлюха, — хватая ртом воздух, говорил Василий Афанасьевич. — Захомутала парня. Вона, полюбуйтесь на бесстыжую. Живет, как у Христа за пазухой, сызмальства.

— Перестань, отец! Прошу тебя. Будет так, как я сказал: до моего возвращения Васса останется в нашем доме. Прошу тебя при людях: помолчи.

— Ай да Никита! Губа у тебя не дура! — Туров хлопнул Никиту по спине, отмечая про себя красивую стать Вассы.

Глава двадцать вторая

Медвежатник Лука Саввич Поджаров удивился, когда получил почтовой эстафетой записку от пристава. Перегнув конверт вчетверо, отправился к чеботарю — единственному грамотному человеку в деревне. Ехать две сотни верст не было охоты, но и дружеских отношений со Спиридоном Бурмантовым терять не хотелось.

Два десятка домов, растянувшихся вдоль речки Ляпинки, окнами смотрели на крутой излом, названный Черным Яром, отчего шло название деревни — Черноярка. С другой стороны деревню окружали темные кедры. В эту сторону прорубались крылечки, банные окна, открывались ворота, калитки, раскапывались огороды. Волей-неволей взоры

людей были направлены в сторону леса, откуда можно было увидеть приближающуюся упряжку или уставшего пешехода, которому никак не объехать Черноярку, разве что обойти стороной, теряя десяток верст. Были месяцы, когда мимо Черноярки никто не проезжал, и осмелевшее зверье, принюхиваясь к избным запахам, учуяв в стойлах коров, овец и лошадей, теряло осторожность, пробиралось к крепко запертым дверям конюшен, скребло и выло, пока кто-нибудь из мужиков не выходил и не стрелял из ружья, не жалея для общего дела патрона.

В последние годы в прогалах между кедрачами стали настораживать самострелы, и не напрасно: одним навылет пронзило медведя-шатуна, вторым смертельно ранило волчишку. Серый, худой, похожий на хворую собачонку, он лежал возле темного ствола кедра с перебитым задом. Узнав, что во второй самострел попал волк, Лука Саввич смекнул, что на туманное болото пришли дикие олени и что через пару недель настанет время запасаться вкусным мясом, оленьим камусом, необходимым для охотничьих лыж.

Единственный двухэтажный дом в Черноярке принадлежал Луке Саввичу. Его выстроили прошлой весной приплывшие лодками тобольские мужики. Два месяца дятлами стучали топоры, и до белых мух успели не только подвести дом под крышу, но и сложить печи. По случаю торжества Лука Саввич достал из голбца четверть первосортной пшеничной водки. Изработанные, уставшие мужики опьянели с первого придыха, расслабились душой и телом. «Ох, рученьки! Ох, вы мои рученьки, — запричитал скобарь, целуя скрюченные, опухшие в суставах пальцы. — Не вы ли коснулись здесь каждой досочки, каждого бревнышка? Разве смотрели бы без вас так весело оконные переплетики, радовали бы глаз порог, приступочки да крылечко? Не вы ли заставляете зевать баб на кружевные наличники?»

Эти слова пришли на память Луке Саввичу, когда он вышел из ворот, и звонкая щеколда, грохнув за спиной, будто окликнула его. Лука Саввич обернулся, окинул взглядом крепкие смолистые бревна, до блеска отструганные плахи ворот, кружевную резьбу, обрамляющую мелкими деревянными зубчиками и завитками нижний карниз крыши. «Будто прошва на бабьей юбке, — Лука Саввич ухмыльнулся, сделал несколько шагов назад, проваливаясь в глубокий снег, — посмотреть на дом издали. С удивлением подумал, что раньше не обращал внимания на затейливые безделуш-

ки кривошеего мастера. — Не зря ведь причитал, хвалу корявым пальцам пел», — вспомнил Лука Саввич. Резные наличники, приколоченные на крепкие косяки, украшали дом, веселили глаз. По краям, как ажурная завеса, вырисовывалась кружевная обводка. Вверху, на поларшинной доске, грудились и ютились на резных ветках лесные птицы, зверьки, прятались за стволами деревьев лисы и волки, а горбатая фигура медведя была вырезана мастером на самой окраине наличника. Стоял медведь криволапо, оскалив зубастую пасть, будто поддразнивал и улыбался хозяину дома. «Невидаль. Экая невидаль! — Лука Саввич пятился от дома, потому что на расстоянии окна были еще краше. Поправив сползавшую на затылок шапку, крякнул самодовольно: — Встрену его еще раз, не забуду. Озолочу за таку красу», — решил медвежатник. Пожалуй, он сейчас впервые пожалел, что дома смотрят окнами на реку и что никто из приезжих не может полюбоваться наличниками дома. Он досадливо помотал головой и пошел к чеботарю Пашке Вихрю.

Кто он и откуда, никто не знал. Пришел как-то зимой, три года назад, с котомкой, остановился у Маньки Тюриной переночевать, потом пошел с соседом Прошкой лесовать — да и застрял в деревне. Пашка Вихрь оказался человеком ремесленным — хорошим чеботарем. Подошьет пимы — любо-дорого. Каждый стежок — как птичий шажок: дратву варом скрутит, подошву прострочит, запятники аккуратно вырежет, стоптанный пим на колодке выправит. Дело в его руках играло. И грамоту знал. Чеботарем, хоть дело и нелегкое, спроворить каждый сможет, если руки приложит, а вот грамотность для многих казалась делом непостижимым. Все потянулись к Пашке Вихрю. То один, то другой с просьбами. А когда на запрос пришел ответ, что с Леньши Горностаева была неверно взыскана пошлина за продажу белой рыбы и что ему полагается взыскать с рыботорговца Пухова тридцать рублей, дверь в избе Маньки Тюриной заходила ходуном.

Лука Саввич относился к Пашке Вихрю с пренебрежением. При упоминании о нем у него портилось настроение, начинал ныть зуб.

В первый год, когда в деревню приехал пристав Спиридон Бурмантов, Лука Саввич норовил подробнее разузнать о Пашке Вихре: кто он, откуда явился? Да пристав не больно-то откровенничал, а потом он и вовсе о нем забыл, пока нужда не заставила Луку Саввича обратиться к Пашке за помощью.

В прошлом году почтарь привез запечатанное сургучными печатями письмо, но лошадей не приостановил, а погнал дальше, в ночь. «Будто хвост у них чем намазан. Несется хоть в ночь, хоть в непогоду». Письмо осталось непрочитанным. Лука Саввич долго вертел конверт, подносил испещренную тонким почерком бумагу к десятилинейной лампе, рассматривал каждый завиток буковки, затем отложил. Идти к Пашке Вихрю не хотелось, но ведь и почтаря ближние две недели ждать нечего. Он снова достал конверт, пригладил ладонью, хотел положить в ящик, но увидел в окно Маньку Тюрину. Дотянулся пальцем до оконного стекла, постучал. Манька вздрогнула, обернулась, увидев в окне Луку Саввича.

— Меня? — спросила, увидев в окне скрюченный палец Луки Саввича, подзывавший ее.

Он кивнул головой. Манька, осторожно приоткрыв дверь, вошла в избу, встала на пороге.

— Дома? — спросил Лука Саввич, не называя Пашку по имени.

— Павел Панкратьевич? — прощебетала Манька, и румянец заполыхал у нее на щеках.

— Ну, — ответил Лука Саввич недовольно.

— Чеботарит. Бродни на весну Митрофану шьет, прямо в руках катаются. Как таку красу на ноги надевать да в грязь ступать будет Митрофан — не ведаю, — Манька даже зажмурилась. — Нужда, что ли, к нему?

Нет ничего зазорного Луке Саввичу, козыряющему перед деревенскими мужиками удачливой охотой на медведей, подавить в себе гордыню и пойти к Пашке. «Медведи медведями, а грамотность Павла Панкратьевича повыше в цене», — думала Манька, наваливаясь на дверь спиной и выходя в сени.

Лука Саввич видел, как она понеслась по улице, разметая снег подолом длинной юбки. «Эко как щипнул бабенку! Юлой вертится!» — усмехнулся в рыжую бороду, натягивая на плечи суконное пальто, которое надевал по праздникам.

Больше всего его раздражало Пашкино курение. Заходя в деревню, он сразу угадывал, дома ли Пашка. «Нюх у меня, как у охотничьей собаки», — признавался он. Подходя к крайней избе Маньки Тюриной, он стал плевать по сторонам, обтирая рукавом бороду. Снег вокруг избы был сметен. На низком крыльце, промытом речным песком, вырисовывались волнистые линии многолетней сосны, новый

голик стоял торчком возле порога. «Юла!», — подумал про Маньку Лука Саввич и почему-то представил, как Пашка лезет к ней с бородой, провонявшей табачищем. Тут из распахнутой двери высунулась голова Маньки, повязанная платком до самых бровей. Зыркнув веселыми глазами, подала знак, что Пашка дома.

Пашка-чеботарь встретил гостя без суеты, привстал, протянул руку Луке Саввичу, с чуть заметным поклоном отрекомендовался: «Павел Вихров». В избе пахло дымом, табаком, варом, которым Пашка скручивал дратву.

— Давайте прочитаем ваше письмо, если доверяете, — после недолгого молчания сказал Павел. Лука Саввич прищурил правый глаз, будто целился, ища прорезь на мушке ружья.

— Ага, — ответил смущенно. — Вота, — протянул вчетверо сложенный конверт.

В письме тобольский торговец Кукушкин просил Луку Саввича заготовить для него полтора десятка медвежьих шкур, и чтоб все они были с белыми нагрудками. Цену назначил высокую. Выслушав, Лука Саввич хмыкнул, хотел попросить, чтобы Пашка прочитал бумагу еще раз, но передумал, переспросил: «Чтоб с нагрудками? А где их искать, с нагрудками-то?» — криво улыбнулся, пошевелил усами и положил на низенький чеботарский стол рубль. Чурбан под Павлом сдвинулся с места.

— Не беру за это. Отцовский подарок — ученье. За подарки деньги не положено брать, — сказал певуче, положив в ладонь Луки Саввича рубль. По всей видимости, он делал это не раз.

Манька, притаившаяся, как мышь, возле печи, уронила на пол ухват, перекрестилась, выскочила из избы, но тут же вернулась. «Носится, как горностаиха: туда-сюда», — подумал Лука Саввич, тяжело вздыхая.

— Ты на него не сердись за это. Он обет такой дал. Перед Богом: брать деньги за грамотность не станет. Он ни с кого не берет. Никогда не берет: хошь читат, хошь пишет, — говорила скороговоркой Манька, выбежав за Лукой.

«Ни с кого не берет, — хмыкнул медвежатник, вертя в пальцах рубль. — Не грех и брать. Капитал мог бы скопить».

Мысли вертелись вокруг встречи с Пашкой Вихрем. Вроде между ними и не было никакого разговора, никаких толков, а взгляд Пашки будто просверлил его насквозь. «Али жулик матерый тута от власти хоронится? Али умный шиб-

ко? Тогда че ему столько время жить у нас? А он живет, и Маньку в люди вывел. Бегат, как путная баба, а до него растрепеня мокрогубая была, собаки в ее сторону не лаяли, не то чтобы мужики глядели. И для деревни он находка, считай, всех обул. Кажда заплата на бродке мужика им пришита». С другой стороны, Лука Саввич понимал, что Пашка своей грамотностью отбирает его авторитет в глазах деревенских мужиков. Припомнился случай с Данилой Макрушиным — соседом Пашки Вихря. Нынешней осенью, когда начались заморозки, вдруг подплывает Данилка и прямо супротив окон Луки Саввича останавливает свою лодку. На берег выволок, деревянным колом прикрепил, чтоб волной от берега не отогнало, и пошел. Лука Саввич в ту пору напротив окна сидел, уху хлебал. Как увидел — поперхнулся. Пока прокашлялся, Данила на берег подниматься стал. Луку Саввича всего затрясло. Все до крохотного мальчишки в деревне знали, что эта заводь — Луки Саввича, и никто к этому берегу не подступал. Еще его отец Савва Липатич облюбовал эти берега, с самой Колвы хозяйство переволок, избу первую поставил, которой теперь и в помине нет.

Лука Саввич босиком выскочил на крыльцо, не своим голосом крикнул Даниле:

— Куды, слепы твои глаза, лодку прицепил? Али других местов нету?

А Данила даже не приостановился, через плечо гаркнул:

— Теперя вся земля обча! — и пошел, горбясь под тяжелым мешком. Вода в броднях хлюпала, и при каждом шаге будто выговаривала: «обча, обча»...

Разговора их никто не слышал, но пережить такое Поджаров не мог. Мужик он был зловредный, в памяти обиду держал крепко и после этого случая в сторону Данилы не смотрел, выжидал удобного случая, как бы схватить его нуждой, как ерша за жабры. А случая не попадалось, и вся причина была в том, что сдружился Данила Макрушин с Пашкой Вихрем и живет-поживает — горя не знает. Кто-то даже сказал Луке Саввичу, будто видели Данилу с вонючей папироской в зубах.

Разговоры о советах долетали до Черноярки слабым ветерком, который не то чтобы дул в уши, а пролетал над головами, не задев волоска. Приезжавший к Луке Саввичу пристав Спиридон Бурмантов говорил про то, что в Сатарове хозяйничают будто бы мужики, совдеповцы, что у богатых отбирают все хозяйство, и он сам, Спиридон Бурман-

тов, стал побаиваться их и не против смутное время переждать в Черноярке, на что Лука Саввич промолчал. В первый вечер вроде бы поудивлялся, как это так: кто-то придет и отберет у него дом. Потом, когда пошли на охоту, нашли берлогу, вошел в азарт — и все думы о разговоре с приставом вылетели из головы, пока не получил неожиданного письма из Сатарова.

Получив письмо от Спиридона, Лука Саввич всю ночь спал тревожно, будто спрятанное за божницу письмо посылало к нему невидимые токи. Широкая деревянная кровать, сделанная пришлыми мужиками из сосновых досок, поскрипывала и будила его. Легкое похрапывание Манефы Степановны сердило Луку, и он легонько подталкивал ее в бок. «Опять простудилась», — думал про себя, укрывая плечи Манефы Степановны ватным одеялом, но лежать рядом не мог. Сунув ноги в обрезанные пимы, спустился по лестнице вниз, заглянул в пустые комнаты, сел на сколоченную лавку напротив дверей маленькой спаленки, где до прошлого года жил младший сын — Прошка. Женившись и получив от отца хороший надел, как и двое старших, отделился, ушел.

«Для кого такую махину строил? Все живешь, думаешь, как бы не тесно было, а все норовят свои гнезда вить», — не без грусти подумал Лука.

Ночь была лунная, в окна лил матовый свет, на пол через решетчатую раму падала тень от ствола черемухи, раскидистых веток и казалось, что они валяются на полу. Лука Саввич привстал, но почувствовал боль в спине, общупал ее ладонью, провел пальцами вдоль позвоночника, погладил место ниже пояса, где в последнее время все чаще стало ударять и пощипывать, будто изнутри кто-то простреливал, отчего боль отдавалась по всему телу. «В лес надо. Там некогда прислушиваться к пояснице, да и мысли дурные в голову не лезут», — Лука Саввич поворошил пальцами бороду, рука потянулась к щеке, за ухо, к затылку. В блаженной, сладкой полудреме, прикрыв веки, он навалился спиной к стене. Ослабевшая рука ползла по щеке, безвольные пальцы коснулись губ, проползли по бороде, упали на грудь, и он засопел — уснул крепким предутренним сном. Скоро будто кто ткнул Луку Саввича в бок. Он бойко вскочил и больше не мог уснуть до самого рассвета. Мысль о поездке в Сатарово тревожила, а главное — его не оставляли сомне-

ния — нужно ли туда ехать. Дорого бы он заплатил, чтобы знать, что написано в привезенной почтарем бумаге.

— Чего ты не спишь? — ставя на стол дышащий паром самовар, спросила Манефа Степановна, молчавшая все утро. — Ежли хвороба пристала, так Конкордию звать надо бы баню топить.

— Че мне твоя Конкордия? — сердито ответил Лука Саввич. — В Сатарово ехать надо.

— Мало еще короб набухал, — сердилась Манефа Степановна на Спиридона Бурмантова, увезшего соболей да добрый десяток медвежьих шкур.

— Казенно дело, — остановил Лука Саввич жену. Она уставилась маленькими глазками на Луку Саввича, стараясь выведать у мужа правду. Она знала, стоит ему отвернуться или отвести взгляд, как разговор может перемениться. — К Пашке Вихрю идти придется. Может, и не надо дороги класть в Сатарово, а может, и торопно че.

Она сморщилась, сплюнула через левое плечо, услышав о Пашке.

Лука Саввич опять шел к избе Маньки Тюриной. Свежий след широких лыж вел к их избушке со стороны кедрача, минуя наезженную дорогу. Лука Саввич зашагал быстрее. Дверь в избу была приоткрыта, и с улицы слышались голоса. Лука Саввич остановился в нерешительности, хотел повернуть обратно, но распахнулась дверь, и на пороге показалась Манька. Она тоже вроде вздрогнула, оказавшись лицом к лицу с Лукой Саввичем.

— Гости к нам! — крикнула, повернув голову. Но голос Маньки, торопливый, с дрожинкой в горле, показался Луке Саввичу похожим на клекот вспугнутой гагары. Она стояла спиной к двери, прижимая ее.

Пашка Вихрь вышел на возглас, обтирая тряпицей руки.

— А, — протянул, будто обрадовавшись гостю, распахнул легкую, смазанную в шарнирах дверь. За столом сидел незнакомый Луке Саввичу человек и пил из кружки горячий чай, не поднимая взгляда. Лука Саввич и рад был бы не видеть пришлого, но слишком крохотной была Манькина избушка, про которую говорили: если корова ляжет, то хвост протянуть негде. Густые волосы незнакомца слиплись на лбу, от него пахло потом.

— Садись, Лука Саввич, гостем будешь. — Пашка подтолкнул ногой сосновый чурбачок. — Письмецо, наверное, от Спиридона Бурмантова получил? — спросил Пашка,

улыбнувшись. Лука Саввич удивился Пашкиной осведомленности.

— От него. А ты почем знаешь?

— А они теперь, как звери, укрытых мест ищут. Разве нынче осенью он не говорил, что хотел бы пожить в Черноярке?

— Говорил, — с заминкой протянул Лука Саввич.

— Вот теперь и письмецо: если не с этой просьбой, то с делом похуже. Давайте, — потребовал Пашка письмо.

Пробежав взглядом каракули Спиридона Бурмантова, чеботарь ничего не сказал, лишь пристально посмотрел на Луку Саввича, соображая, для чего в Сатарове, где лютует карательный отряд Турова, понадобился медвежатник Поджаров.

— Че? — не выдержал Лука Саввич.

— В Сатарово пристав зовет, а зачем — не пишет. Требует, чтоб ты срочно явился к нему по важному делу. Так и пишет: «Приезжай, друг Лука Саввич, служба есть. Опосля в пояс тебе поклонюсь».

Лука Саввич громко вздохнул. Чувствовалось, что известие его не радует. Онемело сидел на чурбане, выпрямив длинные ноги и упершись пятками в чистый пол.

— Че тамо делается? — спросил после неловкого молчания.

— Плохие там дела делаются, — ответил сидевший за столом мужик. — Отряд карателей пришел, людей порют, а если что не так, то и пули в лоб не пожалеют.

— Поди-ка, люди, не зверье какое, — не оборачиваясь, ответил Лука Саввич.

— Хуже! — сказал мужик, отхлебывая из кружки чай.

Лука Саввич протянул Пашке руку, откланялся и вышел.

— Доброй дороги, Лука Саввич, — крикнула Манька, но он не обернулся. Шел к дому торопливо, размахивая руками, как ходил на охоту, заранее зная, к какому времени надо дойти до намеченного места.

— Че-то быстрехонько. Али вонь табачника ноздрю свернула? — спросила Манефа Степановна, встречая мужа.

— Надо было на охоту уйти, так тебя послушал, а теперь в Сатарово пристав зовет.

— К лешему его! Чай, свой кусок едим, у него не просим.

— Поеду! — сказал Лука Саввич, и она поняла, что уговоры бесполезны.

Широкогрудый жеребец из конюшни шел трусцой, нервно вздрагивая, предчувствуя дорогу. Черная грива змеей шевелилась вдоль гордой шеи.

— Тпру-у-у-у-у-у-у! — останавливал медвежатник лошадь, похлопывая ее ладонью по спине и с улыбкой вспоминая, что приобрел ее на спор.

Дело было в Ирбитскую ярмарку. Лука Саввич ездил на нее ежегодно, выгодно продавал собак, медвежье сало и шкуры. Стрелял он зверя без промашки, не пробивал дробинами шкур и выделывал их так искусно, что любой покупатель, если знал толк, не мог пройти мимо. Шкуру, выделанную Саввичем, можно было спрятать за пазухой.

Распродав товар, он собирался домой. Складывал все на подводу, а мимо татарин вел за уздцы жеребца. Жеребец играл, фыркал, вставал на дыбы. Зеваки вокруг. Лука Саввич возьми да и скажи татарину:

— Мои собаки твоего жеребца в один миг остановят. Медведи хвосты поджимают!

Татарин, залившись краской, дернул на груди рубаху — считай, до пупа разорвал.

— Будет твоя правда — бери жеребца! Моя правда — гони собак!

Прикинул Лука Саввич в уме, разор может быть, ежели не по его выйдет, а слово вылетело — не поймаешь. Гвалт кругом, свист. Люди валом повалили — посмотреть, остановят ли две собаки, которых таежный медвежатник продать не смог, жеребца.

— Ну, Белка и Ветка, не посрамите! — сказал Лука Саввич, приглаживая собак. Собаки повеселели, стали рваться на поводках, прыгать на задних лапах. «Усь! Усь! Усь!» — подзадоривал их Лука Саввич. У татарина шаровары пузырем, грудь колесом. Белка с Веткой попятились, у обеих вздрогнули хвосты, но стоило Луке Саввичу отпустить их с поводка, как они с громким, пронзительным лаем бросились на жеребца, стали подпрыгивать, будто кто-то подкидывал их. Жеребец запрокинул голову, заржал, встал на дыбы. В это время Ветка, прошмыгнув мимо тяжелых ног жеребца, подбежала сзади и начала рвать хвост, толстый круп лошади. По ногам жеребца побежали струйки крови. Глаза покраснели, у губ скопилась пена. Растерявшийся татарин мотылем отлетел в сторону.

Разгоняя по сторонам все живое, жеребец понесся вдоль главного ряда ярмарки. Сзади, визжа и лая, бежали Белка с Веткой, не слыша окриков Луки Саввича. Пробежав до конца выстроенных шалашей, Лука Саввич пронзительно свистнул. Маячившие вдали точки остановились.

— Сколько просишь, хозяин? Сколько просишь? — неслось со всех сторон. Кто-то тянул Луку Саввича за угол шатра, предлагая пять лошадей за собак.

— Кормилицы мои. Кормилицы, — растроганно причитал Саввич, обнимая собак. — Не продам, хошь чем заваливайте. — Потерялся из виду не только хозяин красивого жеребца, но и все татары — сняли расписные шатры и, грохоча навьюченными санями-кибитками, подались в степь.

Вечером в крепкие тесовые ворота купеческого дома, в котором на время ярмарки останавливался Лука Саввич, постучали. Белка и Ветка зарычали, оскалив зубы. «Молчать!» — пригрозил Лука Саввич, притопнув ногой. В подворотне виднелись засыпанные снегом пимы. Сбросив березовую палку с ворот, он увидел татарина. При сером свете лунной ночи он показался медвежатнику черным, и только белки глаз, как две жемчужные бусинки, перекатывались под густыми черными бровями. На поводу он держал жеребца.

Глава двадцать третья

Трескучие крещенские морозы, казалось, сжимали воздух, вымораживали каждую снежинку, превращая их в крохотные крупинки. Подгоняемая ветром снежная крупа шуршала по насту, издавая глухой таинственный шорох.

Сквозь закуржевелые ресницы Лука Саввич следил за клубящимися струями выдыхаемого воздуха, оседавшего инеем на бороде, бровях, на шапке и вороте овчинного тулупа. Вытащив из теплой варежки руку, пригоршнями сгребал иней с бороды, бровей и ресниц. Посвистывая, веселя и себя и коня, он подумывал, а не повернуть ли обратно. Эти мысли рождало тоскливое чувство от пустынной дороги.

Неожиданно Красавчик остановился. Не открывая лица, спрятанного в воротник, Лука Саввич дернул вожжи, крикнул и, не услышав скрипа полозьев, открыл глаза. Лошадь держали за уздцы два мужика, одетые в длинные полушубки. В первое мгновение ему показалось, что он спит, снова дернул вожжи, но услышал хриплый голос:

— Ослеп? Не видишь?

— Поджаров я. Сами, поди, ослепли? С Черноярки я.

— Хоть кто ты, нам все равно. Зачем в село едешь?

— Почем знаю? Пристав велел, — недовольно ответил Поджаров, вставая в кошеве. Ногу слегка дернуло под коленом. Взмахнув вожжами над головой, он свистнул. Красавчик рванул, оставляя упавших в снег незнакомых мужиков. Выстрел ухнул над головой бывалого медвежатника. Пуля вырвала на плече овчинный клок.

— Сдурели, что ли? — заорал он, останавливая лошадь. — Игрушку нашли? Идите в кошеву, идите. Отвезу к приставу.

— Да у твоего пристава полные штаны страху, — выговаривал запыхавшийся мужик, падая в кошеву. — Вздумал форс держать! — Мужик говорил сердито.

— Ты, однако, проводник? Это тебя ждут? — спросил второй, цепляясь за резную спинку кошевы.

— Поджаров я, медвежатник. Медведев в берлогах находить и будить умею, вот и все.

— Ну, значит, ты. Тебя и ждут, а мог пулю схлопотать. Ладно, лошадь добрая. Богу молись!

Лука Саввич поежился от таких дерзких слов, прикрыл рукавицей дыру на полушубке.

— Двигайся! Чего расселся? — буркнул второй, помоложе, укрывая ноги медвежьим покрывалом. Лука Саввич, отодвигая ногу, нечаянно ткнул пимом в спину мужика и увидел под распахнутой полой шубы солдатскую шинель. Через узкую щелку отяжелевших век он рассматривал незнакомых мужиков, пытаясь понять, кто они, откуда.

«Буду я вашим проводником, дождетесь! Токо зайду в лес — и видели меня!» — с негодованием думал Лука Саввич. Прожив всю жизнь в лесной деревушке, занимаясь промыслом, он по натуре был тих, как речка Ляплинка. Если когда и проявлял характер, так по делу. С жизненной дороги Лука Саввич не сворачивал, шел напрямик, чужое добро к его рукам не липло. Сейчас он искал причину своего наказания, пытался понять, почему именно на него пал выбор. Он еще ничего не мог взять в толк, но невзначай оброненные слова мужиков поселили в нем тревогу.

— Меня, что ли, ждали? — собравшись с духом, спросил он парня, примостившегося рядом.

— Да нет, — пробурчал тот.

Лука Саввич с досадой сплюнул через плечо, хотел кашлянуть, но поперхнулся.

— Не куришь? — спросил один из мужиков, переваливаясь на дне кошевы.

В ответ Лука Саввич чихнул.

— Кержак, что ли?

Медвежатник не ответил. Зыркнув, заметил помороженную щеку мужика.

— Окоростишься, — Лука Саввич подал ему меховую варежку, заставляя его растирать щеку. Тот кривил лицо, скалил рот с мелкими белыми зубами.

— Терпи, терпи, — говорил медвежатник. — Пущай кровь прихлынет.

Спиридон Бурмантов лежал на печи. Заслышав в сенях шорох, поднялся и, узнав Поджарова, простонал:

— Слава Богу! — Уперся о край печи, хотел спрыгнуть, но, посмотрев на пол, медленно сполз. — Проклятущая зима! И длинна же, — причитал он, помогая Луке Саввичу стаскивать промерзший на морозе тулуп. — Реки, поди, вымозило. Вот крутит. Откуда только силу берет?

Несвойственная Спиридону суетливость, вздохи и причитания настораживали Луку Саввича.

— Коня-то к месту поставьте! Кошеву под сарай спрячьте! — крикнул пристав, повернув через плечо голову. Скрипнула дверь, кто-то побежал. По легкости и проворству Лука Саввич узнал сына урядника — шустрого подростка Гришку. На кухне было темно, и только ровным кружком вздрагивали огоньки в поддувале стоящего на полу самовара. Струи холодного воздуха поползли по полу, ровные кружки на полу вспыхнули ярче, послышался треск раскалившейся железной трубы, шипение и бурлящие всплески. Пар выпрыгивал на медную крышку, каплями катился по пузатым бокам самовара.

— Уснули там? — пристав сам подбежал к самовару, прихватил его, но, по-видимому, обжег пальцы, потому что труба тут же покатилась по полу, а он заматерился.

Дверь избы распахнулась неожиданно. На пороге показалось двое солдат с винтовками. Отпыхиваясь от морозного воздуха, выговорили:

— Половики собираем! Половики надо!

— Какие половики? Я пристав! — закричал Спиридон, оказавшись впереди могучей фигуры Луки Саввича.

— Какое нам дело, кто ты? Половики надо. И чтоб без разговоров!

— Помилуйте, зачем вам, идущим на Север, половики? Гораздо лучше полушубки!

— Половики будут вместо седел. Разве найдется в селе столько седел для каждой лошади? Нужны половики, а в крестьянских избах их нет.

— Так и лошадей на всех не хватит.

— Хватит! — солдат шагнул к кровати, отмахнул в сторону одеяло с периной. Новые, ни разу не постланные на пол дорожки лежали на досках, пестря разноцветными полосками. — Добрые половички! — сказал солдат.

На кухне послышался всхлип. Лука Саввич без разговора подошел к одному из солдат, схватил за шиворот и с силой вытолкнул за дверь. Это случилось так неожиданно, что пристав не успел моргнуть глазом.

— И ты брысь отсюдова! Че шары-то пялишь? Дам в зубы! Ежли пока в ряд торчат, кучкой станут. Разбойники! Меня на дороге чуть пулей не окрестили, тута озоруют! — говорил он, выгоняя их из избы. Он еще не успел успокоиться, а в дверь уже влетело несколько мужиков.

— Этот! — кричал низенький, ткнув пальцем в сторону Луки Саввича.

— Остановитесь вы! — закричал пристав. — Он и без вас в управу собрался. Проводник это ваш! Чего руки-то распустили? Без него в снегах Богу душу отдадите.

— Ретив больно! — ответил приставу подпоручик Киргизов, появившийся на пороге. — Пошел в управу!

Луку Саввича, подталкивая прикладами, повели по пустынной улице.

Никогда в жизни с ним никто так не обращался. Ноги подрагивали в коленях. Однажды он это уже испытал, когда пришлось брести через бурелом от подраненной медведицы. Сердце Луки Саввича так сильно стучало, что, казалось, все слышат его биение.

— Потише вы! Это проводник Поджаров! Чего пристали? — послышался сзади голос пристава. — Всех под одну гребенку чешете, а не думаете, что обозлите человека, и службы вам никакой не будет.

Туров расхаживал по управе взад-вперед в ожидании проводника, о котором доложили вернувшиеся с дозора солдаты. По его представлению, человек, которого три дня нахваливал пристав Бурмантов, должен быть ловким, вертким, пронырливым, как охотничья собака. Подойдя к окну, он прислонился лбом к прохладному стеклу. Клубясь снежной пылью, разбрасывая охапки снега, мела поземка. Слышалось тихое подвывание ветра в трубе и дребезжание стекол

в раме. Мысли о тепле, о домашнем уюте навевал ему просторный мялищевский дом. «Остаться бы тут. Прожить до весны, а потом махнуть на Север и через море-океан — в Европу». Поручик передернул плечами, вспомнив о смерти волостного старшины, который скончался на месте, стоило солдатам взломать двери сарая, где хранились меховые полушубки. Подошел, говорят, он к окну, облокотился о подоконник и вдруг пополз вниз. Так, у окна на коленях и отдал Богу душу волостной старшина. «Вот ведь как жалко со своим расставаться», — подумал Туров.

Лука Саввич перешагнул через порог. Перекинув сначала одну ногу, постоял в раздумье, но неожиданный толчок прикладом в плечо втолкнул его в комнату. Медвежатник споткнулся, но не упал, поймал на лету шапку. Густые огненно-рыжие волосы Луки Саввича, несколько дней нечесанные, нависли над лохматыми бровями.

— За что всю дорогу туром да туром, будто я углан какой? — крикнул он в лицо Турову, облизнув ярко-красные губы с белыми ободками по краям.

«Истинный медвежатник», — мелькнула у Турова мысль, стоило ему взглянуть на него.

— Здравствуй, Лука Саввич! — как можно спокойнее сказал Туров, протягивая руку. Она показалась ему холодной и цепкой. Прошу прощения за грубое обращение. Что поделаешь? Ребята молодые, горячие. Лоб расшибить готовы.

— Или на молокососа похож? — хмыкнул Поджаров, ощупывая бороду.

Недовольство Луки Саввича не проходило, Туров чувствовал это по нервному, неспокойному его взгляду. Не было времени считаться с чьими-то желаниями и настроениями, но это был не просто мужик с Черноярки, а проводник, от которого сейчас зависело дальнейшее продвижение отряда. Если не будет с ними такого человека, то неизвестно, как пойдут их дела. Правда, на Севере была договоренность с местными жителями — остяками и вогулами, вспомнился Семен Шитоев, но все это были пока одни обещания.

Пристав присел на лавку возле порога, и Поджаров заметил, как тот робко посматривает в сторону Турова.

— Будешь у нас проводником, — решительно сказал поручик. — Это значит, нашему отряду покажешь дорогу — не проторенную, не тракт, по которому почтовые лошади носятся, а охотничью, которая, как говорят, леса режет, реки минует.

Лука Саввич не понял, к кому обратился поручик.

— Поче меня звал? — спросил пристава.

— Не я звал, а вот этот господин, — шепотом проговорил пристав, кивнув в сторону Турова.

— Как не ты? Это кто писал?

— Это мы просили Спиридона Клавдиевича указать нам надежного человека. Он рекомендовал вас, тебя, — поправился Туров, не скрывая раздражения: медвежатник, казалось, ничего не понял из разговора.

— Тебя просят быть проводником. Слушай! — ткнул пальцем в сторону поручика пристав. — Не дуром ведь. Заплотят.

— Какой разговор! — протянул Туров. — Договоримся на берегу, это само собой.

— Это ты мне говоришь? — вспыхнул медвежатник. — Это какие дороги: конные или пешие? Ежели конные, так их выглядеть каждый может, ежели пешие — то я плохой проводник. Ноги у меня слабые. Пухнут в коленках, боле пяти верст в день не пройду. Пешим путем, разумею, вам Березовский острог миновать надо, и прямиком к зырянам, к Уралу выйти — боле некуда.

Туров смотрел на Луку Саввича прищурившись: таежный мужик будто читал карту, по которой должен был двигаться отряд. Всего несколько слов — и Поджаров без всяких карт проложил прямой, кратчайший маршрут к Уралу.

— Эти версты длинны. До весны не добраться.

Но Туров не слушал Поджарова: он был похож на гончую, которая напала на след. Он больше не разговаривал с Лукой Саввичем, считая дело решенным. Главное, был человек, который без подсказки знает, куда идти. Дружески хлопнув Поджарова по плечу, он дал понять, что разговор окончен.

Лука Саввич вышел из управы, потоптался на пороге. В сумерках не мог понять, в какой стороне стоит дом пристава. Идти туда у Поджарова не было охоты, но во дворе стоял Красавчик. «Запрягу лошадь и в Черноярку! К чертям собачьим!» — решив так, он стремительно сошел с крыльца, но услышал окрик. Бежал пристав. Лука Саввич, не скрывая обиды, еще издали крикнул:

— Никого другого не нашел? Или я тебе на хвост соли сыпал?

— Да пойми ты, таежный человек, — хватая Поджарова за руку, говорил пристав. — У них разговор короткий, чуть что — пулю в лоб. Всадят и не скажут, за что.

— Че спрашивать, ежли всадят?

— Да не то! Не то! — задыхался Спиридон Клавдиевич, не зная, как объяснить Луке Саввичу, что происходит вокруг, кто с кем дерется и почему. Он только просил Луку Саввича не гневать этого человека.

— Че он мне? Я вольный человек, в долгу у него не бывал.

— Не те времена, родной. Не те времена. На него нет управы.

Лука Саввич услышал, как по дороге бежит лошадь и вроде угадывал поступь Красавчика. Вначале не поверил, но по осанке, по торчащим над гривой ушам узнал свою лошадь. Перехватило дыхание, обдало жаром.

— Красавчик! — позвал Лука Саввич. Конь заржал.

— Пошел отсюда! — толкнул в грудь Поджарова высокий солдат.

— Красавчик! — барахтаясь в снегу, опять крикнул Лука Саввич. И увесистой оплеухой огрел подбежавшего к нему солдата, отшвырнул в сторону второго и, выхватив узду, побежал вдоль улицы. Красавчик, узнав хозяина, зашагал быстрее. Горячее дыхание долетело до затылка и будто сливалось воедино со вздохами Луки Саввича. «Токо в ограду! Токо запрягу тебя в кошеву, и видели они нас!» — шептал он, сворачивая в переулок, лишь бы скрыться с глаз обозленных мужиков. Он задыхался, правая нога плохо ему подчинялась.

Раскатистый выстрел догнал Красавчика возле самых ворот. Конь подпрыгнул, сделал несколько широких шагов, натягивая узду в руках Луки Саввича, встал на колени. Мгновение стоял, словно в оцепенении, и рухнул мордой в глубокий снег.

— Красавчик! Красавчик! — упав на широкую шею коня, шептал Лука Саввич. В ответ послышался храп, потом Красавчик весь содрогнулся и в последний раз попытался встать на ноги.

Глава двадцать четвертая

Перед уходом из Сатарова Туров серьезно задумался и с горечью и досадой отметил, что все предпринимаемые отрядом меры и действия можно квалифицировать одним словом: разбой. Но затем рассудил, что иначе и быть не могло, сделать-то ничего существенного по ликвидации комитетов не удалось. Он хорошо понимал, что на следующий день после ухода отряда в село явятся комитетчики, а отряд, чего доброго, окажется навсегда окольцованным снеговой пустыней. Пессимизм Турова был не случаен. Из получаемых купцом Мялищевым последних номеров «Тобольских ведомостей» он знал, что дела на фронте плохи, что армия Колчака терпит поражение за поражением. Верить этому не хотелось, но факты были правдоподобны. Его даже посетила мысль: не повернуть ли с отрядом обратно, но он обозлился на самого себя. Решил поспешить с уходом из Сатарова. Хотя наступившие лютые холода можно было бы переждать в теплых избах.

Пока продвижение Колчака было победоносным, иностранные державы, главным образом Англия при содействии Франции и Америки, оказывали ему большую поддержку. Их помощь была обусловлена прочностью власти «верховного правителя» и успехами на фронте. Когда же началось решительное наступление Красной Армии и колчаковские войска стали терпеть поражение за поражением, отношение союзников стало меняться.

Наступление Красной Армии вносило разложение в колчаковские войска. Из тех же «Тобольских ведомостей» Туров узнал, что участились случаи ухода солдат в тайгу, к партизанам. «Только этого не хватало! — с раздражением подумал поручик. — И мои струсят».

Туров как бы со стороны увидел себя и понял, как он здесь опустился: огрубел, речь стала кабацкой, повадки, жесты... Поручик машинально бросил взгляд на руки, обветренные, с давно не чищенными ногтями... У него болела голова, даже пройдясь по морозному воздуху, он не почувствовал облегчения и теперь, закрыв глаза, ощутил головокружение.

«Торопиться надо, торопиться, — подбадривал он себя, — и осуществить задуманное, пока не поздно. На полпути к

Березову обязательно возьму с собой небольшую часть отряда и схожу к предгорьям Урала. Сам погляжу на ничейный край».

Не напрасно же они с Шитоевым мечтали стать хозяевами в этих краях и даже посвятить жизнь этой отдаленной провинции. Говорили вроде шутя, но, может, именно сейчас, в это смутное время и пробил их час: пан или пропал! Прибрать к рукам эти пустынные земли. В самом деле пустынные. Одинокие чумы не в счет. «Сама история дает нам шанс, а мы не можем им воспользоваться, — подбадривал себя поручик. — Заводчики Демидовы пришли в пустошь, а каким край сделали?! Мир удивили. А какую пользу отечеству принесли?! Не хватает у нас сметливости. Топчем то, что под ногами лежит... А с Шитоевым надо непременно встретиться: эта бестия всегда был себе на уме».

Туров увидел в окно Никиту, который, отряхнув с валенок снег, юркнул в дверь к кухарке. Туров усмехнулся: «Молодой. В голове еще дым коромыслом. Кухарка ему нравится, и стоит на своем. Никого не стесняется: ни отца, ни матери, ни посторонних людей. Мало ли на его веку будет еще девчат, образованных барышень? Да при таких купеческих капиталах можно отличную партию себе составить». Тут поручик вздохнул, плотнее прижался к спинке стула, закрыл глаза, пытаясь вспомнить что-либо приятное, но не смог и ужаснулся этому: за последнее время у него не было ничего доброго, хорошего, чему бы порадовалась душа или чем-то обогрелась. И вдруг ему стало завидно, что этот купеческий сынок по своей молодецкой безрассудности летает над всем этим миром счастливым и влюбленным. «Заложником я тебя беру с собой, заложником, — обозлившись, процедил он и сильно заволновался. — Ты мне нужен на случай обратного возвращения! — цинично проговорил Туров. — Тогда можно будет ополовинить богатство твоего батюшки!» И тут поручик разразился смехом: не смог сдержать нервной дрожи в себе.

Утром, проснувшись, Лука Саввич с трудом открыл глаза: в висках громко стучала кровь. Он переживал вчерашние события и казнил себя за оплошность, хотя и понимал, что все равно бы приехал, все равно бы не мог отказать в просьбе приставу. Пытался припомнить, дал ли обещание поручику. Нет. Он не мог согласиться идти сотни километров по бездорожью. «Нет, нет, не давал и не дам. Охальни-

ки, душегубы, безбожники», — вертелось в голове. Губы задрожали мелкой дрожью.

— Лука Саввич, они тебя ждут. Уж два раза приходили, — похрустывая пальцами, говорил Спиридон Клавдиевич. Лука Саввич прикрыл глаза: фигура пристава расплывалась перед глазами в круглое пятно.

— Никуда не пойду. Голова сильно болит, шум стоит, а в глазах песок. Вот и тебя не вижу.

— Паршивые времена пошли. Ох, паршивые! Кто кого губит — понять ума нет, — отозвался пристав.

— А меня за какие грехи погубить решил?

— Чего ты, Лука Саввич! Да я думал как лучше, как попутнему, по-хорошему. Всем в душу не влезешь. Христом Богом прошу: прости. Без злого умысла на тебя указал, потому как верил, что делу надо служить верой и правдой. Или ты меня не знаешь? Или я зла тебе хочу? Нет, Лука Саввич, как перед Богом каюсь, пожалел, что позвал, а теперь попятной нет. Все выстроились. В поход собрались, для тебя, сказывают, отдельную подводу запрягли. — Пристав встал перед Лукой Саввичем на колени: — В лесах-то наши мужики спрятались, ежли их следы заметишь — промолчи. Пущай эти идут своей дорогой, куда им надо, а к нашим мужикам не веди, иначе кровь прольется.

— Вижу, — ответил Лука Саввич, приподнимаясь на локти, выглянул в окно.

— С Богом. Пусть Господь приведет встретиться нам еще, и зла на меня не держи. Жисть такая пошла.

— Время все на место поставит.

— Скоро там? — кричали с улицы.

Лука Саввич простился с приставом холодно, а за воротами взглядом отыскал истоптанный снег, где упал Красавчик. Увидел припорошенные круги крови, отвернулся.

Утро было холодным и пасмурным. Ветер с реки проносился со свистом мимо изб, ворот, калиток. Казалось, что, раскидав весь снег по сторонам, он несся за кем-то вдогонку, на взгорье ударялся о хвойный сосняк, раскачивал ветки, гнул к земле мелкий подлесок, свистел разноголосо в голых кустарниках. На лошадях с привязанными на спинах разноцветными половиками вместо седел восседали солдаты. В овчинные воротники они прятали лица, длинными полами собранных по деревням тулупов закрывали колени. Туров на рысаке, выведенном с задних ворот двора волостного старшины, в красивом расшитом седле проехал вдоль

выстроенного отряда. Разноцветное тряпье половиков рябило в глазах, поручику показалось, что он проезжает не мимо строя солдат, а мимо ярмарочных балаганов. Яро настегивая рысака, он подъехал к саням и подводам, груженным фуражом и съестными припасами. На одной из повозок увидел Луку Саввича. Тот полулежал на санях-розвальнях. Лицо медвежатника показалось поручику матово-бледным, и он не решился его тревожить.

Из избных окон смотрели любопытные глаза, провожающие вооруженных солдат. Люди молились, зажигали свечи. Отвязанные собаки, поджав хвосты, пробегали по улице и, юркнув в подворотню, скалили зубы, прятались в конурах или под крыльцо, находя оторванные доски. На улице — ни одного человека, ни одной живой души, будто все село вымерло.

«Ни пристава, ни волостного старшины, нет даже священника, который отслужил бы в церквушке молебен, пожелал бы отряду счастливой дороги», — зло подумал поручик, ударяя плеткой рысака по крупу.

Отъехав вперед, махнул рукой. Отряд двинулся. Заскрипели полозья, перемерзшие веревки, послышались голоса, понукающие лошадей.

Сутулясь, накинув на плечи полушубок, в распахнутых настежь воротах показался Василий Афанасьевич. Он стоял на ногах неловко, будто колени вот-вот перегнутся и он рухнет в снег, всматривался в ряды, пытаясь увидеть Никиту.

Дул ветер, перед глазами мелькали спины людей, лошадей. Машинально, не думая, купец считал выведенных из его конюшен лошадей: Лысанко, Рябой, Ветерок, Махониха, Снега, Ласточка, Свистун... Он сам удивился, что знал поименно каждую лошадь.

Глава двадцать пятая

На Шараповском зимовье избушка крохотная: всем вместе только на одной ноге стоять, а тут еще Ефросинья Алексеевна ребятишек в коробе привезла. Но нашлась ржавая пила, с десяток топоров в санях. Со всех сторон к избушке

пристройки стали лепить. От мороза оборону нашли. Все мужики не раз в лесах ночевали, кто в извозах бывал, кто лесовал, кто по трактам в ямщине служил.

Савелий Тиунов два дня был в дозоре: оглядывал дорогу. А та вроде как вымерла. К полудню вдруг увидел на трактовой дороге две легкие упряжки. Савелий сразу смекнул: кто-то чужой. Свой мужик не погонит подводу порожней, разве только за повитухой, так теперь в селе своих развелось. Ну а так только в масленицу гоняют порожние сани от села до села. Но это дело другое: каждый хозяин в струнку вытягивается, недели две отборным овсом лошадь кормит: она станет его фамилию защищать. Кому же не любо, если на селе скажут: мол, у Савелки-то Тиунова лошадь хоть куда! А в Сатарове лучшие лошади у купца Мялищева. Это каждый знает, тут и спору нет. А среди мужиков — у Ваньши Мошкина. «Видать, бурлит в жилах черкесская кровь, вот он и наезживает, наезживает своих трех лошаденок. Терпение какое имеет, — подумал Савелий, прикладывая ладонь к холодному уху. — Колокольца звенят на дугах вразнобой. Лошадь в чужих руках. Ежли бы кто эстафету гнал — для этого кибитки есть, а не сани». — Обдумывал так Савелий и знак дальше подал. Трое подползли к снеговым сугробам, присмотрелись.

— Лошади-то вроде земцовские, — прищурился Панкратий Лобов. — Грудь-то у переднего жеребца, как белая заплата, глядите. И вторая подвода его.

Одно было ясно — ехал не лодочник Земцов, не его работники. Лошадей лихо настегивали какие-то говорливые мужики.

— Винтовки-то не спрятаны, глядите, у всех дулами в небо целятся. — Савелий придвинул ружье, взвел курок и вроде устыдился своего намерения взять на мушку одного из мужиков, подумав, что это вовсе некудышное дело — подкарауливать друг друга да еще стрелять в спины. «Жизнь твоя, мужик, на моей ружейной прорези. Шевельну пальцем — повалишься ничком в сани, только и поминай, как звали», — вздохнул, сгребая сосульки с усов.

— Это оне передовые упряжки гонят, разведывают. Видишь, как по сторонам шарят, — подползая к Савелию, шептал Панкрат. — Разведка это. Вперед отряда отправлена.

— Пущай, — буркнул Савелий. — Че оне увидят, окромя заячьих следов да куропачьих ночлежек?

— Пущай-то пущай, да не совсем пущай. Оставлять придется Шараповскую избушку да за ними по пятам.

Савелий приуныл. Он бы с радостью вернулся домой, попарился бы в бане, попил бы парного молока или топленого из русской печи, с золотистым отливом, маслянистой пенкой. Савелий проглотил слюну.

— Дуй в избушку. Обсказывай все в точности Антону Шмигельскому и Степану Голощапову.

— «Если таким маршем пройдет отряд, нам и домой можно, — думал Савелий, пряча руки в широкие рукава тулупа. — Че это Панкратий рассуждает: мол, за ними идти, да по их пятам. На что они сдались? Пущай хвосты морозят. Морозы сейчас во всю силу жать станут. Самая их вершина. Даже куропаток на кормежку не выпустят».

Липатия он увидел издали, но не признал, хотя шел он по объезжей дороге — значит свой, даже клестом отозвался возле своротки. Мужик еле-еле переставлял ноги, будто к лыжам его были привязаны пудовые гири. И руки, и все тело раскачивалось у мужика в тягучей зыби взад-вперед, будто он качался на одном месте. «Липатий вроде?» — опять подумал Савелий и бойко засвистел клестом, как юркая птичка в солнечный ясный день.

Вести, которые принес из села Липатий Пономарев, насторожили мужиков. Воцарилась тягостная, давящая тишина, и только маленькая Маняша, которой все на свете казалось светлым и ясным, весело смеялась над беленьким зайцем, которого вечером снял с петли Антон Шмигельский. Зайчишка бил лапками в берестяной коробок. Ефросинья Алексеевна погрозила Маняше пальцем.

И никто из мужиков не предполагал до этого дня, что придется им теперь не по своей воле и хотению, а по долгу перед сельчанами жить долгие месяцы необычной жизнью, к которой привыкнуть нельзя: с ней надо только мириться, сживаться и успокаивать себя тем, что всему этому когда-то придет конец.

Ефим Дорошин, упершись локтем в сенную подушку, приподнялся и каким-то резким, чужим голосом произнес:

— Усилить караул!

У Ефросиньи Алексеевны похолодело между лопатками. Она заметила, как сын пятерней сгреб со лба волосы, потом ощупал все пуговицы на рубахе и долго застегивал верхнюю непослушными пальцами, достал из-под подушки наган, положил его на край стола, сколоченного из рубленых плах.

Ефросинья Алексеевна в молчании мусолила узел платка под подбородком, часто моргала припухшими веками,

будто ее глаза боялись смотреть на незнакомый предмет, черный кружок которого, как зловещее око, целился в спину Даши.

— Убери его, Ефим, от греха, — Ефросинья Алексеевна, еле пошевелив сухими, сморщенными губами, подняла с пола Маняшу, прижала обеими руками к плоской, высохшей груди.

— Быстро впрягайте лошадей, — говорил Ефим собравшимся мужикам. — Ты, Степан Петрович, с ними, — кивнул он в сторону Ефросиньи Алексеевны и ребятишек, — да с хворым Бронькой сразу в село. Только осторожно. А мы — за ними.

Ефросинья Алексеевна, придерживаясь за край стола, медленно присела на сосновый чурбан. Она хотела сказать, что в село надо ехать Ефиму самому, что теперь одному Богу известно, как станет заживать его рана, и что ему, а не кому другому надо быть в тепле, под присмотром сельского фельдшера.

— Идут, — распахнув дверь избушки, крикнул Савелий Тиунов, сдергивая с головы шапку. Он дышал часто, торопливо разматывая на шее шерстяной шарф, который мешал ему и, казалось, передавливал горло. — Черно на дороге. Целый обоз. И верховые, и санные.

— К Субботинской избушке уехали? — не разделяя волнения Савелия, спросил Ефим.

— Сразу же, — ответил ему Антон Шмигельский. Широкий ремень поверх полушубка подчеркивал его высокий рост, и Ефросинья Алексеевна ужаснулась, заметив, что он коснулся макушкой потолочной балки избушки.

— Идут! — еще за дверью крикнул Панкрат. — Лошади-то все нашенские. Поповский жеребец, мошинский, шараповский Гнедок, мялищевские, земцовские. Самый первый идет на выездном, помните, с яблоками-то на боках, Нестора Прохоровича.

— Пусть идут, — ответил Ефим, смежив глаза, видать от боли в плече. — Поглядим, как повернут обратно.

Не будь тут женщин, Ефим попросил бы кого из мужиков приподнять его на лежанке, а, быть может, дал бы команду отвести его к местам караула, чтобы своими глазами увидеть карательный отряд поручика Турова. Вместо этого пришлось сказать:

— Давайте-ка, бабоньки мои, домой собирайтесь. Дел у вас возле печки хватит. Да и корова, поди, не все молоко Майтихе спускает, испортится.

— Не поеду! У меня с этими гадами свои счеты. За Сергушку мстить стану, пока жива, — сказала Даша. — А вот тебе бы домой...

— Мое дело солдатское, — построжав, ответил ей Ефим. По его тону поняла Ефросинья Алексеевна: говорить с ним о доме — только зря сердце рвать. Ефим прислушивался к голосам за дверью, а худые узловатые пальцы мяли края лоскутного одеяла. Ефросинья Алексеевна смотрела на них, и не слезы, а давящий грудь вздох предательски вырвался наружу.

— Ефимушко, — виновато-робким шепотом проговорила она, — а, Ефимушко, и я бы осталась. Я ведь привычна. С отцом-то твоим до самоедской стороны ездила.

Мысли Ефима были так далеко, что в эту минуту он мог не расслышать и ружейного выстрела.

Снежная мгла зарывала дали одним цветом, обволокла небо и землю, и черные точки подвод и коней казались в этой белизне совсем лишними. Ветер вздымал снежинки, вихри ворошили лошадиные гривы, распахивали полы полушубков, слепили глаза, засыпали и без того еле приметную дорогу. Перезвон надужных колоколец сливался с монотонным скрипом саней и мерзлой упряжи, и эти звуки то навевали, то отпугивали терзающий душу страх.

Туров кутался в теплое медвежье покрывало, твердя про себя: «Проклятущий край. Проклятущий край!» — и, чуть отогревшись, успокаивался под баюкающую зыбь саней.

Эхом грохнул выстрел и тут же смолк, проглоченный мглой.

— Кто? Кто стрелял? — выскочил из саней Туров.

— Кто-то со стороны леса, — ответил Киргизов испуганным голосом.

Это Савелий случайно нажал курок.

— В ружье! В ружье все! А то перехлопают! В ружье! — кричал поручик. Выхватив револьвер, он выпалил всю обойму в сторону леса.

Савелий Тиунов, не долго думая, бухнул в ответ из охотничьего ружья.

— Накося, выкуси! Думаешь, мы стрелять не умеем? Да еще почище вашего! — и раскатистый выстрел опять эхом просвистел вдоль обоза.

— Вперед! Вперед! — враз скомандовали Туров и Киргизов.

Кому-то из них вроде увиделись вооруженные мужики, а, быть может, они приняли за мужиков чернеющие в снежной мгле темные стволы сосен. Свисты и окрики кружили в воздухе, пугая прятающихся в снегу куропаток. Птицы выпархивали из снега, и, набрав в крыльях силы, летели бочком в сторону леса.

— Че? Струхнули? — лежа на животе возле соснового ствола, говорил Савелий. — Мы тут дома, а вас заставим снег лизать. Погодите немного!

Глава двадцать шестая

Старая юрта стоял на берегу речки Тамьи, в дальней стороне от вогульской дороги. В ней жил Аням по прозвищу Косачиный Глаз. Жил тут с самого рождения. И даже его старый отец Салыг-ойка, который не помнит, сколько на земле прожил зим и лет, не мог сказать, кто первым облюбовал это тихое место.

Скорее всего, это произошло тогда, когда по тундре и тайге разъезжали миссионеры, проповедники из Тобольской епархии, обращая язычников в христианскую веру, наверное, именно в те времена род Салыгов откочевал в тихой речке пережить тягостные дни. Не позарились они на куски красной материи, на медные котелки, на топоры и серебряные колокольчики, которые раздавали каждому, кто ставил на бумаге свою подпись, рисуя то заячьи лапы, то след куропатки, то оленьи рога, и клялися пришлым людям ездить в русские села, ходить в церкови и класть там поклоны.

Род Салыгов остался некрещеным. Остался со своей языческой верой. Молился солнцу, рекам, озерам, лесам да своим деревянным идолам.

Ушли годы. Те, кто обещали молиться в церкви, все позабыли, все перепутали. Даже шаманы завидовали Салыгам, что никто из них не покривил душой, не изменил своим деревянным идолам. Им же, крещеным, надо было искать укромные места или ехать в далекие села, вставать на колени перед образами и нюхать чадный дым кадил, слушать непонятное пение длиннобородого батюшки.

Весной с крутоярого берега полощут в реке гибкие вершины буйные тальники, смотрятся как в зеркало с берега высокие сосны, в густых зарослях осоки гнездятся утки. Обо всем этом думал Митрич, когда услышал отрывистый собачий лай. Недаром говорят: собака понапрасну не лает. Еще версты три, а она уже встревожила хозяина, подала знак.

Когда упряжки круто свернули в узкий просвет между толстыми стволами сосен, и нарты, переваливаясь с боку на бок, заскрипели, собачий лай уже звоном зазвенел в ушах.

— Поднимай ноги на нарту! — закричал Митрич. Нарты скрипели, расшатывали ивовую вязь передних креплений, олени жались боком друг к другу, ударялись рогами и на снежный простор реки выбежали, высоко запрокинув на спины гордые головы.

— Ы! Ы! Ы! — кричал на громкоголосых собак Аням Косачиный Глаз, козырьком приставив ко лбу темную ладонь с узловатыми пальцами. Он стоял на одном месте, ничем не выказывая своей радости приезжим людям. Стоял возле двери кособокой избушки с коричневой гнилью по углам, расставив в стороны короткие ноги в белых унтах до самого паха, расшитых разноцветными полосками.

Митричу было неловко, потому что даже на его веселое приветствие: «Паче рума!» Аням не отозвался, а только как глухонемой выдавливал из себя: ы-ы-ы, отгоняя собак, которые и без того успокоившись, разлеглись на снегу темными пятнами, и только редкие похлопывания кудрявых хвостов показывали остатки собачьей прыти.

— Аням! Ты оглох? Мох в твои уши натолкали? — по-вогульски спросил Митрич, и вогул подался вперед, в изумлении вскинув руки, будто кто-то сзади толкнул его в спину.

— Я не узнал тебя, Митрич, — Аням уже протягивал темную ладнь. — Я подумал, купец, а у меня совсем нет пушнины. Белка, соболь далеко ушли. К Уралу ушли.

Нынешним летом был неурожай на кедровую шишку, и белки, почуяв голодную зиму, откочевали к уральским кедрачам, а за ними пошел и соболь. Но главная причина Анямовой заботы была в том, что на днях он встретился с охотником Потепкой, который рассказал ему, что с Васькой-шаманом ездит по чумам какой-то злой русский, говорить по-вогульски не умеет, а все кричит, собак пинает и велит Василию Николаевичу говорить: всех русских мужиков ружьями стрелять надо, всех до одного. Аням так ничего и не

понял: почему надо стрелять в русских мужиков, с которыми они всю жизнь прожили в дружбе.

Из юрты по одному выскочили ребятишки, встали возле отца — смотрели на приезжих людей. Угадав своим ребячьим чутьем, что это добрые люди, побежали к берегу реки, обгоняя один другого и мелькая обшарпанными подолами меховых малиц. Их тонкий смех походил на писк попавших в сети синиц, глох и терялся тут же на берегу.

— Иди, иди, Митрич, — распахнув обвитую куржаком дверь, приглашал Аням гостей в юрту. В низенькой юрте с маленьким оконцем со вставленным в него куском льда было совсем темно. Терпкий, спертый воздух перехватил дыхание фельдшера. Павел закашлялся.

— Ступай, ступай на улицу, потом опять приходи. К ночи привыкнешь, спать будешь, — добродушно сказал Аням. — Всегда так. Всегда так. Ступай, ступай — опять приходи.

Когда Павел вышел из юрты, Аням заговорил торопливо, часто облизывая толстые, обветренные губы. В тайге и тундре, мол, все перепуталось, стало ездить много людей. Кто-то узнал следы нарт купца Рогалева, и вели они в болотную сторону, где не стоят чумы охотников. Зачем туда поехал купец? У Куземки в чуме тоже были мужики — оставили ему много муки, и он боится, что ее могут съесть мыши, а люди подумают, что это сделал он. Старая Прасковья — жена Васьки-шамана — не перестает пить «огненную воду», загнала восемь упряжек, ищет Ваську-шамана. Она узнала, что в тундре появилась Софья с сыном, и говорит всем, что Софья дружит с шайтанами и что ее не возьмет никакая пуля из ружья, не заморозит никакой мороз.

Митрич слушал рассказ Аняма и удивлялся, как скоро расходились по тысячекилометровым заснеженным равнинам вести.

— Раньше было тихо, тихо в тайге. Совсем тихо, — вздыхал Аням, ставя на стол деревянного божка. — Зачем Рогалев в болотную сторону поехал? Зачем Софья обратно вернулась? Софья совсем молодая была, как весенний березовый лист. Теперь старая стала — Гришка большой. Зачем Прасковья оленей мучит? — задавал вопросы Аням, по-видимому, надеясь услышать от Митрича ответы. Но тот молчал.

— Ты, Митрич, много, шибко много знаешь. Че молчишь? Говорю тебе: все перепуталось. Чисто все перепуталось! В голове у меня ветер свищет.

Тихо и незаметно жена Аняма Тур-эква занесла мороженое мясо, в берестяном чумане поставила бруснику на низенький, вырезанный охотничьим ножом столик. Аням первым подсел к столу, сложив перед собой ноги, но, вспомнив про незнакомого парня, приоткрыл дверь, на русском языке позвал: — Иди, мясо есть будем.

Павел долго и старательно тер снегом руки, которые казались ему чужими, с глубокими трещинами, с въевшейся грязью.

— Ешь, ешь, — угощал его Аням, отрезал острым ножом тоненькую стружку мяса. — Ешь, ешь. Силы много будет.

В полутьме Аням не заметил, как брезгливо передернулись губы Павла, но фельдшер помнил наказ Митрича: быть в вогульской юрте предупредительным и молчаливым, стараться своим поведением не обижать хозяина. Зажмурившись, он положил в рот кусочек мяса и проглотил его быстрее, чем глотает еду голодная собака. Когда увидел на губах Аняма красные капельки оттаявшей с мяса крови, отвернулся.

У чувала, в темном углу, кто-то простонал. Павел присмотрелся и заметил, что под шкурой ворочается старик.

— Ешь, ешь, — махнул рукой Аням, заметив взгляд Павла. — Это старик. Хворает. Шибко хворает. Скоро, скоро умирать будет.

Павел хотел встать, подойти к нему, но его остановил хмурый взгляд Митрича.

— Старик шибко большой был, — вспоминая русские слова, с паузами говорил Аням Павлу. — Его все русский мужик знал. Все, все. Его Салыг Большой звали. — Аням даже попытался встать, поднял вверх руку, дотронулся до потолка, оставил на пальцах след сажи. — Шибко хворает. Еле-еле слышит. Совсем как старый собака стал.

Павел представил себе этого сильного человека, которого не зря звали Большим. Сколько им исхожено неведомых троп, поймано зверей? И вот — старость: на полу, возле темного чувала. Он тут же вспомнил свою деревню. Почему-то сразу на память пришел дедушка Гордей, которого тоже одолела старость. Но он все время спал на теплой печи, тетка Настя меняла ему подстилки, сушила их на улице, водила в баню. А все говорили: какая маята старику!

Тем временем шкура в углу опять пошевелилась, сползла и Павел увидел сухие грязные подошвы и длинные ногти на исковерканных ревматизмом пальцах. Старик силился

сесть, согнул ноги, и через проношенные штаны неопределенного цвета выставились опухшие колени. На костлявых ногах они казались вздутыми буграми. Приподняв вверх голову, он то и дело открывал беззубый рот, стараясь этими движениями помочь открыться воспаленным глазам.

Нестерпимо запахло прелью. Сидеть рядом было невыносимо, и даже Анян, привычный к зловонию, проговорил:

— Фу, какой плохой дух пошел! — сморщил нос, обтер руки о меховые кисы и первым вышел из юрты.

От свежего воздуха у Павла перехватило дух. Казалось, что он никогда еще не дышал таким чистым воздухом, наполненным запахами морозной хвои, снега. Он дышал, словно пил родниковую воду в летний зной.

Лениво, нехотя нарождался новый, короткий зимний день, отяжелевшее солнце карабкалось далеко за лесом, но снежинки будто караулили этот миг — засветились, заблестели, задрожали и заторопились вобрать в себя крохотную частицу великого светила, чтобы потом тусклыми отблесками в лунной ночи освещать леса. Клесты, гоношась в вершинах елей, трепали крепкими клювами перемерзшие шишки, засыпая снег вокруг легкими чешуйками. Они не замечали людей за своим обычным делом.

— К Уралу поеду, хоть и шибко далеко, — опять заговорил Анян, сокрушаясь, что нынче плохая охота в ближних урочищах.

— Купцов нет. Не ходи к Уралу, — будто между прочим сказал Митрич. — Меха менять некому.

Анян даже подпрыгнул, схватил Митрича за руку и пристально поглядел ему в глаза. Тут Павел понял, что не напрасно его прозвали Косачиный Глаз. Верхние веки Аняма были красными, как у борового петуха.

— Как не приедут купцы? Пошто не приедут? — требовал Анян от Митрича немедленного ответа, и было понятно, что он о чем-то слышал, верил и не верил слухам. В его голове никак не укладывалось, что скупщики мехов могут не явиться. Он не помнит таких лет, не помнит и Салыгойка. Никто не помнит.

— Не до торговли теперь купцам. Им бы живыми остаться.

Анян быстро заговорил на своем языке: просил Митрича рассказать ему правду о купцах, и почему они вдруг перестанут ездить по тундре, и как тогда жить ему, Аняму.

— Кто нынче убил медведя? — вдруг спросил Митрич. Ему неожиданно пришла в голову мысль, которая могла

круто и надежно повернуть все дело. Он сел на нарту, испытывая одновременно и радость, и страх, что это может оказаться напрасной надеждой, которой, быть может, никогда не суждено будет сбыться: — Где нынче будут справлять праздник медведя?

Митрич знал, что медвежий праздник — большое событие в жизни местных жителей. Медведь для них — зверь особенный, не похожий на других зверей. Он мудрый провидец, посланный Верхним богом охранять нерушимость клятвы и справедливость на земле, защитник и покровитель людей. Убийство медведя здесь — преступление, но, справляя ему праздник, люди как будто снимают с себя вину.

— Ропаска убил медведя, — ответил Аням. — Праздник справлять будем. Большой праздник. Слова большие говорить будем.

— Какие слова?

— Не знаю. Куземка говорил.

Мимо, швыркая простуженными носами, пробежали ребятишки. Самый меньший, черноволосый краснощекий крепыш плелся сзади, тащил клок облезлой шкуры, на которой катался с горы, а выбежавший из-под нарт косматый щенок, упираясь лапами в снег, тянул его, закусив острыми зубами.

— Старика посмотреть надо. Павел — фельдшер, лечить его будет, — сказал Митрич.

Аням промолчал, он оглядывал груженые нарты Митрича, словно только теперь увидел их, и снова в глазах его сверкнуло удивление.

— Старика посмотреть надо, — опять сказал Митрич.

— На что его смотреть? Не надо смотреть. Помирать будет. Пущай лежит. — Аням встал, бесцеремонно подошел к нарте Митрича, ощупал прикрытые кулями мешки с мукой.

Старый Салыг-ойка выполз к чувалу. Он высоко запрокинул голову, высохшая желтая кожа на лысине поблескивала в редких огненных бликах, бельма глаз казались снежными шариками на темном лице. Чутьем угадав рядом человека, он отодвинулся, но не убрал рук от огня. От выношенной, вытертой шкуры, на которой он сидел, шел прелый дух. По рубахе, сшитой большими стежками, ползали вши.

— Салыг-ойка помирать будет, — по-русски сказал старик. Смерть Салыга долго, долго ходит. — Тяжелая слеза упала на широкое крыло носа.

«На что его смотреть? — повторил вопрос Павел. — Об этом вообще не нужно с ними говорить. Не задают же вопрос медведю — как прозимовал он в своей берлоге? Не спрашивают волка — сколько их осталось в стае после лютой зимы? Не ведут счет птицам — сколько из них улетает осенью в теплые края? Кто будет спрашивать у кочующего вогула — как живешь ты, человек? Как растишь своих детей? Как и чему учишь их? Дети возьмут твою доброту, твою честность, совестливость. Они станут такими же охотниками, рыболовами, следопытами. Научатся читать вечную книгу природы. Будут, как ты, беречь оленьи стада, ягельные мхи, охотничьи урочища. Они повторят тебя, Салыг-ойка, тебя, Аням! Но разве это дело — остаток своих лет заживо тлеть на вонючих шкурах? Пройдет еще десятка два лет, и Аням займет место Салыг-ойки, а потом кто-то из его старших сыновей».

Павел был угнетен, с Митричем он не разговаривал и както ослаб духом, осознав, что его поездка сюда как фельдшера совсем ни к чему. Он просто бессилен что-либо сделать даже в одной ветхой юрте. В чумах чище. Там люди живут не круглый год, кочуют за стадами, переставляют жилища с места на место. А в юрте скапливается копоть и грязь со дня ее постройки.

— Если Салыг-ойка свою вшивую одежонку в огонь бросит, то голышом останется, — сказал Митрич, на что Павел ответил кивком. Он почему-то вдруг стал соглашаться с каждым словом Митрича, пытался сосчитать возившихся в углу бойких ребятишек, но сбивался со счета. То их было восемь, то вдруг семеро. Одинакового цвета и покроя их одежонка, сшитая мехом внутрь, почерневшая, залоснившаяся, мелькала в глазах, и только иногда удавалось заметить любопытный взгляд мальчонки, шептавшего что-то матери, которая сучила в пальцах тонкие нитки из жил оленьей голени.

Скоро в юрте стало совсем темно. Разгулявшаяся на закате метель жалобно и монотонно посвистывала над крышей, временами широкой ладонью прикрывала отверстие чувала — клубы дыма от этого поднимались к потолку и, медленно раскачиваясь, терялись в темных углах. Тур-эква начала громко чихать, уткнув лицо в широкий подол красного платья, расшитого замысловатыми узорами.

Спать легли возле порога, постелив на пол большие оленьи савики. От них пахло снегом, морозом, а в широкую щель притвора вползала свежесть холодного воздуха. Павел

не спал, он был в полудреме и слышал, как возле чувала стонал и ворочался старый Салыг-ойка. Потом его стал душить кашель: вначале редкий и громкий, а к утру глухой, похожий на стон.

— Ты чего всю ночь не спишь? — теплой ладонью коснувшись затылка Павла, спросил Митрич, и сам же ответил: — Пока ничего не изменить.

Митрич тоже спал плохо. Он думал о предстоящем празднике медведя, на который съедутся все охотники и оленеводы. «Вот там бы раздать муку и сахар, сказать им, кто думает о вогульском народе, кто станет с ним торговать, когда не приедут купцы. А нынче они не приедут. Им не до вогул».

Но больше всего Митрич думал о том, что карательные отряды не минуют этих мест. Озлобленные, в ярости на советы, они маршем двинутся на Север. За спиной у них останутся тысячекилометровые расстояния, богатые сибирские села, деревни, впереди — тундра Ямала, кочующие снега. Они двинутся к Уралу — через него ближний путь к обжитым местам. Им нужны будут проводники, еда. Наверняка, пройдут опустошительным смерчем. Никого не пощадят. Нет, надо обязательно попасть на праздник медведя. Во что бы то ни стало. Но Митрич понимал, что это не простое и не легкое дело. Чужих туда не пускают. Вся надежда была на Аняма Косачиный Глаз.

Тур-эква неслышно вылезла из-под шкур, присела на корточки возле черного круга чувала, тонкой палочкой пошевелила золу. Вспыхнули крохотными звездочками искры, попали на берестяную кору, и она вспыхнула. Митрич успел увидеть сложенные в трубочку губы Тур-эквы, они словно выдыхали легкие язычки огня. Потягиваясь, громко зевнул Аням, на полу отозвался хрипом Салыг-ойка, потом скрипнула дверь, тявкнул от радости какой-то пес. И залетали вокруг легкие предутренние шорохи. Хрустнул затвердевший наст под копытами оленя, обломился и рухнул с сухары сук.

Наступало утро нового дня.

— Спи, спи, — шептал Аням, набрасывая через голову меховой савик. Он вышел из юрты, и сразу снег заскрипел под тяжестью его шагов.

Митрич тоже поднялся. Выйдя на улицу, взял в ладони снег и стал растирать им руки, лицо, приятная свежесть взбодрила его.

Аням надевал широкие лыжи, обитые оленьей шерстью. Собаки, выскочив из-под нарт, кружили возле него, виляли хвостами, готовые бежать за хозяином, не дожидаясь свиста.

— Далеко? — спросил его Митрич.

— Нет, совсем не далеко. На болото. Оленей ловить надо. Урал ехать надо.

— А на праздник медведя? Не поедешь?

— Как не поедешь? Аням поедет. Как не поедешь?

— Так не успеешь.

— Аням успеет. Аням короткую дорогу знает. Три луны туда — три луны обратно.

Митричу хотелось возразить вогулу, что зверь-то вроде бы не привязан к веткам, что за ним надо немало ходить и выслеживать, но понимал, что не ему учить Аняма, который только тем и живет, что охотится. Но так или иначе, а Митричу было непонятно намерение Аняма идти к Уралу, если через две-три недели намечался большой медвежий праздник.

— Аням скоро туда-сюда. Аням был Урале. Ходил охоту. Скоро купцы ездить будут. Мех менять надо. Я туда-сюда.

— Не езди. Не вози туда пушнину. Нынче купцы не приедут.

— Как не приедут? — не поверил Аням Косачиный Глаз.

— Это я тебе точно говорю. Я муки тебе дам. Вон она на нарте, ты видел, а мехов твоих мне не надо.

— Как так мехов не надо? Кто так давать муку будет?

— Меха потом сдавать будешь. В лавку. А пока муку возьми. Купцы не приедут, где брать станешь?

— Как так купцы не приедут, скоро приедут. На праздник медведя приедут.

Митрич подошел к одной из своих нарт, стал развязывать ремни с намерением достать муку, сахар и чай.

Не успел он оглянуться, как Аням вскочил на нарты и погнал по снегу, отмеряя расстояние до ближних кустов, и скоро скрылся из виду.

«Аням короткую дорогу знает: три луны туда — три луны обратно, — толклись в голове Митрича слова Аняма. — Разве только Аням знает ближнюю дорогу к Уралу? У всех у них есть свои тайны, свои секреты, свои тропы. Нет. Надо остаться с Анямом. Надо поехать с ним на медвежий праздник. А возьмет ли он? Очень даже может быть, что не возьмет. Кто их знает? Вот ушел от меня, я и глазом моргнуть не успел», — озабоченно подумал Митрич.

Павла тошнило. Хватая пригоршнями снег, он толкал его в рот и тут же сплевывал обратно.

— Вонь от этой шкуры до одурения, — говорил, кружась на одном месте. — Как бы выбросить ее, а? Никакого спасения. Пропиталась черт знает чем. Хуже отравляющего газа.

Митрич засмеялся. О разговоре с Анямом промолчал.

Глава двадцать седьмая

Неделю выла метель, норовя укрыть под снегом островерхие чумы пастухов. Но пастухи каждый день объезжают стада: не зашли ли в стадо волки, не ушел ли какой олень в сторону — следы на снегу расскажут все, надо только зорко глядеть. И потому Самбиндал выезжал из чума раньше, чем вылетают на кормежку куропатки.

Оттопырив на ухе башлык, он ехал по вчерашней тропе, слушая, как звенит колокольчик на кожаном нагруднике коренника, вспоминал весеннюю тундру — бескрайнюю, солнечную. За долгую зиму Самбиндалу казалось, что он забыл лето, забыл запахи трав и мхов. И теперь колокольчик напоминал ему крики и гогот птиц, шевеление трав, шорохи зверей, жужжание шмелей, комаров, мошек. Облокотясь на оленью шкуру, он тянул про себя протяжную, как вой метели, песню про свою бескрайнюю белую родину.

Вдруг Самбиндалу послышался звон чужого колокольчика. Он сразу остановил упряжку, стянул с головы башлык, подставил ухо к безветренной стороне. «Откуда колокольчик звенит?» — прищуривая слезящиеся глаза, Самбиндал встал на нарте, просмотрел даль: прямо перед коренником увидел глубокий след, пересекший тропу.

Чужая упряжка была чуть в стороне. Олени стояли понурив головы, Самбиндал знал, что у таких усталых животных не хватает сил разгребать копытами наст. «Кто так гнал оленей? Зачем так гнал оленей? Подыхать будет олень. Подыхать, — пастух гикнул, но олени не пошевелились. Может, мужик замерз? Может, винка много выпил? — подумал Самбиндал, разглядев на нартах лежащего человека, одетого в большой меховой гусь поверх теплой малицы. — Это

чужой мужик, видно, дорогу потерял мужик», — догадался пастух. Проваливаясь в снег, он подошел к оленям и машинально, по вечной привычке, стал смахивать снег с их спин и боков. На спинах уставших оленей снег затвердел, заледенел. Самбиндал черенком ножа поколотил по нему, смахнул звенящие крошки, очистил ладонью забитые скользким льдом ноздри животных и только потом, почти крадучись, подошел к нарте и робко потряс человека за плечо. Тот молчал. Ощупал его лицо и шею, потом протолкнул руку к пазухе. «Живой. Чуть-чуть живой», — мелькнула мысль. С хозяйской расторопностью он распряг чужих оленей, и те, уже отвыкшие от воли, сделали несколько робких шагов и снова остановились. Запряг пару из своей упряжки в чужую нарту и погнал коренника. Тот от тяжести стал часто запинаться, колокольчики на его шее уже не выводили ладную, стройную мелодию, звенели вразнобой, пугая притаившихся под кочками зайцев.

В свой чум он втащил Рогалева волоком. Перепуганная жена замахала оленьей шкурой, закружила вокруг очага, прикрыла ребятишек всем, что попало под руку, лишь бы они не успели взглянуть на лицо чужого человека, быть может, сброшенного с неба самим Торумом, и, наставив во все углы деревянных и сшитых из лоскутков божков, стала помогать Самбиндалу. Она отодвинула в сторону часть шкур, постланных вместо пола, на темное выжженное пятно стала переносить остатки дымящихся углей, прикрывая их сухой болотной кочкой. Огонь, оставляя черненький след, пробрался в глубь высохших бурых трав, пыхнул горьковатым дымом.

Шкуру, на которой лежал мужик, Самбиндал потянул на теплую золу оставленного очага. Тянул, не проронив ни слова, не издав ни звука.

Из боязни потерять огонь люди редко меняют место очага. Его переносят тогда, когда старшина рода, спросив верхних духов и услышав их одобрение, велит положить на теплую золу человека, которого одолела хворь. Для найденных в тундре людей не ждали ворожбы старшины рода, для них сразу меняли очаг. Самбиндал это сделал впервые в жизни. Он сидел, скрестив перед собой ноги и отрешенно глядя в никуда.

Федор Рогалев открыл глаза под утро, когда жена Самбиндала раздувала очаг на новом месте. Он лежал с открытыми глазами, с тяжелой одеревенелостью в теле и не мог сообразить, что происходит с ним, где он.

— Люди, люди! — прошептал он непослушными губами. — Люди, люди, — затрясся он, начиная понимать, что рядом с ним есть кто-то живой. И, словно подброшенный невидимой силой, вскочил на шкуре, закружился на одном месте, закричал: — Капа! Капитолина! Капа-а-а-а! — И в изнеможении, будто кто-то ударил его по коленям, рухнул, распластав большое тело посередине чума. Упершись одной рукой в теплую золу очага, второй сжал меховой расшитый тотап. Он еще вздохнул, как всхлипнул, и умолк.

Старший сынишка Самбиндала, вскочив на запряженную упряжку, объехал чумы других пастухов, стоявшие недалеко друг от друга вдоль берега реки.

В чум к Самбиндалу пастухи заходили молчком, стараясь сразу не показывать своих лиц. Рассевшись кружком возле стен чума, голоса не подавали, пока старшина рода Атынг, старик с косматой шапкой немытых и нечесаных волос, первым не дотронулся до плеча Рогалева, не приложил к его спине ухо. Медленно отползая, шепнул:

— Помирал!

Пастухи сгрудились возле купца. Сложив на груди руки, посмотрели вверх через широкое отверстие в чуме на небо. Потом Атынг велел съездить в его чум за топорами. Все поняли: Атынг не знает, что делать дальше, не знает, что говорить, куда девать русского мужика. Он будет шаманить на топорах, спрашивать верхних духов, как поступить Самбиндалу, чтобы не обидеть верхних богов.

Поодаль от чума поставили большой сосновый чурбан, который во время кочевья возили за собой пастухи. Атынг медленно шел к чурбану, неся в обеих руках по топору. Подойдя, утоптал вокруг снег, стукнул топоры друг о друга, торопливо положил на чурбан, приложив к ним правое ухо. Окружающие встали на колени, склонив головы. Новый звон топоров заставил втянуть головы в плечи. Еще один удар. Пастухи поняли: Атынг не услышал ничьих голосов и не знает, что говорить им, что сказать Самбиндалу. И он запел о том, что вокруг чурбана собрались пастухи, истомленные бедой, которая пришла к ним нежданно — пастух Самбиндал нашел в тундре умирающего человека. Он просил верхних богов услышать его голос, сказать, куда девать человека, из которого вышел дух. Тут Атынг, еще раз стукнув топорами, бросил их к ногам, прикрыв снятой с себя малицей.

— Самбиндал повезет его в северную сторону — в мир мертвых. Оставит в среднем мире — ближе к верхнему миру.

У него пять душ — он большой мужик. Душа-тень сама укажет ему дорогу, — так рассудил Атынг. Оставь с ним его оленей, может, они помогут ему быстрее домчаться до своей стороны.

Пастухи молча погнали оленей от чума Самбиндала.

Жена Самбиндала, собрав в углу всех идолов, молилась. Она не слышала, как вошел Самбиндал, и упала вниз лицом, когда поползли руки купца: это Самбиндал вытаскивал из чума тело Федора Рогалева, чтобы похоронить его: чум надо переставить на другое место — в нем жить нельзя. Старшина Атынг велел похоронить мужика Самбиндалу — таков закон тундры. Только один Самбиндал станет переставлять чум. Пастухи недели три как прикочевали к этому болоту, шли дальнюю дорогу, перевозили весь скарб — зачем всем хоронить умершего?

Собаки, предчувствуя приближение бурана, катались по снегу, кружили вокруг чума. Обнюхав ноги купца, отбежали и спрятались под нарты.

Все, что лежало на нарте купца, Самбиндал решил оставить с ним, чтобы несчастный купец не ругал там Самбиндала.

Он решил похоронить купца в низкорослом сосняке, в низеньком срубе из тонких стволов корявых деревьев.

Поднимая купца на нарты, он заметил, что что-то блеснуло и упало в снег. Это был большой охотничий нож.

Самбиндал опасливо взглянул на заострившийся горбатый нос купца и рыжую в половину лица бороду. На костяной рукоятке он увидел тамгу Васьки-шамана. То ли по привычке носить нож за голенью высоких унтов, то ли не в силах устоять перед соблазном, но Самбиндал спрятал нож и долго обтирал руки о подол меховой рубахи. Поправив постланную шкуру, увидел под ней палку — тоже с тамгой Васьки-шамана. «Зачем мужик поехал один, — молча удивился пастух. — Казал палку — все скажут тебе дорогу. Так Васька-шаман велел. Васька большой шаман. Вся тундра знает. Ваську-шамана все слушают. Зачем ехал один? Куда торопился?» — с тоской думал Самбиндал, осторожно укладывая отяжелевшее тело на нарту.

Олени нехотя бежали по бездорожью к кривостволым соснам, пурхались в снегу, дергали нарты то в одну, то в другую сторону. Тело купца раскачивалось, и Самбиндал пожалел, что не привязал его к нарте ремнями. «Ох-ох-ох, — сокрушался пастух, — зачем ехал один? Олени долго таскали

тебя. Ох-ох. Кому сказать? Некому сказать. Совсем некому».

Самбиндал похоронил купца Рогалева, как велел Атынг, а когда стал опрокидывать нарту, увидел привязанный к перекладине холщовый мешочек. Отвязал, поглядел, пожимая плечами. «Камни, — подумал: — Наверное, русский мужик привязал их, чтобы они принесли удачу. Привязывает же вогул к ремню зубы медведя. Не принесли удачи русскому мужику камни — русский бог глухой, не услышал мужика». Он долго не знал, что делать с этими камнями, но решил все же положить за пазуху. Самбиндал не знал, что такое золото. Он не думал, что на эти слитки может безбедно прожить всю жизнь не только он, но и его дети, и внуки.

Этой же ночью Самбиндал переставил свой чум на другое место, перенес очаг с тлеющими углями и пошел к Атынгу показывать палку Васьки-шамана.

Глава двадцать восьмая

После ухода карательного отряда село облегченно вздохнуло. Оплакали и по-людски похоронили Арсю Попова, Ваньшу Мошкина и Федору Кузьминичну. Не меньше горевали и о преждевременной кончине Нестора Прохоровича. Дорогу на кладбище проторили получше трактовой. Потом про Арсину жену Марюху слух прошел: будто она на себя руки наложить собиралась, а соседка ее от беды оборонила. У той руки до сих пор трясет — ковша воды зачерпнуть не может. Лупентиха сказала: пройдет. Молода еще. Про Савушку-писаря говорили в последнюю очередь, но тоже жалеючи.

О смерти приказчика Филиппа молчали. Филицата ездила в Реполово панихиду служить, поминки справляла богатые, всех кормила белорыбицей, кутью делала из отборного риса с изюмом, компот варила яблочный. Бабы пилиели, молились, а слов никаких не говорили.

Позже стали и о лошадях говорить, ведь из каждой конюшни лошаденки были выведены. Семей десять в селе и вовсе безлошадными остались.

— У мово-то хозяина конюшни все опорожнили, — шептал дворник Маит. — Ветер по конюшням гуляет, свистит. Ни ржанья, ни фырканья. Душа сжимается. Ладно, двух жеребцов, Серка да Воронка, спрятали. Как-то с вечера, когда все кутили, Евлампий за уздцы легонько их вывел, будто на водопой, да на гору, в сосняке оставил. Привязал, а то бы домой прибежали. Дома-то их отборным овсом кормили, а тамо голодно. Вчерась привел, так будто подменены лошади. Отощали, да ладно, кожа да кости есть — жир нагуляют. А хозяин — глаз во двор не кажет, — рассказывал купеческий дворник мужикам, собравшимся на сельсоветском крыльце.

В мялищевском доме в эти дни было тихо и мирно. Василий Афанасьевич на все махнул рукой, закрылся в спальне, к себе никого не впускал, ни пить, ни есть не просил. Лежал на постели, провалившись между пуховыми подушками: то ли спал, то ли дремал.

Акулина Федоровна куталась в пуховой платок. Не находя для себя дел, ходила из угла в угол. «Возле кухарок веселее, — подумала, спускаясь по лестнице в кухню. — Печи топить, коров доить, молоко цедить, воду носить, полы мыть. Хоть и втроем — не присядут».

На Вассу Акулина Федоровна глядела с пристрастием, исподлобья, но молчала. Вспомнила, как Манька Припадошная привела ее в мялищевский дом неуклюжим подростком, в ноги кланялась, просила ради Христа взять на хлеба девчушку.

— Пальцем ниче чужого не тронет, — ручалась за свою дочь хворая мать. — Приголубьте, лишь бы не померла. Мне недолго жить осталось — внутрях все сгнило, а девочка чистая, я берегла ее от себя, обороняла. Иной раз так охота к себе прижать, возле крохотной бедняжки побыть, а боюсь дыхнуть — вдруг да передам свою хворь, — Манька поглаживала девочку по голове. — Руками ловкая, проворная.

Мать Вассы, и верно, долго не прожила.

«Эх, какая вымахала. И не подумаешь, что тонюсенькая да хрупкая, как льдинка, была. Чего на такую-то не заглядываться?! И лицом смугла, и черноброва, а коса какая! Не ходит, а будто летает. Приберется — никто и в ум не возьмет, что кухарка, мужики-то и глазеют. Как пройдет — все в голос: чья да откуда? Кухарки-то Нестора Прохоровича на подмогу приходили, так что есть, что нет — никто и глазом не повел. Усатый охальник только раз и щипнул черняВенькую

Польку. А Васса-то — как медом намазанная, ладно, Никита грудью ее заслонил, а то сам Туров не прочь был к себе прибрать — в отряд взять. Господи! Все кружьмя кружит!»

В приоткрытую западню выставилась большая голова Василия Афанасьевича.

— Вымерли все, что ли? — спросил он.

Охая, Акулина Федоровна стала подниматься по расхлябанным скрипучим ступенькам.

Василий Афанасьевич протянул купчихе свою холодную, липкую от пота руку.

— Тишина-то какая. Жили раньше и не замечали, какая это благодать, — поднимаясь, говорила купчиха. Хотелось поговорить о разоре, который принесли хозяйству непрошеные гости, что все это нажито стараниями Василия Афанасьевича, но что и она не была в стороне от его дел. Но Акулина Федоровна понимала, что надо погодить, что хозяин не то чтобы в уме не может свести концы с концами, а даже не знает, с какого краю искать этот конец.

— Лошадей-то всех взяли? Вот нехристи! Ни стыда, ни совести, — вздохнул купец.

— Всех, что ли, из конюшни вывели? — засморкалась в белый батистовый платок Акулина Федоровна.

— Не знаю. Боюсь спрашивать. А как да всех! И дров привезти не на чем будет. Евлампий-то где? Маитко? Пусть позовут.

— Евлампий-то, сказывали, петли на зайцев ставить пошел.

— Дел, что ли, по хозяйству не стало — пошел, не спросился?

Маитко, переступив порог купеческого дома, мял в руках почерневшую от времени заячью шапку.

— Проходи, Маит, проходи. Эти нехристи все истоптали, все углы обоссали, а чем лучше тебя? Проходи, Маит. Ступай на эти половики. К черту их! Так нам и надо! Тех, кто верой служит, гвоздя не тронет — мы готовы в бараний рог согнуть, а тех, кто хапом гребет, в харю плюет — на тех Богу молимся?! С мужиками за рублевую поденщину рядился, кровь себе портил, а оно и лучше еще, что до их прихода в обоз ушли. Пусть и рыба пропала, — тут Василий Афанасьевич перекрестился, — так хоть лошади уведены. Свои мужики — совестливые. Может, какую и вернут хозяину.

Маитко молча топтался на одном месте. Василий Афанасьевич подошел к нему, потянул за плечо полушубка в

комнату. Ему хотелось поговорить, высказать вслух боль и обиду. «Был бы жив Нестор Прохорович (царство ему небесное), обо всем бы поговорили, ничего бы от него не утаил и пусть бы рядились да спорили, как раньше бывало, а теперь с кем? Мужики-то сельские как есть все отвернулись. Не отмоешься теперь из-за этого отряда. Сгинуть бы ему в снегах!» — купец ждал, пока дворник снимет с ног обутки, отряхнет одежонку.

— Чай-то пить станешь? — спросил Василий Афанасьевич.

— Благодарствую, — учтиво ответил дворник. — Брюхо ишо теплое. Тоже чай пил, да девки, считай, с чашкой из-за стола выволокли. Хозяин, говорили, зовет, торопись. Я шел, про все передумал. Считай, три дня вас не видал.

Растроганный откровенностью дворника, Василий Афанасьевич плотно сощурил глаза, молча кивнул, боясь, что голос может дрогнуть.

— Чего, Маит, лошаденки-то остались какие?

Дворник зашоркал ногами под табуреткой.

— Не бойся, говори. От тебя лучше правду узнать, чем в потемках жить, али какую насмешку услышать.

— Серко да Воронко только. Вчерась привел. Тощие токо, а конюшню свою сразу признали, сердешные. Копытами так и этак ступают, головы подняли, ушами пошевелили, а то все понурые были. Головы отворачивали, будто им все время ветер в глаза свистел.

Василий Афанасьевич с трудом поднялся, молча пошел к комоду. Долго стоял возле него, сунул руку на самое дно ящика, шарил, сваливая на пол простыни, наволочки, расшитые кружевами и прошвами накидки.

— Вася, — окликнула его Акулина Федоровна, догадавшись, что он ищет спрятанные деньги.

— Чего Вася, чего? — рявкнул купец, не оборачиваясь, от чего купчиха вздрогнула. — Деньги — прах! Ну их в тартарары. — Вернувшись к столу, протянул Маиту пять десятирублевок. — Лишние деньги — лишние заботы. На, бери, Маит. Строй себе избу. Поминай купца Мялищева. В полном здравии и рассудке тебе деньги даю. Даже бумагу на них написать могу, чтоб кто худого о тебе не подумал. Так и так напишу: за честность дворовому человеку Маиту, по фамилии-то ты ведь Мохнаткин?

— Не-е-е-ет, — Маит поперхнулся. Спрятал руки за спину, бойко вскочил с табуретки. — Даровые деньги не надо,

не возьму. За службу ты, Василий Афанасьевич, платишь мне, а больше не надо. Куда я с имя? Мешаться токо станут. Не возьму, хошь как говори. И избу новую не надо. Печка теплая, углы проконопачены. Все в ей ладно. Токо с виду маломальская да кривая, а жить в ей ишо можно.

— Чего уж ты так, Маит? Прямо «не надо и не надо»! Все пришлые-то как зорили меня. На твоих глазах. Считай, всего опустошили и глазом не моргнули, а с виду вроде господские сыновья.

— Не знаю, не знаю про людей, — стоял на своем дворник, пятясь к порогу. — Берут — пущай у них голова болит, а мне даровых денег не надо. Оно ишо спать не станут давать, — хохотнул Маит, поддергивая сползавшие штаны. — Не обессудьте, Василий Афанасьевич. Не возьму. Ежли дело какое сделать надо — говори, а деньги твои впрок не пойдут, руки сожгут. За пазуху спрячу, так там чесаться станет. Не-е-е-т.

— Заладил одно: «нет да нет!» Я этим тебя за лошадей отблагодарить хотел. Будто не мои это лошади. Будто я их купил.

— Серко с Воронком увели бы, слов нету, — сказал дворник утвердительно, — а не увели. Погляди, в конюшнях стоят, овес едят. Я утром-то подходил, так они токо «хрум да хрум». И в конюшне-то лошадями запахло, а то ветер свистел, все вымел. Деньги-то, может, Евлампий возьмет. Он лошадей уводил.

— Кто хоть в управе-то теперь? Али пусто? Вот времена пошли!

— Да не, — обуваясь, сказал дворник, — Степан-то Голощапов воротился, на своем месте сидит.

— Воротился?

— Как не воротится? Об этом промеж мужиков никакого сумнения не было. А другие-то за отрядом пошли. Понужать его станут. Ружья по избам собирали, провиант. Пущай, пущай им норки-то почистят. Будут знать, как людей тиранить, — поклонившись, Маит юркнул в двери.

Василий Афанасьевич почувствовал, как к лицу прихлынула кровь. «Свое ружье, что ли, послать мужикам? Пущай в избушке будет. Этот-то, голубчик, Туров, при виде его слюни глотал, а с собой не взял, наверное, дружков побоялся, знает: тут в целости будет, сохранности. Нет уж! Им, горлохватам, не отдам. Это они издали своими да добренькими кажутся, а как воротятся, опять начнут купца Мялищева

костерить — на улицу нельзя будет выйти. Ну и жизнь пошла: не знаешь, куда голову приклонить. Напрасно Маит от денег отказался. Напрасно, — думал Василий Афанасьевич, оставшись один. — Кому даешь — не берут, а кому ломаного гроша жалко дать, те готовы с руками оторвать. Чужие карманы всегда толстыми кажутся. Туров-то как все увидел, так на многое глаза вскидывал. Но теперь меня не проведешь! Теперь воробей стреляный. Кукиш ты у меня получишь! За одних лошадок кукиш увидишь!»

Облокотившись о стол, Василий Афанасьевич уткнул лицо в ладони и даже не почувствовал, как из глаз выкатилась слеза. Он только ощутил легкое щекотание на щеке.

«Теперь уж таких разносолов не увидишь, голубок. Хоть какая власть будет: хоть мужицкая, хоть ранешняя. И что бы это мне все в глаза ему раньше было сказать? Так мол и так, сук рубите, на котором сидеть собираетесь. Сказал бы им, что не глянется мне, как вы все рушите: где поедите, там и гадите. Но не сказал. А они такое вытворяли — только руками всплескивать успевал. Надо же! Ворота с петель сорвали, перерубили. На что им ворота? Мешали, что ли? Или поленницу раскидали. Та возле городьбы-то годов пять стояла. Береза почернела, да до нее девки добраться не могли. Так всю поленницу в огород сбросали. Силу, видать, не знали, куда девать. Больше, поди, для озорства. С саней оглобли сняли — на что им оглобли? На что взглядывали, то и брали. А у меня духу не хватило хозяином себя показать, как в штаны наклал, только руками да головой тряс. Все в поклоне. Тьфу! — сплюнул под ноги Василий Афанасьевич. — Храбр стал задним умом. И так бы и этак хотел, да ведь не больно-то с ними поговоришь, вон как поворачивалось! — Тут Василий Афанасьевич посмотрел в передний угол на лик Богоматери. — Да я им сына своего отдал. Боже ты мой! — В отчаянии купец схватился за голову. — Да я на Никиту-то как на чужого глядел, все присматривался. Саввушка этот треклятый... Все с ним как с чужим говорил, все какими-то делами занят был. Туров-то не зря его к себе поставил — в залог. Чтоб вместе вернуться. Ах старый я дурак! Из-за моего капитала. Вроде бы и скупее Нестора Прохоровича был, и ловчее Земцова, а на поверку что вышло?..»

— Акулина! — закричал Василий Афанасьевич так громко, что не узнал своего голоса. — Акулина!

Купчиха вбежала запыхавшись, встала в дверном проеме, придерживаясь за косяк.

— Никита-то хоть как ушел? Видела его? Тулуп-то ему какой дала: овчинный или из медвежьей шкуры?

— Как не видела? — всхлипнула Акулина Федоровна. — На кого мне там было глядеть? На пьяные рожи? Или на твоего усатого поручика? Он, хлюст, первым делом в свою кошеву медвежий тулуп бросил.

— Ты, Акулина, мне на раны соль не сыпь. Я тебя последний раз прошу. Еще станешь сердце рвать — до беды недалеко. Все прахом пущу! Все по ветру! Для кого жалеть? Видела: хотел Маиту денег дать за усердие, а он не взял. Даже Маитко, который добрых-то штанов не нашивал, побрезговал.

— Не наговаривай пустое.

— Я кому капитал копил? Для чего гнездо вил?

— Гнездо свое вили, так и жили в нем на заглядение другим. Плохо ли нам жилось? — Акулина Федоровна погасила желание возражать мужу.

— Жизнь — когда впереди что-то светит и зовет. А мне что светит? Тюрьма. А в лучшем случае, если этот молодчик Туров с Никитой явится. Тоже мне — свет! — И Василий Афанасьевич не то хохотнул, не то фыркнул так громко, что лежавший под столом кот выскочил из комнаты.

«Вассе капитал отдадим», — хотела съехидничать Акулина Федоровна, усаживаясь напротив Василия Афанасьевича, но вовремя прикусила язык, положила теплую руку на ладонь Василия Афанасьевича.

— И Васса, как Маитко, пожалуй, ничего не возьмет, — угадал мысли хозяйки купец.

— Ой уж!

— А ты попробуй. Увидишь. Попробуй, попробуй! — подзадоривал Василий Афанасьевич.

— Прямо и откажется? Где она деньги-то видела?

— Не видела, толк в них не знает, вот потому и откажется.

— К Никите-то льнет не просто так.

— А ты попробуй отдай ей, попробуй!

— И попробую. Даром работает, а денег не возьмет?

Акулина Федоровна отсчитала полсотни рублей, спрятала в карман, долго шарила на груди, отыскивая английскую булавку, чтобы пристегнуть карман, но, передумав, махнула рукой.

На кухне была Вассина помощница, девочка Грунька. Приготовив коровам пойло, отеребив к обеду тетерева, она

достала из-под печки тряпичную куклу и, сидя на корточках, заворачивала ее в сшитое из лоскутков одеяльце.

— Васса-то где? — спросила Акулина Федоровна. Грунька от неожиданности вздрогнула, заплакала. Прижав к груди куклу, заметалась по кухне.

— Чего испугалась? Какая беда? Когда тебе в куклы-то поиграть, если не в эту пору, — певуче говорила хозяйка, а Грунька, не веря ее тихому голосу, толкала куклу под постель и ждала, наклонив голову и сжав плечи, когда Акулина Федоровна станет трепать ее за косы.

— Мамка хотела куклу в печку бросить, а я сюда принесла, — виновато попискивала девочка. — Я ее достаю, как спать ложусь, а тут меня черт попутал, — не по-детски говорила Грунька.

— Васса где? — заглядывая на полати, спросила хозяйка.

— Не сказывала, куда пошла, — сказала Грунька шепотом, боясь пошевелиться.

«Вот и надейся, — рассуждала Акулина Федоровна, нащупывая в кармане сложенные вдвое деньги. — Раньше-то чтоб кому со двора выйти — мнутся да мнутся, не знали, как слово вымолвить. А теперь она будто сама себе хозяйка — встала и ушла. Не ко времени такие мысли поганые в голову лезут, — вдыхая теплый кухонный воздух, к которому примешивался сытный запах томившегося в жаровне мяса, урезонивала себя хозяйка. — А все одно к одному. С Никитой-то она любовь кружила. Слов нет — кружила. На мои глаза свидетелей не надо. Вот так и выходит — из грязи да прямо в князи. Да как еще повернется: станешь под ее властью по одной половице ходить, на другую только поглядывать». — В расстройстве Акулина Федоровна мяла в кармане деньги, когда за окном послышались бойкие шаги.

Васса не заметила хозяйку, скинула с ног легкие чесанки и стала стряхивать возле порога остатки снега.

— Куда-то бродом бродила. Вроде и снег нынче не шел, — строго сказала Акулина Федоровна и заметила, как из рук Вассы чуть было не выпали чесанки, но, схватив их обеими руками и совладав с собой, кухарка, не оборачиваясь, через плечо, ответила:

— Надо, и ходила.

Акулина Федоровна подумала: «А я ей деньги принесла. В кармане такой капитал держу! Дура я. Лучше бросить в печку, чем отдавать в ее руки».

Встряхнув у порога шерстяную шаль, купленную когда-то ей Василием Афанасьевичем на Ирбитской ярмарке, Васса аккуратно повесила ее на веревку, протянутую вдоль стены, поправила кисти и только потом взглянула на хозяйку. Глаза у Акулины Федоровны были грустными, и Васса, поправляя белый платок, повязанный вокруг головы, уже мягче сказала:

— К Лупентихе бегала.

Акулина Федоровна показалась Вассе гораздо старше своих пятидесяти лет. Ее вроде бы подменили: куда-то делась полная белая шея, голова утонула в узких плечах. Складки мягкого подбородка обвисли. И только глаза в густых ресницах были по-прежнему распахнуты.

— Болеет Лупентиха. Попроведать бегала, — повторила Васса. — А к ней надо бродом брести. Все перемело.

Акулина Федоровна знала, что старая Лупентиха приходилась Вассе дальней теткой по матери.

— Сколько годов-то лежит, как веревками к кровати привязана. Раньше помню ее бедовой, — говорила Акулина Федоровна, расправляя в кармане скомканные деньги. — Всю жизнь наравне с мужиками рыбачила, а потом слегла. Избенка-то на курьих ножках, поди, со всех сторон ветром продувает. Надо бы миром ей починить углы, раз Господь Бог к себе не берет.

— Ходят к ней люди. И печи топят, и дрова возят, и кормят.

В другое время Акулина Федоровна непременно спросила бы, что она утащила ей из хозяйских закромов, а тут изрекла другое:

— Как лошаденка Хавроша. Сколько зим живет на сенных клочках.

— Прямо как Хавроша, — повеселела Васса. — На Хавроше-то Ефросинья Алексеевна с ребятами в лесную избушку уехала. Увезла малолетних, а то эти бы и на них управу нашли.

Акулина Федоровна от удивления охнула: «И не побоялась? А сказывали, что Ефросинья-то еле-еле ногами переступает... Теперь и Хавроша в дело пойдет. Сколько лошадей-то в селе не досчитаются», — не в силах разговаривать с Вассой, купчиха сидела безмолвно и тихо. «Если бы знала ты: Хаврошу-то ночью запрягал не кто-то, а я, — думала Васса. — А знала бы, по какому делу к Лупентихе бегала, — грохнулась бы с лавки!»

К Лупентихе Васса бегала по просьбе Степана Голощапова узнать, заходил ли к ней почтарь. У нее он должен был оставлять всю почту, адресованную Степану Петровичу.

Глава двадцать девятая

Версты две поручик Туров ехал верхом на племенном жеребце бывшего волостного старшины Нестора Прохоровича Шлеина. Конь отменный: длинноногий, большегрудый, грива будто щелоком промыта: мягкая, пушистая. Взглянув на гриву, поручик снял с руки кожаную рукавицу на бараньем меху и стал проталкивать ладонь по хребту вдоль шеи и ощутил не только тепло, но и нервную дрожь, которая невидимыми толчками разгуливала по всему телу жеребца.

«Не спросил, как тебя звать. Не до твоей клички было. Но-но, не бойся, — похлопал он по холке лошадь. — Хозяин-то твой...», — поручику не хотелось вспоминать, как на его глазах седовласый дородный мужчина выкрикнул: «Охальники! Самому государю жаловаться стану!»

Навстречу бежала подвода, и парень, стоявший в санях на коленях, одной рукой держался за облучок, другой — крутил над головой концами вожжей, со свистом рассекая воздух. Лошадь шла в галоп, закидывая снегом лицо, шапку, полушубок парня.

— Дорога хорошая, ваше благородие! Ни одного следа в снегу, если не считать заячьих, да вдоль березника, видать, лиса мышковала, — рапортовал парень, выскочив из саней. — Верстах в трех с правой стороны своротка какая-то, может, по ней за сеном ездят.

Туров поправил барашковую шапку, провел ладонью по замерзшим коленям, в которых опять началась ломота, и, прежде чем ответить парню, подумал: «Опять пора садиться в кошеву, под медвежий тулуп», — потом сурово спросил, что за след.

— Санный. Может, кто по сено ездил

— Из Сатарова по сено никто не ездил. Было бы тебе известно, — сухо ответил Туров, молча протягивая руку, чтобы тот помог ему слезть с жеребца, и взял поводья.

— Киргизов, — повернулся он к подпоручику, ехавшему за ним, — на какой подводе сидит этот медвежатник?

— За вашей кошевой, — бойко ответил тот.

— Поезжайте верховыми еще версты три, а потом дай команду: всем на подводы. Холодище такой!

Конный отряд двинулся по дороге. Перед глазами Турова мелькали разноцветные полоски самотканых половиков. У Турова шевельнулись на щеках желваки от вида вверенного ему отряда, и он с ужасом подумал: каким насмешкам был бы подвергнут, явись он в таком виде в регулярную войсковую часть. «Да там за этакий срам я бы сам себе пулю в лоб! Чертов цыганский табор!» — Сплюнул он под ноги, когда какой-то рядовой прозевал, и лошадь, сошедшая с проторенной дороги, пурхалась в снегу, храпела, роняла на снег темные парные комья.

В медвежий тулуп он влез, как в теплое гнездо. «Это только начало. А что там впереди? — подумал он, но постарался отогнать мрачные мысли. — Хватит. Мне только к Уралу свернуть, своими глазами поглядеть на этот медвежий угол. Можно оттуда и сразу в Россию. А Киргизов пусть идет вдоль Оби. — Но представив, что тот на обратной дороге непременно посетит купца Мялищева, не упустит случая погреть руки на его богатстве, задумался. — Такие уникальные вещицы редко где в России встретишь! Он сам им цены не знает... Через Урал к дому рукой подать — только снеговую равнину перерезать. А там Семен Шитоев. Тоже мне фрукт! — Вспомнив поручика, Туров поежился. — Экий строптивый человек, пошел-таки на Север. Может, сгинул где, а может, ждет не дождется. Да еще сынок купеческий в залоге...» — Вспомнив про Никиту, Туров быстро повернулся в медвежьем тулупе.

Никита сидел на одной подводе с рыжебородым медвежатником Лукой Саввичем Поджаровым, который за всю дорогу не проронил ни слова. Он полулежал, глядя куда-то вдаль, и его большое лицо казалось берестяной маской. Он даже не сдувал снежинок с губ, которые не таяли, примостившись на рыжих усах. Ему было все равно. Глаза медвежатника слезились от белого снега, веки припухли, но он боялся закрыть глаза, потому что ему сразу виделся быстроногий Красавчик и темные пятна крови на снегу. Сердце начинало ныть, и тяжелела вся левая сторона.

— Хоть бы до своей печки добраться, а уж там как Господь пошлет, — прошептал он и увидел на плече кожаную рукавицу.

Туров, остановив кошеву возле санного следа, спросил Луку Саввича, куда ведет этот след.

Лука Саввич впервые пошевелился. Скосив глаза, узнал размашистый след своего Красавчика и глубокий полоз своих саней.

— На Черноярку, кажись, — буркнул и спохватился: а вдруг вся эта орава явится к нему, в Черноярку. Налетят, растащат каждый двор по бревнышку и оставят черные головешки. Им-то что?

— Куда след? — склонив набок голову и прикрывая от ветра ухо, спросил Туров.

— К Черному яру. Есь такой на изломе реки, — ответил медвежатник. — Далеко отсюдова, а ежели по стрелке, так бродно.

— Кто-то проехал? — прищурился Туров.

— Бог его знает. Давно туто не бывал. Вроде как налегке проехал. Полоз не тонул. Да мало ли теперь мужиков в лесах: кто охотничает, кто прячется.

— Не это тебя поручик спрашивает, — ткнул в бок медвежатника Никита.

— Не туда след, а оттуда, — поправил Турова. — Не на Черный яр ехали, а из него.

Турову надоело с ним разговаривать и он стремглав запрыгнул в кошеву, закутался в теплый тулуп, и зыбкое покачивание в кошеве утихомирило поручика. Отхлебнув из горлышка бутылки несколько глотков водки, взятой в казенной лавке на счет купца Мялищева, он быстро согрелся и уснул.

Кучер молчком, чтобы не разбудить Турова, погнал лошадь легкими хлопками вожжей. Он, как филин, вертел головой из стороны в сторону, но скоро однообразие дороги сморило его, и он не заметил, как тоже задремал.

С низкого мглистого неба спускался синий ветхий полог, на ветру рвался, и сквозь прорехи проглядывали косматые обрывки темных облаков. Потом полог почернел, и на нем зажглась одна, потом другая, третья... крохотные, как искорки, звезды.

Неистовый лай какой-то собачонки зазвенел в воздухе, и казалось, только теперь обоз тронулся с места: лошади прибавили шаг, тягуче заскрипели ивовые крепления саней, заухали людские голоса.

Подъезжали к деревушке в пять дворов с названием Кедрушка. Каратели, которые прибыли в нее загодя, уже успе-

ли прошарить каждый угол крохотных изб, докладывали: опасений для отряда быть никаких не может. Мужиков пять человек, трое из которых, говорят, на охоте, ушли на лыжах в лес. Пять коров. Из избы в два окна с белыми наличниками хозяева выдворены, печки хорошо протоплены — тепло, не угарно.

Туров еле поднялся из кошевы. Он чувствовал себя отвратительно: здесь, в снегах, его вроде подменили: ныл каждый сустав, болели не только колени, но и каждый палец. Но простонал он не от боли, а от увиденных в полутьме крохотных избушек, наполовину заваленных снегом.

— Только вашему благородию да офицерам места нашлись, а солдаты будут ночь коротать возле костров. Кольшу Сосунова да кнутобойцев в баню определил, — докладывал Киргизов, растирая рукавом правую чуть прихваченную морозом щеку. — Надо было ефрейтора Сосунова в Сатарове оставить, простыл, видать, сильно. А эти, — сплюнул Кургизов в снег и оглянулся, — костоломы-то, ворчат: мол, если работы нет, так нечего нам здесь морозиться. Кому в харю дать — так и сами сможете, мы, мол, обратно, в Тобольск вернемся.

— Медвежатника ко мне, — приказал Туров Киргизову, ощупывая на боку кобуру.

Избенка крохотная. Свеча тускло освещала один угол, темный потолок, глиняные горшки на столе, выскобленном ножом до желтизны, да чистое, расшитое петухами полотенце. От сильного хлопка двери, брошенных на пол меховых покрывал пламя свечи оторвалось от тоненького фитиля и, подпрыгнув на вершок, потухло, словно его проглотила притаившаяся в углах темнота.

— Колька Сосунов предусмотрительный, лампу несет, — говорил Киргизов, обтирая усы.

Лука Саввич чуть было не упал на колени, войдя в избу.

— Лесу, че ли, нету? В этаких банях живут, — буркнул медвежатник.

Увидев Турова, Лука Саввич вроде как оробел, несколько раз подобострастно поклонился, отметив про себя: «Видать, господин высок чином, и глаз востер. Повадка как у рыси. Та тоже притаится, не шелохнется на дереве, глядит и не глядит на добычу, а потом прыжок — и на загривке! Поминай, как звали».

Туров кивком пригласил Луку Саввича сесть. Из печи пахло паренками. Он мог без ошибки сказать, что там возле заг-

неты в чугунке морится репа, нарезанная ломтиками, и проглотил слюну: не мог вспомнить, когда ел в последний раз.

— Мы вот здесь, — показал поручик на кружки, полоски и черточки на листе бумаги. — Нам надо сюда, — он провел пальцем длинную полоску кверху и потом в сторону. Вот эту снежную равнину нам надо перерезать — пройти по вогульским стойбищам к Уралу.

Лука Саввич ухмыльнулся в бороду.

— Я в твоих бумагах, мил человек, ничего не пойму. А скажу: до вогул далеко. Я в той стороне не бывал. Я все таежничал, медвежатничал. В Тобольск медвежьи шкуры на продажу возил. А к вогулам наперерез к Уралу идти — дело гибельное. Кабы было просто и легко, — вздохнул Лука Саввич, расстегивая пуговку на рубахе, — ранешние-то люди дорогу бы проложили, поди, посмекалистей нас были, а не могли — места гибельные, что зимой, что летом.

На промерзших петлях взвизгнула дверь. На полу оказался какой-то мужик.

— Разведчик! — орал в дверях подпоручик Плотников. — На лошади подъехал к дальней избе, да клестом кому-то насвистывает. Не заметил, отзывался ли кто ему, — неистовствовал он, пиная на полу мужика. — Удрал бы, да рядовой Субботин не дал маху.

На полу лежал Липатий. Он и сейчас, лежа на полу, не мог поверить, что оплошал, лежал, уткнувшись лицом в промытые половицы, корчился от пинков. «Знает, в какое место бить. Видать, в самые когти попал», — понял Липатий. Чья-то рука сграбастала его за волосы и с такой силой запрокинула голову назад, что он издал какой-то непонятный звук и оказался лицом к лицу с Туровым.

— Из избушки? — спросил Туров, думая, что совсем не вовремя притащили этого мужика. И куда с ним теперь? Дать бы на ночь тобольским костоломам, так те сразу в распыл пустят. А этого ни в коем случае нельзя делать. Пригодится.

— Из избушки? — спросил Туров.

— Не из берлоги, — ответил Липатий, обтирая кулаком разбитые губы.

— На улицу его до утра, раздетым, — вставая из-за стола, распорядился поручик.

— Лука Саввич, — услышал медвежатник голос Липатия от двери. — Ты-то че с ними делаешь?

Поджаров вскочил с лавки, но его грудью толкнул Киргизов.

— Так всей силой и гнете? А потом че? — храпя, как потревоженный в берлоге медведь, спросил Лука Саввич Турова. Услышав за избой возню, догадался, что там мучают Липатия. Раздался вопль, который издает человек в минуты нестерпимой боли.

— Сиди, а то и сам там будешь! — приказал Киргизов.

Раздались три ружейных выстрела. Эхо прокатилось над заснеженными крышами избенок, над разоженными посреди деревушки кострами, возле которых грелись солдаты.

— Усилить караулы!

«Перебьют всех, как мышей в мышеловке. Голый, а убежал! Ну и раззявы! Черт вас возьми!» — эта мысль всю ночь не давала ему заснуть. Он вертелся на перине, брошенной на сосновые доски, постоянно сплевывал слюну, слышал из каждого угла мышиный писк, чувствовал их запах. Турову хотелось забыть вчерашний день, подумать о чем-нибудь другом, но не мог. Слишком кошмарной была действительность.

— Да как он мог убежать по такому холоду в одном исподнем? — поднимаясь с перины, вскричал Туров. — Кругом солдаты, все с оружием.

Киргизов, лежа на полу, снова рассказал, что пойманный мужик — сатаровский, Сорокин. Из села ушел с купеческим обозом, а теперь, как и все, обитает в охотничьей избушке. К деревне подъехали со стороны кедрачей. Вдвоем. На лошадях. Одного караульный схватил, а другого и след простыл.

— Скорее всего не простыл.

— Видно не простыл, — согласился Киргизов. — Вокруг шум да крик, а тот не струсил. Лошадь почти к бане подогнал, ждал.

— Ясно, — проскрипел зубами Туров.

Он встал и теперь пристально глядел в крохотное оконце. Он видел, как толкутся и прыгают возле костра солдаты, толкают друг друга, чтобы согреться.

— Чего там? — приподнимаясь с полу, Киргизов тоже стал смотреть в окно. На уме было одно: надо спешить к теплу.

Удивительно! Все вооружены, а мужик из-под носа убежал.

Липатия подвела бесшабашность. До этого все обходилось, из всего он умел выкрутиться. Он не первый раз выходил в дозор. Дорога среди снегов одна, проглядывалась до самого окоема. Так было и на этот раз. Пропустили отряд.

Затем объехали с Панкратом Кедрушку. Липатий подзадоривал: давай да давай подъедем поближе. Панкрат осторожничал. Но тем не менее подъехали. Липатий вылез из кошевы, побрел на свет костра. И какая нелегкая его туда потянула?! А тут его только и ждали. Через минуту его пинками уже втоптали в снег. Не окажись рядом подпоручика Киргизова, пришлось бы Липатию распроститься с душой.

Панкрат стоял в кошеве на коленях ни жив ни мертв. Не заметил, как дернул поводья. Лошадь подошла к бане, но никто его не заметил. Возле костра стоял невообразимый шум.

Дрожащей рукой он нащупал ружье. В предбаннике кто-то разговаривал:

— Пойдем. Туров долго его держать не станет, придумает чего-нибудь. Может, даст нам поразмять косточки, а то без работы только зря хлеб едим.

Это говорил один из костоломов, определившихся на ночлег в баню.

Вдруг послышался истошный крик из темноты, и к костру кто-то подлетел кубарем. Среди черных тулупов и полушубков метался раздетый босой человек. Его толкали из стороны в сторону.

— Липатий! — Панкрату почудилось, что костры покачнулись, припали к земле. Это че за озорство? — рассуждал Панкрат, скрючившись возле облучка. Он взвел курок и, не прицеливаясь, выстрелил.

Над Кедрушкой, казалось, лопнуло небо. По деревне закружили черные тени.

— Липатий! — крикнул Панкрат, еще одним выстрелом потрясая воздух.

Липатий, еще не успевший потерять все силы, пурхаясь в снегу, полз к подводе. В этот миг о нем забыли, началась паника: кто-то кого-то искал, звал, торопил, приказывал.

— Скорее, скорее, — сведенными губами шептал Панкрат.

Скоро из-под наброшенного тулупа послышались всхлипывания.

Лошадь, рассекая широкой грудью снежную мглу, бежала рысью, чувствуя крепкую руку Панкрата.

— Вот ведь какая оказия приключилась с нами, Липатий, — шептал Панкрат, разглядев впереди тугие зароды, издали казавшиеся большими купеческими домами. — Тут теперь недалеко. Теперь Шараповская присада, а там и му-

жики. Ох ты! А еще говорят: в сны не верь. Как не верить-то? Ночью приснилось, будто ведро в проруби утопил. Стою на четвереньках, гляжу в темную пучину и вижу: лежит оно на дне и дужкой о камушки позвякивает. Я и нырнул в прорубь. Истинный Бог, так приснилось. Нырнул и достал ведро. Достал, и сам не верю. Вот ведь как! Сон-то в руку, а? Липатий, ты-то хоть живой? А, Липатий?

Липатий не отозвался.

Глава тридцатая

В отряд Антона Шмигельского по мере продвижения карателей на Север из сел и деревень потянулись люди.

— Надо объединяться, — настаивал Ефим Дорошин, — не давать карателям покоя, иначе грош нам цена, каждый ткнет пальцем и скажет: испугались, сбежали в лес, оставили всех на произвол судьбы, отсиделись в избушках. И будут правы.

Отряд намеревался оставить Шараповскую избушку и вынудить карателей повернуть обратно, не дать им возможности перейти через Урал.

«Прожили здесь немного, а уже обжились: и то надо и другое, — складывая разные мелочи, думала Ефросинья Алексеевна, немного повеселевшая, потому что Ефим поел супу из куропатки и попросил добавки. — Домой бы ему теперь, домой. Вот Степан-то Голощапов здоров, а его домой, в село послали. А Даша совсем переменилась: об доме даже не говорит, — удивлялась Ефросинья Алексеевна, наблюдая со стороны за невесткой. — Раньше-то какая домовитая была — часу лишнего нигде не задержится. Уже на что в сенокосную пору наработается, и прилечь бы, отдохнуть до утра, а она, глядишь, опять домой бежит. Утром ни свет ни заря обратно надо. Покос не близко — верст пять от села, да все через болотины». Но больше всего старую женщину удивило то, что Даша вчера вечером напросилась идти с мужиками в дозор: тепло оделась, взяла охотничье ружье и без слов вышла из избушки. У Ефросиньи Алексеевны сжа-

лось сердце. Но вдруг дверь распахнулась — вернулась Даша, схватила на руки Николушку, потом Маняшу, как-то жадно, молча расцеловала их, усадила к отцу на постель и торопливо закрыла за собой дверь.

— Не гляди на нее так, — заметив растерянный взгляд матери, сказал Ефим. — Время излечит, а пока ни о чем не спрашивай ее, не зови домой.

— Я и сама вижу, но вроде не бабье это дело по избушкам на сене спать, с ружьями ходить, — рассуждала Ефросинья Алексеевна.

За избушкой было шумно: разговаривали мужики, фыркали лошади, пробрякивали удилами, сдвигали с мест промороженные сани. Мужики посвистывали, глядя на отдохнувших бодрых лошадей.

— Наши лошади супротив ихних — хоть куда, — говорил пришедший из дозора Савелий Тиунов. — Мы как-никак в обоз, в дальнюю дорогу самых сильных отбираем, а у них сброд. Оне ведь грабастали, че под руку попадет. Гляжу, самый-то главный у них на шлеинском жеребце раскачивается. Я его на мушку взял. А он вроде почувствовал, что на мушке сидит, сразу в кошеву пересел. Кошева-то земцовская. А ее сразу узнал.

Перед дорогой Ефросинья Алексеевна присела спиной к печке и сразу почувствовала, как тепло от прогретых кирпичей коснулось всего ее тела, только сейчас она поняла, как ей хочется тишины, покоя, тепла. «Ох, Боже мой, сморилась, — вспорхнула она с табуретки и долго ворочала во рту сухим языком, ощущая на небе шершавую сухость. — Все думала раньше, откуда старые берутся? Наверно, такие и родятся». Мыслями она была уже в своем селе: «Как там дома? Зорьку, поди, запустила Степанида — ей скоро телиться. Герань на окне замерзла, если соседка не утащила к себе. Ниче, новую выращу. Отводку возьму, а к лету она и зацветет», — Ефросинья Алексеевна жила заботами оставленного на произвол судьбы дома.

— Видать, долгая будет у вас дорога: конца ей и краю не видно. Когда, хоть, домой ждать? День дома десяти тутошних стоит. Хворый ты. Волдыри-то на губах кругами ходят: одни тухнут, другие выскакивают.

— Сама видишь, нельзя мне, мама. Нельзя домой. Я для этого сюда прислан, — впервые так просто и неуклончиво сказал он Ефросинье Алексеевне, и она, снова усевшись на лавку и сложив изработанные руки на коленях, кивала.

— Какое же это дело, Ефимушко? — только и спросила.

— Надо остановить эту коварную наледь, — проговорил Ефим, на что Ефросинья Алексеевна не ответила, лишь шепотом стала читать молитву.

— Никакие молитвы, никакие слезы не остановят эту нечисть. Карательные отряды коварнее регулярных частей, они расшатывают у людей веру в новую власть. Если они пройдут целыми и невредимыми, а мы отсидимся в избушках, что люди подумают? А нам потом какой разговор вести? Карательные отряды — кровавая наледь на нашей дороге, на пути советской власти.

— Наледь-то знаю, а советскую власть — нет. Наледь — это не приведи Бог, — поддерживая с сыном разговор, говорила Ефросинья Алексеевна. — У нас по Оби года три назад наледь шла — так беда. Люди ни туда ни сюда.

Судя по тому, как менялось лицо Ефросиньи Алексеевны: то розовело, то от него снова откатывала кровь, и оно становилось мертвенно белым, нетрудно было заключить, что сердце у нее заныло. Ноющая боль стала отдавать в левое плечо. На мгновение замешкавшись, постаралась не порвать нить разговора.

— И откуда она, эта наледь, в тот год появилась? Ползла и ползла по реке. Потом кто-то из догадливых сказал: наказанье это нам! Наказанье — так наказанье! Ты, может, и не думаешь, за что тебя Господь Бог наказать собрался, а, видать, есть за что. Где люди-то безгрешные? Разве только младенцы, да и те молоко грешной матери сосут, значит, уже припали к греху.

Тут Ефросинья Алексеевна поднялась с лавки и дрожащим, робким голосом закончила:

— Вот вогулы свои реки, озера, речушки всегда одаривают. Начнется на реке мор, они сразу задабривают своего водяного царя. Ну мы тут тоже задумались, может, и вправду не грех и нам так сделать. В такое-то время во все верить станешь. Лишь бы защиту найти. Притащили кто что и давай с берегов бросать в реку: кусочки хлебушка, картофелины, сальце, ягоды... Тут она, вспомнив, как это было, хохотнула. Уж такая по льду новая река пошла — хоть садись в лодку. Слава Богу, мороз ее в одну ночь утихомирил. Проснулись — ни тебе пару над рекой, ни бугров ледяных. Ровненький ледок.

— Так и эта наледь пройдет, — проговорил Ефим и, крепко вцепившись в край наскоро сколоченного стола, припод-

нялся. — Мы, поди-ка, у себя дома, плохие ли, хорошие, но хозяева. А непрошеных гостей выгоним. Нам вот только собраться с силой. Ружей побольше.

Ефросинья Алексеевна почему-то зажмурилась, не нашлась, что ответить сыну. Видно было, что Ефим оживился и что есть у него желание поговорить, но громкая ругань за дверями прервала разговор.

— Надоели вы все. Красные, белые, черные! Домой хочу и все. В бане помыться, попариться, вчерась вошь не себе поймал. Сколько недель-то в бане не мылись?

— Ты что ли один? — возразил разошедшемуся шорнику Ивану Савелий Тиунов.

— А мне плевать. При чем тут все? Я про себя говорю. Не терплю я зуду. И точка. Че ко мне пристали? Кажный про себя пущай знает, а я домой поеду. Никому не нанимался, ни у кого в долгу не был. Айда, тетка Ефросинья, собирайся. Если не поедешь — один уеду. А опосля погляжу. Может, вас догоню, а может, на печке лежать буду. На том и прощайте! — резко проговорил Иван.

— Поезжайте, мама, — не вступая ни в какие разговоры с Иваном, совершенно спокойно сказал Ефим.

Липатия с Панкратом заждались. Им давно было пора вернуться.

— Подождем, — сдергивая с головы заячью шапку, сказал Антон Шмигельский и вышвырнул в снег недокуренную самокрутку. — Бестолковая. Добро на навоз перевела. Такой табак вырос, листья как лопухи, а она сложила их под оленью шкуру и морила сколько дней. Ведь говорил: не лезь к табаку, все равно не сделаешь, как надо. Вот рыбу солить — ее дело. Тут лучше никто не умеет. Везде пробую — не по-Меланьиному: то с душинкой, то пересол, а у ней из-под рук такая выходит — во рту каждый кусочек тает. А шкуры как выделывает — сразу видно, что у ней в руках побывали: мягкие, легкие. Но табак — тьфу! Мужиков угостить совестно. А как смекнула, что испортила, лист в плесень пошел — давай реветь. Хотел поругать ее, — рассказывал Антон о своей жене, — да махнул рукой. Этих-то отправляйте. Пусть едут да на печи греются.

Даша плотно сжала губы, когда прощалась с детишками и Ефросиньей Алексеевной.

— Не суди. Знай, за Сергушу хочу расплатиться да Ефима жаль.

Откуда-то донеслись один за другим два выстрела.

— Оставайтесь с Богом, — прикрывая в коробе ребятишек, попрощалась Ефросинья Алексеевна. — Маняша кричала, просилась к матери, и еще долго Даша слышала ее плач и стояла, прикрыв ладонями уши.

Первая партия отряда Антона Шмигельского вышла из Шараповской избушки в ночь. Путь держали в село Репино, через Кедрушку. Наказ был один: без разговоров! Каждый чих и кашель гасить в рукавице.

Шли неходко, но все-таки с непривычки у Савелия несколько раз соскальзывала левая лыжина, и, доставая набитый снегом валенок, он ложился на спину и клал матерки один к одному в стройный лад. Этому он научился смолоду, когда только стал ходить в обозах торговать рыбой. Попался тогда ему пронырливый мужичок, крохотный ростом, юркий, как вьюн. Его в одном месте толкнут, в другом пнут, а он, как мячик, упадет да в другом месте подпрыгнет. И все с какими-то прибаутками-шутками. К Савелию прибился во время его гульбы после проданной рыбы. Сам-то Савелька плохо помнит тот день — весь нос в табаке был, а гнусавый голос так в памяти и остался. Савелька в ту пору уже женой обзавелся, бороду отпустил, лошадь себе купил. Гнусавый-то мужичонка и говорил шепотком: спрячь деньги-то подале, а то обчистят. Сам слыхал.

— Пошел, неумытая рожа! — по-купечески расстегнув полушубок, прикрикнул на него Савелий. — Я тя ногтем, как клопа, придавлю. Ныряешь тут под ногами.

Мужичонка отпрыгнул и свое:

— Вы, сибирские мужики, — полоротые. Про это все знают. Общиплют, оберут тебя, помяни мое слово.

— Не каркай! — икнул Савелий, и как-то умудрился схватить мужичишку за шиворот, а может, тот сам поддался. — Ну и котенок ты тощий, кожа да кости!

— Отпущай, — гнусаво пискнул тот, и тут посыпалась такая складная матершина, что Савелий разинул рот.

— То-то! — обтирая рваным рукавом влажный пот, выдохнул мужичишка.

— Вот это да! — удивился Савелий. — Скоко колен-то у матерков! У меня ума не хватит столько запомнить да и язык так не пошевельнется бойко.

— Шевельнется. Не большая наука, — подмигнул мужичок. — А тебе я скажу: деньги прибирай. Обчистят — домой с голой задницей приедешь. Нынче ирбитские мужики на-

ехали и про вас разговор вели. Они бывалые, у себя в Ирбите этим не занимаются, а в заводах возле гуляк руки греют. Уже башкир обшарили, у купца из Оренбурга, видать, немалый куш вытащили, тот дня два волосы на башке рвал. А теперя на вас охоту ведут. Мне че? Я был да ушел, а ты опосля сопли на кулак мотать станешь.

Савелий при мужике вроде хорохорился, но тот плюнул и ушел с глаз.

—Эй-эй! — заорал Савелий вдогонку. — Научи матеркам — заплачу, не пообижу.

Тот воротился. Сел неподалеку от Савельиного короба. Сам Савелий в короб с сеном залез. Руки-ноги разбросал, зевнул и приготовился слушать.

— Ну, зачинай! Уж больно складно слово к слову подобрано. Зовут-то тебя как?

— Сарапко, — бойко ответил мужичок.

— Это по-каковски?

— Как по-каковски: Сарапко да Сарапко. Ясно дело: прозвище. Имя, какое на бумаге было, когда из богодельни выписывали, позабыл, — говорил Сарапко.

— Зачинай! — улыбнулся в аккуратную бороду Савелий, представив, как сразит наповал всех мужиков, если выучит все слово в слово. Сарапко начал. Первые три ступеньки были из знакомых слов и запомнились сразу, а дальше пошло трудней. Минут через десять язык у Савелия отяжелел, стал прилипать к небу, рот обожгла сухость.

Мимо саней взад-вперед прошли двое ирбитских мужиков, поглядели на Савелия. У Сарапко ушки на макушке. Видывал он таких. Ткнул Савелия в бок, а тот, сморенный сном, зазевал:

— Давай, Сарапко, отдохнем, а потом начнем заново.

— Не спи, дурак. Я тут, да меня нет, а тебя обчистят.

В ответ Савелий схватил его за руку и сам сунул за пазуху, и все, и сон сморил его. Взял Сарапко деньги, шмыгнул из короба, за другими санями спрятался и глядит. Ирбитские ухорезы кругами, кругами возле короба со спящим Савелием: то будто заговаривают с Савелием, то легонько ткнут, а он в ответ мурлычет. Один, попроворнее других, юркнул в короб и давай ворочать сонного Савелия. Трое по сторонам зыркают. Выскочил из короба ирбитский мужик, стряхивает сено с шерстяных штанов и сквозь зубы цедит: «То ли больно хитер, то ли кто раньше нас почистить успел», — и, как ни в чем не бывало, зашагал между санями, коробами, кошовками.

Дня три Сарапко не подходил к Савелию, глядел на него со стороны. Не узнать мужика — голову повесил, глядит под ноги. Кто-то из своих на гармошке на радостях наяривает, к себе зовет, а он только отмахивается: хватит, хватит с меня! Лошадь он в тот год у купца Мялищева купил на загляденние. Вот он возле нее и находил утешение.

Сарапко перед ним вырос как из-под земли. Не стал травить душу Савелия, а протянул ситцевую синюю тряпицу с черными полосками. Савелий так и сел, где стоял. В тряпице этой были его деньги. Тут и поладили Савелий с Сарапкой. Пошел мужик в сибирскую сторону с обозом, дорогой обучил Савелия матеркам. В первые годы тот щеголял перед мужиками, потом надоело, а после, как ребятишки подрастать стали, совсем стал отвыкать. — «Пущай слышат, да не от меня. Уши-то я им не заткну, а от меня чтоб поганого слова не долетало». Так все и было, да тут с этой лыжиной отрыжка вылетела. А Сарапко тогда в Сатарово пришел, обзавелся семьей и имя свое вспомнил: Серапионом Матвеичем стал.

— Ну, рыгнул стариной, — сказал кто-то. — Время нашел. Лошадь вон по дороге бежит.

Лыжники притаились, спрятали от мороза лица: кто в ворот, кто в рукавицы. То в одном, то в другом месте визжали-скрипели перемерзшие крепления лыж.

— Панкрата лошадь, — смежив тяжелые ресницы, сказал Савелий, лежа на снегу. — Панкрата. А Липатий где? На двух лошадях уезжали.

В избушке тоже беспокоились: Липатий с Панкратом как в воду канули. Прибежавшие репнинские мужики сказали: в селе переполох, перепуганные бабы рубахи на смерть нашили и себе и ребятишкам, в банях вымылись, свечи зажгли. Смерти от карателей ждут. Кулачишки козырями ходят, грозятся со всех снять шкуры живьем.

— Вот только пройдут Репнино, мы им устроим... Пусть узнают наших, паразиты, — слушая репнинских мужиков, негодовал Ефим. В приоткрытую дверь дозорный крикнул:

— Лошадь Панкрата бежит. Другой лошади нет.

Мужики все в ружья и на улицу. Немного погодя, на тулупе в избушку затащили Липатия в исподнем белье, во многих местах разорванном и испачканном кровью.

— Липати-и-и-й! — охнула Даша. — Кто хоть тебя так? Кто, любезный?

— Да отпустите вы, ради Христа, — хрипло сопротивлялся Липатий, уткнув лицо в полушубок. Панкрат тоже долго

ничего не мог сказать. Вспомнилось, как в детстве, напугавшись собаки, он начал заикаться, и только старая горбунья, приходившая в село торговать деревянными гребешками, а главное, скупать у охотников соболей, несколько недель выносила его на утреннюю зарю — заговаривала испуг. Мать рассчиталась с горбуньей пуховым платком, и Панкрат жил-поживал — горя не знал.

— Ох, Липатий, под счастливой звездой родился, — вздохнула Даша. — Они бы над тобой потешились, кабы не Панкрат. — Как бы потешились! Это ж придумать надо: в такую стужу человека нагишом на двор выставить! Это же додуматься надо! Да вот где тебе штаны-то взять? Нет ни у кого лишних, ничего Липатий, голь на выдумку хитра.

Даша вышла, набросив на плечи толстую шерстяную шаль. Липатий застонал от боли:

— Вывихнули, поди, руку. Им, жеребцам, силы не занимать. Швырнули, только ноги сбрякали.

— Лежи, не разговаривай, — пожалел кто-то из мужиков Липатия.

В углу избушки от мороза треснуло дерево.

— Крепчает. Ломает коровий рог! — сказал Панкрат и отшатнулся от чугунной плиты, на которой закипел ведерный чайник и колоколом зазвенела тяжелая крышка. Выплеснувшаяся в рожок вода круглыми шариками каталась по плите, шипела.

Возле избушки под наскоро выстроенном навесом стояли лошади. Засунув головы в короба, они хрустко жевали сочное запашистое сено. Учуяв человека, перестали жевать, подняли головы.

— Ешьте, ешьте, — шептала Даша, стаскивая с себя нижнюю байковую юбку. — Я Липатию шаровары сошью. Не путние штаны, да все не подштанники. Вот две полосы выпорю и нам обоим ладно будет. А вы ешьте, ешьте. Такого сена надо искать да искать. Ишь, любопытные. Это ты, Буранко весь в испарине? Ну молодец, молодец, — ворковала перед лошадью Даша. Просунув руку под наброшенную попону, провела рукой по гриве, нащупала головку репейника, потянула, но та не поддалась. — С осени к гриве репей прилип, а Панкрату хоть бы что. Я вот ему выговорю. — Запахнув полы тулупа, пошла к избушке, пряча от всех снятую юбку.

Мужики обступили Липатия с Панкратом: как там у карателей в отряде, чего заприметили.

— В избушке у них...
— У Турова? — помог ему Антон Шмигельский.
— У него там, как его, медвежатник.
— Поджаров, что ли? — приподнявшись на локтях, спросил Ефим.
— Ага. Лука Саввич. Когда меня из избы за загривок вышвыривали, я прямо с ним нос к носу. Я его, кажись, по имени и отчеству назвал.
Мужики притихли.
— Чего это он у них делает? — проговорил Антон. — Не иначе, станет им дорогу показывать. А иначе зачем он им понадобился?
— Если его сцапали, то для дела. Слов нет. Поджаров со своей Черноярки так не пойдет, — рассуждал вслух Антон. — Но ведь он не там охотничает, куда им надо, — прикидывал он, вспоминая главные тропы медвежатника. Они к Уралу тянутся, а он охотничает совсем в другой стороне. Мужик он характерный. По-своему живет.
— Плетью обуха не перешибет. Эти молодчики норовто ему укоротят. Одно дело перед купцами да торговцами канителиться, а с ними — не поговоришь, — сказал Ефим.
— На, Липатий, надергивай. Стежки большие, но крепкие, — шепнула Даша, протягивая сшитые наскоро шаровары.
К остатку ночи сон повалил всех. Разомлев в тепле, Панкрат уснул на корточках возле порога и захрапел так, что с головы слетела нахлобученная на глаза шапка.
— Ткни его, — буркнул Липатий. Он только теперь, в тепле, среди своих, с ясностью и дрожью представил, какой роковой могла быть для него сегодняшняя ночь, не решись на выстрелы Панкрат. Он спрятал голову под какой-то мешок, от которого пахло травой. Напахнуло прелью сохнувших возле печи портянок, лежавшей для растопки березовой корой. Слышно было, как в печи щелкнул долго тлевший на углях смолистый сучок, вспыхнул и тут же потух.

Глава тридцать первая

Туров с тоской посмотрел в окно на дымящиеся головешки костров и резко отвернулся. Поодаль, на санях лежал убитый шальной пулей Лопухин. Нелепая смерть. Рядом с санями валялся сброшенный ветром половик. «Кровью парень изошел, — сжал кулаки Туров, — а рядом ни одного лекаря. Удрали. Тайком. И не боятся, а вдруг дороги пересекутся? Мир тесен. К стенке сразу. К стенке мерзавцев! — вспоминал он недобрым словом двух лекарей, прикомандированных к отряду в момент формирования. Старший из них накануне исчезновения заходил. Где это было? Где? Еще шли по Иртышу. С претензиями: мол, людские увечья законом караются. Тоже мне, адвокат! Законом караются. А Лопухина прихлопнули по каким законам? Он, Лопухин-то, еще, поди, и не целован, а вот лежит, и куда теперь его?»

Турову показалось, что нога Лопухина пошевелилась. Положив лоб на переплет оконной рамы, он вгляделся: возле саней кружила длинноногая собачонка. Обежав вокруг саней и забросив на полоз передние лапы, она, казалось, разглядывала безжизненное лицо Лопухина. Туров не выдержал — забарабанил в раму. Спавшие вскочили, хватаясь за оружие. Киргизов босым вывалился из двери и стал стрелять в серое предутреннее небо.

Неожиданные выстрелы учинили в отряде переполох. Началась стрельба: никто не знал, кто в кого стреляет.

— Отставить! — закричал Туров, выхватывая из трясущихся рук Киргизова револьвер. — Отставить! — цедил он в лицо подпоручику, сжимая его запястья и чувствуя, как тот дрожит от бешенства. — Отставить, — уже тише прошептал Туров, отталкивая от себя Киргизова.

По его ссутулившейся спине, по сжатым кулакам он понял, что им пора расставаться. Иначе недалеко до беды — всадит пулю в затылок из-за угла. Нет, Киргизов не враг. До смертного часа будет драться с комитетчиками, но не признает никаких команд.

Туров вспомнил небольшое село Филино, где Киргизов расправился с подозреваемыми в сочувствии новой народной власти. Он выстроил шестерых в затылок друг другу и намеревался расстрелять всех одним выстрелом. А когда

этого не смог сделать, до изнеможения колол штыком связанных по рукам и ногам людей. На вопрос Турова: «Кто позволил?» — с вызовом ответил: «Сам решил». В Сатарове после смерти подпоручика Лушникова он не мог успокоиться, ходил мрачнее тучи, постоянно искал кого-нибудь, на ком можно было бы сорвать свой гнев.

Возле пойманного ночью мужика ходил кругами, лелеял надежду утром допросить его лично. Узнав о побеге, в истерике разрядил неведомо в кого всю обойму.

На выстрелы сбежались солдаты. Устав всю ночь топтаться возле костров, они находили места в санях, прятались под тулупами, а многие, взобравшись на лошадиные спины, клонили головы к гривам и засыпали.

Лошади, собранные из разных сел и дворов, приноравливались друг к другу не легче людей: подолгу принюхивались, присматривались, потом какой-нибудь из жеребцов со свистом втягивал воздух, подавал голос, по-видимому, узнавая среди других запах подружки с летних лугов. Лошади в обозах, привычные к мужским окрикам, махорочному дыму и тягучим ямщицким песням, были безотказными, податливыми, однако от выстрелов Киргизова вспрянули на задние ноги, посбросав со спин спящих людей.

— Через два часа снимаемся, — погасив раздражение, отдал приказ Туров.

Над бусыми снегами ползли сизые клубы дыма от костров. Они медленно поднимались над деревушкой, смешивались и терялись в черных вершинах кедрачей. Костровой искоркой повисла на небе единственная звездочка, временами теряясь среди медленных туч, наваливающихся раздутой синей грудью на горизонт. За тучами тянулся ленивый рассвет.

На дальнем костре в чугунном закопченном котле варилось нарубленное ровными кусками мясо. Этот котел Туров приказал вывернуть из кирпичей бани богатого лодочника, определил для котла подводу и велел больше не задавать вопросов: где и на чем варить еду. Повар Степан, барствуя в селах на чужих харчах, отвык от своей работы. Только к ночи он услышал потрескивание толстенных стенок котла — первый радостный признак закипания. Подбросив еще несколько тонких березовых полешек, привстал на цыпочки, разглядывая ноздристую бурую пену. С самого дна вспучился и булькнул блестящий пузырь, повар стал переворачивать вкусно пахнущие куски мяса. «Слава Богу, — вздохнул повар, — господам офицерам надо бы пожирнее кусоч-

ки сварить, да в сторону поставить». Проурчало в животе — кишка кишке марш играет. Отыскав в коробе деревянный половник, повар зачерпнул кипящего бульона. Клубился, голубел на морозе горячий пар.

— Внутрях надо погреть, — раздался позади сонный голос одного из костоломов. — Всухомятку жить не могу. Сразу всю силу теряю, — и он протянул большой банный ковш. — Маловато будет, за добавкой приду. — Сквозь узкие щели наплывших век он наблюдал, как Степка ловил половником куски мяса. — Мяса поболе, — сказал, сглотнув. — Зубы у меня, как у волка, крепкие. — Шумно и жадно отхлебывал он горячий бульон, топтался возле огня. — Че с этим парнем делать? С кашлюном-то? В бреду всю ночь песню тянул: на мою могилу, знать, никто не придет. — Тут костолом вздохнул. — Смерть чует.

— Поди скажи самому-то, — посоветовал Степка.

— Пущай сами смотрят. Я ему не хочу лишний раз на глаза попадать, — фыркал костолом, обжигая губы.

К костру гуськом брели солдаты, кто-то в стороне ругался на лошадь, то с одной стороны, то с другой слышался кашель, — вначале робкий, тихий, будто пробующий силу, затем бухающий, с надрывом. Деревенские собаки, прижав хвосты, убежали к ближним стогам и лежали там на мягких сенных подстилках, не подавая голоса.

— Эко как все бухают! Простыли, — говорил костолом, смачно разжевывая горячие жирные куски мяса.

В окнах избушки, где квартировали офицеры, горел свет. Команда Турова выступить через два часа относилась ко всем. Киргизов нервно топтался на месте.

— Значит, убежал? Прямо тепленького из рук выпустили? Кто бы это мог быть? — в упор глядел он на Никиту Мялищева.

— Наш, сатаровский мужик.

— Видел, что не баба. Сам штаны сдернул, — съязвил Киргизов, не в силах погасить в себе ярость.

— Значит, «наш»? — хрипло переспросил, и нижняя губа у него покривилась в сторону.

— Липатий Сорокин. Всю жизнь был у отца в найме. В обозы ходил.

— Мне эти «наши» вот где сидят! — хлопнул себя Киргизов по затылку. — К кому шел он сюда?

Никита и сам всю ночь размышлял, зачем явился Липатий. Что там стряслось?

Киргизов будто читал его мысли — в упор смотрел на него.

— Отставить, подпоручик! — властно приказал Туров, понимая, что сейчас не место и не время разводить разговоры, от которых в данную минуту ничего не изменится. — Распорядитесь отправляться!

Под медвежьим покрывалом стало сразу теплее, терпкий запах застарелого жира уже не раздражал Турова: то ли он стал к нему привыкать, то ли у звериной шкуры была особенность терять на морозе резкие запахи. Поручик поглядел на деревушку, в которой прокоротал ночь. Все избушки смотрели окнами на дорогу, на каждой были резные наличники, а на высоких печных трубах — жестяные копалухи, защищающие от снега дымоход. «А хозяев и не видел, — подумал Туров. — Как вымерли. Интересно, куда они попрятались? Жили же до нашего прихода: и зыбка в углу не убрана, и дрова возле печи, и воды полная кадка. — Туров порадовался, что сейчас нет никого с ним рядом, можно расслабиться, побыть самим собой. Вспомнив убитого Лопухина, расчувствовался и полез в карман за носовым платком обтереть повлажневшие глаза. — Оставили парня. Зарыли в снег, как собаку! — Он вспомнил мать Лопухина — высокую, красивую женщину в собольей шубе, в пуховом платке. Она провожала отряд с иконой в руке. — Может, ее сердце чувствовало? Не приведи Бог встретиться, как в глаза ей глядеть? Чего говорить при встрече? — Туров только теперь осознал причины хандры. — Да только ли Лопухин? А Лушников? А расстрелянный солдат? А...» — В голову назойливо лезли мрачные мысли, и он вдруг осознал, что боится признаться даже самому себе в опрометчивом своем поступке — не надо было ему идти в карательный отряд.

Глухой, отрывистый кашель ефрейтора Сосунова летел с передней подводы. «Этого довезти бы до Репнино. Говорят, село большое. Да доживет ли? Всю ночь горлом шла кровь. И бредит. Меня не узнал. Так и самого похоронят здесь под каким-нибудь пнем...», — Туров выругался, резко отбросил покрывало и увидел перед глазами подпоручика Киргизова.

— Ваше благородие, — отрапортовал подпоручик, привстав на стременах, — разведка доложила: нас стороной сопровождает какой-то отряд.

— Что?

Киргизов повторил все из слова в слово.

— Что за чепуха? Какой может быть отряд?

— Не могу знать, — и, стегнув жеребца, подпоручик поскакал стороной, объезжая подводы. Снежная пыль вихрем кружила за его спиной.

Глава тридцать вторая

Аням Косачиный Глаз гнал упряжку во весь мах, хорей плясал у него в руках, летал над оленьими спинами. Ветер посвистывал в гибких ветках кустарников, колдовал в вершинах хмурых сосен, стряхивал с иглистых веток снег, припорашивал свежие следы лисы-огневки. «Недалеко ушла. Можно и догнать», — подумал о лисе Аням, но махнул рукой. Было Аняму как-то не по себе. Он даже сам не мог объяснить свое желание остаться одному. Почему он уехал из своей юрты, оставил там гостей — Митрича и молодого парня? Он сказал им неправду, что поедет к Уралу, повезет пушнину.

Он выплюнул в снег кашицу перепревшего табака, достал берестяную табакерку, украшенную резьбой, вынул из нее новую щепотку, и, попеременно поднося к широким ноздрям, с наслаждением громко чихал. Когда на лбу выступила испарина, Аням положил табак на десна, обтер губы и стал ждать. Появилось легкое головокружение, и тело расслабилось. В полузабытье Аням стал мурлыкать песню: он, Аням Косачиный Глаз, хотел бы встретить знакомого охотника, узнать, когда приедут купцы за пушниной, у кого будет свадьба и в какое русское село собираются охотники ехать торговать, а самому рассказать, что к нему приехал Митрич, привез на нартах много муки, сахара, чая и что мужики просятся на праздник медведя к Ропаске, а он не знает, брать ли их с собой.

Аням приоткрыл красноватые веки, посмотрел вокруг блуждающим взглядом, свернул к деревянному идолу, высеченному топором из сосны, привязал к нижней ветке голубоватую беличью шкуру, погладил ладонью выпуклые деревянные глаза и до самой нарты шел спиной вперед. Мысль о том: брать ли мужиков на праздник медведя — и выгнала Аняма из родной юрты, он не знал, как поступить, боялся

прогневать Торума, боялся услышать плохие слова, увидеть хмурые взгляды стариков. «Совсем, совсем мало табаку осталось, — подумал Аням, похлопывая себя по карману и намереваясь сменить порцию табака. В другой день он не стал бы выбрасывать старый, а держал бы и держал его за губой. Так бы и уснул, с наслаждением ожидая нового дня, когда положит свежую щепотку и она на какое-то время унесет его к облакам. — Совсем мало табаку. Совсем мало, — вздыхал охотник. — Много охотников приедут в русское село. Тур-эква заплетет мне красивые косы, сошьет новую малицу и савик, новые унты, пришьет звонкие колокольца на кожаный нагрудник каждого оленя. Они будут звенеть и всю дорогу петь тихие песни. — Растянувшись на нарте, Аням прикрыл ладонью глаза и почувствовал, как колючие снежинки щекочут ему лицо, падают на редкую бороду, прилипают к губам и тут же становятся мелкими каплями, он слизывал их языком и снова пел. — Скоро все поедут на праздник медведя. Ропаска у подножия горы подстрелил хозяина. Все поедут на праздник медведя, только Куземка придет пешком. Куземка всегда ходит пешком. У Куземки давно нет оленей. Куземка бедно живет. К Куземке не ездят охотники. Куземка зимой ставит берестяной чум. Шибко плохо живет Куземка».

Аням Косачиный Глаз неожиданно прервал свою нескончаемую песню. Может, табак, положенный за губу, стал слабее, может, мороз стал пробираться сквозь широкий подол савика, может, на память пришла дочь Куземки красивая Лям-эква, только Аням медленно поднялся, упираясь руками о край нарты.

Рассвет расшторил дали. По белому полю болота волнами катился серебряный снег. Стоявший в стороне сосняк расшумелся, раскряхтелся тяжелыми ветками, роняя в снег темно-коричневые, высохшие на ветках и морозе иголки. Аням взял хорей, и олени вспружинили сильные ноги, встряхнулись спинами, приготовились к бегу.

«Сака емас Лям-эква![1] Сака емас! — Аням приподнял хорей, прислушиваясь к легкому поскрипыванию промерзшей упряжи. — Глаза шибко чистые у Лям-эквы, как у годовалого соболя. Пусть Куземка за Лям-экву большой калым просит», — думал свою думу Аням о бедном охотнике Куземке, у которого много лет назад волки зарезали все ста-

[1] Сака емас эква — очень хорошая девушка.

до оленей. Он помнит, как на болото приезжал Васька-шаман и разговаривал с духами. Он все сказал охотнику: с какой стороны приходили злые серые собаки, сколько их было в стае и куда они убежали. Он все сказал, но не сказал, как теперь жить Куземке, как справиться с бедой. Одна у него надежда — Лям-эква. Кто возьмет ее в жены?

Олени бежали сами по себе, по своим тропам, Аням все еще находился в полусонном состоянии, и только беспокойные думы о судьбе Куземки хмурили взгляд. «Сколько зим на праздник медведя Куземка приходит на лыжах? — спросил себя Аням Косачиный Глаз и стал считать: — у Самбиндала был, у Курика был, у Ромбандея был, опять у Курика был, у Сигильета был, — Аням загибал по одному пальцу. — Теперь к Ропаске придет. Как не придет? Куземка хорошо играет на санквальтапе, хорошо песни поет. Как не придет Куземка, — Аням загнул палец на другой руке. — Много зим Куземка ходит на охоту на лыжах». Он вроде почувствовал себя виноватым, накинул капюшон на запорошенные снегом волосы, хотел снова затянуть песню про свою бескрайнюю снежную землю, но поперхнулся. Так токующий глухарь, которому в горло попала зрелая ягода, напрасно вытягивает шею, намереваясь затянуть любовную песню, не может.

Он стал перебирать в памяти охотников, пастухов, считать, у кого сколько оленей. «У шамана Василия Николаевича много оленей. Шибко много. У Гришки? У его сына Гришки — совсем-совсем мало. Зачем Василий Николаевич не дает оленей своему сыну? А может, дает? Зачем Гришка не сватает Лям-экву? Может, он не видел ее? Может, Гришка в жены русскую девку брать будет? Зачем вогулу в жены русскую девку? — рассуждал Аням. — Она на охоту ходить не умеет, шкуры выделывать не умеет, савики, малицы шить не умеет. Зачем Гришке русская жена? Самая лучшая жена Лям-эква. Надо ее Гришке в жены брать, свадьбу играть. Лям-эква сака емас! Сака емас эква!»

У развилки тропы Аням Косачиный Глаз повернул оленей в западную сторону. «Две луны туда, две луны обратно», — рассуждал он, еще не укрепившись в твердом намерении поехать к Гришкиной юрте, поговорить с ним о красивой девке Лям-экве».

Олени бежали по бездорожью, но Аням, сидя на нарте, чувствовал под снегом наезженные следы.

На исходе короткого зимнего дня вдали показались две черные точки. Недаром Аняма прозвали Косачиным Глазом:

сквозь узкий прищур красноватых век он четко разглядел две бегущие нарты с седоками. Аням подумал, что не напрасно он клал белку деревянному идолу. Тот услышал его слова и послал навстречу ему человека. Приложив руку к уху и вытянув шею, Аням прислушивался к еле уловимому звону колоколец. «Упряжки Василия Николаевича. Упряжки самого шамана. Нет, Аням не хочет встречаться с шаманом. Совсем не хочет. Шаман опять будет говорить: угоняй оленей с озера Ватка-тур. Зачем Аням будет оставлять богатое озеро? На нем еще Салыг-ойка рыбу ловил, на его берегах оленей пас. Василий Николаевич всегда говорит Аняму плохие слова: угоняй оленей с озера».

Аням повернул упряжки. «Пыр, пыр, пыр! — заторопился он, подталкивая бородатого коренника хореем, и вдруг совсем неожиданно воздух рассек ружейный выстрел. Совсем сдурел шаман. Может, огненной воды много выпил?» — подумал охотник. Новый выстрел угодил в правый полоз нарты. Аням упал на нарту, ухватился руками за шерсть постланной на нарте шкуры и, не поднимая головы, торопливо и беспрестанно кричал: «Пыр, пыр, пыр!» Животные бежали, похрапывая и выбрасывали копытами комья твердого наста. Аням верил и не верил собственным ушам, он никогда не слышал, чтоб в тайге человек стрелял в человека. «Шаман совсем потерял ум, — дрожал охотник. — Может, его шайтан заставил, но нет за Анямом никакой вины: он не зорил чужих самострелов, не ходил в чужие угодья охотиться, не стрелял напрасно зверей. — Боясь приподнять голову, прислушивался к тишине, но никак не мог услышать звона шамановых колоколец. Он не догонит меня, но найдет по следу, приедет к моей юрте. Зачем? Он приезжал один раз, чтобы окропить святой водой маленького сына. Тогда шаман был добр, говорил Салыг-ойке хорошие слова». — Аням как сейчас помнит его тихий, вкрадчивый голос, легкие шаги.

Приподняв лицо, сквозь снежные клубы различал мелькающие оленьи копыта. По вихлястому заду оленихи, бежавшей с правой стороны, догадался: олени устали, олени просят отдыха. Голова у Аняма отяжелела от одной думы: зачем шаман стрелял в него? В глазах мелькали искры, губы еле выговаривали одни и те же слова, в душе смешались обида и незнакомое чувство страха. Он не погонял больше оленей, и они кружили вдоль знакомого озера, кружили на одном месте, оставляя на снегу замысловатые следы. Аням думал о шамане, и ему было трудно поверить, что человек,

который живет посредником между богом и землей, станет убивать своих сородичей.

Охотник не заметил, как взошла луна. Она бежала по небу, то теряясь, то выныривая из-за облаков, и лила на землю матовый свет. Вислоухая олениха, почувствовав скорый отдых, стала часто запинаться о снег и кашлять. Анямг, уловив запах дыма, приподнял голову. Все плыло перед глазами, качалась юрта, стоящие нарты, висящие на шестах оленьи шкуры, ближняя чамья.

Салыг-ойка не спал. Он весь вечер сидел безмолвно возле чувала, скрестив перед собой грязные ноги, и походил на деревянного идола. И только когда услышал урчание собак, вздохнул, повалился на вонючую шкуру.

Тур-эква ночной птицей вспорхнула с нар. Широкий подол платья мелькнул перед лицом лежавшего возле порога Митрича. Митрич прислушивался, но не услышал ни одного звука. Анямг вошел в юрту тихо, неслышно. Что-то таинственное и предостерегающее было в его молчании.

Митрич проснулся до рассвета. Не спалось. Молчаливый, неожиданный отъезд Аняма, его ночное возвращение беспокоили бывалого человека.

Он тихо вышел из юрты. Возле нарты, понуро склонив тяжелые, рогатые головы, лежали усталые олени. Три крохотных щенка подкатились колобками к его ногам.

— Кыш! — шугнул он щенят и подошел к нарте Аняма. «Где это он так ударился? — Присев на корточки, ощупал полоз ладонью. — Это не излом, похоже не срез. А больше... — Митрич пристально оглядел нарту, но кроме снега ничего на ней не увидел. — В него кто-то стрелял». — На душе у Митрича стало совсем неспокойно. Вернувшись в юрту, лег, прижимаясь к теплому плечу Павла.

Приближалось утро. Первыми зашушукались, забарахтались ребятишки, кого-то щекотнули, и тот громко хихикнул. Тур-эква подала сердитый голос. Все стихло. Скоро ребятишки молча, гуськом поползли к порогу. Провизжала кожаными петлями дверь. Взлаяла собачонка. Это была веселая серая лайка. Оскаливая белые зубы, подергивая кончиком черного носа, она словно смеялась. Две круглые подпалины над глазами придавали ей вид озорной забияки. Другая, по-видимому ее сестра, всегда запоздало вторила ей, виляла кудрявым хвостом, словно старалась положить его на спину. Белый косматый пес был старше лаек. Он вел себя

степенно. Лежа под нартой с большим ларем, сложенным из ровных, оструганных сосновых стволов, он не суетился, не бегал взад-вперед, как неугомонные лайки, а, лежа, повиливал хвостом и изредка подавал густой отрывистый голос. Под нартой лежала исхудалая, с впалой опустошенной утробой сучка огненно-рыжей масти. Услышав писк разбежавшихся щенят, она медленно поднималась, шла к юрте, осторожно ступая по снегу, и казалось, что вот-вот упадет.

Пушистыми колобками катались по снегу коротконогие щенята, пурхались в снегу, фыркали, нервно и часто подергивали хвостиками, глядя на мир еще мутными глазами.

Аням вышел из юрты, как больной, долго сидел на нарте, потирая шершавыми ладонями колени.

Щенки кружили возле ног, обнюхивали кисы, визжа, взбирались на ногу, скатывались, падали на снег вверх лапами. Аням взял одного за загривок, приподнял от земли. Щенок, сверкнув розовым брюшком, поджал лапки и жалобно заскулил. Аням брезгливо швырнул его в сторону, процедил: люль — плохой, обтер о подол малицы руки, взял второго, третьего и этих бросил в снег к тонким ногам обеспокоенной матери. Четвертый, белощекий, с крутым лбом, пружинисто сворачивался в клубок. Поднятый за загривок, не пискнул. Аням положил его на колени, погладил, дал отдохнуть и снова одной рукой приподнял, другой раскрыл щенячью пасть, разглядывая рубцы на небе. По-видимому, были они сросшимися — один из признаков хорошей охотничьей собаки. Из семи играющих щенков он отобрал двух, прижал их к себе и долго гладил по шелковистой шерсти. Щенята, почувствовав ласку, тыкались носами ему в ладонь, и тут Аням позвал Тур-экву, передал щенков.

— Медвежатники? — спросил Митрич, пользуясь случаем заговорить с Анямом.

— Один на медведя пойдет, другой соболя искать будет, — охотно ответил Аням. Они сидели рядом, но разговора не получалось. Настроение у Аняма было плохое. В голове все перепуталось: и мечта о медвежьем празднике, и желание познакомить Гришку с Лям-эквой, и думы о бедности охотника Куземки, и предстоящий разговор с Митричем.

Митрич не лез с разговором. Он искоса наблюдал, как Аням, обычно невозмутимый, вдруг беспокойно оглянулся по сторонам, взял в рот валявшийся прутик и стал покусывать его верхушку. Видно было: охотник ждал, когда Митрич сам заговорит.

— Долго жить у меня будешь? — спросил Аням, сосредоточенно поглядев в лицо Ивана Дмитриевича. Вроде хотел приглядеться и сказать, как тот изменился за прошедшие два года, когда они ходили с ним на охоту к предгорьям Урала, гонялись за соболем, а больше ждали начала глухариного токования, до которого Митрич был большой охотник.

На самом деле, тогда у Ивана Дмитриевича дело было — узнать, можно ли перейти в весеннюю пору между увалами. Оказалось, перейти можно. Солнце уже растопило лед, глухари голос терять стали, в буйство травы пошли, а на тропе мужичишка показался. Росту маленького, за спиной берестяная пайва так нагружена, что шатает его из стороны в сторону. «Видно, торговал», — подумал тогда Митрич и ткнул Аняма в бок. Тот пригляделся и махнул рукой: «Куземка туда-сюда ходит. Всегда пешком ходит. Оленей нет». Куземку они не окликнули и стали собираться в обратную дорогу. Ехали пять дней, пять ночей. Олени проваливались в подтаявший снег, пугались воды, не подчинялись окрикам охотника, рвали ремни. «Долго ходили, долго. Куземка знает, когда ходить». Но тогда воспользоваться Куземкиной тропой Митричу не пришлось.

— Надо уезжать, — сказал Митрич, давая понять Аняму, что его вчерашний молчаливый отъезд вынудил его изменить планы. Аням Косачиный Глаз не возразил, снова достал табакерку, молча протянул Митричу. Тот отказался.

Аням нюхал табак. Когда зудящая пыль перехватила дыхание и его затрясло, как младенца в приступе коклюша, Митрич расслышал:

— Живи. Сколько надо живи!

Митричу показалось: чих вытряхнул из Аняма слова, которые тот не мог сказать сразу.

— Живи, — обтирая ладонью лицо и повлажневшие красные веки, сказал охотник уже спокойно.

— У нас, Аням, дело большое. Мы вогулам, я тебе говорил, муку, сахар, чай привезли. Новая народная власть подумала об этом. Людям все раздать надо. Теперь нет купцов. Борьба идет не на жизнь, а на смерть.

— Новая власть вогула стреляет? — резко спросил Аням, и видно было, как под смуглой кожей его загуляли красноватые круги, пробрались багровым румянцем на выпирающие широкие скулы. Он не ждал от Митрича ответа, а вспомнил шамана Василия Николаевича. Аням хорошо помнит его лицо: красное от мороза, широкие брови над чистыми

зоркими глазами. У шамана широкие ладони, белые и мягкие. На пальцах много колец. Ему можно носить кольца. Он шаман. Неужели эти руки стреляли в него, в Аняма, сына Салыг-ойки? Он всегда говорил: «Ты хороший человек, Салыг-ойка. У тебя растет хороший сын, помощник Аням. У меня нет сына». — Тогда его сын Гришка жил у русских. Теперь его сын Гришка вернулся в тайгу. Об этом знает каждый охотник. Зачем шаман стрелял в Аняма? А может, это не он стрелял? Но нет. Аням Косачиный Глаз хорошо видит. Он даже сейчас может сказать, какие были в упряжке олени. Он хорошо слышал звон колокольчика и может узнать его среди всех упряжек в тайге и тундре. Кто был с ним на другой нарте? Пришлому человеку зачем стрелять в Аняма? Эти мысли роились в голове охотника, мешали. Он не знал, как обо всем сказать Митричу, и боролся с собой: говорить или промолчать? Шаман — большой человек, а слово только выпусти изо рта! Оно летит быстрее и дальше пули. Если его слова окажутся неверными, ему не простят. Шаман всегда прав.

— Шаман Василий Николаевич может стрелять? — потупившись, робко, шепотом спросил Аням, и, как показалось Митричу, боялся услышать от него утвердительный ответ.

— Нет. Шаман не станет стрелять, — без раздумий ответил Митрич, он уже давно пришел к выводу, что стрелял в Аняма кто-то из чужих. Может, это кто-нибудь из купцов, может, какой-нибудь бежавший богатый или кто-нибудь из удирающих господ офицеров, белогвардейская разведка. Так или иначе, это были чужие люди.

— Шаман не будет стрелять! — Аням, хватая Митрича за плечи, радостно закружил его вокруг нарты. Он уже укорял себя: как могли прийти ему недобрые мысли? Взгляд его безбоязненно остановился на нартовом полозе со следом от пули.

— Это кто-то чужой. Кто-то ехал с шаманом, — говорил Митрич, сетуя на человека, бесцеремонно нарушившего извечные законы вогульской стороны.

Приседая к полозу, Иван Дмитриевич на миг представил, что пуля могла угодить в Аняма, и значит, осталась бы вдовой Тур-эква, осиротели бы беззащитные ребятишки, а у умирающего Салыг-ойки от такой вести остановилось бы сердце и его увезли бы на нарте в ближний сосняк. И даже собачонки зачахли бы без охоты, потеряли бы собачью

ярость и прыть и, не дождавшись окрика хозяина, погасли бы, лениво урча под запорошенными снегом нартами. Может, какой-нибудь слепой старикашка прислал бы к Тур-экве сватов. Она еще молодая и крепкая, а каково стало бы веселым ребятишкам, если бы не стало рядом такого сильного отца, которому не мешают ни их смех, ни слезы, ни шум. Ему все мило. Вот и сейчас он вытирает ладонью сопливый нос малыша, трет снегом щеку, по-видимому, прихваченную морозцем.

У Аняма немало оленей. Живет он крепко, кругом оленьи, звериные шкуры. И Тур-экве с ним хорошо. Видно, что она его любит, когда кормит, всегда подкладывает ему мягкие, жирные куски оленины. Кладет их незаметно, стоит тихо за спиной. Анням привез Тур-экву издалека, черноглазую, молодую. Она родит ему еще много сыновей.

— На праздник медведя поедем? — услышал Митрич голос Аняма, и даже не поверил.

Если еще в день приезда у него появилась маленькая надежда попасть на праздник медведя, и он сочинял планы, обдумывая все до мелочей, то когда Анямм неожиданно уехал, оставив их в своей юрте, всякая надежда рухнула. Митрич расстроился. Выстрел в Аняма укрепил его в мысли, что его опередили. Но в чем опередили? То, что он собирался сделать, никому и в голову не может прийти: никто еще никогда не раздавал так просто, безвозмездно, товары, и нет у людей понятия об этом. Да что вогулы? У него самого не все стройно и ладно выстраивалось в голове. То он видел необходимость помочь вымирающему народу, а то боялся, что эта акция может обернуться самой неприглядной стороной: подумают люди, что это долговая западня. А такие найдутся.

— На праздник медведя поедем? — повторил свой вопрос Аням, удивившись, что Митрич медлил с ответом. — Может, узнаем, кто стрелял в меня. Ты будешь слушать, я буду слушать. Василий Николаевич не стрелял? — с детской наивностью переспрашивал Аням у Митрича.

Митрич ответил охотнику:

— Обязательно поедем.

Глава тридцать третья

Если бы поручик Шитоев мог увидеть себя в зеркале, да еще во весь рост, отшатнулся бы в испуге: до того он отощал, что не походил сам на себя. Лицо потемнело, вытянулось, глаза провалились, отросшая борода не скрывала его впалых щек. Обветренные губы потрескались и кровоточили, и даже Васька-шаман, безразличный к таким мелочам, сказал: «Зачем на морозе губы лижешь? Не надо на морозе языком шевелить. Болеть будут, — а на ночь подал какой-то вонючий, замусоленный кусок желтого сала: — Гусиный жир. Трогай, трогай. Хорошо будет». Шитоев сморщился, задержал в себе воздух и, оттопырив губы, помазал. За ночь трещины стали мягче, он, не раздумывая, положил кусочек гусиного жира в карман меховой безрукавки и более с ним не расставался. Брюки уже давно стали на нем болтаться, и Шитоев, проделав на ремне три лишние дырки, подумал, что такой талии вполне могла бы позавидовать любая девушка.

При воспоминании о прежней жизни мысли Шитоева начинали путаться. Он вскакивал с нарт и бежал по снегу неведомо куда. Васька-шаман гнал за ним упряжку, находил его, завозил в первый попавший чум. После, дня три, он лежал на шкурах, долго и пристально глядя в одну точку тоскливым взглядом.

— Это пройдет. Это пройдет. У многих с непривычки так бывает, — успокаивал его Васька-шаман. — Ездят-ездят, потом ночью кричат. Домой торопятся. Пройдет, пройдет.

После второго такого срыва поручик не на шутку обеспокоился своим состоянием.

«Где они там ползут? Где шарятся? Ни слуху, ни духу. Может, уже и некого ждать, — с раздражением думал он об отряде Турова. — Дни идут, сколько ни прошу этого шамана свезти к пастухам, — молчит. Или в самом деле дурак дураком, или притворяется. На все один ответ: погоди немного, погоди немного. Может, чего ждет? Может, что Гришка сказал? Разбери их! И в стада надо. Вдруг подойдут ребята, оленей нет. Тут без этих тварей гибель».

Васька-шаман устал от Шитоева. «Как олень к нарте привязан», — думал он, не зная, как отделаться от сердитого

мужика. Шаман тосковал по свободе: ему хотелось одному промчаться на легкой упряжке, может, съездить на Молебный Камень, побывать у старшины Атынга, навестить Софью, узнать, не приезжали ли с какой стороны купцы. Слышал ли кто про Федора Рогалева и кто показывал ему дорогу. Он давно бы увидел людей, которые оставили у Гришки муку. Он знает: они ездят по тундре. Он видел их следы, но не показал Сеньке. Однако Шитоев понял это: хитрая образина».

Три дня спустя Шитоев, услышав в стороне чьи-то голоса, понесся напрямик к кустарникам и в изнеможении растянулся на твердом насте.

— Там тундра. Там оленья сторона, — успокаивал шаман, помогая Шитоеву подняться на нарты. — Там болото. Большое болото. Туда Василий Николаевич не ездит, — назвал себя шаман по имени-отчеству: ему надоели постоянные окрики Шитоева: Васька да Васька! «Как будто собаку зовет».

— Ты что, следы не видишь? — разгребая рукавицей засыпанный снегом нартовый след, спросил Шитоев.

— Давно бежали олени. Давно. Может, пастухи ехали. Далеко оленей пасут, потом на это болото гонят. — Но вдруг шаман нахмурился, стремглав пробежал по чуть приметному следу и пополз по нему на четвереньках: «Купец. Федор Рогалев. Его нарта бежала. Зачем сюда бежала? Федор далеко к морю поехал. Заблудился?» Шаман прислушался: вокруг было тихо, только олень бил копытом снег. Огляделся вокруг и увидел впереди кривоствольную сосну с обломленной ветром вершиной. Он негромко гикнул, и олени сами побежали вперед, нащупывая копытами запорошенную тропу.

Оставленную купцом Рогалевым под сосной мертвую жену первым увидел Семен Шитоев.

— Там, там, — тыкал он скрюченным пальцем. Его охватил страх. — Кто бы это, кто? Может, кто из наших парней? — постукивая от страха зубами, бормотал поручик. — Рука-то в стороне, рука.

Шаман молча, тихо сполз с нарты, по пояс проваливаясь в снег, приблизился к сосне. «Баба. Федьки Рогалева баба, — смахнув с шали снег, отпрянул шаман, узнав Капитолину Петровну. Стоя перед ней на коленях, вспомнил, как помог ей слезть с нарты, зайти в Прасковьину юрту и даже ее белый платок, которым она все время утирала слезы. Зачем сюда приехал Федор?» — тупо уставился на окостенев-

шую руку купчихи шаман, боясь оглянуться на Сеньку Шитоева.

— Релюция испугался Федька. К океану поехал, торопился, другую сторону оленей гнал. Шибко торопился. Зачем торопился? — бормотал он вслух. — Далеко Федька не поедет, нет. Без тебя не поедет. Зачем ехать в болотную сторону? — И шаман закружил вокруг сосны и Капитолины Петровны, подражая голосам птиц и зверей, выкрикивая заклинания, отгоняя тяжелые мысли, которые могли витать в воздухе и принести ему и людям леса и болота несчастье. — Плохая, шибко плохая релюция: Федьку-купца в чужую сторону гоняла. Плохая, плохая! — уже гортанно кричал шаман, размахивая руками, присядая, подпрыгивая и осыпая себя и Капитолину Петровну мерзлым, рассыпчатым снегом.

— Хватит! — заорал Шитоев. Выхватив из-под шкуры винтовку, выстрелил. Подскочив к Капитолине Петровне, жадно разглядывал выбившуюся из-под пуховой шали седеющую прядку волос, темное родимое пятнышко на правой щеке. «Умерла. Замерзла, умерла. Черт ее бери, эту жизнь»!

Он уже не видел, как Васька рубил мелкий сосняк, делал небольшой срубик вокруг тела Капитолины Петровны, складывал сучья и ветки, чтобы какой-нибудь зверь не мог тронуть ее.

«В тепло, скорее в тепло!» — Шитоев чувствовал, как весь он промерзает до костей.

«Где Федор Рогалев? — подталкивая оленей хореем, думал Васька-шаман, сомневаясь уже в том, что тот приедет к нему, обменяет товар на меха. — Скоро из лесов станут возвращаться охотники, самая пора приезда купцов. Кто приедет? Федьки Рогалева нет. Василий Афанасьевич не приедет. Где брать провиант? — Он нашарил в кармане берестяную табакерку, собрался было положить за губу табак, но тут же налетевший ветер сдул его. — Где буду табак брать? Табак тоже Федор Рогалев привозил. За него брал только соболей. Плохо будет Ваське-шаману, плохо будет без купцов. Шибко плохо».

В ответ он услышал тягучий стон поручика Шитоева и выстрел.

От неожиданного выстрела Семена Шитоева хорей выпал из его рук, олени остановились. Ему казалось, что над ним лопнуло и разорвалось небо.

— Кого стрелял? — хватая ртом воздух и пурхаясь в снегу, бежал он к Шитоеву. — Кого стрелял? — Выхватив из рук поручика винтовку, швырнул ее в сторону, в снег. На поручика посыпались удары. — Кого стрелял? Кого стрелял? Кто велел стрелять? Ты чужой человек.

Шитоев растерялся, он не понял, что происходит. Не успел он сообразить, как оказался на нарте и почувствовал на шее холодные пальцы шамана.

— Кто велел стрелять? Здесь мой народ. Кто велел стрелять? —Шаман скинул поручика в снег.

— Ты чего? — Шитоев ухватился за подол савика разъяренного шамана, боясь, что тот его здесь бросит.

— В кого стрелял? — сверкал глазами шаман.

— Не знаю. Чья-то упряжка бежала.

— Кто тебе велел стрелять? Здесь мой дом! — и, плюнув поручику в лицо, шаман побрел к своей нарте, пошатываясь.

За все три дня дороги Васька-шаман не вымолвил ни слова, ел от Шитоева отдельно, бросая ему, как собаке, мороженое мясо и рыбу.

Шитоев и сам не понял, как снес такое оскорбление. Ему все время казалось, что плевок шамана, угодив в правую щеку, навсегда оставил след, как оставляет след нож, ожог, пуля.

В чуме пастухов Шитоев заметил, как раболепствуют перед шаманом пастухи, с каким почтением кладут поклоны. Еду ему поднесли на серебряном блюде, с изображением символов Солнца и Луны. По всей видимости, они просили шамана выполнить жертвенный ритуал, узнать, в какой мир послать души умерших.

Шаман спросил у Самбиндала, есть ли у него березовая кора. Тот подошел к разостланной на шкуре сшитой из березовой коры скатерти, кивнул, и Васька-шаман ответил одобрительным жестом.

Откуда было знать Шитоеву, что северные люди считают березу самым щедрым и полезным деревом: ее корой покрывают летние чумы, изготовляют из нее разную посуду, знают вкус березового сока и целебное свойство березового гриба-чаги, в березу, наконец, завертывают покойников. Любят белый цвет ее коры, а женщину-роженицу почти всегда помещают в отдельный ветхий чум у подножия березы — священного дерева.

И снова, ощупывая горевшую, как в огне, правую щеку, Шитоев вспоминал, как пастухи приветливо встретили Ва-

силия Николаевича: проворно закололи оленя. Животное даже не успело промычать, только запрокинуло голову и рухнуло на колени. Стекленеющие глаза глядели в небо. «Дикое племя», — отвернулся Шитоев, увидев, как пастухи, отрезая ребрышки, макали их в парную кровь. Он ушел за чум и, корчась в судорогах, плевался, хватал открытым ртом холодный воздух. Затем вполз в чум и лег на шкуры. «Кошмар. За что? Черт знает, во имя чего я торчу здесь, с этими дикарями. Ни от кого ни слуху ни духу. Никаких новостей. Кому нужны эти вонючие чумы вместе с их обитателями?»

Скоро запахло вареным мясом. Лежавшая неподалеку от него собака постукивала о шкуру хвостом, часто привставала на передние лапы, будто собиралась заглянуть в закопченный котел. Шитоев хотел есть. Одуряюще пахло. Но вспоминалась лежавшая на снегу красноватая оленья туша — и к горлу снова подкатывала отвратительная тошнота.

Шамана здесь словно подменили: с пастухами он разговаривал тихим голосом. И пастухи, усевшись вокруг очага, почтительно кивали головами, слушая его, ловили каждый взгляд. Им не было никакого дела до приезжего. «На своей земле каждый себе господин, — думал Шитоев, завидуя спокойствию шамана. — Говорит еле слышно, почти бормочет, а они в рот ему смотрят». — Шитоев беспокойно ерзал на шкуре, и лежавшая неподалеку собака вдруг стала сердито урчать.

— Да чего ты тянешь? Говори, зачем приехали, — еле сдерживая гнев, процедил сквозь зубы поручик, чувствуя, что терпение его на пределе и что если шаман сейчас не скажет, он, Шитоев, за себя не отвечает.

Он вспомнил своего отца, его безумие: «Натворил когда-то дел. Сжег свое имение. До тла! Слава Богу, у матушки было крепкое приданое — обошлось, не пошли по миру. А все от ярого нетерпения. Душа его не вытерпела: двух орловских рысаков в карты проиграл. И каких рысаков! Тут у него кровь в голову и ударила: «Нет жеребцов — этой рухляди не надо! — Тут Шитоев сплюнул. — Потом, когда опомнился, волосы рвал. А что сделаешь, рви не рви, огонь все как языком слизал».

Семен тогда подростком был, помнит, как пылало имение, как мать в беспамятстве упала, прислуга выла, а ему почему-то любо было глядеть на зарево в темной ночи. Потом, когда отец, опомнившись, стал плакать и каяться, хо-

дить в церковь, замаливая грехи, Семен отвернулся от него, не мог глядеть на него без чувства брезгливости: «Хлюпик, а я-то думал...»

Теперь, когда шаман по-барски растянулся на мягких белых шкурах, неспешно ел оленье сердце, а сопревшие в тепле пастухи благоговейно глядели ему в рот, подсовывали жирные куски, язык и заваривали ему в кружке чай, Шитоев стал лихорадочно отыскивать для себя укромное место, чтобы ничего не видеть, но в этом островерхом жилье, где вместо дверей оленья шкура, вместо окон — широкое отверстие в звездное небо, не закрывающееся ни ночью, ни днем, некуда даже спрятать голову. К кисловатому запаху шкур, оленьему поту он уже привык и не замечал их. Но от одеяла, сшитого из лебяжьих шкурок, летел пух, лез в ноздри, в глаза, лип к губам. Отбросив оделяло, он выскочил на улицу, достал из-под шкуры винтовку и выстрелил.

Пастухи, сжав пальцы на рукоятках ножей, смотрели на шамана, но тот вроде бы ничего не слышал — хладнокровно разжевывал крепкими зубами жирный кусок мяса. Однако шаман тоже вздрогнул, но подавил в себе желание вскочить, побежать и посмотреть, куда стрелял Шитоев. Он подумал, что Сеньке совсем ничего не стоит выстрелить и в него. Но шаману нужно было оставаться спокойным, он думал прежде всего о том, какое впечатление производит на окружающих. Пастухи же, как завороженные, ждали его голоса. Спокойно обтирая ладонью жирные губы и подбородок, шаман сказал:

— Дурит. Всегда так! Мало-мало хворает. — Он стал подниматься со шкур, по-стариковски упираясь руками. От внезапного выстрела Шитоева, а может, от усталости у него разболелась голова. Пастухи, подбежав, подали ему руки, помогли встать. Оттолкнув их, шаман выпрямился и вышел из чума.

Шитоев, задыхаясь и дрожа, держал винтовку в опущенных руках:

— Скажи пастухам, что хотел, и поедем. Поедем от греха подальше.

— Жди. У нас так не бывает, — тихо ответил шаман.

— Плевать мне, как у вас бывает! Перестрелять бы тут всех! Да и себя заодно.

Старшина Атынг, понимая русские слова, догадался, что приезжий мужик что-то требует от шамана, и схватил его за локоть.

Шитоев обернулся:

— Эй ты, мокроглазый, слушай. Ты, видать, знаешь русский язык. Мне надо триста оленей, полторы сотни нарт! Нет, мне надо четыреста оленей. Скоро сюда люди придут. Им нужны олени. Без них не пройти эту проклятую снежную гибель.

Старшина глядел то на шамана, то на неестественно бледное лицо приезжего мужика, и ему казалось, что тот вот-вот рухнет, только дунет ветер. Но Шитоев, сжав в руках винтовку, нащупывал курок. Старшина юркнул за спину шамана.

— Господи! — Шитоев медленно валился на снег, но говорил внятно: — До чего докатились! Рухнуло все. Полетели щепки! И я щепка. Щепка, ха-ха-ха! — запрокинув голову, он хохотал и хохотал.

Немного постояв, шаман подошел к Шитоеву, взял из его руки винтовку, а самого велел занести в чум.

— Опять дурит, — вздохнул, не сумев скрыть от старшины своего раздражения. Ему хотелось досказать, как надоел ему Шитоев, как измучил он его своими окриками и как хочется ему побыть одному. «За что так рассердился на меня Торум?» Только в гневе всевышнего видел шаман причину своих мытарств и проклинал тот день, когда поехал к купцу Мялищеву. Ночами шаману снился Молебеный Камень, жертвенное место, избушка, наполненная фигурками идолов. «Нет, Сеньку туда везти нельзя. Там нарты купца Рогалева. Там его богатство. Глаза у Сеньки злые, рот поганый». Не раз ему приходила мысль оставить его в тундре, однако шаман знал: если он, шаман, поступит так, Торум навсегда отнимет у него и силу, и удачу, и власть. А вдруг он так и будет с ним ездить до скончания века — на оленях? Как-то Сенька ему сказал:

— Слушай, Василий Могучий, так тебя, кажется, звал сатаровский купец? Мне плевать на эти «красные нарты», которые колесят по тундре. Три нарты дел не сделают. Черт с ними. Только ты, мудрец, водишь меня за нос. Ты часто видишь их след, а мне не говоришь. Ладно. Я тут не за этим. Скоро этим путем должна пройти часть отряда поручика Турова. Тебе эта фамилия ни о чем не говорит? У нас были сведения: в вашу сторону через Урал красный отряд пойдет. Мы их тут должны встретить. Покончим с ними и — через Урал, к людям! Господи! Неужели когда-то свершится это? Лучше не думать, а то с ума сойти можно.

Шаман молча всматривался в худое обросшее лицо Шитоева.

— Не понял? — спросил Шитоев. — Мне к пастухам-оленеводам ехать надо, понял?

— А мы у кого? — сердито переспросил шаман, сурово нахмурив брови.

Горели сухие дрова в чувале. Старшина Атынг топтался возле нарт, вздыхал. Ему надо было многое сказать шаману, но он не решался при чужом человеке. Ему надо было просить его приехать в стада пошаманить, окропить стада святой водой, святым дымом. Но он только обмолвился: «Ропаска медведя убил. Ропаска праздник справляет».

Шаман опустил веки — дал понять пастуху: он все знает. Он будет на празднике у Ропаски.

Шаман гикнул на оленей. Отдохнувшие, сильные, они быстро побежали в морозную мглу.

И опять навстречу бежали синие искристые снега, гуляла луна на темном небе, лила на землю матовый свет, ветер переваливал снежные сугробы, стонал от тяжести, разметал вихрем поземку. Шаман, прикрыв глаза, запел: «Какая большая ты, моя снежная родина. Я опять слышу, как дышат твои снега. Я знаю: под снегом шевельнулся ягель. Я нюхал его в снеговую отдушину. Скоро, совсем скоро придет солнце».

Он вез Шитоева в юрту Прасковьи. Шитоев скрежетал зубами от заунывной вогульской песни, с трудом раскрывал глаза.

...Прасковья, заметив осунувшееся лицо Васьки-шамана, заколола оленя, стала поить его горячей кровью. Васька покорно подчинялся ее воле.

— Дай ему филичьей воды. Дай. Ружье не давай.

Прасковья не проронила ни слова: она была счастлива снова слышать Васькин голос, быть с ним рядом, дотрагиваться до его рук, лица. Ведь она так редко видит его. Он больше ездит к Софье или на Молебеный Камень, или к охотникам, к пастухам. Он совсем редко говорит с ней.

— Я поеду к Ропаске на праздник. Заплети мне косы. Ты хорошо заплетаешь косы. Дай мне новую одежду.

О, как давно так не говорил с Прасковьей Васька! Она затащила из чамьи расшитый меховой тотап, достала ворох ярких шерстяных ниток. На белую шкуру, вступила осторожно, искоса глянув в угол, откуда доносился шитоевский храп. Села, поджав под себя ноги, и затаилась в ожидании Васьки. Васька опускался на колени со стоном. Прасковья

протянула ему навстречу худые, узловатые руки, выставляющиеся из обшлагов, расшитых разноцветным бисером. Прасковья ощупывала его волосы, раскладывала на две стороны. Собрав все еще кудрявые и густые волосы шамана в тугие пучки над ушами, стала обвивать их разноцветными нитками, наращивать пряди.

Васька сладко посапывал, положив тяжелую голову на колени Прасковьи, и она, заплетя косы, гладила его обветренное лицо.

Глава тридцать четвертая

До Репнино верст пятьдесят. Приказ идти без остановок. Ночлега не будет. Лошади сыты. Но то одна рассупонится — остановка, другая в сторону зайдет — опять остановка, то оглобля сломается.

— Что там еще? — вне себя от раздражения спросил Туров подъехавшего подпоручика Плотникова.

— Господин поручик, — робко докладывал тот, — ефрейтор Сосунов скончался. Закашлялся, кровь горлом хлынула, и все!

Туров вскинул удивленный взгляд, сдернул с головы папаху, это же сделал Плотников. С минуту молчал.

— Всем прибавить шаг! Виновные в остановках будут наказаны, — не зная, что ответить, приказал Туров.

— Есть, — козырнул подпоручик, рассекая воздух кнутом.

«Час от часу не легче, — щурясь от снежных хлопьев, валивших из нависшей серой тучи, размышлял Туров. — Надо было перед отправкой из этой деревушки подойти к нему. Знал ведь, что он заболел, да думал, что обойдется, он так молод! Торопиться надо. Еще ночь у костров — придется лазарет устраивать. А все от беспорядка, от разгула. В регулярной армии дисциплина, солдат лямку тянет годами, а здесь два месяца — и многие прогнили. Вроде еда — лучше не надо. Сибирские люди запасливые: у крепких мужиков солений всяких на год. И для себя хватит, и на продажу, впрок готовят. Сыты парни, а кто куда, кто во что горазд. Порядка нет, а по-другому нельзя».

Туров открыл глаза. Подпоручик Плотников словно и не отъезжал. Раскачивается в седле и по всему видно, не решается беспокоить командира.

— Господин поручик, почтаря на дороге задержали. Вдрызг пьян. На ногах не стоит. Киргизов распорядился в расход сразу пустить. Я осмелился доложить вам.

— Опять остановка?

— А как же. Почтарь-то лихой, ярый. Слова не спускает Киргизову, а тот, сами знаете, поперечных не любит, — уже тише докладывал подпоручик.

Туров нехотя вылез из-под медвежьей полости, медленно пошел мимо саней и коробов.

— Вот, любите и жалуйте! Ясное дело — связной! Только дурака валяет, — козырнул Киргизов. — На всякий случай отдубасили. Подымайся! — приказал мужику, втоптанному в снег.

Мужик поднялся еле-еле.

— Придержите, — распорядился Туров.

— Шапку давайте. Останусь без ушей. Кому тогда будет нужон ямщик-почтарь Флор Ямзин?

Кто-то сунул ему изорванную лисью боярку. Нахлобучив ее, он выпрямился, тряхнул кудрявым чубом, торчащим из-под боярки с правой стороны.

— Че держите? Кто не знает на этом тракте Флора Ямзина? Каждая собака. Вот ноне хотел объехать рыбацкий кордон. Даже колокольчик снял, сеном заткнул, под тулупом лежит. Думал, проскочу мимо Тоньки, не до нее, так она, стерва, на дороге двое суток дневала и ночевала. В сосульку вся выстудилась. Ну как было не обогреть?

— Прекратить болтовню! — строго сказал Туров. Почтаря решили взять с собой, толкнули в стоявшую рядом кошеву.

— Че меня ворочать? У меня бумаги. Какая никакая, а каждая власть пишет. Привез, оставил писарю под роспись и вперед шпарь, Флор! Уже пятая лошаденка сносилась. От устали и дальних верст. А я, слава Богу. Не думайте. Я к лошаденкам со всем почтением. И все зазнобы мои об них в первую очередь заботятся.

Отряд шел вперед. Почтарь ненадолго смолк, подтолкнул соседа, тот подвинулся молча.

— В чужую подводу толкнули. У меня еще свое место есть. — Он приподнялся, посмотрел вперед. — Дурят люди, — хмыкнул. — Друг друга дубасим. Ну ладно бы каких там иноземцев бить — куда ни шло, а сами-то себя за-

чем изводим? Ну укокошите вы меня. А скоко ребятенок без моей ласки оставите! Я им кому свистульку, кому конфетку, кому какие бродежки справлю. Полный круговорот: деньги получаю — на подарки извожу, а самого то там, то тут кормят. Так и живу. А ребятенкам все одно радость. Вот изведете вы меня — им радости не будет, и ждать некого. Я ведь к кажной деревне разные колокольчики к дуге привязываю. Они слышат — бегут, только сопли вытирают. Многие уже от матерей отошли. Меня признают, завсегда шапки ломят. Я ведь не зловредный, зла их матерям не чинил. Всякую жалел. Бабы остались одне, а мужиков на войну. А кто этого мужика жалеет? Угонят в чужеземную сторону, и остается он в чужой да сырой земле. А кто возьмет замуж его бабенку? Никто: у нее возле подола ртов пять. Кому охота чужих кормить? А оне, бабы-то, живые. Им тепла охота. Вот и Тонька третьего дня укараулила. Неспроста же она ко мне льнет! Тут и моя есть виноватость: я ведь тоже возле нее сколько топтался. Тоже перед ней токовал, а коли че и случилось промеж нас, так и будет теперь до самой могилы. Это уж точно. К ним ведь не придерешься. Хоть бы одна в сторону глянула, мне бы, может, полегчало, а нет. Чистая беда. Фу ты, Господи, прости меня, грешного.

Сосед-ефрейтор слушал его не шевелясь, и только когда тот замолк, спросил:

— Как тебя угораздило попасться?

— А черт его знает... Тонька-то крепкая, как репа. Я супротив нее — мухомор. Вдова. Ей и годов-то двадцать, с маленьким хвостиком. — И тут Флор замолчал, представив теплые Тонькины плечи, горячие губы, от прикосновения которых мерк белый свет. Но уж этого-то он говорить ефрейтору не мог. Если кто и знали о его похождениях, так только тогда, когда какой-нибудь из ребятишек унаследовал его облик. Тогда всем все становилось ясно. А Тоньку назвал сейчас потому, что имел серьезные намерения. Собирался повенчаться с ней, связать жизнь, усыновить ребятишек и положить крест на все старые связи. Думал: годы подпирают. К одному берегу прибиваться надо, а тут опять неудача — в деревне ни одного священника. А ему бы поскорее надо было с Тонькой в церковь сходить: в тягости Тонька. Ребенка надо законно записать, а то везде полно, как грибов в лесу, а в корзинке ни одного.

— Ты хоть знаешь, что с тобой завтра будет? — спросил шепотом ефрейтор. — Завтра тебя почем зря драть станут.

Вон там костоломы тобольские дрыхнут. Отъелись, как жеребцы, застоялись, работы ждут. От твоей спины только ремки оставят.

— Это пошто? — удивился Флор. «Тонька, видать, сердцем чувствовала. Как ни пускала, как ни держала, а я свое заладил: пакет в Сатарово надо доставить».

— Хороший ты мужик, — толкнув почтаря в бок, сказал ефрейтор. — Беги, если сможешь. Сумерки движутся. До Репнино еще далеко?

— Если так идти — к полуночи доберетесь.

— Подвода-то твоя впереди. Вот и садись на нее. Лошадь-то послушная?

— По шагам узнает, — ответил Флор, в его голосе уже не было той веселой силы, той струны, от которой пела еще недавно душа.

— Садись на свою подводу, — хлопнул ефрейтор почтаря по спине.

К почтовой кибитке Флор бежал, приклоняясь. «Че это он так? А может, нарочно: посылает, а потом пулю в спину. Верить-то теперь кому? Да вроде не может того быть, чтобы подстрелил. Сам мне намек давал», — думал Флор.

Очутившись в своей ветхой кибитке, продуваемой со всех сторон (ему каждый год обещали новую, да как подходила пора, находились отговорки), Флор осмотрел дорогу. Он знал, что возле реки будут крутые спуски. «Там, по реке, — дорога осенняя, а теперь проходит по зимнику — по перелескам, на ней меньше переметов. Надо ту узреть и дать деру! Думал, что проскочу, да они мышь не пропустят. А где попало не свернешь. Лошадь, хоть того лучше, со снегом не справится, увязнет».

Под полозьями скрипел снег. «А пакет-то пока в моих руках. Я его теперь хоть в снег брошу, хоть на куски изорву. Никто и не заметит. Но ведь надежные мужики просили передать. Я слово дал. Как я его не доставлю? Столько годов тут езжу. Каждый кустик от тоски изучил... Все мужики друг за друга держатся, а я будто с боку-припеку. Хоть и не живу с ними, а в каждой избе чай пивал. За кого держаться? За этих? Усатый-то как глазами сверкает! — Флор уселся поудобнее на своем сиденьи, натянул вожжи. — Ну, Колокольчик, не подведи. Уж ежели изловят — несдобровать, да и тебе несладко придется.

И тут в просвете кустарников он увидел своротку на осеннюю дорогу, хотел привстать, но передумал. — Ну, Колоколь-

чик! Ну-ну! — подергивая вожжи, настраивал почтарь лошадь. — Давай, дружок. Давай-ка мы с тобой нырнем под берег, там пущай тебе Господь силы даст на дорогу выбежать. — Лошадь повела ушами. Молодой жеребец лихо, напрямик потащил кибитку, раскачивая ее на старых рессорах, и нырнул под берег. — «Ну, ну!» — лежа понукал Флор, а выстрелы решетили, рвали ветхую повозку.

Киргизов, настегивая кнутом жеребца, во весь мах гнал по следу, стрелял в темное пятно на белом снегу.

— Ротозеи! Черт знает, что творится! — Но, вспомнив о смерти подпоручика Лушникова, повернул обратно, пропуская подводы и со всего плеча нахлестывая кнутом каждую проходившую мимо него лошадь

— Ослеп? — схватил за шиворот ефрейтора, ехавшего сзади почтовой кибитки.

— Задремал, не видел, как выскочил. Видит Бог, не заметил, — ефрейтор не переставая швыркал красным, простуженным носом.

Подводы шли, скрипели полозья, звенели на дугах колокольчики. Впереди открывался широкий простор речной поймы.

Жгучий мороз назойливо лез под одежду. Всем думалось только об одном: скорее бы привал, скорее бы в тепло.

Лай собак Туров слышал давно, но он был не в состоянии разобрать, с какой стороны, он лишь плотнее закрылся медвежьим покрывалом, стараясь заснуть. Навязчивые мысли об очередной деревне или селе с низкими избами, о допросах, порках заставили его ужаснуться: впереди, кроме этого, у него ничего нет и быть не может. Впереди только кровь. «Боже мой, до чего дожил! Никакого просвета. Все лучшее там, позади, за тысячу верст. Там и свет, и признание! В конце концов там Анастасия. Анастасия Леонтьевна. Для нее же и из-за нее, по сути, вызвался руководить отрядом. Если бы не ее желание видеть меня среди первых, остался бы в полку. Карьера. Все дело в этом. Ах, Анастасия, Анастасия. Но я тебя удивлю. Вот как пойдем обратно, да к Мялищеву заверну, привезу коекакие вещички — всем на зависть! А если руку на сердце, то ничего бы и не надо, а закрыть бы глаза, держать, как бывало, твою голову у себя на плече, слышать твое дыхание, ловить божественный звук твоего голоса...— Туров простонал, стал дуть в кулак, стараясь согреть озябшие пальцы. — А я здесь, черт меня возьми! Медвежьей вонью дышу!» — Он рывком отбросил покрывало.

Глава тридцать пятая

Когда передовой отряд явился в Репнино, дюжих мужиков в селе не оказалось. Хозяйки говорили одно: теперь самая охотничья пора — в лес все ушли. Да так вроде оно и есть. Лучшей шкурки у зверя, чем в эти холодные месяцы, не бывает. В эту пору и ворс, и подшерсток в самой силе, в самой красе. Еще немного, и станет зверье к линьке готовиться. Начинается это с нательного пушка, подшерсток редеет, теряется, а уж к самой весне весь ворс ветерком продуваем будет, и на летнюю одежонку смена пойдет. Все в природе мудро. Мудрей не придумать. Всему свое время, всему свой срок.

В селе несколько крепких домов на виду у всех красовались. Хотелось бы хозяевам спрятать их, да оставалось только огнем спалить. В этих домах и хозяева все дома. Тех, кто богато живет, в лесные избушки калачом не заманишь. Эти возле своих домов сами как сторожевые псы. И отговорка есть, на правду похожая: наше дело — рыбный промысел.

Господ офицеров расквартировали у купца Вахонина. Старик ветхий, тугоухий, но до обеденной поры гвоздиком держится, после полудня его в сон клонит и ноги не носят. Скуп безмерно. Закон в его доме один: мешок запасу — не порча. Разносолы и у него на столе красовались, но с мялищевскими не шли ни в какое сравнение.

Лука Саввич, не раз бывавший в Репнино, еще дорогой думал о местном медвежатнике, к которому все собирался завернуть, но за делами откладывал на потом. А тут вроде и повеселел. Илью года три назад подходяще помяла разъяренная медведица: ноги перебила да всю кожу на голове прямо с волосами с затылка содрала, ею лицо закрыла, а самого под мох спрятала — на потом. Илья-то в самой силе был, проворный. От боли память не потерял. Зная повадки зверя, лежал во мху, не шевелился. Медведица отойдет, походит-походит вокруг — возвращается. Идет, сучья ломает, кряхтит. Раза три подходила, все слушала. Потом дальше стала отходить. Надумал Илья ползти, а боится. Если бы ноги были целы — мог бы на дерево залезть, а какими тропками бежать — знал и нож за голенищем нащупал. Ружье-то где-то сломанное валялось.

Пора была осенняя. В это время зверь сыт, лакомств много. Если бы Илья при виде медведицы не схватился за ружье — не случилось бы такой беды. Медведица прошла бы мимо. А он хоть и бывалый, а вздрогнул, схватил ружье. Вот она его и обняла! Одним словом — медведица походила-походила и ушла, может, в малинник забрела, может, медвежат догонять побежала, они к той поре уже подросли. Ночью Илья пополз. Косачи в то утро, сказывал, как сдурели: такой свадебный пир на восходе устроили — оглохнуть было можно. Он промеж их токовища полз, а ни один не взлетел. Потом вроде забылся, как в яму провалился. Деревенский парень его нашел и до деревни дотащил. Хворал Илья долго. Всю зиму, но все-таки поправился. Только косорылым Илья стал. Ничего, с лица воду не пить. Мужику на что краса? Ему сила нужна. Все думали: теперь Илья не охотник, а ошиблись. Не взял его страх. Весной и встретил ту медведицу: из берлоги вышла, исхудалая, шерсть торчком, глаза тусклые. Повела ноздрями воздух и взревела. Кто ее знает, может, по запаху узнала Илью? Только у охотника на нее рука не поднялась.

Илья хоть и хорошим медвежатником считался в округе, но в сравнение с Лукой Саввичем никто его не ставил. У этого все было по первому сорту: и дело знал, и медведем не мят. Но — дружбу с Ильей водил. «Вот и свижусь с им. Все не на эти хари глядеть», — вылезая из кошевы, рассуждал медвежатник.

— Ты куда? — остановил Саввича солдат с винтовкой наперевес.

— Куды надо, туды и пойду!

— Куды надо — не пойдешь. Не велено. Уж больно вы тут шустрые. Не велено.

— Че не велено? Я человек вольной. Ты еще молокосос, мне в сыны годишься, а указываешь, — запахивая полы тулупа, Лука Саввич оттолкнул от себя винтовку.

— Не велено! Да еще в ночь. Вон отведена изба, иди и грейся!

— Без тебя знаю, куды идти.

— Последний раз говорю: не велено! — Парень, поставленный на ночь в караул, имел от Киргизова указание: с рыжебородого глаз не спускать. В случае чего, предупредить выстрелом.

— Сдурел? Игрушку нашел, — закричал Лука Саввич, вздрогнув от неожиданного выстрела.

К кошеве бежали солдаты. Кто-то из молодчиков стал стаскивать с Луки Саввича тулуп.

Поджаров круто повернулся и со всего маху ударил охотника за теплым тулупом. Высокий большеглазый парень не устоял, отлетел в сторону.

— Ай да дядя! Ай да силач! — захлебывались от злости собравшиеся. Лука Саввич не допускал мысли, что у таких сосунков хватит дерзости вступить с ним в драку. Но она началась, и неизвестно чем бы кончилась, не явись на выстрел Киргизов.

— Что тут? — пьяно зевая, спросил он. — Или этот удирать собрался?

— Уйми свою свору! Я че им, углан какой? — выговаривал Лука Саввич, еле поднимаясь с земли.

— Куда, старче, собрался? — с язвительной усмешкой спросил Киргизов.

— Или у меня тут знакомых нет? Это вы все нахалом да силой прете! — отвечал Лука Саввич. Мне ваш командир нужон! С ним и говорить стану. Собрались тут! Ведите к командиру. Слово ему говорить стану. Не хотел, а стану, — Лука Саввич это придумал сию минуту, когда услышал, как у Киргизова проскрипели зубы, и ощутил на вороте холодные, цепкие пальцы подпоручика.

— Ведите к командиру, — настойчиво повторил Поджаров и пошатнулся от сильного удара в скулу. Всю дорогу до вахонинского дома Киргизов угощал его тумаками в спину.

— Че это с тобой, Лука Саввич? — Попятился Вахонин. — Кто посмел тронуть? Проходи, любезный, проходи, гостем желанным будешь.

— Отойди! — толкнул Киргизов локтем хозяина. От неожиданности тот отлетел к стене.

— Вот и этот! Караульный задержал, — сказал Киргизов.

— Врешь! Врешь! — сбрасывая возле порога тулуп, в негодовании закричал Лука Саввич. — Язык отсохнет — напраслину на пожилого человека несешь! Да я бы в Сатарово от вас ушел. Мне от вас уйти — тьфу! — сплюнул он под ноги. Пристав слезно просил вам помочь. Ох ты и шарлатан!

Киргизов схватился за револьвер.

— Ты, купеческий сын, без языка? Че глядишь, будто впервые видишь? Слова вымолвить не можешь? Али тоже, как оне, впервой увидел? — вдруг обратился Лука Саввич к Никите.

— Я тут маленький человек, — еле нашелся Никита, чтобы каким-то образом ответить на слова медвежатника.

— Ха-ха-ха, — нервно дергая плечами, засмеялся подпоручик. — Я ничего не знаю — моя хата с краю! Ясно, ты тут не пришей кобыле хвост. Ты тут маленький, ты тут чистенький, — кривился Киргизов, раздраженный уклончивым ответом Никиты. — Я, как погляжу, все тут ангелы! — Он внимательно глядел на Никиту, и тому показалось, что во взгляде его блеснула злобная усмешка. — Киргизов один душегуб, грубиян! Киргизову одному больше всех надо! Киргизов больше всех пьет, больше всех бьет! — Он враз побледнел и поморщился: — С глаз моих вон! — крикнул не весть кому, и ногой распахнул дверь.

— Угомонись! — не выдержал Туров, уставший слушать назойливую брань Киргизова.

Медвежатника солдаты проводили в просторную натопленную избу.

— Бери тулуп-то, — швырнул с порога конвоир.

В глазах летали светлячки, в висках стучала кровь. Лука бросил на пол тулуп. Лунный свет лил в окно, освещал угол возле печи, длинный деревянный очеп. «Чья-то колыбелька. Вытурили из избы хозяев; жили люди, а теперя скитаются. Вона и крынка с молоком, и у кошки в плошке молоко налито. Курицы на насесте шабаркаются. Нет, чтоб я им какую мыслю подсказал, — не услышат. Кукиш им». — Он несколько раз перевернулся с боку на бок, вспомнил свою постель, вздохнул. «Манефа Степановна, поди, из окошка глядит. Ждет. А как не ждать — в избе одна-одинешенька. Может, успокаивает себя: мол, к людям хорошим поехал. Сам пристав позвал, а кабы знала, к каким людям я угодил! — Он поднялся, подошел к кадушке с водой. Она оказалась полной. Толкнул ковш, зацепил льдинки. — Хозяева-то токо-токо тут были. Пить холодную воду не стал, поставил на шесток, поберег горло. — А че наши-то мужики, ослепли? Эти-то как дома. Сколько прошли, а во всякой деревушке так. — Лука Саввич кряхтя разулся, стащил отсыревшие валенки. С трудом снял один, положил рядом, уловил запах пота, отвернулся. На ночь он всегда разувался, давал ногам отдых. И на охоте, и в мороз не изменял своему правилу. Разувшись, потер колени, ощупал жилистые голени, на цыпочках прошел к теплой печи, ощупал приступок, поставил обувку — все по порядку. — Чья хоть изба-то?» — подумал, пряча босые ступни в рукава полушубка, стал считать с крайней от дороги избушки слепого шорника Павла.

Звякнул замок, кто-то стал шарить по двери, отыскивая скобу. «Значит, чужой», — мелькнула мысль. Дверь скрипнула. Студеный воздух перекатил через порог.

— Спишь? — спросил кто-то, прижимаясь к косяку.

Поджаров не ответил.

— Лука Саввич, караульный есть пошел, а я к тебе. Позднее будет некогда. Снег валит, каждый след виден будет.

— Ну, — отозвался Лука Саввич, узнав в парне купеческого сына Никиту. — Ты че, всю дорогу молчал, как немой, а теперь говорить зачал.

Никита на это не ответил: молчать и не разговаривать с Лукой Саввичем были причины.

Никита был свидетелем того, как разъяренный дерзостью Луки Саввича Киргизов в пух и прах рассорился с Туровым. В ход пошли какие-то мелочные упреки о самолично занятых Туровым местах в губернском театре, где он хотел щегольнуть перед Анастасией Леонтьевной, о сторублевом долге городничему, с которым поручик так и не рассчитался и т.д. и т.д.

— Хватит! — побагровел Туров. — Хватит! Не время! Как говорят, свои люди — сочтемся.

— Если этот медвежатник убежит, я за себя не ручаюсь! — в словах Киргизова была такая решимость, такая твердость, что Никита ни на минуту не усомнился, что подпоручик что-нибудь устроит.

Туров усмехнулся, нервно застучал пальцами по столу, процедил сквозь зубы:

— Поступай как знаешь! — и, скрипя сапогами, быстрым шагом вышел.

Никиту беспокоило безразличное отношение Турова к медвежатнику. Он сидел за столом, нехотя пробовал вахонинскую солонину и про себя отмечал, что она не идет ни в какое сравнение с отцовской. И, чтобы не показать виду, что ссора офицеров его чем-то обеспокоила, пристально глянул на золотистый кусочек стерляди и вымолвил:

— А у моего батюшки повкуснее

— У твоего батюшки трубы повыше, — поддакнул Плотников. — Можно бы вкуснее, да некуда.

— На посолку рыбы отец специально солельщиков нанимал. Те ножи с неделю натачивали, — отвечал Никита, подумывая, как сходить к Луке Саввичу и упросить его молчать, не упорствовать, не злить господ офицеров.

— Сам-то ты с имя заодно?

— Обо всем после. А пока об одном прошу: завтра Туров станет звать тебя с собой. Хоть в какую сторону позовет — соглашайся, не возражай, пожалуйста. Все равно они не слушают тебя и слушать не станут. Киргизова вон трясет от твоих разговоров. Молчи, Лука Саввич. Молчи пока, а потом поговорим.

— Молчать, значит? — закашлявшись, спросил Лука Саввич.

— Молчать. Для дела молчать.

— Ладно. Погляжу, — пообещал медвежатник

Никита вышел за дверь.

«Вроде супротив их? С чего бы! Отец — экий богач. Молодчики-то, видать, тоже из богатых семей, слова всякие мудреные знают. Мое дело супротив мялищевского мизер, только медвежатиной промышляю, и то голой рукой не тронь! А уж он-то, слов нету — богатей».

Что происходило вокруг, Лука Саввич не мог понять, не мог разобраться. Он прожил шестьдесят лет, знал людей изворотливых, с крутым норовом, и драки, и всякую ругань слышал, но то, что делают эти молодчики, — не вмещалось в его представления. «И вправду укокошат. Дали по роже — не постеснялись. В дедушки гожусь, а оне как на собаку орут. Отцы-матери у них где? Не знают, поди, что их отроки старому человеку кулаками зубы пересчитывают». — Лука Саввич ощупал подбородок, погладил ладонью пушистую рыжую бороду, припухлость возле уха, вздохнул и подумал о приближающемся новом дне: с насеста слетел петух, раза два хлопнул крылом.

Глава тридцать шестая

Настенька Вахонина, старшая дочь хозяина дома, деваха розовощекая, с большими голубыми глазами и полными алыми губами, была легонького ума. Подружки ее, ровесницы, уже и помнить забыли, когда девками были: избами, скотиной да ребятишками обзавелись. Встретив Настену, одни говорили: «Не горюй, в девках дольше — замужем короче», а другие все подзадоривали: «Ну, Настена, где-то твой

жених задержался. Говорят, едет из самого Тобольска да в деревнях останавливается, все присматривается, какую карету купить, на какой к тебе приехать!» На что Настена всем один ответ держала: «Было бы кого ждать, а дождаться можно». И, улыбаясь тихонько, верила, что нагонит она и Парашку, и Гутьку, что придет ее пора — развяжется узелок, и посыплются ребятишки, как горох, один за другим, и что будет она примерной матерью.

Когда Петька Спирин, настегивая лошадь, примчался с той стороны реки к дому сотского Шмелева, его соседка Метелиха смекнула: не иначе привез какие-то новости. Она привстала на лавку, прижалась лбом к протаявшей вверху рамы щелочке и стала ждать, когда выйдет Спирин. Тот вскорости вылетел из сеней пулей — полушубок нараспашку. Шмелев тоже вышел на крыльцо. Метелиха шаль на голову, ноги в пимы, коромысло на плечо — вышла навстречу Спирину. Видит, у того глаза вразбег, вожжи в руках натянуты.

— Че, Петруха, без шубенок? Пальцы-то обморозишь, — Метелиха остановилась с пустыми ведрами. — Ты че в такой ранний час пришпарил? На лошадку-то рогожу накинь, застудишь.

— Вот пристала, как банный лист. Советует! Без тебя знаю. Пошла по воду и иди, — прикрикнул Петр.

Метелиха побежала вдоль улицы и только свернула в проулок — навстречу Настена Вахонина. Воду несет, песню поет:

Тятенька с мамонькой
Неправдою живут,
Неправдою живут,
Младшую сестру
Вперед замуж отдают.

Ведра раскачиваются, вода по сторонам плещется, края ведер льдом покрылись.

— Тише, Настена, — остановила ее Метелиха. — Льдинку брось в ведро — не так вода станет выплескиваться. А еще и примета есть: кто много воды из ведер плещет, у того мужик пьяницей будет.

Настене только намекни на мужа — не рад будешь. Метелиха тут смекнула:

— Иди-ка, Настена, спроси у Петрухи, не едет ли твой жених? Он только приехал с той стороны реки, может, какие вести привез.

Настена вспыхнула, облизала губы и прямиком к Спирину. Идет, издали ему улыбается, а тот:

— Ну, Настена, долго ждать не придется, к нам — целый отряд идет. Через ночь все в Репнино будут. Только куда спать класть будем?

У Настены дух перехватило. Ведра посреди дороги поставила и закричала на все село:

— Женихи едут! Женихи в село едут! — Петр вдогонку за Настеной, она от него и кричит. Еле нагнал, голову запрокинул, ладонью рот закрыл:

— Молчи, дура! Молчи. Про то никому говорить не велено. Молчи, дура.

Шмелев враз сопрел от услышанного, сжал кулаки, не зная, что делать с Настеной: криком кричит на все село, да и с Петром — беда. Надо же! Бежать бросился. «Язык обрезать этим бестолковым надо. Хоть наказывай, хоть не наказывай, все мимо ушей пролетает. Считай, дело уже пропащее: все мужики из села уйдут, а ведь пока все дома. Только что все из леса вышли. Вчерась Семушкин приходил, говорил: охота нонче хорошая. Мужикам до приезда купцов работы со шкурами хватит. Всех бы и прихватили тепленькими, а этот баламут, этот болтун всем расскажет. Даже слабоумной девке. И у Митьши Субботина ушки на макушке. Это он все подбивает меха нонче не менять, не продавать. Мол, все одно поворот будет. Вот его-то и надо первого да тепленького схватить. Одному ему хвост начистить, а другие сами собой затянут «Боже, царя храни!» — рассуждал Шмелев.

Петька Спирин сразу перед ним каяться: мол, и слово-то ей, дуре, сказал одно: мол, женихов жди, идут. Она дура и есть дура.

Шмелев сухо ответил:

— Лови теперь слово-то!

Настенин крик услышали те, кому надо: без слов, без разговоров мужики накормили лошадей, запрягли и ночью ушли в лес, навстречу сатаровским мужикам, которые, как сказал Митьша Субботин, давным-давно ждут их.

Когда в полночь отряд Турова вошел в Репнино и господа офицеры расквартировались в доме Настениных родителей, мать встревожилась и строго-настрого наказала дворовым девкам во все глаза глядеть за ней, обещала каждой по платку, лишь бы не проглядели девку.

Приглядевшись к приезжим, старуха Вахониха пожалела, что не отправила Настену на заимку, куда та ездила с охо-

той, ходила там по лесу, топила баню, пела с девками песни. «Легко сказать — удержать девку, когда у той удержу нету», — вздыхала мать.

Собаки в Репнино лаяли до хрипоты. Говор, кашель, крики летели над селом и, казалось, ударялись о крыши изб, о стены бань и амбаров. Скрипели сани, кошевы, короба. Бухали на реке пешни и топоры — ладили большие проруби для водопоя.

Далеко за полночь отогревшихся после долгой морозной дороги солдат сморил сон. И даже Киргизов, который готов был бодрствовать и воинствовать без устали, уснул прямо за столом и тут же захрапел, расслабленно встряхивая черным чубом, угодившим в тарелку со студнем.

Осыпанная снегом, с распущенной косой, в исподней рубахе Настена распахнула дверь перед утром.

— Там, там! — хватая ртом воздух, еле выговорила она. — Там, в кошевке. Он мертвый, холодный! Там... — И Настена повалилась без памяти.

Кто надоумил Настену сходить к кошеве с умершим в дороге Кольшой Сосуновым? Может, и сама нашла его, расхаживая по двору. Она лежала на полу отяжелевшая, ни у кого из домашних не хватило сил поднять ее. Положили на половик и уволокли в родительскую спальню.

— Мертвецов привезли! На подводах одни покойники лежат! — зашептались в избах, зажигая возле икон лампады. Послышались молитвы, слезные просьбы к Матери-Заступнице.

— Кайтесь! Кайтесь! — сжимая маленькие кулачки, ругалась на девок старуха Вахониха, прислушиваясь к скрипу сапог Турова.

Никита Мялищев умылся и долго стоял возле окна, глядя на низкие избы, до половины увязшие в снегу, на подковообразный выступ реки и дорогу по ее берегу. Разглядел два взвода и крытые тропки к темным кругам прорубей. На краю села маячили три фигуры. «Началось», — вздохнул, разглядев двоих с винтовкой, и поторопился в комнату.

— Что там? — спросил Туров.

Никита не ответил, тогда поручик твердым шагом подошел к окну, посмотрел.

— Не нравится? — поправляя ремень, спросил Туров. — Чистеньким хочешь остаться?

— Не нравится, — прямо ответил Никита, усаживаясь к самовару.

— Так-так, — протянул Туров, но приостановил разговор. В горницу вошли офицеры. «Может, Киргизов и прав», — с раздражением подумал Туров о купеческом сыне.

— Похоронить распорядился, — сказал Киргизов. — Дочь-то хозяина все еще без памяти лежит. Испугалась. А чего его теперь бояться? Вот как он жив да здоров был — можно. Царство ему небесное, — Киргизов налил в стакан водки. — Надо похоронить парня со всеми почестями, а то зарываем как попало, и вперед. Да письмо родителям написать.

— Надо, — согласился Туров, опорожняя стопку. Проглотив, вымолвил:

— Отрава какая-то, а не водка. Тьфу, погань!

Старуха Вахониха будто тут и была:

— Все вам не глянется, люди дорогие! Все судите-пересудите. Мы водку сами не делаем. А ежли вам у нас не глянется, так не держим. В селе еще есть люди, может, у них угощенье слаще. А мы водку не ладим, а покупаем. Денежки из своих карманов платим.

— Авдотья! — крикнул на старуху Вахонин.

— Че, Авдотья? От тебя слова не дождешься. Ты-то так же думаешь, только молчишь. Знаю я тебя, простодырый!

— Авдотья!

В первый момент, глядя на бледнолицую, с седыми редкими волосами хозяйку, Киргизов захохотал, но та стала топать ногой, как делала по утрам с кухарками, конюхами и дворником.

— Негоже, так уходите! Двор весь загадить успели — ступить некуда, да еще мертвечины навезли.

Киргизов побагровел. Сжав губы, подошел к ней сзади, схватил за шиворот, да так и дотащил до самых дверей, потом вытолкнул за порог. Старик Вахонин затряс головой и спрятался за дверью.

— Кыш! А то сейчас распоряжусь со всех штаны содрать да зады начистить!

— Это как? — промямлил Вахонин. — Где пьете, едите, там и валите!

— Где пьем, едим, там и валить будем! Кыш отсюда! — притопнул ногой подпоручик.

В дверь постучали. Вошел солдат, вытянул руки по швам, доложил:

— С моего края в трех избах одни бабы да ребята, а в четвертой избе с печки долговязого мужика стащили. Говорит, с осени дома не был. Только вчера с охоты пришел.

— Веди, потом разберемся, кто и откуда.

Лука Саввич как раз входил в дверь.

— Кирилл Зайцев! Вот встреча. А я ночью вспоминал, вспомнила твою фамилию, ну вылетела из башки. Фамилия-то самая простая. Ну, здорово!

— Здорово, — ответил тот, но конвоир толкнул Зайцева в спину.

— Че вы всех зуботычинами угощаете? Или люди — скот, слов не понимают? — Лука Саввич пошел прямо к Турову. — Я тебе нужон? Нет — отпускай, не то самому губернатору жаловаться стану. Он, слава Богу, меня знает. Просил шкур медвежьих добыть да выделать. На прощанье сказывал: «Будет дело — сообчи, токо подпишись: мол, писал эту просьбу медвежатник Поджаров». Не было к нему надобности обращаться. А уж, как вы, я гляжу, петлю на шею — не позволю.

Киргизов опять захохотал, затряс шевелюрой.

— Что ржешь, как сивый мерин?! Тебя не смех раздирает, а лихорадка трясет.

— Лука Саввич! — окликнул медвежатника Никита. Тот обернулся и стих, будто язык прикусил.

Тут как нельзя лучше для Луки Саввича вошел репнинский сотский Шмелев. Пошарил глазами, где бы присесть.

— Смею доложить, — облизывая сухие тонкие губы, спрятанные в жестких усах, с трудом выдавил он из себя: — Я только что такое узнал! Навстречу вашему отряду идут красные. Не попадите в засаду.

Поручик резко встал.

Глава тридцать седьмая

Киргизов стоял на крыльце в накинутой на плечи шинели. Два тобольских кнутобойца обтирали снегом плети. Один стащил с головы шапку и рукавом обтирал потный лоб.

— Мелочевка, — махнул рукой подпоручик в сторону сарая. — Спрашивать-то их нечего. Чего знает эта темнота? Хлещем для порядка: лавочника за то, что мужикам много муки дал, долговязого мужика — чтоб язык не распускал. Такой же, как рыжебородый медвежатник: слова выговорить

не давал. Такой краснобай, все он знает, все разумеет! — сплюнул в сторону Киргизов. — Хозяйке пять плетей всыпал, чтобы не орала. После пришла в себя и вовсе разошлась. Другая бы помолчала, а эта визгом исходит. С виду благообразная старушка, а с лампой выскочила: «Огнем выкурю! Подожгу!» Порка впрок не пойдет — повторим.

На пороге появился Туров:

— Приказано идти к Уралу.

— Это не новость. В Тобольске оговаривался этот маршрут, — теребя взъерошенные концы усов, непривычно спокойно сказал Киргизов. — Хорошо было бы узнать о продвижении регулярной армии. Где сейчас ориентировочно передовые отряды?

— У нас связь только конная.

Успехи Красной Армии, предательство Антанты нарушило все планы «верховного правителя». В войсках Колчака началось разложение. Устойчивыми оставались только те части и отряды, которые были сформированы из кадрового офицерства. Отряд поручика Турова был надежным плечом «верховного правителя» на глухих сибирских просторах. Опираясь на кулацкую верхушку, они надеялись прочно удержать свою власть в сибирских деревнях и селах.

К этому времени уже пал Омск, правительство Колчака эвакуировалось в Иркутск. «Верховный правитель» в страхе и панике измышлял реформы, менял министров. От восстания иркутского гарнизона и рабочих предместий Иркутска члены колчаковского совета министров бежали за Байкал, но по пути в Нижнеудинске были лишены своего конвоя и под охраной «пяти союзных флагов» были препровождены в Иркутск и заточены в тюрьму.

Эти слухи эхом прокатились по сибирской стороне. А в Тобольске давно забыли об обещанной помощи карательным отрядам.

— На душе неспокойно, — сказал Киргизов. — Думаю, для пользы дела нам нужно быстрее разделиться. Мой путь дальше, а вам... — тут Киргизов смолк, он понял, что превысил свои полномочия. Последнее слово, безусловно, будет за Туровым.

— Мне думается, Михаил Иванович... — обращение к Киргизову по имени и отчеству заставило подпоручика встать, — садитесь. Не случайно я так долго и терпеливо приглядывался к купеческому сынку. Он, как сказал его отец, хорошо говорит по-вогульски. Какая-то вогулка жила

у них, и он сам не заметил, как научился с ней разговаривать. Он пойдет со мною.

— Неплохо. Совсем неплохо, — деловито ответил Киргизов. — Такой человек в снегах бесценен.

— И о нашем Шитоеве думаю, жив ли? Мы о нем тоже не очень печемся.

— Он живуч.

— И про нас так же думают. Ну да не об этом теперь разговор. Его и этого медвежатника с собой возьму. Остальных поровну. И еще: через Урал красноармейский отряд движется. Нам бы с ним не повстречаться. Прикажите принести списки. Вы по ним пробегите взглядом, с карандашом в руке.

Молодой паренек с почерневшим пятном на обмороженной щеке стоял перед ним навытяжку.

— Свободен, — принимая папку, сказал Туров. — В боях не участвовали, вылазок не делали, а отряд поредел. Надо убрать из списков двух сбежавших фельдшеров, расстрелянного в Сатарове караульного, как его фамилия? Надо убрать Лушникова, Лопухина, Сосунова! Ох ты, Господи!

Киргизов ставил кружочки возле названных фамилий:

— Ненавижу маменьких сынков. И того, что в Сатарове расстреляли, — не жаль, тоже был нюня.

— Да они все маменькины сынки. — Туров взял список. Тонкий лист бумаги шелестел и подпрыгивал в руках поручика.

— Что с вами, Николай Михайлович?

— Не знаю. Сегодня с самого утра на душе беспокойно, — признался Туров. — Медвежатника пришлите ко мне.

— Он за компанию со всеми в сарае закрыт.

— Как вы посмели? — возмутился Туров. — Он нам нужен.

— Вы же сами согласились...

— Но надо же понимать, в каком мы оба были состоянии!

— Пусть поменьше болтает, — не сдавался Киргизов и крикнул, приоткрыв дверь: — Того, рыжебородого, выпустите. — Вы не беспокойтесь, его пальцем не тронули.

Рыжая борода Луки Саввича побелела. Подняться на ноги он не мог. Его вели, как пьяного.

— Хуже зверей. Господь-то как на вас смотрит? Мужики-то наши где? Батогами вас надо! Батогами!

Его никто не унимал. Турову не хотелось попадаться на глаза медвежатнику. Он велел проводить его в избу, где тот ночевал в прошлую ночь.

— Думаю, нет смысла засиживаться в этой деревне. Надо идти вперед. Но надо бы знать обстановку.

У большинства репнинских мужиков был один настрой: чуть что — в лес! Особенно у тех, кому надоело гнуть спину на сельских богатеев Вахониных да самодура Яшку Лапшина. Но помалкивали. Только Митька Субботин ляпал все напрямки.

— Ну, Митька, быть тебе битому, — вздыхая, говорила ему мать, прослышав от людей, что идущий карательный отряд не то что до смерти избивает непослушных да непокорных, а прямо живьем в прорубь толкает. — Вчерась, — шепотом говорила она Митьке, — Парашка падучая по сено ездила и там сатаровских мужиков увидела, оне и порассказывали ей!

— Пущай идут, посмотрим, как удирать отсюдова станут.

— Не ляпай ты, Митька, не ляпай, че попало. Подумать не успел, а уж всему свету трезвонишь, как ботало.

— Так это я только тебе!

— Думаешь, все тебя слушают да соглашаются? — сокрушенно покачивала головой мать. — Многие от твоих слов рыло-то в сторону воротят. Пришлые-то, как ногой на нашу дорогу вступят, тебя первым схватят. Да свои же, сельские, помяни мое слово, отдадут и засекут до смерти, как в Сатарове Арсю Попова да Ваньшу Мошкина. А какие мужики были — не тебе чета. Ушел бы в избушку, от греха подальше.

— Да нельзя мне, мама, сейчас из села уходить.

Мать замахнулась на Митьку, как бывало в детстве, хлопнула холщовой тряпкой по плечу и только вздохнула.

Когда Настена Вахонина закричала на все село, что скоро в село придет полно женихов, Митька был возле поленницы.

У Митьки дело было одно: всем надежным мужикам сказать, чтобы не рассеивались, не расходились по разным избушкам, а шли на соединение с сатаровскими мужиками. Такое у него было задание, о котором раньше времени он никому не мог говорить.

Сатаровские мужики ждали их в десяти верстах от Репино. Низенькая избушка на Прохоровской присаде оказалась просторной. Ее выстроили давно на самой середине раздольных покосов, где заготовляли сено для ямщины и лошадей волостной управы. В горячую пору здесь собиралось кос-

цов до пятидесяти, и всем хватало места. Тут и встретились сатаровские мужики с репнинскими.

Отряд пополнялся. Ефим Дорошин мало-помалу выздоравливал, с пополнением отряда повеселел, стал подниматься и даже ходить вокруг избушки. Много лет не видевший репнинских мужиков, тормошил память, вспоминал, где и когда с ними встречался в последний раз, то ли на рыбалке, то ли в обозе, то ли на ярмарке, а дороги со всеми скрещивались. Мужики надежные. С такими можно хоть в огонь, хоть в полынью.

— Откладывать нападение на карательный отряд нельзя, — на вчерашнем совете отряда высказал свою мысль Ефим. — Хватит, натерпелись. Пришла и наша пора.

— Надо внезапно, да так, чтобы сразу зацарапались, — первым высказал свое мнение Липатий. — Идут себе, гнут мужика в бараний рог.

— На их стороне сила была. Супротив отряда в триста штыков что наши двадцать восемь мужиков с охотничьими ружьями? Пошли бы на полную погибель. Нам их так надо накрыть, чтоб самим обойтись без потерь, — говорил Антон Шмигельский, понимая, что в первую, самую ответственную вылазку с мужиками пойдет именно он.

Глава тридцать восьмая

Прибывшие в отряд репнинские мужики особых новостей не привезли. Откуда им взяться? Всех пеших и конных на дорогах перехватывали каратели. Каждый берег себя и норовил в смутное время отсидеться дома, а лучше уйти в лес. Ребятишки и те, наслушавшись разных страстей, не высовывали на улицу носы, сидели на полатях.

Репнинские мужики только знали, что отряд Турова разделится на две группы: одна пойдет вдоль Оби, другая будет пробираться к Уралу.

— Наше дело дать им понять, что мы представляем собой силу и способны к самому ярому сопротивлению, и что так просто, победным маршем по нашим селам они расхаживать больше не будут.

Уже надвигались сумерки, когда стоявший в дозоре Савелий увидел бежавшие к избушкам три подводы. «Мужики репнинские сказывали, что все комитетчики из села ушли вовремя», — вспомнил Савелий. И, придерживая сползающую на лоб заячью шапку, он перебежал на другую сторону дороги и свистнул.

Видно, перед встречей с карателями нервы у всех были напряжены, поэтому из избушек выскочили, как по команде. Все взоры были обращены на дорогу.

— Однако это лошадь сотского. Неужто сам Шмелев? Тогда его подослали. Сам не поедет, — с какой-то уверенностью сказал Субботин, прищуриваясь и пристальнее разглядывая приближающиеся упряжки. — Да это Петька Спирин, только передняя лошадь сотского, — узнал он седока в первой упряжке. А те незнакомые, — проговорил Субботин.

Антон взглянул на репнинских мужиков, которые так вперили взгляд на дорогу, что он не выдержал и крикнул:

— Че как мишени выставились? Себя поберегите.

— Неужто солдаты? — коренастый мужик бросил в снег самокрутку.

— Не стреляйте! Не стреляйте! — доносился голос.

— Так и есть, Петька Спирин!

Парень на ходу выскочил из саней, поднял вверх руки и побрел по снегу, напрямик к избушке. За ним, пурхаясь в снегу, брели трое. Лошади без седоков сбавили бег и бежали трусцой по дороге.

— Солдаты! — произнес Антон и положил руку на револьвер.

— Не стреляйте! Не стреляйте! — уже различая лица мужиков, кричал Петька, чуть не плача.

На молоденьких солдат мужики смотрели с непритворным сожалением. Военная одежда, поверх которой были натянуты полушубки не весть с чьего плеча, грязные шарфы вокруг шей, осунувшиеся, худые лица — они не были похожи на солдат, способных вселить кому-либо опасение.

— Это когда они кучно, да все в строю, да по команде — на армию походят, а так, — с каким-то облегчением проговорил Савелий. — И этих мы все время боялись?

— Напрасно ты так, — многозначительно протянул Субботин, в задумчивости рассматривая прибывших солдат.

Ефим Дорошин сидел у стола, на робкие приветствия прибывших солдат ответил кивком головы и изрек:

— Если кроме винтовок еще есть оружие — выложите на стол.

Один револьвер оказался у ефрейтора Вялова, который и начал свой разговор, не дожидаясь вопросов Дорошина:

— Мы двое тобольские, а этот, — кивнул он в сторону порога, возле которого к косяку прижался один из парней, — абатский. Все земляки. Родители наши наказывали нам в лесные избушки сбежать к вам, да подходящего момента не было.

— Так уж и не было?! — в сердцах крикнул Субботин.

— Может и были, да куда бежать? Кто знает, где вы прячетесь? И этого заставили силой дорогу к вам показать. Спросите у него, не даст соврать.

— Сначала я подумал, что они так, шутят со мной, — начал было Спирин, но Антон остановил его: — Пущай говорят сами. Только откровенно.

Солдаты рассказали об отряде без утайки все, что им было известно, и подтвердили, что на днях часть отряда под руководством Турова отправится к Уралу, а часть под руководством Киргизова пойдет вдоль Оби.

В это время в избушке распахнулась дверь, и послышался крик: «В Репнино пожар! Пожар! Кого-то спалили! Сожгли».

— Это из-за нас, — понурив голову, сказал ефрейтор Вялов. — Из-за нас. И скорее всего... — Он не договорил, хотя был твердо уверен: сгорел Петькин дом. Он ни капельки не сомневался в этом, был убежден, что не ошибся.

— Моя изба горит! Моя-я-я-я! — во все горло завопил Петька. — Я-то тут при чем? Меня ведь силком заставили к вам поехать. Спросите потом сотского, спросите. Он все слышал. Все. Паразиты-ы, — он сжал кулаки, подбежал к ефрейтору, но тот не отпрянул от кулаков Петьки, а только поглядел на него в упор и сказал вполголоса:

— Жив буду — поставлю тебе избу, слово даю.

— У меня в сундуке новый зипун, а на самом дне сапоги новые, ненадеванные. Разорили! — швыркая носом, кричал Спирин, он матерился на солдат самым нещадным образом.

— Мы не подведем. Слово даем, — почти шепотом, както отрывисто и ясно сказал ефрейтор.

— Ни раньше, ни после вы сюда явились, — не скрывая озабоченности, проговорил Ефим, но спокойным, даже дружеским голосом. На сегодня отрядом была назначена военная операция против карателей, он понимал, что их при-

сутствие здесь осложняет конспирацию, к которой совсем не привыкли мужики. — Вот куда теперь с вами? — развел Ефим руками. — Карцеров у нас нет, лишних избенок тоже. Разве в чистое поле, так там через ночь снежных истуканов найдем. Вот куда вас?

— В дозоре будем стоять,— тихо промолвил все время молчавший возле порога парень с обмороженной щекой. — Я привычный в дозоре. Знаете, как привык в темноте. Но тут же смолк, услышав за спиной недовольное ворчание. Быть может, оно было адресовано и не ему, но он тут же смутился, закашлялся и снова молча уперся плечом о косяк.

Ефим решил кое-что у них уточнить: верно ли то, что все офицеры остановились в доме Вахонина, и в каком состоянии находится пулемет.

— Никто в отряде и мысли не допускает, что кто-нибудь может на них напасть. Не то что в это не верят, а как бы это правильно выразиться? — переступая с ноги на ногу, говорил ефрейтор Вялов, стараясь поточнее выразиться. — Расслабились. Шли маршем, богатые люди всюду хорошо встречают, только вчера хозяйку-старуху за дерзость пятью ударами плетей огрели, а так из богатых никто нам не перечил, и мы никого пальцем не трогали.

Громкий смех наполнил избушку:

— Это старуху-то Вахониху! Давно пора! Давно. Скребла кошка на свой хвост. Ох и востра, старая. Во всем селе от нее покоя нету. И так она права, и этак по ее будет. — Митька Субботин в подробностях рассказывал, как Вахониха куражится перед своим стариком и настолько оконфузила его перед сельчанами, что ему можно заживо в гроб ложиться. Она так его своим языком охаяла, так обесчестила, он от нее такое терпит, что непременно в рай попадет. Считай, каждый день от него покаяния принимает за любую конфетку взятую, за щепотку табака. Был мужик мужиком, уважаем, а теперь тряпка тряпкой. Ни сказать, ни молвить. Кто пороть-то ее не постеснялся?

— Киргизов, — ответил парень возле порога. — Тот не упустит случая.

— Наслышаны об нем. — И в избушке воцарилось молчание. Правда, оно длилось недолго, но и этого хватило, чтобы мысленно побывать в селах, по которым прошел отряд и оставил свои кровавые следы. Лица у всех были озабоченные.

Митьша Субботин с малолетства истоптал все репнинские проулки, побывал на каждой крыше, а в вахонинском огороде знал каждое прясло: нынешней осенью сюда все сено с крайних покосов сваживал.

— Собак-то дома нету. Они их к старухе Танатарихе увели и заперли там в сарае. Кормят их до отвала, чтобы голосу не подавали. Собаки у Вахонина охотничьи, по все селам славятся, — рассказывал Субботин.

В село отправились вшестером. Сразу стали держаться подветренной стороны. Шли друг за дружкой, с ружьями наперевес, вышли на санный след.

Вахониха лежала с примочками из распаренных листьев лопуха, а на ночь вздутые кровавые подтеки смазывали попеременно то медвежьим, то гусиным салом.

«Разве только когда Господь Бог ребят посылал, так перед повитухой разболокалась, — глотала она слезы. — Куда тут денешься, весь мир без этого не обходится. Времечко пришло — и нельзя погодить. А так чтобы когда коленки показать, да Боже сохрани. Срам! Какой срам! Как только все это переживу — не знаю. Все село теперь только про то и говорит, что парни подол задрали. Мученица Господня!» — жалея себя, безутешно плакала Авдотья Сергеевна. Ко всему у нее пропал сон. И чего она только не передумала, со всеми переговорила, а утешения не было никакого. Пила настой пустырника, от которого раньше засыпала, пока закипал самовар, а теперь и он не помогает!

Скрип задней калитки в огороде хозяйка услышала сразу. «И куда опять шарашатся? Че в огороде-то надо? Разве только картофельную яму откроют? Им-то, басурманам, ничего не жалко. Вот на что она им? И так кормим — скоро все лари опустеют». Она прислушалась. В доме была тишина. Кот, тихо ступая по половикам, подошел к печи, затаился и вдруг прыгнул, опрокинув коробку с орехами, и ринулся из спальни. «Мышь поймал. Развелись по сусекам да ларям. С осени одолевают, проклятущие!» — подумала Авдотья Сергеевна и, услышав ружейные выстрелы, взвизгнула на всю избу. Оказавшийся рядом Клавдий Сергеевич закрыл ей ладонью рот, шепотом успокаивал, что не надо ей беспокоиться: «Так надо, так Богу угодно, — и, не отводя глаз от окна, прошептал: — Пойду, выйду, что-то шумно там».

— Сядь, — с нахлынувшей вдруг на нее нежностью почти простонала Авдотья Сергеевна: — Кого-то ведь жизни решили? — спросила вдруг и, вздрогнув, зарыдала.

— Да, может, еще все обойдется. — Говоря это, старик Вахонин вроде освободился от чувства страха, с которым жил все это время.

Во дворе кричали, по избе бегали офицеры.

— Кто там стреляет? В кого? — слышался хриплый голос Киргизова, который не хотел верить, что кто-то посмел напасть на отряд, хотя у самого постоянно жила эта мысль. Распахнув двери, он стремглав выскочил на крыльцо. Пуля угодила в косяк, он только успел бухнуться на порог.

— В ружье! — слышалась команда во дворе.

— Господин поручик, мужики налетели. Караул перестреляли, трех рысаков из конюшни вывели, короб с винтовками и патронами. Парней-то сразу всех наповал, — вытаращив глаза, докладывал солдат, губы его дрожали.

Из конца в конец по селу неслись громкие крики. Бабы стаскивали с полатей полусонных ребятишек, толкали их в подполья, закрывали двери на крючки, а у кого их не было, привязывали к скобам веревки, проталкивали и ладили поперек дверей клюку, черенок ухвата или сковородника.

— Че там творится? Старый-то куда убежал? — с сердцем в голосе крикнула кухарке Авдотья Сергеевна. — Прибьют еще, — и старуха тут же поперхнулась, заохала.

— В ружье! — слышался голос поручика Турова, но охваченные паникой солдаты не слушали его.

Кто-то догадался запрячь лошадей. Зазвенели колокольчики над дугами.

— Живьем их! Живьем их! — застегивая френч, командовал Киргизов.

Лука Саввич, услышав выстрелы, подошел к окну, вглядываясь в темноту, перекрестился: молодцы ребятушки. Мои-то молитвы дошли до Господа. Понужайте их, понужайте. У меня тоже рука не дрогнет, дай Бог токо в себя прийти.

На вахонинском дворе лежало трое убитых солдат. О них запинались, через них перешагивали, в суматохе до них никому не было дела. Вокруг скрипели сани, топтались люди, грохотали одиночные выстрелы.

В то время, как из ворот вахонинского двора выбежали лошади, Антон Шмигельский с группой товарищей был уже за перелеском, где их ждали мужики на подводах.

— Как сквозь землю все провалились. А может, по избам спрятались? — возвращавшиеся солдаты не сразу решались докладывать.

Киргизов ломал за спиной руки:

— Это организованная вылазка. Настоящая, подготовленная! — кричал он на всю горницу. — Успокоились. Сибирь... Холода... Уже такие мужики безобидные... Им бы только до своих изб! — говорил в запальчивости. — Ведь перебьют, что доброго. Пуля впилась в косяк, а могла бы и в меня, — он взглянул на Турова, который, достав из револьвера патроны, тряс их в ладони и, щуря попеременно то правый, то левый глаз, глядел в круглое отверстие.

Туров подошел к Киргизову:

— Пятнадцать винтовок забрали и два ящика патронов! Это им для чего, таким смирным сибирским мужикам? Сколько раз я предупреждал! Куда глядели караулы? Кто стоял в карауле?

— Все караульные убиты.

В дверях горницы, как привидение, появилась Настена. Взгляд безразличный. Плечи опущены.

— Мужики-то огородами ушли, на лыжах, — сказала она тихо. — Огородами. Я видела в окошко. Лунно, на снегу видно. — Туров схватился за голову, обернулся.

— Ну, ну, ну, — затряс ее Киргизов, сжав цепкими руками плечи девушки. Она вскрикнула от боли, защищаясь, приподняла над головой руку, ежась под злым взглядом подпоручика.

— Чего же ты, Настена, поздно сказала? — снисходительно спросил Туров, понимая, что ничего нельзя потребовать или поставить в вину Настене и, приоткрыв дверь, распорядился: — Обшарить огород и — в погоню!

— Я вас боюсь, — прошептала Настена. — Вы пошто мою мамку секли? Она у нас слова знает. Вот и накликала на вашу голову беду. Это она.

— Скажи своей матушке, если она тебя послала, — прошипел Киргизов, — я прикажу ей еще всыпать, если голос подаст или на ветер прикажу послать весь ваш дом!

— Куда — на ветер? — переспросила Настена.

— Прикажу сжечь ваши хоромы, чтобы помнили дольше!

— Побойтесь Бога, — замахала руками Настена, тут Туров, взяв ее за плечи, вывел из горницы.

Солнечные лучи мелькнули на самом краю неба и будто подвинули по нему тяжелые, серые облака. В селе стояла непривычная для этого часа тишина, и только коровы, не

дождавшись в срок хозяек, начали мычать от тяжести скопившегося за ночь молока. Из труб над крышами в нескольких избах потянулись к небу дымные стрелы.

В вахонинском огороде солдаты истоптали весь снег, до самого лога пробежали по торной лыжне, потом погнали лошадь, но она скоро выбилась из сил.

— Рыжебородого медвежатника приведите, — распорядился Туров.

Лука Саввич шел, прихрамывая на правую ногу. С Туровым поздоровался учтиво. Искоса бросил взгляд на собравшихся в горнице офицеров. Шапку снял, мял в руках.

— Хочу спросить: вы меня как долго держать будете? Дома делов полным полно. Шкуры замочены — прокиснуть могут, а нонче опять был заказ из губернии. Я ведь тем и живу, тем и хозяйство держу.

— Подождешь. К вогульской стороне поведешь.

— Нищему собраться — токо подпоясаться, — ответил Лука Саввич. — Да разговор про вогульскую сторону — пустой. Тут никуда не своротишь. Еще верст полтораста надо идти, а потом поворачивать. Кабы была дорога легка да проста, уж давным-давно нашлись бы охотники изнахратить вогульскую сторону. Вогулы — люди смирные. Они и тут обитали, но откочевали от бойких мест. Все названия рек, которые на «я» заканчиваются, — вогульские. К ним только на оленях и можно добраться, да я туда не хаживал. Медведь у них редкий гость, да ко всему они ему поклоняются, трогать его нельзя! А потому мне у них делать нечего. Вот даже побожусь: не бывал. — Лука Саввич поднял глаза в передний угол горницы и перекрестился.

— Не мудрствуй, старик, — раздраженно сказал Туров. — Хоть и не был, а пробираться туда будем!

— На что они вам? Живут и пусть живут!

— Да не твое это дело. Твое дело нас на тропы выводить.

— Да какой я ходок, — стоял на своем Лука Саввич, выводя из терпения офицеров, которые с ночи были взбудоражены. — Без оленей — никуда, разве что ползком на брюхе.

— Пороть его! До смерти! — закричал Киргизов, успевший уже опохмелиться.

Лука Саввич, обтерев подкладкой шапки взмокший лоб, сказал Турову:

— Если и пойду, так или он или я, а то, гляжу, до беды недалеко. Мое слово такое: за оленями посылайте, а то на

первых верстах окочуритесь, — сказал и пошел к двери. Его никто не окликнул, не остановил.

Турову весь день нездоровилось. Такой тяжести в груди он еще никогда не чувствовал. Руки тряслись так, что он не мог, не расплескивая, держать стакан. Днем опять хоронили солдат, в сарае у Вахонина секли каких-то стариков только за то, что окна их избы глядели на вахонинские огороды, а они божились, что никого не видели.

К вечеру в разных концах села загорелись избы. Подожгли те, из которых накануне прихода отряда хозяева ушли в лес. Во все горло голосили бабы, бегали перепуганные ребятишки, вытаскивали из огня чугуны и горшки, перины и подушки, бродни и упряжь.

Увидев пожары, репнинские мужики в панике погнали лошадей к селу, остановили их только выстрелы Антона Шмигельского.

— Черт меня дернул связаться с вами, пойти в эту избушку! Черт дернул! — ревел репнинский бондарь. — Токо из нужды вылез, токо в кармане копейка звякнула — все прахом пошло, все. Вон, вон они, мои копеечки-то, летят черными искрами в небе. Черт меня дернул. Испугался. Ну пусть бы исхлестали задницу, пусть! Зажила бы, а теперь? Идти по миру! Вы мне скажите: идти по миру?

Его никто не утешал. Горькая правда была во всхлипываниях бондаря, который только-только приподнялся над вечной нуждой.

Глава тридцать девятая

Последнее время купцу Мялищеву стало казаться, что дом его покосило. «Вроде как мезонин осел, — смотрел он сощурившись. — Да не может того быть. Ветер с правой застрехи сдул снег, а мне и покажись, — упираясь ладонями в колени, всматривался Василий Афанасьевич. — Уж из такого лесу срублен — и не на мой век хватит. Да если бы и покосился — не жалко. Теперь ничего не жалко. Никакой радости нет и ждать неоткуда».

После ухода из села карательного отряда велел на три раза перебелить все комнаты и коридор, перетереть, перечистить на снегу половики и ковры, перемыть с мылом посуду, песком выскоблить полы в сенях и на крыльце.

— Погоди. Доски-то все поморожены. Холода какие стоят. Кто в такой мороз сени моет, — останавливала его Акулина Федоровна.

— Если руками делать, все можно. Или дров не стало? Слава Богу, с собой не взяли и сжечь не догадались. Кипятком-то дощечка по дощечке и вымоется.

У Акулины Федоровны так и вертелось на языке: «Туров-то еще воротится», — но вслух говорить об этом побоялась.

От мысли, что там с ними ее единственный сын Никита, холодело и замирало сердце. С гадальными картами Акулина Федоровна теперь не расставалась, носила с собой в кармане, каждую свободную минуту разбрасывала. «К Шлеиным бы сходить. Уж как гадала Елена-то! Всегда как в воду глядела. Чего не скажет — все и сбудется, — подумала Акулина Федоровна о жене бывшего старосты волостной управы. — Вот уж и Нестора Прохоровича не стало. Так, гляди, все по-одному уберемся. А уж сколько в нем было сил! Людей в строгости и покорности держал, и дома какой порядок был! — Акулина Федоровна всхлипнула. — И чего людям не живется? Все из-за неразберихи: кто во что горазд. Ну как можно сравнивать Степку Голощапова с Нестором Прохоровичем? Чего он знает, этот печник? Только и может, что печки класть, а ведь сидит на месте Нестора Прохоровича!»

Услышав в коридоре скрип половиц, нехотя обернулась. С распаренным березовым веником в горницу вошла Васса. Она собралась смести с половиков пыль, но остановилась в дверях.

— Поди-ка сюда, — позвала кухарку Акулина Федоровна. — Глянь-ко на карты. Ты ведь тоже гадаешь.

— Гадаю, — поправляя на голове платок, ответила Васса и встала за спиной хозяйки. От распаренных березовых листьев напахнуло осенним днем, когда сморенные под дождями листья источают терпкий запах лесной прели.

— Ну, говори, — не оборачиваясь, велела Акулина Федоровна.

Васса протянула руку, поправила карты, подержала палец возле десятки виней.

— Вроде и карта хорошая, а падает не путем. Не люблю, когда рядом эти пустые хлопоты да семерка виней в голове. А вот здесь вроде радость какая, но опять вини перехлестывают.

— Может, выпадет чернота-та?

— Может.

— А чего про бубнового короля ничего не говоришь?

— На сердце он у вас. Сами видите. А дороги его скорой домой нет.

— Какая дорога? Хоть бы вести какие были, — вздохнула Акулина Федоровна. — Сказывают, с той стороны почтарь Ямзин был, у Маита ночевал, а он даже словом не обмолвился. Флор, бывало, раньше топчется, топчется возле порога, а тут проскочил мимо, будто так и надо, — собирая колоду карт, сетовала купчиха. — А тебе случайно Ямзин не привез от него письмо?

— Нет, — ответила Васса.

— Побожись! — Потребовала хозяйка.

Васса вспыхнула. Акулина Федоровна пристально вглядывалась в Вассу. Раньше, бывало, не без гордости говорила: «У меня нет никаких забот. Васса всегда под рукой, а у нее все в порядке. Я только для порядка хожу да бурчу». Теперь же она на нее совсем по-другому глядела. «Вдруг да с ней век доживать придется? О Господи, какие мысли лезут в голову! Умереть легче». Но это были только слова. Жить Акулине Федоровне хотелось, как никогда раньше.

— Ефросинья Алексеевна Дорошина к нам идет, — приоткрыв штору, сказала Васса.

— Это зачем еще? — почему-то шепотом произнесла Акулина Федоровна, подходя к окну. «Вся семья с ума сошла. Жили смирные, кроткие. А как Даша солдаткой была, любо было поглядеть — сама учтивость. Идет, бывало, так Нестор Прохорович с нее глаз не сводил. Встанет возле окна и стоит как завороженный, пока она за угол не зайдет. Все говаривал: в ней, мол, вся русская краса! И умная, и рассудительная, и статная. Жалея ее, вздыхал, а она не понимала. Ждала Ефима! Ну что поделаешь? Люб, видно, потому и ждала, — думала купчиха, проводя пальцем по запотевшему окну. — И ведь теперь с Ефимом где-то в лесах. Пора уж и воротиться. Или ответу боятся? За оставленный-то обоз все одно спрос будет. Рыбу вчера возле своротки оставленную привезли, так она вся вымерзла. Какой в ней вкус? Считай, бросовые деньги». Вслух сказала:

— Ефим-то, говорят, полуживой, а в село не едет, видать, боится. А Степан-то Голощапов за стол уселся.

— Чего ему бояться? У Ефима задание есть карателей этих перебить! — Не выдержала Васса. У Акулины Федоровны приоткрылся рот. — Ефим-то Дорошин командир отряда. Думаете, его так, ради потехи, убить хотели? Его боятся. Он по делу послан сюда.

Акулина Федоровна, собравшись с духом, крикнула:

— Командир? Кем командовать-то собрался? Дарья-то, поди комиссаром у него?

— Антон Шмигельский комиссар! Они еще покажут вашим гостям!

— Ты, безбожница, это, значит, ты так, понарошку к Никите ластилась? А сама ему смерти желаешь? Значит, ты погибели его ждешь? Знаешь, что им там уготовлено?

— Про наше дело с Никитой нам одним знать! — ответила Васса, выходя из горницы.

В сенях послышался голос Василия Афанасьевича.

— Проходи, проходи, Ефросинья, — шаркая по полу толстыми подошвами подшитых валенок, говорил купец, а про себя с радостью думал: «С поклоном пришла, с поклоном. Голод-то не тетка, поди, и горстки муки в ларе нет. Откуда ей взяться? Хозяйство без мужика держит, а этот приехал — еще ничем не помог. Вот кабы сходил в обоз, сморщил копейку. Я ведь говорил: придете, придете еще к купцу Мялищеву. Не плюйте в колодец — пить из него придется, так куда там!»

— Васса, поставь-ка самовар, хоть по-людски посидим. С мужиками что-то разговоры не клеятся: начнем за здравие, кончим за упокой. Все в занозу лезут, — говорил Василий Афанасьевич. Пригладил ладонями жидкие, но длинные волосы, одернул полы одежды.

Ефросинья Алексеевна разделась возле порога, поклонилась Акулине Федоровне.

— Нездоровится, Акулина Федоровна? — заметила болезненную бледность купчихи. Та вместо ответа махнула рукой.

Чай пили с малиновым вареньем, сдобными кренделями. Говорили о Саввушке, печалились о его нескладной судьбе, жалели.

— Жил и вашим и нашим, — раздраженно сказал Василий Афанасьевич. — Вот и не сдюжил, пульнул себе в лоб. — Полька-то Ремизова сейчас в его избе живет, никого близко

не пускает, говорит, я его жена была, только гражданская. Никто про то не знал. Вон и колечко им подарено. Показывает всем.

— Полька-то, поди, его сама на себе женила, — засмеялась, колыхнув полной грудью, Акулина Федоровна. Уж навертелась, нагулялась — рада углу. В сундуках-то у него набито.

— Да чего там у него, — морщась, возразил Василий Афанасьевич, — сор один да мышьи говна. Сколько лет после матери ничего не доставал, не надевывал, поди, все сопрело. Как-то доху надевал, так она куплена была еще при царе Горохе. Мех весь вылез, клочьями сыпался. Ничего у него там нету. Разве деньжата.

— А где у ней гармонист? Сын репнинского купца Вахонина? Вот тоже шелопут! Отец копейку к копейке сколачивает, а он только и выучился на гармошке наяривать.

— Его лошадь забила, — ответила Ефросинья Алексеевна. — Сел на необъезженного жеребца, тот и понес его прямиком в Страшные кедровники. Нашли уже холодного. Старик-то Вахонин жеребца в тот же час пристрелил, да разве воротишь?

— Царство небесное парню. Польке-то с ним весело жить было, — сказала Акулина Федоровна.

Тут они вспомнили об Ефросинье Алексеевне:

— К нам каким ветром занесло? — Спросил купец. — Дело какое-нибудь есть? Так бы, наверное, не пришла. Уж какие были годы, все шли, а Дорошины не приходили.

— Ну уж прямо с делами! Вот и про Польку, и про Савушку поговорили. Обязательно с делами? Ну их к лешему, эти заботы, — укоризненно посмотрела Акулина Федоровна на мужа, немного повеселев от разговоров.

— Из комитета пришла, — ответила Ефросинья Алексеевна.

Акулина Федоровна, вздрогнув, обожгла чаем губу.

— Я так и чувствовал, — собирая с тарелки хлебные крошки и сминая их в катышек, сказал Василий Афанасьевич. — Уж если раньше не приходила, так теперь и вовсе просто так не придет. Я ведь для всех врагом стал. За свои же деньги, за свои дела и заботу о сельчанах одни укоры да обиды получаю. А как ни у кого ничего нету — так все ко мне.

— В лавке вторую неделю муки нет. Говорят, Мялищев не дает.

— А тебе какое до лавки дело? Не даю. Тебе надо — дам. Возьми, а в лавке не отпущу! — Расхаживая по горнице, раздраженно говорил Василий Афанасьевич. — И так ввели нынче в такой разор, считай, без штанов оставили. Я не солнышко — всех не обогрею.

— Мука ведь у тебя есть, Василий Афанасьевич. — Все равно торговать будешь, так зачем людей злишь? Сгноить, что ли, собрался?

Василий Афанасьевич не ответил, не возмутился, лишь горько покачал головой. Ему хотелось сказать: «Что вы все пристали ко мне? Какое кому дело до моих ларей? Я пока хозяин всему и будет по-моему!»

Ефросинья Алексеевна тоже молчала, но глаза не прятала, рассматривала купца: сильно похудел, длиннополая рубаха стала велика, рукава сползли, кожа на шее одрябла, сморщилась.

— Не бабье это дело, Ефросинья. Ну мужики-горлохваты орут, а тебе-то на что это? Али тоже стала комитетчицей?

— Времена такие пошли, Василий Афанасьевич.

— Ты-то чего знаешь про эти времена? Тебя-то они каким краем коснулись?

Ефросинью Алексеевну как обожгло. Она вспыхнула, подошла близко к Мялищеву.

— А не нашего Сергушеньку убили? А Ефима не покалечили? А Даша по лесам не бродит? Нет, Василий Афанасьевич, не краем все это коснулось меня! Кто-то мешки хлеба гноит, а кто-то целыми семьями гибнет. Не от пуль, так от голода! — Ефросинья Алексеевна не в силах более говорить, подошла к порогу, наскоро набросила на плечи шубейку и уже на улице застегивалась, повязывала шаль.

Купец поднялся, подошел к окну, глядел ей вслед. «На кой черт появился этот отряд? Не будь его, все потихоньку бы и образовалось. Может, все и стало бы по мужицким правилам и законам, потихоньку, незаметно. Не все бы глянулось, не все бы нравилось, а если бы сила стала на их стороне — подчинился бы. Куда деваться? А эти приперлись — будто от законной власти! — расщедрился перед ними! Нате, берите! Да они и не спрашивали — брали, тащили, ломали да еще и на обратной дороге остатки к рукам приберут. Какая это законная власть? А своих сельских мужиков голодом морю. На что он, хлеб-то, тока лежит? Ясное дело, торговать надо, а то сгниет или чего хуже — отберут: хоть те, хоть другие, — думал Василий Афанасьевич, и крупный хо-

лодный пот катился по его лбу. — Все равно по-моему не будет, не будет! — с ожесточенной прямотой говорил он себе. — Да и вечный их укор слышишь! А как им не укорять? Все делал у людей на виду: двери перед этими охальниками распахнул. У людей память длинная! Не пожалеют, что остался безлошадным да четверть капитала на ветер спущено. Да никто это и в ум не возьмет. А с Никитой как? С Никитой! Ну, пойду я в ихний совет, отдам им всю муку и все, что попросят, пущай берут! А Никита-то там как? Он же с этими ушел. И в других селах они творят не меньше, чем в нашем. Вот кабы Саввушкина бумага была правдой, тогда бы я все им отдал!» — Подумав так, Василий Афанасьевич охнул, в глазах замелькали искорки, и, хватаясь за подоконник, он сел на табуретку.

— Вот ведь какая, встала и ушла! — оттягивая и без того широкий ворот, сказал Василий Афанасьевич.

— Мужики-то в лесу неспроста остались, — допивая из блюдца чай, проговорила Акулина Федоровна. — За туровским отрядом отправились. Все с ружьями. К нашим-то мужикам со всех деревень лесами идут. Целый отряд. Убьют нашего Никиту — никто не пожале-ет! — Запричитала Акулина Федоровна.

Василий Афанасьевич повернулся к ней всем туловищем, как волк.

— Откуда? Откуда узнала? Из дому не выходила, а такое мелешь?

— Васса сказала. Она ведь по селу-то носится!

— Опять башку подняли советы! И как подняли! А ведь нету никакой регулярной армии, про которую болтал Туров.

— И Даша Дорошина в лесу. Все на руках этой старухи, — сказала Акулина Федоровна. — Уж с какой поры. Все они за одно. Ефросинья, старая карга, ей бы на печи лежать... С ума сошли люди.

— Может, ты чего понимаешь? — неожиданно для купчихи спросил Василий Афанасьевич. — А я в толк ничего взять не могу. Пособил бы кто разобраться. Идет коса на камень!

Акулина Федоровна ответила:

— Вот все им отдашь — и успокоятся. Будешь бегать под старость, как Маитко, в одних заплатанных штанах, и все отстанут.

— Ну и пусть! — неожиданно для Акулины Федоровны сказал Василий Афанасьевич. — Сам схожу в совет. Поговорю со Степаном Голощаповым начистоту.

Глава сороковая

Тур-эква собирала Аняма на праздник к Ропаске.

Звон монет, цепочек, крохотных колокольчиков на ее одежде слышался то возле чамьи, то возле деревянных ящиков. Она вплела в косы мужа разноцветные шерстяные нитки, посыпала голову беловатым порошком медвежьего зуба, который всегда висел у Аняма на поясе. Тур-эква боялась за мужа. Боялась, потому что он брал с собой на праздник русских мужиков.

Старый Салыг-ойка вздыхал. Сам он не раз справлял этот веселый праздник. Он сидел, уставив на чувал незрячие глаза.

— Может, не поедешь? Может, не повезешь к Ропаске русских мужиков? — услышал Салыг-ойка слова Тур-эквы. Сильный удар ладонью по низенькому столу заставил Тур-экву отскочить к двери.

— Чтоб уши мои такого не слышали! — гневно заговорил Салыг-ойка. — Кто позволил тебе, глупая утка, крякать мужу такие слова? Твое дело — плести косы, глотать слезы, молиться идолам. Ты, наверное, забыла дать еду деревянным идолам? Забыла освятить упряжку мужа? Какие ты говоришь ему слова?

Тур-эква от страха присела на корточках, спрятала лицо в широкий подол платья. Аням подошел, взял руку жены в свои: «Молчи» — дал понять глазами.

— И ты будешь есть вместе с собаками, если станешь слушать бабьи слова, — обращаясь уже к Аняму, не унимался Салыг-ойка. Гляди, как филин. Слушай, как собака. Ходи, как лиса! — уже тише сказал Салыг-ойка сыну и медленно повалился на шкуру.

От юрты Аняма Косачиный Глаз до урочища Янги, к чуму охотника Ропаски, езды три луны. Мешки с мукой и сахаром Митрич разложил на несколько нарт, чтобы груз не так бросался в глаза. Это посоветовал Салыг-ойка.

Ехали быстро. К началу третьего дня стали попадаться следы нарт. Аням вскакивал, оглядывал: пастухи проехали. Много упряжек ехало — олени сытые, нарты легкие. И вновь, помахивая над оленьими спинами хореем, тянул свою нескончаемую песню. Митрич не вслушивался в монотон-

ный, тоскливый напев. Его мысли были заняты одним: «Как раздать груз охотникам? Как объяснить, откуда этот хлеб и почему его отдаю без всякой мены». И чем ближе они подъезжали, тем меньше в нем было уверенности, что получится, как надо. «Вдруг да найдутся люди, которые пристращают охотников. Вдруг скажут: шайтан муку и сахар послал — не берите. Все даровое — шайтаново».

На краю ложбины, между перелесками, Аням увидел лыжный след. «Куземка на праздник медведя пошел. Опять пешком. У Куземки оленей нет! — Аням, еще раз посмотрев на след, пожал плечами: — Вроде и Лям-эква шла с ним. Зачем шла? Может, он продать ее хочет? На оленей сменять? У Куземки давно ноги болят. Куземка еле-еле ходит», — Аням помрачнел, сел на нарту, и больше не слышно было его песни.

Немного погодя Аням опять остановился. «Василий Николаевич проехал. Шаман. К Ропаске поехал. Один. Совсем один. Нарта легкая. Совсем один!» — охотник ходил по следу.

К Митричу пришла мысль искать поддержки у Васьки-шамана. Он знал, что каждое его слово для них — закон. Митрич мало был знаком с Васькой-шаманом. Тот не допускал к себе чужих людей, бывавших в охотничьих чумах, он вел дела только с купцами. Но шаман знал то, что Митрич был у Григория. Он заметил след к дальней чамье. Он все видит, но умеет молчать. Он знал, что ездим по тундре, но выжидал время. Васька-шаман никогда не торопится. «Может, ему не меньше, чем нам, интересно с нами встретиться. Он чего-то мудрит. И этот выстрел в Аняма! Не сам же шаман стрелял в охотника. А быть может... Сейчас все может быть», — Митрич делился мыслями с пригорюнившимся фельдшером Павлом, который так ничем и не смог помочь старому Салыг-ойке, если не считать, что вонючую шкуру из-под старика Аням все-таки выбросил. Даже маленькие игривые щенки убегали от нее, разившей прелью.

— Ладно тебе, — подбадривал Митрич Павла. — Ему все равно не вернуть молодость. Старость, а значит и болезни — неизбежны. С годами приходят все недуги. Убери-ка мне два десятка лет, я бы пешком убежал на праздник медведя, а теперь к ногам будто колодки привязаны. Годы Салыг-ойку сделали немощным. Старость, взял бы черт ее с собой.

Бледный круг солнца, ворочаясь в тучах, медленно спускался к горам. Темные каменистые ребра на белых вершинах увала были видны в короткие проблески дней.

Остановившиеся олени жмурились от миллионов летящих снежинок, широко раздували ноздри, предчувствуя тепло. На сумрачном небе острыми пиками вырисовывались очертания двух чумов. Лай собак, звон колоколец, говор послышались со всех сторон, стоило упряжкам оказаться в ложбине реки Янги, лежащей в крутых берегах каменистых увалов.

Ропаска — крепкий, широкоплечий мужчина — встречал возле чума каждую упряжку веселыми возгласами, звенел над головами гостей легким танцевальным бубном с множеством колокольчиков, давно купленных у купца Рогалева. Заколов жертвенного оленя в знак радушия, велел каждому откусить кусочек оленьей печени.

— Чужой мужик приехал, — вдруг протянул Ропаска, не зная, как поступить с печенью: давать или не давать.

— Ты забыл меня, Ропаска? — по-вогульски спросил Митрич. — Разве мы с тобой не были на празднике у Самбиндала? Разве не помогал я тебе охотиться на волка, который перерезал много оленей в твоем стаде. Помнишь?

— Как не помнишь, — настороженно ответил охотник. — Ропаска много, много помнит. Седня не надо на праздник русского мужика. Седня одни вогулы праздник справлять будут. Свои слова говорить будут. — Ропаска оглянулся и вдруг, натянув на глаза Митрича савик, показал, чтобы он быстро и незаметно вошел в чум.

— Гляди, Паша, — шепнул Митрич, — Ропаска испугался нас. — Куда ты поставил упряжки?

— Рядом с Анямовыми.

На высоком деревянном настиле на когтистых лапах лежала большая голова бурого медведя. Глаза зверя и ноздристый нос были закрыты вырезанными из бересты кружочками. Каждый, кто проходил мимо, кланялся зверю и бросал ему в морду пригоршню снега, закрывая ладонью свое лицо.

С первого взгляда трудно было кого-либо узнать: все были одеты в длиннополые савики, сшитые по одному крою, опоясаны широкими сыромятными поясами с костяными пряжками с затейливыми фигурами идолов, птиц и зверей. На этих же поясах висели разные амулеты: почетное место отводилось медвежьему зубу, затем шло множество разных табакерок из бересты, сосновой коры, деревянные ножны с резными рукоятками ножей.

Гулкие удары пузатого бубна раздались возле второго чума, сшитого из оленьих шкур. Они летели над снегами в

даль, и, ударяясь о каменистые увалы, глухими отголосками поднимались к небу.

Все тихо подошли к чуму, встали на колени, подняли к небу руки. Пять охотников убрали с поясов ножи, положили на снег, пошли спускать Хозяина с деревянного настила.

Гремел бубен.

Покорная, коленопреклоненная толпа стояла неподвижно, боясь потревожить сон Хозяина тайги и тундры.

Шкуру и голову убитого медведя, как убитого сородича, внесли в жилище не через дверь, а через специально проделанное отверстие в стене, торжественно положили на маленький столик в переднем углу и украсили кольцами, цепочками, лоскутками цветной материи. Перед головой на отдельном столике поставили лакомые кушанья, фигуры лесных птиц и зверей из теста. На стенах вокруг медведя развесили шкуры лисиц и соболей.

У Ропаски на празднике будут гулять пять дней. Он убил самого Хозяина. Если бы была убита медведица, гулянье продолжалось бы четыре дня, медвежонок — два или три дня. Каждое утро будут петь по пять песен убитому божеству. И начнется праздник во второй половине дня.

А пока хозяин праздника Ропаска встречал гостей, низко кланялся, приглашал в чум. Для женщин был поставлен чум поодаль. Они сидели, закрыв лица платками, варили в котлах медвежий зад. На празднике им не разрешается петь, класть медведю подарки, резать ножом медвежье мясо.

Ропаска ходит легко и бесшумно. А на душе его была тревога: на праздник приехало мало пастухов, а пастухи любят бывать на празднике. Порадовал душу охотника приезд Васьки-шамана, может, охотники еще подъедут.

Солнце поднялось к вершине горы — настала пора начинать. Пятеро исполнителей песен, сородичей Ропаски, одетые в обрядовые костюмы яркого цвета, разукрашенные орнаментом, повернулись лицом к медведю, размахивая взад-вперед руками, сцепленными мизинцами. Песню начал один, стоящий посередине круга. Затем певцы будут меняться местами.

Первый был Ропаска, он пел о переносе медведя в юрту. Жестами рассказывал весь путь от места охоты на медведя до своего жилья. Участники праздника угадывали каждый холм, гору, где он останавливался и делал выстрел, где на стволах деревьев, вблизи тропинок, делал зарубки ножом, сколько с ним было собак, сколько было охотников. Испол-

нители первой песни жестами, криками, воплями сопровождали его рассказ.

Второй песней люди будят медведя — гладят медвежью шкуру, считая ее верхней одеждой зверя, которая скрывает его человеческий облик. Кладут на нее пять сухих сучьев. Ломают первый сучок: «Вот смотри, это первую тебе пуговицу расстегиваем», — так говорят пять раз, до последнего сучка.

Для Павла все здесь происходящее было в новинку. Забыв о цели приезда, он с напряжением вслушивался в незнакомые обрядовые песни.

...Найдя солнечное место, — зазвучали слова третьей песни, —

Ложусь я на мягкую травушку.
Одну руку превращаю в мягкую
подушку.
Другой рукой накрываюсь,
словно одеялом.
Одна моя ноздря
Погружена в такой крепкий сон,
Хоть шею руби.
Другая же моя ноздря
Обнюхивает каждый предмет
На расстоянии трех деревьев.
Одна моя звезда[1]
Погружена в такой крепкий сон,
Хоть шею руби.
Другая моя звезда
Осматривает всю хористую землю.
Один мой пенек[2]
Погружен в такой крепкий сон,
Хоть шею руби.
Другой же пенек мой
Прислушивается к каждому лесному шороху.
Чувствую и слышу я что-то опасное,
Поднимаюсь я, могучий зверь,
И отскакиваю на расстояние
В три раза, чем мой рост.
Поворачиваю голову
И прислушиваюсь к опасной стороне.

---

[1] Звезда — глаз (прим. автора).
[2] Пенек — ухо (прим. автора).

Слышу шаги.
Это приближается человек,
Сидящий на олене белого цвета.
Чувствую, что настает мой последний час:
Как быстро я ни бежал,
Он все-таки подтянет ту веревку,
Которая тянется от меня к нему,
Ах, батюшка мой, высший свет!
Ах, батюшка мой, Нуми-Торум!
Разве не тебе
Посвящал я всех добрых зверей,
Разве не тебе
Посвящал всех добрых оленей?
Но поздно, поздно!
Не успеваю я закончить
Священного заклинания,
Уже приблизился человек,
Сидящий на белом олене, —

песня достигает своего накала. —

Хоть и наскакиваю я на него с ревом,
Готовый сожрать,
Хоть и бросаюсь я на него с ревом,
Готовый пожрать, да попусту...
Длинное копье охотника
Пронзает мое святилище.
Все перевернулось в моей голове,
Как будто от пьянящих мухоморов.
Падаю я, зверь, и погружаюсь в глубокий сон.
Просыпаюсь на своем празднике —
Кай-яй-ю-их!

У Ропаски лицо мокрое от пота, спины поющих в атласных рубахах тоже почернели от пота.

Четвертую песню, о храброй старухе, Митрич слышал впервые.

Проживаю я, священный зверь,
Жаркое длинное лето,
Созданное моим батюшкой Нуми-Торумом,
Проживаю я, священный зверь,
Комариное длинное лето,
Посланное моим батюшкой Нуми-Торумом.
Хоть оно и бедно ягодой,

Хоть оно и бедно кедровыми шишками,
Но наполняю я свой ненаполненный кузовок,
Пополняю свою ненаполненную посудину.
Однажды во время прогулки
Увидел землю, широкую землю,
Увидел озеро, широкое озеро.
Как вещий лесной зверь, отгадываю я:
Это древнее священное место
С изображением божества,
Смотрю я зоркими глазами
На противоположную сторону озера:
Там места, богатые ягодой,
Там места, богатые шишками.
Сажусь я в свою невертящуюся лодочку
И плыву на другую сторону священного озера.

Послышался плеск воды и весел,
Послышался скрип уключин.
Смотрю я глазами священного зверя:
Едут на лодке старик со старухой.
Вдруг замечает меня зорким глазом
Старуха, сидящая на веслах:
— Старик, посмотри, старик,
Там плывет могучий лесной зверь.
Там плывет могучий луговой зверь.
Отвечает ей старик, сидящий на корме:
— Глупая, бестолковая баба,
Откуда появится могучий зверь?
Это плывет обросшее мхом большое дерево,
Которое поднялось со дна днистого озера.
— Нет, нет, старик, это могучий зверь.
Смотри, он уже подплывает
К берегу озера с берегами.
— Брось, старуха, пустое болтать!
Это плавает не то вереница гусей,
Не то вереница уток с утятами.

Подъезжает несчастная лодка к берегу,
Вылезаю я на сушу, могучий зверь.
Взмолилась старуха богу:
— Батюшка Нуми-Торум,
Преврати меня в мужчину,
Опоясанного двумя ремнями.

Хочу наказать я могучего зверя,
Который попусту разгуливает по лесу.
Разрывает она
Свой платок с длинными кистями
И подпоясывает его лентами,
Как мужчина ремнями.
Нож женщины-мастерицы,
Нож женщины, вырезающей узоры,
Запрятывает в рукава одежды.
Как раскроет она свой зубастый рот
С семью зубами:
— Куда бежишь ты, дедушка, могучий зверь?
Разорви меня в клочья,
Величиной в шкурки туфельные,
Величиной в шкурки рукавичные.
Смешай куски моего тела с черным мхом,
Смешай куски моего тела с лесным мхом.

Как голодный священный зверь,
Выскакиваю я на нее,
С диким ревом готовый пожрать пауль,
С диким ревом готовый пожрать юрты,
Но нож женщины-мастерицы,
Нож женщины, вырезающей узоры,
Насквозь пронзает мое святилище,
Как будто от пьянящих мухоморов
Повалился я на землю.

Старуха бежит к берегу и кричит:
— Старик, иди-ка за мной!

Подходят они к моему телу,
Расстегивают пять пуговиц
На одежде могучего зверя,
Кладут меня в люльку из деревянных прутьев,
В люльку с обручами и перекладинами,
И несут к берегу реки с берегами.
Садят меня, как дорогого гостя,
На середину лодки со серединою,
Кричат четыре раза о лесном звере,
Кричат пять раз о луговом звере.

Как раскроет старуха рот
Свой, зубастый рот с семью зубами:

— Старик, когда мы прибудем
К многочисленным мужчинам пауля,
К многочисленным мужчинам юрт,
Смотри, не говори,
Что мной опущен[1] могучий зверь.

Подъезжает носатая лодка с носом
К берегу пауля с берегами,
Выбегают на берег
Многочисленные мужчины пауля,
Многочисленные женщины пауля.
Один из мужчин кричит:
— Смотрите, друзья!
Это ведь старухой опущен могучий зверь!

Смутился мой священный ум:
— Что болтаешь ты, собачий сын!
Пал на меня стыд на весь пауль,
Пал на меня стыд на все юрты.
Не могу смотреть своими звездами.
Сажали меня на дощатую полку из четырех досок,
На дощатую полку из пяти досок,
Обильно угощали озерной пищей,
Обильно угощали обской пищей.
Восседал я, как лесная женщина.
Почитался я, как горная женщина.
Начинался праздник с веселой пляской ног,
Начинался праздник с веселой пляской рук,
Плясали пять светлых ночей Торума —
Кай-яй-ю-их!

В изнеможении падают на шкуры исполнители песен. Приносят им по маленькой чарке, сшитой из коры бересты, «огненной воды», ставят такую же чарку на круглое блюдце к голове медведя.

Еще одну, пятую песню спели в этот день охотникам. Это песня-наставление, обращенная к медведю: он не должен воровать съедобные припасы из человеческих амбаров, вытаскивать из солонцов попавшую туда дичь, трогать собак...

Закончили песни.

---

[1] Опущен — убит (прим. автора).

В руки взял бубен Васька-шаман. Он встал во весь рост, и тут Митрич увидел на поясе Васьки-шамана большую бляшку из красной меди с семью кружочками и шестью радиальными лучами — символ Среднего мира. Семь кружочков — семь морей, шесть радиальных линий — шесть основных дорог, которыми шаман пользуется в своих путешествиях по земле. Медная бляшка с четырьмя параллельными линиями — изображение Млечного Пути на небе. Бляшка с двумя окружностями — это нижнее Солнце, которое необходимо шаману для путешествия в Нижний мир, где очень темно, где нет ни Солнца, ни огня, и где ему легко заблудиться без этих дорог.

Все слушали знакомые звуки. Только Васька-шаман сделал последний удар колотушкой, Ропаска, крадучись, не дыша, опять подошел к медведю, положил перед ним ружье, вытер рукавом слезы: «Ты прости меня, хозяин. Не я, Ропаска, убил тебя. Ружье убило, а его русские мужики выдумали», — просил охотник прощения у лесного хозяина, затем ножом отрезал с его загривка клок шерсти и бросил в огонь чувала.

Две свечи стояли на сосновых чурбаках, бросали тусклые блики на лица охотников.

За чумом послышались легкие перезвоны женских украшений. Женщины входили согнувшись, не поднимая головы, не разгибая спины. Разостлали на шкурах тяжелую, сшитую из бересты скатерть, как юркие белки, засновали взад-вперед: приносили тяжелые бутылки с «огненной водой», мороженое оленье мясо. Лица их были закрыты цветастыми платками, и только в узкую щелочку они могли смотреть себе под ноги, не поднимая взгляд на мужчин, молча выходили из чума спиной вперед.

«Это, наверно, Лям-эква. Это ее узкая, тонкая рука без серебряных колец крепче всех держит закрытым лицо, — подумал Аням Косачиный Глаз. — Кто же хочет брать ее в жены? — Аням исподлобья, украдкой оглядел темные лица охотников и не встретил ни одного веселого взгляда. — Должен же быть хоть один, кто мечтает о ней, собирается взять в свой чум. Он помнит себя, когда впервые увидел Тур-экву. О, какие это были счастливые дни! Какие удачные охоты! Какие были сильные ноги! Зоркие глаза! Почему же никто не улыбнулся Лям-экве? Ведь она ждет такого взгляда!»

Аням Косачиный Глаз все это время чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, ему даже казалось, что сам Хозяин, угадав его мысли, судит его и поглядывает из-под бу-

рых косм, нависших над глазами. Аням чуть повернул голову и встретился со взглядом Васьки-шамана. Стало неловко сидеть на шкуре, он вытянул из-под себя правую ногу, потрогал ноющее колено и услышал: «Ты, человек с оленьим умом, зачем позвал на праздник чужих людей?» Аням обернулся в сторону шамана, но тот, упершись руками о шкуры, во все глаза глядел на медвежью голову. Это же делали другие охотники и пастухи оленьих стад.

— Где Самбиндал? Я не вижу пастухов твоих и моих стад, — шепотом спрашивал Васька-шаман сутуловатого, сухонького старшину Атынга.

— Погнали оленей в Обскую сторону, — услышал Аням такой же тихий ответ старшины.

— Я зачем к тебе приезжал? — процедил Васька-шаман, ухватив Атынга за подол длинной рубахи.

— Твоих оленей не взяли, — старшина попытался высвободиться из цепких рук шамана. — Твои олени пасутся. Жирные олени, сытые, — лепетал Атынг, вытирая рукавом вспотевший лоб и, боясь разговором привлечь внимание других, припал к уху шамана: — Мужики с ружьями приезжали. Хромой Потепка им дорогу казал. Стреляли. Самбиндал не хотел ехать — собаку убили. Хорошую собаку. Нарты взяли. Твоих оленей не взяли. Самбиндал твое стадо не трогал. — При этом Аням заметил, как затряслись руки у старшины. Атынг смолк, втянул голову в плечи, и спина его в этот миг походила на крутой нартовый полоз.

Он не сказал еще Василию Николаевичу, что молодые парни с винтовками хотели привязать его к нарте, если он не даст оленей и не отпустит с ними пастухов. Еще не рассказал, как они все стреляли из винтовок по его чуму, смеялись и бегали вокруг, а оленьи шкуры рвались и лопались от выстрелов.

У шамана отяжелела рука, он откинулся в глубь чума, уперся о его тугие стены. Вспомнил Сеньку Шитоева, которого на этот раз оставил в юрте Прасковьи, и с ужасом подумал, что надо снова возвращаться туда.

Из чума он вышел тихо и незаметно: захотелось вдохнуть холодного воздуха, похватать пригоршнями снег — обтереть лицо. Обошел чум Ропаски, долго глядел на запорошенные спины оленей.

Старый Атынг, прихрамывая, шел с другой стороны чума.

— Приезжали шибко злые парни. Шибко злые. Один парень был хороший. Тихий. Он по-нашему, по-вогульски,

говорить умеет. Просил меня Самбиндала дать, а нарты не дать. Нарт мало дать. Совсем мало. Я нарты между гор спрятал, там, — показал он в сторону увала.

Шаман ничего не мог понять, только чувствовал: творится что-то непонятное, страшное, новое, и не знал, кому верить, кого слушать. «Ведь и эти мужики, которых привез Косачиный Глаз, не зря приехали, не для того, чтобы посмотреть, как пляшет Ропаска! И Гришка не приехал», — озабоченно подумал шаман.

«Огненную воду» из бутылей разливал по берестяным кружкам хозяин Ропаска. Он целых двадцать лун ездил за ней в русское село, отмечая каждый день острым ножом на граненой палке. Может, одну, может, две зарубки не поставил, когда долго спал на тулупе в конюховке у лавочника, а тот ставил перед ним большую кружку парной браги, как только Ропаска открывал глаза. Потом его стало рвать и он подумал, что так может вывернуться все его тело. Он и теперь еще не мог глядеть на бутыль. Из оледеневшей бутыли пахучая жидкость лилась, фыркала и клокотала в узком горлышке.

— Пей, пей, Ропаска! — кричали со всех сторон, сгорая от желания поскорее испить «огненной воды», но не осмеливались коснуться ее раньше хозяина.

Ропаска поклонился медведю, потом Ваське-шаману, старшинам и, скривившись, выпил из кружки «огненную воду» одним большим глотком, как учил его русский лавочник. Тонкие струйки пахучего зелья катились по глубокой складке возле толстых обветренных губ.

Аням Косачиный Глаз захмелел скоро, но еще был в здравом уме. Присел к Митричу и из слова в слово передал весь разговор между Васькой-шаманом и старшиной Атынгом. «Ну спасибо!» — похлопал Митрич Аняма по плечу, и тот, обрадованный похвалой, а может, от водки и радости встречи с сородичами затянул песню.

— Плохи дела, Павел, — сказал Митрич. — По всей видимости, у пастухов уже были каратели. Оленей к Оби угнали. Нам надо торопиться за увал. Дождемся утра, а перед новыми песнями охотников попытаемся начать свое дело. Была не была. Ждать больше нечего.

Глава сорок первая

Пожалуй, этому укромному месту между увалами никогда не доводилось и долго еще не доведется быть свидетелем медвежьего праздника.

«Огненная вода» сразила всех. Если бы Хозяин мог проснуться, подняться на дыбы, он никому не оказал бы снисхождения, никого бы не обошла его карающая сила. Напившись, о нем забыли все. И оттаявшая в тепле большая косматая голова зверя уткнулась в оленью шкуру. А ведь праздник был в честь того, кто, по извечным их повериям, спускался к людям с небес узнать о их жизни, услышать их жалобы, просьбы. И они просили его о заступничестве, удаче в охоте, изгнании злых духов из стариков, о силе и храбрости.

«Но крепко ли живет в людях вера, если берестяная кружка зелья всем затуманила ум?» — с горечью подумал Митрич.

— Иван Дмитрич, посмотри, — говорил Павел, глядя, как подполз к медвежьей голове молодой парень, дрожащей рукой достал из-под лапы Хозяина жертвенную кружку, наполненную водкой, и стал пить, захлебываясь. — И не боится.

— Он не хуже и не лучше других. Если не он, то кто-нибудь другой выпьет из этой кружки, — тихо и серьезно сказал Митрич. — Русские купцы и торговцы приучили их к этому зелью. Всегда с него начинают торг. А завтра этот парень, если вспомнит, конечно, будет рыдать, просить у зверя прощения, принесет в жертву соболя или росомаху. — Митрич лежал с закрытыми глазами. Мысли его возвращались к завтрашнему утру. Будь что будет! Завтра он станет раздавать привезенный груз.

«Раздадим муку, чай и освободим себя от мытарств по тундре». Отправка в тундру пяти нарт с продовольствием для оказания помощи местному населению была малопонятной и ему, вроде бы разбирающемуся в развернувшихся событиях. Он с трудом понимал такой широкий жест новой власти. Иногда ему казалось это пустой затеей.

Но как раз отправление таких нарт в тундру и сыграло важную роль в жизни народностей Севера, в приобщении

их к новому строю. Ведь основная масса кочевников-оленеводов находилась под влиянием крупных оленеводов, шаманов, старшин, которые держали людей в полной экономической зависимости. Первые «красные нарты» были частью программы молодого правительства по защите их от эксплуатации и улучшению материального положения.

Он размышлял о том, как лучше устроить раздачу товаров, он понимал, что с пьяными людьми разговаривать трудно, его мало кто станет слушать. Но он твердо решил во что бы то ни стало раздать товары среди оленеводов. Это было и в его интересах.

Васька-шаман, проснувшись, лежал не шевелясь, с горечью отмечал, что нет здесь, на празднике, привычного веселого говора, радующей сердце суетливости. Ощупывая рукой влажную шею, вытирая ладонью покрывшееся испариной лицо, он вдруг понял, отчего так тягостно у него на душе. На праздник не приехал ни один купец, нет никакого торга, некому продавать, не с кем обмениваться.

Васька-шаман тяжело поднял руку со скрюченными пальцами над плечом старшины Атынга. Этот жест не предвещал ничего хорошего для щуплого старшины.

— Какую тропу торил Самбиндал? И кого он нашел? — недовольно спросил шаман пьяного старшину.

— Чуть-чуть жил — помер, — лепетал Атынг. — Твоя тамга была. На палке твоя тамга была! — повторил он, повалившись на шкуры. На голове Атынга давно распалась одна коса. Над ухом торчал растрепанный клок седых волос, а разноцветные нитки опутали тонкую грязную шею.

— Баба была? Баба была с мужиком? — «Это купец Рогалев ехал с моей тамгой. Больше я никому не давал своей палки». — Где тамга? — тормошил шаман старшину.

— Самбиндал все знает. Атынг ничего не знает. Атынг спать хочет. Атынг топор покупать хочет. Атынгу пороха надо. Много пороху надо, — твердил свое старшина пастухов.

Шаман устал держать Атынга, а тот, встав на четвереньки, пытался проползти к выходу.

Рыжебородое лицо купца Рогалева будто стояло перед глазами шамана. «У кого теперь мой охотничий нож? Куда мне с твоим добром? Кому его отдавать? — с тревогой думал шаман, и даже чужие мужики, приехавшие с Анямом, перестали волновать его. А куда и с кем угнал оленей Самбиндал? Как было бы хорошо ничего не знать и ничего не слышать об

этом. Были же времена, когда тихо и спокойно было на душе. А тут еще Сенька Шитоев, оставленный у Прасковьи. Как туда возвращаться? Может, совсем в эту зиму не появляться у Прасковьи?» — Васька-шаман почувствовал давящую боль в левом плече. Он вдруг показался себе самым несчастным из всех, кто приехал сюда к Ропаске. Он глубоко вздохнул. Ему вдруг стало ясно то, над чем он так долго не хотел задумываться. Он испугался, что его в этот миг кто-нибудь окликнет, помешает выстроить в ряд события нынешней зимы. «Значит, правду говорил Федор Рогалев о революции: не будут больше ездить по тундре и тайге купцы. Не приедут. Теперь самая пора везти товары. А как он сказал мне? «Прощай, Василий Могучий!» И купец Мялищев. Разве не я должен был угадать думы охотников? Разве не у меня все искали совета и заступничества? А что я завтра скажу всем? Как отвечу: почему не приехали торговать купцы? А может, охотники больше моего знают, что творится вокруг?»

За чумом он услышал шум и крики, но голоса не узнал, не понял ни слова, выходить не захотел.

— Какая-то женщина плачет, — вслушиваясь в голоса, сказал Павел. — За чумом женщина плачет, — опять повторил Павел. Такой плач он слышал на берегу Иртыша, когда одна несчастная крестьянка искала сына. Он утонул на рыбных промыслах рыботорговца Косцова. Рыбака никто не искал. Была путина, всем было не до него. Правда, раза два выбросили невод на быстрине, пошарили в заводях баграми, не нашли и махнули рукой. Река полая — сила в ней могучая. Только мать успокоиться не могла, все ходила по берегу и звала его дни и ночи напролет. Кто знает, может разбудила она своим плачем речное чудо-юдо, только выбросило рыбака на песок. Тягучий плач крестьянки так и остался в ушах Павла, который приходил осматривать утопленника.

— Не ходи, — остановил его Митрич, но и сам не вытерпел.

В сумерках солнце уже спустилось к увалу, а полумесяц только появился на бледноватом небе, на середине снежной поляны кружился, как волчок, маленький черный клубок. Вокруг него бегал с ремнем низенький мужичок. Ремень визжал и резал воздух, а черный клубок от каждого удара издавал тонкий, жалобный вскрик.

Мерзкое, унизительное зрелище. Пьяная толпа подзадоривала мужика, который запинался и падал в снег, вновь поднимался и снова хлестал ремнем.

— Хочешь заморить всех с голоду! Скажи: пойдешь в чум к Манораге? — кричал в изнеможении мужик. Но черный клубок уже не кружился на снегу.

— Куземка бьет Лям-экву, — закричал Аням Косачиный Глаз. — Он отдает ее в жены Манораге. Манорага плохой человек. Плохой! Манорага пригнал много оленей, спрятал их за увалом. Они там, — махнул Аням Косачиный Глаз в сторону Урала. — Он напоил Куземку «огненной водой». Шибко напоил и велел бить Лям-экву.

Скоро Куземка упал рядом с Лям-эквой и, ползая вокруг на коленях, ощупывал дрожащими руками ее спину, руки и всхлипывал. А с нарты раздавался дребезжащий хохот толстобрюхого Манораги. Лицо его, распухшее, с отвислыми щеками от сытной еды, тряслось. Он искал взглядом поддержки и не подозревал, что получит удар от Косачиного Глаза.

Манорага не успел понять, как его толстая морда отпечаталась на снегу, а короткие руки загребали утоптанный снег. Его еще никогда и никто не бил. Манорага сам любил смотреть драки. Он давал оленей, чтобы смотреть, как дерутся между собой люди. Манорага жил за увалом в пауле. Он любит жить среди людей. Там потех больше.

— Беги, Аням, уезжай! — крикнул охотнику кто-то со стороны оленьих нарт. Но Аням был вне себя. Он не боялся Манораги.

Манорага приехал на праздник к Ропаске по делу: купить в жены Лям-экву. Ему надоели дочери своих сородичей. Кто-то сказал, что Лям-эква молода, как весенний листок на березе, а отец совсем безоленный. «Куземка отдаст мне ее в жены, — уверенно говорил он. — Кому охота мять свои ноги?» Но девка воспротивилась! Не пошла к нему на шкуры. Закричала при всех: не пойду! не пойду! Куземка долго не знал, как поступить, какие слова найти для дочери. Он долго не показывался Манораге, но тот, найдя его, подал сыромятный ремень: «На! Это успокоит ее. Бей по плечам, по спине. Лицо не трогай. Говорят, у твоей Лям-эквы оно белее снега, глаза, как у осенней белки». Он налил Куземке еще кружку водки, и тот пошел...

Теперь Куземка лежал на снегу рядом с Лям-эквой, обнимал ее спину, говорил, что она его помощница, просил, чтобы она открыла глаза или сказала ему слово, а то его сердце совсем остановится и он околеет рядом с ней, как загнанный олень.

— Убирайся к себе за увал! — кричал Аням Косачиный Глаз Манораге. — Убирайся! Или я распорю твое жирное брюхо.

— Я подожду Самбиндала. Он скоро приедет. Он привезет сюда парней с винтовками! Они раскидают ваши чумы! — завопил оленщик.

— Манорага Самбиндала ждет? — шепнул с испугом старшина Атынг. — Самбиндал сюда погонит упряжки! Кто велел ему? Кто просил его?

Митрич понял — речь идет об отряде Турова. Ждать не было времени. Уезжать надо не только ему, а — всем.

Люди кружили вокруг чумов, что-то бормотали, кого-то ругали. Кто-то перепутал чум и, отбросив в сторону шкуру, заменяющую дверь, попал к женщинам. Они думали, что это Ропаска и не подняли шума, покачивались на шкурах, придерживая концы платков гнилыми зубами. Мать Ропаски Прась-эква давно знала вкус «огненной воды». Раньше она пила ее с купцами, пила, когда ездила в русские селения. Теперь Прась-эква состарилась: глаза затуманила пелена, она уже не могла расшивать бисером нарядные платья, шить сахи и малицы. Пальцы у нее скрючились, распухли в суставах, и иголки выпадали из рук. Прась-эква стала злой и сварливой. Днем она сидела на своей шкуре в дальнем углу, молча выделывала собольи и оленьи шкуры, мяла их в больших ладонях, а твердые места возле коготков жевала остатками темных зубов.

В этот раз Прась-эква как никогда ждала, когда откроют бутылки с «огненной водой»... Может, это последний весенний праздник в ее жизни. «Кто знает, когда еще удастся Ропаске встретиться с самим Хозяином?»

Большую кружку «огненной воды» она выпила разом. Захлебнувшись, вытаращила студенистые, неопределенного цвета глаза, выдохнула громко, вскочила и притопнула ногой. «Не даром, — сказала она, обтирая рукавом губы, — «огненная вода» дает Прась-экве новые ноги, и ее сразу подхватывает ветер». Звеня украшениями на косах, она побежала, было, к мужскому чуму, но вовремя спохватилась, что там ей нет места, затянула какую-то песню, потом стала рыдать и, теряя силы, вползла в чум. Ткнулась лицом в шкуру, захрипела. Не слышала хохота Манораги, не видела, как Куземка слабеющей рукой гладил спину дочери, сквозь слезы стонал, уговаривал: «Пойдем, Лям-эква, домой. Зачем мне олени? Куземка привык ходить на лыжах. Я принесу в

жертву черного соболя, и мы оставим всех! Спрячемся куда-нибудь, Лям-эква. Не суди отца за побои. Прячься, а то Манорага увезет тебя. Не велики мои побои. У твоего отца в руках совсем нет силы».

Лям-эква долго лежала на снегу, не шевелясь. Когда все о ней забыли, она ползком добралась до противоположной стены чума, приподняла тяжелую шкуру, вползла и замерла. И только маленький щенок подбежал к ней, ткнулся холодным носом в ее руки и тут же смолк, почувствовав тепло.

— Где девка? Где девка? Вы, слепые собаки! — закричал Манорага на пьяных пастухов. — Я обещал вам по два оленя! Вы променяли их на две кружки «огненной воды». Ищите! Переверните все в бабьем чуме!

Лям-эква лежала ни жива ни мертва под тяжелой шкурой старого чума.

— Где девка? Давайте мне девку! — орал Манорага. — Я увезу ее в урочище! Иначе парни, которые приедут с Самбиндалом, возьмут к себе Лям-экву. Манорага все знает! Манорага гонял оленей в Обскую сторону! Манорага все видел! — не унимался оленщик. — Ха-ха! Самбиндал гнал много нарт.

Пьяный бред Манораги не то чтобы насторожил Митрича, а отнял сон. «Значит, точно: придет сюда отряд или часть отряда Турова. Силы у них хватит, чтобы расправиться с людьми. — Он с нетерпением ждал рассвета. — Надо расстроить этот праздник. Сделать так, чтобы все разъехались по чумам, а тогда ищите ветра в поле!»

— Лям-эква! Лям-эква! — услышал он еле слышный шепот Аняма Косачиный Глаз. — Не бойся меня, Лям-эква. Придет день, найдет тебя Манорага, увезет за увал.

Митрич больше ничего не слышал, а только по каким-то непонятным звукам догадался, что Лям-эква отозвалась на голос Аняма. Он не знал, что Лям-эква спросила охотника, не вздумал ли он взять ее второй женой.

На Митрича напало удушье, будто кто-то передавил ему горло, он не мог глотнуть воздуха. Так было в его жизни два раза и он хорошо помнит эти моменты. Один раз — когда они бежали из омской тюрьмы через окно, в котором удалось выпилить только один прут, и острыми концами Митрич сдирал у себя на спине кожу, а второй, когда гнали в Сибирь, и самодур конвойный приказал им выкупаться в ледяной проруби. Но ни в первый, ни во второй раз он не

выказал слабости. Не хотелось и теперь, но, наверное, уже не было сил, как в молодые годы. Он кашлянул со стоном как раз в тот момент, когда Васька-шаман приподнялся на шкуре.

Пробравшаяся в чум хромая собака ползала вокруг спящих, сморенных «огненной водой» охотников и смачно разжевывала крепкими зубами остатки вареного мяса, хрящей. Васька-шаман недовольно проворчал, пнул собаку ногой и вышел из чума. «Будет хороший день, — подумал про себя, разглядывая бусую даль. — Скоро весна!» — Он вздохнул, тыльной стороной ладони обтер повлажневшие глаза и с тревогой подумал о новом дне, хотя здесь он должен быть самым веселым. Ведь каждый, кто приехал на этот праздник, должен показать Хозяину свою песню: кто-то будет летать и фыркать вокруг медвежьей головы, изображая рябчика. Кто-то защелкает, заскрежещет, захлопает руками-крыльями, закружится, как в брачной игре копалухи. Кто-то охотников станет плавно и грациозно извивать свое тело в плавных собольих прыжках. Да и сам шаман должен будет плясать с бубном в руках. На этом бубне у него нарисовано солнце. Он любил тот торжественный миг, когда все замирали от одного удара колотушки в бубен и смиренно стояли в поклоне! «Они и сегодня будут стоять! — подумал Васька-шаман. — Как не плясать? Не было и никогда не будет такого праздника! — Но тут же он с горечью подумал, что нет никакого желания плясать. Он испугался своих мыслей, понимая, что все только и ждут звуков священного бубна. — Кто внес тревогу в наш большой тундровый дом? — спрашивал себя Васька-шаман, хватая в пригоршни снег. — Кто? Федька Рогалев? Купец Мялищев?... — при мысли о Сеньке Шитоеве у шамана чаще застучало сердце. Думы о Сеньке Шитоеве, оставленном в юрте Прасковьи, отняли у него все силы. Он только представил злой взгляд Сеньки, его глухой голос и косматое, обросшее густой щетиной лицо, как понял, почему нет на этом празднике никакой радости. Даже «огненная вода» не веселит душу. — Нет-нет, «огненная вода» по утрам всегда отбирает силы, — пытался обмануть себя Васька-шаман. Приклонившись, увидел на снегу совсем свежий нартовый след. Кто уехал? Кто угнал упряжку? — задавал себе вопрос шаман. Сделал несколько шагов. Затрепетала каждая жилка. Захотелось ошибиться, но след был свежим, и было ясно: кто-то тайком уехал с праздника. — Может, русские мужики? — хотел успокоить себя шаман. — Пусть уезжают, им здесь делать

нечего! Они не купцы, у них нет товара! Купцы — хорошо. Они всегда знают, чего надо охотникам. Зачем Аням Косачиный Глаз привез их на наш праздник?»

Оставленный Лям-эквой щенок жалобно скулил возле ног Васьки-шамана. В другое время он отогнал бы его или, схватив за загривок, отбросил бы в снег, а тут, присев на корточки, погладил по спине.

— Зачем бегаешь? Брюхо голое — холодно. Спать надо, молоко сосать надо. Плохо охотиться будешь.

Щенок лизнул ладони шамана, а тот в ответ погладил его. Шаман сразу почувствовал: кто-то стоит сзади.

— Паче рума, — услышал и узнал по голосу Митрича.

— Паче, паче, — ответил шаман, стараясь скрыть волнение, им даже взял на руки щенка, но с торопливой небрежностью отбросил в снег, стал обтирать руки о подол расшитой рубахи.

— У нас мука есть. Сахар есть. Чай есть! — начал Митрич. Ночью они решили с Павлом обменять продукты на пушнину, а полученную пушнину сдать. Иначе их охотники не поймут. И даром продукты не возьмут. Они знают реальную цену, не обманут. Другого пути нет.

— Ты когда стал купцом? — еле слышно спросил Митрича Васька-шаман, медленно приподнимаясь.

— Я не купец. Купцы к вам больше не приедут. Тебе говорил об этом Федор Рогалев. Говорил купец Мялищев.

— Сенька Шитоев говорит: этот неправда! Купцы будут всегда!

— Врет твой Сенька Шитоев! Зря ты его возишь по тундре.

— Где люди будут брать муку? Порох? Дробь? Соль? — нервно спросил шаман, не поднимая на Митрича глаза.

— Новая советская власть. — Сказав это, он догадался по нахмуренному взгляду Васьки-шамана, что он не хочет более слушать его.

— Ты у Гришки оставил муку, сахар, чай? — в упор спросил Васька-шаман Митрича.

— Я. Гришка твой хороший парень. Он много знает.

Васька-шаман круто повернулся и быстро пошел в чум, но, дойдя до него, приостановился, затоптался на месте, сжимая поочередно пальцы то одной, то другой руки, и еле слышно сказал:

— Давно, давно нет муки, нет чая, нет соли. Плохо, совсем плохо... Манорага будет таскать твой товар. Манораге

не давай. Ничего не давай. Манорага... — И как-то отрешенно махнул рукой.

В чуме было темно и холодно. Чувал давно погас, и на огневище среди золы и мелких углей лежали две головешки. Шаман знал, если пошевелить их, то посыплются искры и можно быстро разжечь огонь. «Огонь и Солнце — две дочери Верхнего бога, который поручил им освещать и согревать жителей земли, — думал шаман. — Огонь называют Най — Великая женщина, он символ благополучия семьи, нельзя «ломать огонь» — расселять род, грех плевать в костер, бросать туда мусор, оскверненную вещь держат перед огнем, им окуривают стада, жилище, отгоняют хворь от больных. Мужчины не раздеваются в присутствии огня, стесняясь Великой женщины».

Он взял в руки тоненький прутик, отодвинул друг от друга тлеющие головешки. Вспыхнул яркий язычок огня, и шаман уже не дал ему потухнуть, подложил тонкие полешки, которые вскоре вспыхнули в огне. В чуме повеселело, стали просыпаться охотники, потягиваясь и зевая.

Ропаска торопливо поправлял уроненную кем-то со столика голову Хозяина, развешивал новые ленточки по стенам чума.

Шаман сидел в задумчивости, глядел на веселые блики огня. Он любил смотреть на огонь. Его мысли вместе с легким дымком возносились ввысь, и он находил успокоение: быть может, их знает сам Верхний бог.

Но сегодня шаман, глядя на огонь, не думал о Верхнем боге. Рядом с ним творились такие дела, которые он должен был осмыслить и понять. А сейчас еще этот разговор с русским мужиком. И когда он стал купцом? Было желание уехать. Васька-шаман впервые не знал, что сказать людям. Но как уехать с праздника Хозяина тайги? Он повалился на мягкие шкуры и затаился, притворился спящим.

За чумом слышались голоса.

— Давай, Паша, пришла пора, — коротко сказал Митрич, и тот, ни о чем не спрашивая, засуетился, побежал к нартам, поставленным в стороне от остальных.

Рассвет наступил быстро. Солнце сразу вышло на небо, чтобы высветить каждый след на снегу.

Люди, спавшие в чуме, услышали русскую речь, скрип полозьев и зашевелились.

Из женского чума первой выползла Прась-эква. Она долго щурилась, неумело толкала растрепанные волосы под

платок, выплевывала перепревший за губой табак. И совсем несмело подошла к нарте, на которой лежали мешки с мукой. Она ощупала их темной рукой с узловатыми пальцами, унизанными серебряными и медными кольцами, лизнула на вкус комок сахара, как делают всегда при торге с купцом.

— Винка есть? — шепнула.

— Винка нет. Мука, сахар, чай, — ответил Паша.

Женщина закричала. Голос у Прась-эквы был громкий, пронзительный, каким кричат в лесу или в тундре, когда хотят, чтобы его услышали все. Нырнула в чум и уже бежала со связкой из сорока белок. Ловко потрясла ей перед лицом Паши, а он, отворачиваясь от прикосновения беличьих хвостов, не знал, что делать с этими шкурками и вообще, что отвечать ей.

Митрич, опоясавшись широким ярко-красным поясом, тихо проговорил Павлу:

— Бери! Складывай в мешок пушнину. Отпускать муку и сахар буду я.

К нартам уже торопились охотники. Все несли соболей, горностаев, куниц, росомах, связки белок и колонков.

— Гляди, гляди хорошо, — говорили охотники Паше, который ничего не понимал в пушнине. — Соболь хороший, Семка стреляет только глаз. Только глаз стреляет Семка. Гляди хорошенько. Хороший соболь. Какая хорошая лиса. Шибко хороша! Выдра хороша! — прищелкивал языком старик.

— Ты хоть потряси зверьков-то. Они глядят на тебя как на ненормального. Кто так принимает соболей? — отряхивая полу полушубка от мучной пыли, бурчал Митрич. Взял из рук Паши шкуру, умело встряхнул ее, провел рукой по серебристой спине и заметил, как в улыбке расплылось лицо старого охотника.

Манорага то ли не отошел еще от выпитого с вечера зелья, то ли опешил от увиденного, но долго сидел на нарте, раскачиваясь. Вдруг ударил хореем по спине бородатого коренника так сильно, что хорей переломился, а олень сгорбился и упал, подогнув под себя передние ноги.

— Какой ты купец? С какой стороны? — закричал он на Митрича, сверкая раскосыми глазами. Но Митрич человек бывалый. Он раньше, чем Манорага завизжал, знал, что ему ответить, но пока сделал вид, что не расслышал.

— Порох привез? Дробь привез? Ружье привез? — кричал Манорага, враскачку подходя к нартам с товаром. —

Привез? — уже шел в наступление Манорага, ощупывая пояс с ножнами.

— Я не купец! — крикнул ему Митрич, выхватив из-под шкуры револьвер. — Я здесь от новой советской власти.

Манорага, не спуская глаз с темного кружочка дула револьвера, облизывал обветренные губы.

— Тебя надо убить! Зачем приехал к вогулам? Это наша земля. Лес наш, болото наше, зверь наш! — кричал Манорага.

Куземка, услышав голос Митрича, выронил из рук мешок с пушниной и юркнул обратно в чум.

— Если ты приехал гулять — гуляй. Если нет — поезжай к себе за увал! — резко сказал Манораге Митрич. — А скажешь еще слово — выстрелю. И моргнуть не успеешь. Зачем ты сюда приехал?

— Я ехал взять в жены Лям-экву, а ее увез Аням Косачиный Глаз. Его след ушел в тундру.

— Не за Лям-эквой ты приехал сюда, — ответил Манораге Митрич. — Скажи, кто тебя сюда послал?

Манорага покраснел, заморгал маленькими глазами, не зная, куда смотреть, что ответить.

— Здесь на празднике Ропаска хозяин! А ты кто? Кто звал тебя сюда?

Охотники недовольно заворчали: Манорага мешал вести торг. Жалобно замычал ударенный хореем бык, перевернулся на спину и задрожал всем телом. Пастухи, не раздумывая, подбежали и закололи его в одно мгновение, чтобы не видеть, как станет издыхать олень.

А из чума донесся глуховатый звук санквалтапа. Все шло своим чередом.

Надев на лицо берестяную маску, чтобы его не узнал Хозяин, под звуки музыки вышел на середину чума Хоземка из рода Гагар и стал показывать радость птицы, возвращавшейся на родину. Хоземка уже захлопал «крыльями», как распахнулась шкура и влетел Аням Косачиный Глаз. Он был в снегу, и казалось, что не ехал, а сам бежал за оленьей упряжкой.

Узловатые пальцы старого Пелым-ойки дернули на санквалтапе тугую струну из оленьей жилы, и она долго дрожала.

— Самбиндал едет! — закричал Аням Косачиный Глаз. — С ним много упряжек. Много людей. Совсем чужих людей.

Все посмотрели на Ваську-шамана. И тут ему вспомнился Сенька Шитоев. Он будто воочию увидел его, услышал истерический смех подпоручика.

— Далеко люди? — спросил он Аняма.

— Еще три попрыска!

Васька-шаман сразу надел на лицо берестяную маску с изображением луны, встал на колени перед головой хозяина, припал к зубастой пасти. В чуме все стихло.

Вдруг шаман отскочил по-молодецки на середину чума, ударил колотушкой в тугой бубен. Он бил в него по особенному, бил так, как бьет в последний день праздника, что значит: всем уезжать по своим чумам!

Люди в испуге бросились к своим нартам. Митрич и Павел ссыпали муку и сахар в подставленные легкие мешки из оленьих кож, оставленную охотниками пушнину складывали на нарту.

Куземка выполз из чума, подхватил лыжи под мышку, пробежал несколько шагов, утопая в снегу, но тут же встал и пошел не зная куда, лишь бы оставить чум Ропаски.

— Ну, Паша, оставляй все, что есть, бери пушнину и скорее куда глаза глядят — опосля оглядимся, а пока падай на нарту и вперед! — развязывая ярко-красный пояс, говорил Митрич, понимая, что с Самбиндалом едет отряд поручика Турова.

Манорага засуетился. Погоняя коренника, сам не зная для чего, несколько раз объехал чумы Ропаски, но потом поехал не к увалу, домой, а погнал своих оленей навстречу Самбиндалу.

Ветер свистел, вихрем летел снег из-под копыт оленей. Манорага, стоя на нарте, кричал. Ему вспомнились слова одного русского офицера, которого он недавно провожал к берегам Оби: «Скоро ждите гостей. Они придут к вам с винтовками и револьверами. Помогай им, Манорага, будешь большим человеком».

Манорага верил и не верил его словам. Неужели он может стать сильнее шамана, от такой мысли у него затрепетало сердце. «Почему Васька-шаман поехал совсем в другую сторону?» — неожиданно подумал Манорага. Он сбавил бег оленей и сел на нарту.

Глава сорок вторая

О, эта езда на оленях! К ней привыкают с раннего детства, когда мать, укладывая малыша в берестяную люльку, привязывает ее ремнями к нарте и гонит упряжку во весь мах. Никто не слышит плача малыша. Вместе с нартой трясется на кочках все его крохотное тельце. Спускаясь с крутоярых берегов, нарта кренится, пробегая меж деревьев, стучит о крепкие стволы.

«К езде надо привыкнуть, — с раздражением думал Туров, стараясь думать о чем угодно, только не о последних днях в Репнино. Быть может, он поступил бесстыдно и отчасти виноват перед Киргизовым: уехал прямо в ночь, как только пригнали оленей. Не стал раздумывать. Две недели в этом селе показались ему вечностью. — Каждую ночь налеты! — скрежетал зубами поручик, машинально протянув руку к револьверу. — Каждую ночь. Две недели. Обнаглели, пришлось устанавливать пулемет. Чертов этот Дорошин! Быстро успел собрать мужиков. Живуч!»

Гортанный окрик каюра прервал его мысли, и он обрадовался, что может думать о чем угодно, только не о Репнино.

...В детстве Туров спал в роскошной кроватке, укрытый простынками с кружевами и прошвами. Одеяльце вышивала ему мелкими стежками крестьянская девка. Об этом рассказывала ему нянюшка. Она носила белый чепчик в сборку и всегда улыбалась. Воспоминания детства казались Турову сном.

Третий день олени бежали по бездорожью. Снег на болотах осел под редкими лучами солнца. Верхушки болотных кочек с перемерзшей осокой торчали из-под снега. Нарту бросало из стороны в сторону. Открывая время от времени глаза, Туров видел только небо, оно зыбко качалось, казалось, готово было рухнуть на землю вместе с облаками. «И упало бы!» — равнодушно подумал поручик. Он лежал на медвежьих шкурах, привязанных в двух местах ремнями, чтобы не свалились с нарты. В изголовье тоже лежала свернутая медвежья шкура. Собаки, учуяв ее запах, урча и скаля зубы, отбегали прочь. Гортанные окрики каюров первое время раздражали, теперь же летели будто стороной. Вспом-

нил опять Репнино. Как Поджаров подкараулил его одного и, упав на колени, выпросился домой, на Черноярку.

— Хворый я, сынок, хворый. Не помощник вам. Христом Богом каюсь. До вогульской стороны далеко, а ноги, вишь, заплетаются и не держат. Врать боязно, ну а ежли выкуп какой надо — не пожалею. Отдам, токо че есть у медвежатника? Ловцы да самострелы, собаки да рогатины. Ну да че про их говорить. Все одно с запасом живу. А уж какие про запас шкуры оставляю, поди, сам догадываешься. Так выделал — за пазуху спрятать можно. По всему Северу пройдешь, а лучше моих шкур не встретишь, не найдешь.

— Вставай, — нахмурился тогда Туров. — Подымайся.

Лука Саввич уперся руками о пол.

— Ноги-то закостенели. Медвежьи шкуры предлагаю, но вы того не стоите! Кого со свету-то сживаете? Русского мужика. Али ты чужеземец какой — русское семя выводишь? Вот мужики-то подымутся, станут вас лупить — первый знак вам уже подали. И вас-то жалко, тоже, поди, с русской землицы, — поднимаясь, говорил Лука Саввич. Будь на этом месте Киргизов — несдобровать бы медвежатнику. Туров же только проскрежетал зубами:

— Ну ты и краснобай! На виселицу бы тебя и делу конец!

Тут же по распоряжению Турова трое солдат на двух подводах поехали с Лукой Саввичем на Черноярку.

При виде своего дома и сгорбленной Манефы Степановны, которая, проводивши мужа в Сатарово, будто и не уходила от ворот, губы у него затряслись, а из глаз покатились слезы, которым он и сам удивился. Вышел из саней пошатываясь, упал на огородные прясла, шепнул:

— Отдай им, Манефа, все медвежьи шкуры с белыми галстуками. Все до одной!

Манефа Степановна знала цену этих шкур, знала, как Луке доставалась каждая из них, хотела возразить, но, встретив непривычно жесткий взгляд мужа, без оглядки, как моложенькая, побежала в ограду, перетащила лестницу от поветей к крытому сараю и стала скидывать легкие, мягкие медвежьи шкуры.

— Еще две осталось! — закричал во весь голос Лука Саввич. — Еще две осталось!

Солдаты сложили на подводы шкуры, по-хозяйски вошли в избу, прошли в переднюю горницу, сняли с гвоздя два беличьих треуха, новый патронташ с отлитыми пулями и

двуствольное ружье, а один даже сунул в карман чугунную пепельницу.

Манефа Степановна в испуге прижалась к косяку.

— Петуха бы тебе пустить надо, да на обратную дорогу эту потеху оставим. Вдруг да еще ночевать явимся, как к старому знакомому, — пообещал парень с еле заметными усиками.

«Правду медвежатник говорил. Все, до единого слова», — думал Туров. Ему бы вытащить из-под шкуры руку, обтереть заиндевелые усы, а он лежал и только сдувал снежинки.

— Уж далась мне эта северная сторона! Но хватит, хватит! — вслух приказал себе Туров и ткнул в спину каюра. Тот остановил упряжку.

Сзади послышались голоса. Это кричали Самбиндалу пастухи, что еще рано останавливать оленей. Туров слез с нарты, постоял, оглядывая безбрежную пустынную равнину. Он увидел, как каюр почесал оленя, тот в ответ доверительно вытянул шею. Поручик, пожалуй, впервые вгляделся в оленей. До этого в сутолоке он их просто не замечал. «Какие они красивые, грациозные. Шерсть — целая шуба! Рога — кусты на голове. Оленей нагнали полно, а саней-нарт мало. Можно было взять половину отряда, а пришлось треть!»

Туров неловко ступал на снег в меховых топогах и вспоминал, как добродушный каюр категорически не хотел брать его в дорогу, пока тот не наденет поверх шинели савик. Но уже при первой остановке оленьего поезда Туров готов был залезть не только в савик, а в любую шкуру. Он ходил в савике неповоротливо, теперь ничем не отличаясь от любого пастуха.

Самбиндал подошел к Турову и будто между прочим сказал:

— Болото проедем — половина пути будет.

— Только половина? — едва пошевелил Туров онемевшими от мороза губами. — И никакого жилья не будет?

Самбиндал оглядел даль и спокойно ответил:

— Ропаска немного-немного другая сторона. Ропаска праздник справляет. Ропаска медведя убил... — Пастух быстро сообразил, что напрасно сказал о чуме Ропаски, на миг смешался, и Туров заметил его замешательство.

— А ну говори! Не юли! — наставил он револьвер на Самбиндала.

Самбиндал не испугался и даже не почувствовал для себя опасности, он только подумал, что нечего там делать этим людям, которые сидят на нартах, как истуканы, как деревянные идолы. Зачем портить праздник? Он, как и другие, мог бы сейчас быть там и танцевать танец сали-оленя, который считается покровителем их рода.

— Ну, где чум твоего Ропаски? — строго спросил Туров.

Самбиндал ничего не ответил, сделал вид, что не может понять, на что рассердился начальник.

От неожиданного выстрела Самбиндал рухнул лицом в снег. Лежал не шевелясь, не понимая, что произошло. С задних нарт соскочили дремавшие, озябшие в дороге солдаты. Путаясь в полах меховых савиков, бегали вдоль нарт, отыскивали под шкурами засыпанные снегом винтовки.

Этот выстрел и услышал Аням Косачиный Глаз, когда отвозил в избушку за болотом Лям-экву.

— Упряжка! Упряжка! — закричал Туров, увидев издали лихую езду Аняма, но пока его поняли и стали приглядываться в ту сторону, ее и след простыл, и даже рассеялось снежное облако.

— Проклятие! — кричал Туров. — Да поднимите этого Биндала, — раздраженно говорил он подошедшему Никите.

Самбиндал вскочил, стоило Никите дотронуться до его плеча.

— Кто там ехал? — спросил Туров у Самбиндала.

— Моя совсем ничего не видел! Совсем ничего! — сгребая с лица снег, ответил пастух и быстро-быстро что-то стал говорить на своем языке.

— Чего он бормочет? — уже закричал Туров. — Чего говорит?

— Говорит: оленей надо кормить. Долго кормить надо.

— Ка-ака-а-я кормежка? Сколько на это уйдет времени?

— Они тут без часов, а по-нашему, часов пять надо.

— Какая кормежка? К месту надо, к теплу, а потом пусть кормят своих оленей!

Но Самбиндал сложил ладони возле рта в трубочку, что-то крикнул по-своему. И со всех нарт вскочили каюры, стали развязывать упряжь. Освободившиеся олени зафыркали, отряхиваясь от набившегося в шкуры снега. Каюры теплыми ладонями очищали их ноздри от льдистых комков, образовавшихся от долгого бега.

— Совсем холодно. Совсем есть охота, — говорил Самбиндал. Он достал из-под шкуры оленье мясо, положил его

на колени и стал строгать тонкими завитками. Туров брезгливо поморщился и отвернулся.

— Купцы не едут. Давно, давно не едут. Надо гонять оленей русскую сторону, — чмокая от удовольствия, говорил Самбиндал, искоса взглядывая на Турова и соображая, куда тот убрал совсем маленькое ружье

Олени копытами разгребали снег, отыскивая между кочками мягкий запашистый мох — ягель. По-видимому, они уже почувствовали прикосновение ко мху солнечных лучей: мох пошевелился, и олени, затолкав морды в снег, подолгу не поднимали их, вставая перед кочками на колени.

— Весна идет, — сказал Самбиндал, глядя на коренника, у которого от наслаждения подрагивал короткий хвост.

Никита сел с Туровым рядом. Но разговора не получалось.

— Оплошал с этим выстрелом, — нервничал поручик, досадуя, что испугал не только умчавшуюся упряжку, но и Самбиндала.

Никита только и мог что поддакнуть, все его мысли были о Григории, Митриче с Павлом. О них ничего не было известно. Спросить же было не у кого. Словоохотливый Самбиндал рассказал о замерзшем в тундре купце и еще об одном сердитом и злом человеке, который приезжал с Васькой-шаманом к пастухам. Это, безусловно, был Семен Шитоев. Никита в свое время поторопился об этом сказать Турову.

Нахлестывая оленей, Манорага несся на легких нартах навстречу отряду Турова. Он ни о чем не думал, не рассуждал. Его еще бодрила выпитая «огненная вода» и, как сполохи северного сияния, вспыхивали в сознании слова русского офицера. «Я буду больше, чем Васька-шаман!» — повторял Манорага. Теперь надо будет помочь какому-то отряду.

Колокольчики разной величины, нашитые на широких ремнях упряжи, казалось, будили снега. Мелодичная звень летела, как песня, в воздухе, и Туров, услышав ее, вспоминал церквушку со звонницей в отцовской усадьбе. Он залезал по крутой лестнице к звонарю. «Уходь, голубок, не мешайся! — раскачивая большой колокол, говорил тот. — Наше звонарское дело тонкости требует. Вот я зачну звонить, а ужо опосля тебе дам. А покуда уходь из-под руки. В басах-то и спутаться иной раз можно. Это звук глухой...» — Туров вздохнул, будто вынул что-то из своей груди.

На ногах и рогах оленей в упряжке Манораги — разноцветные лоскутки материи, на передних копытах красные тесемки. Две из них развязались и болтались на ветру.

— Праздник! Ропаска Хозяина убил! Праздник играют! Плохой праздник играют, — протягивая квадратную шершавую ладонь Турову, Манорага полез целоваться.

Поручик отшатнулся, но Манорага, широко расставив руки, схватил Турова и приподнял.

— Он что, одурел? — спрашивал Никиту поручик, освобождаясь из объятий.

— Так принято, — Никита стал увещевать Манорагу, который с такой же пылкостью набросился и на него.

— Хватит, хватит. Устали все, — отталкивал его Никита.

— Устали, устали. Холодно. Шибко холодно. Ропаска праздник делал. Аням Косачиный Глаз девку украл, потом русские мужики давай праздник ломать. Весь праздник давай ломать. Васька-шаман давай бубен бить: все по чумам поехали. Все. Как есть все! Один Ропаска остался.

— Чего он мелет? — с трудом понимая обрывки русских слов, спросил Туров.

— Русские мужики на праздник приехали и этим все испортили. Все на оленях по своим чумам разъехались, — пояснял Самбиндал.

— Какие русские мужики? — стаскивая с себя савик, кричал Туров. — Откуда здесь русские мужики? — глухо доносился голос поручика, запутавшегося в подоле мехового савика.

— Муку давали. Сахар давали. Чай давали. Порох не давали. Дробь не давали, — отвечал Манорага и добавил: — Плохие купцы, совсем не купцы. Давали муку, тоже упряжки угнали.

«Митрич, — мелькнула радостная мысль у Никиты. — Значит, попал на праздник медведя. Ну молодец! Никого не побоялся». От таких вестей ему самому захотелось обнять словоохотливого оленщика, но истеричный голос поручика отрезвил его.

— Плотников! Плот-ни-ков! — кричал через весь олений пояс Туров подпоручику, который был назначен в отряд вместо Киргизова, он всегда старался быть подальше от поручика.

Плотников, пурхаясь в снегу, пробирался от нарты к нарте. Правая его щека вздулась, побагровела, припухлость закрыла глаз. Туров, ужаснувшись видом подпоручика, пожалел его про себя и тихо сказал:

— Что вы там? Поезжайте за нашей упряжкой. Впереди, как сказал этот, — кивнул он на Манорагу, — нас ждет что-то интересное.

Оленей запрягли быстро. По проторенному следу Манораги упряжки бежали ровнее, под звон колокольцев солдаты повеселели, кое-кто стал спрыгивать с нарт и бежать рядом с ними, разминая ноги и греясь на бегу.

Туров молчал, у него не было ни малейшего желания о чем-либо спрашивать приехавшего оленщика, хотя тот и гнал свою упряжку рядом с ним по целине. Туров уже давно понял, что отряд его остался без всякой поддержки, и сейчас ставил перед собой только одну цель: уцелеть. Мечта стать победителем канула в вечность. Только бы уцелеть и вырваться из этого проклятущего края! Была одна надежда на переход через Урал. Ни о каком марше по сибирским селам не могло быть и речи.

Он понемногу успокоился. Теперь, как казалось поручику, он был ближе к цели: едет на оленьих упряжках прямо к Уралу. Вокруг тишина и покой. Рядом надежные люди, да и вогулы, если прислушаться, так все лепечут по-русски. Не зря же ездили сюда русские купцы.

«А вдруг да встречу Семена Шитоева?» — при этой мысли по спине Турова пробежал холодок. У него не было ни малейшего желания встречаться с ним.

— Биндал, — упростив имя Самбиндала, кликнул Туров пастуха. — Самбиндал остановил упряжку. — К вам шаман приезжал?

— Приезжал, приезжал, — протянул пастух.

— С ним кто-нибудь был?

— Мужик приезжал. Большой мужик. Шибко злой. Оленей просил.

— Злой и сердитый? — переспросил Туров.

— Шибко злой. Шибко сердитый. Кричал, кричал, потом в снег падал! Опять кричал. Шаман велел оленей давать — Самбиндал тому мужику оленей не стал давать. Васька-шаман просил. Василий Николаевич, — поправился вогул, похлопывая хореем по бокам пятнистого оленя.

«Это был Семен Шитоев. Олени — его забота. Нет, он не откажется от своей цели. Нет, его не удержать никакими силами, не уговорить перейти через Урал. С Шитоевым — дело бесполезное! С этим лучше не встречаться — застрелит, не моргнет».

Манорага не спускал с Турова глаз, а заметив, как тот стал кашлять, с душевной простотой протянул ему кусочек сахара.

— Русские мужики давали. Всем давали. Манораге не давали. Манорага ругался: зачем Лям-экву Аням Косачиный Глаз таскал? Пастухи сахар брали. Русские всем давали.

— Чего он городит? — опять спросил Туров Никиту.

— По всей видимости, на празднике была «красная нарта». Я слышал в Сатарове, что комитет направлял в тундру нарты с продуктами для охотников и пастухов, — спокойно ответил Никита, уже успев пережить волнение и порадоваться, что Митрич с Павлом сделали свое дело.

Туров в ярости швырнул в снег кусочек сахара и распорядился гнать оленей во весь мах к чуму охотника, у которого справляли дикари свой языческий праздник. Он еще надеялся застать «красную нарту», приказал всем держать оружие наготове и стрелять в каждого, кто встретится им по дороге и не отзовется на предупреждение.

«И назвали-то как — «красная нарта!» — возмущенный Туров поудобнее устроился на медвежьей шкуре, достал револьвер — хотелось стрелять, стрелять и стрелять, но рассудок пока брал верх над желаниями.

А Ропаска, оставшись один, без гостей, сидел в чуме возле головы Хозяина, недоуменно рассуждал обо всем случившемся и ничего не мог взять в толк. Он прожил немаленькую жизнь: сосенка, возле которой он играл и доставал рукой ее вершинку, выросла в большое дерево. Ропаска боится взбираться по ее сучкам. Там прячется соболь, шумит ветер. Сосна стала совсем большой. Ропаска привел в чум двух жен. Прась-эква стала старухой. Так много прошло лет и зим, а на праздниках Хозяина всегда было одинаково весело. Почему же в этот раз все так рано уехали? Почему сам шаман так бил в бубен? Зачем Васька-шаман сломал праздник? Ему вспомнилось: несколько лет назад кто-то сказал, что в стада зашла стая волков. Но шаман не бил в бубен. Все остались пить «огненную воду». Волки порезали много оленей, а с праздника никто не уехал. «Нет, тут во всем виноват Аням Косачиный Глаз, — размышлял охотник. — Это он крикнул: Самбиндал едет. Чужие мужики едут. Чего мужики?! Мужики — не волки».

Его размышления прервал звон колоколец. Ропаска вышел из чума, приложил ладонь к правому уху: Манорага едет. Он побежал в женский чум, крикнул Прась-экве и женам с

ребятишками, чтобы они утащили с глаз Манораги оставленные остатки муки, а на место, где стояли нарты русских мужиков, поставили бы нарты с домашним скарбом.

Старший сынишка вскочил на нарту, долго вглядывался, приподнявшись на цыпочки, потом закричал громко и весело. Он думал, что возвращаются охотники и снова начнется праздник. И напрасно плакала Прась-эква, предвещая сыну несчастье.

Ропаска сам вскочил на нарту. Увидев множество людей, не знал, на что и подумать. Ехали Манорага, Самбиндал и еще много-много чужих людей. «Зачем они едут к Ропаске?» — с тревогой подумал охотник, но так и не ушел с нарты, так и стоял, приложив ко лбу ладонь.

— Что, хозяин, «красную нарту» ждешь? — строго спросил Ропаску Туров.

— Паче, паче, — ответил Ропаска. В этот момент его со всего плеча ударил один из солдат, и он упал в снег лицом, не понимая, что происходит. Молодчики подскочили и стали пинать лежащего на снегу Ропаску.

— Зачем?! — закричал во весь голос Самбиндал, приподняв над головой хорей. Собаки, выскочив из-под нарт, залаяли. Звеня украшениями на косах, выскочили из чума жены Ропаски и старая Прась-эква, упали рядом с Ропаской на снег.

— Прекратить! — подпоручик Плотников выстрелил, но никто не остановился. Люди будто затем и приехали, чтобы учинить побоище.

Самбиндал выхватил нож. Тот самый нож, который он взял у замерзшего в тундре купца Рогалева. О, если бы его увидел Васька-шаман!

— Самбиндал, Самбиндал! — кричали погонщики, но он словно их не слышал.

Медлить было нельзя: Никита Мялищев повис на руке пастуха, а нож выхватил поручик Туров.

— Поедем, поедем отсюда! — шептал Самбиндалу Никита. — Пусть они ищут себе дорогу. У них есть проводник — Манорага. Поедем, Самбиндал!

Туров ничего не мог различить в этой сутолоке, не мог в оленьих савиках отличить вогулов от своих солдат, винил себя, что не сдержался и так грубо поступил с хозяином чума, где можно было и обогреться, и попить горячего чая. «Не выдержали нервы. На пределе. Хоть пулю в лоб!» — думал он, еще не зная, что Самбиндал с Никитой уже скрылись.

Раскатистые выстрелы Турова из револьвера образумили всех. Поднимаясь с земли, все расходились по своим нартам. К Турову подошел Манорага:

— Самбиндал совсем уехал. Совсем. Твой парень уехал. Совсем уехал, — говорил он Турову.

Тот ничего не понял и решил заглянуть в чум. Он увидел медвежью голову и рядом десятка два берестяных масок. У него пропало всякое желание оставаться здесь

Манорага учуял растерянность поручика. Ветер раздергивал в разные стороны полы шинели, колкий снег сыпал за шиворот. Туров втянул голову в плечи и на какой-то миг со стороны посмотрел на себя. «А вдруг да пастухи отгонят оленей? Оставят нас одних здесь, в чуме этого Ропаски?» — мелькнула мысль, и он, собрал силы, зычным, командным голосом позвал к себе подпоручика Плотникова. Тот знал об отъезде Никиты, но боялся доложить об этом Турову.

Поручик был вне себя: как этот необстрелянный молокосос так искусно обвел его вокруг пальца?! Может, это просто шалость? Молодецкое лихачество на оленьих упряжках? Но Туров знал, что Никита Мялищев не хлюпик. Вспомнилась потеха ряженых в первый день прибытия отряда в Сатарово. «Не с того ли потешного дня он вел потешную игру?» — с ужасом подумал Туров, готовый нажатием курка поставить точку в этой игре.

— Ночевать здесь не будем. Поедем за этим, — кивнул он в сторону Манораги. — Пока еще он нам в рот смотрит, а то и этот покажет спину, — шепнул он Плотникову и сплюнул в снег.

— Но все устали. Все ждут отдыха, — тихо сказал Плотников, ладонью дотрагиваясь до обмороженной щеки.

Разговор прервала старая вогулка. В руках она держала покрытую ржавчиной жестяную дымокурку с тлеющими травами и размахивала ею.

— Прась-эква шаманит! — крикнул Манорага. — Она зовет сюда злых духов. Прась-эква умеет звать злых духов! Умеет! — отскочил в сторону оленщик от запаха дыма.

— К тебе поедем, — сказал Манораге Туров, на что оленщик недовольно пожал плечами.

— Зачем в мою юрту ехать? Я дорогу казать буду. Зачем в юрту Манораги ехать? — После всего увиденного у Манораги пропало желание показывать этим незнакомым людям свой пауль, где стоят десятка два чумов его сородичей. Сородичи не простят, если эти вот так же, как Ропаску, кого-нибудь обидят.

— Я дорогу Урал казать буду, — настаивал на своем Манорага. — Две луны и прямо на широкую вогульскую дорогу выбегут нарты Манораги.

— К тебе! И по нартам! — скомандовал Туров. Для солдат, ожидавших привала, команда поручика показалась каким-то безумием.

— Нет! Так не пойдет! — закричал один из них, но вспомнив расстрел караульного в Сатарове, осекся, выхватил из рук старой Прась-эквы жестяную дымокурку и бросил ее в глубь чума, в котором лежала медвежья голова. — Сжечь! Спалить! — закричал он, и никто не мог его остановить. Он быстро сгреб в кучу берестяные маски, запалил их. Скоро охотничий чум, сшитый из бересты и оленьих шкур, охватил огонь. Яркие зловещие языки летели ввысь, рассыпая вокруг огненные искры.

Старая Прась-эква попыталась встать, но тут же рухнула, хватая темными пальцами снег, оставляя на нем свои последние отметины жизни. Платок с яркими цветами валялся неподалеку.

— Гоните оленей! — скомандовал подпоручик Плотников, но ни один пастух не поднял хорея.

— Гони ты первым, Манорага! — впервые выговорил имя оленщика поручик.

— Там Хозяин. Беда будет. Большая беда, — тыкал пальцем в сторону горящего чума Манорага. И тут все увидели, как Ропаска, приподняв окровавленную голову, пополз к горящему чуму. «Сгорит ведь, сгорит», — подумал Туров, наблюдая, как тот полз по снегу, оставляя за собой кровавый след. Но в это время охотник уже сумел выбросить из горящего чума опаленную голову Хозяина. Она прокатилась по снегу, оставляя на нем обгорелые клочья шерсти.

Манорага вялым окриком погнал оленей.

Глава сорок третья

Проснувшись, Семен Шитоев боялся открыть глаза. Было так хорошо, тепло, что и не хотелось верить, что он все еще в этом глухом и безлюдном крае. Но это длилось не более минуты. Он еще какое-то время прислушивался к тишине, потом открыл глаза: перед ним были стены, срубленные из тонкого сосняка, в пазах бурые, пересохшие пучки мха, в нескольких местах были вбиты деревянные гвозди, на которых висели женские меховые нярки.

— Это юрта Прасковьи, — догадался Шитоев, у него опять учащенно забилось сердце, застучали зубы. Сжимая сведенные судорогой кулаки, Семен попытался подняться со шкуры.

Если бы здоровье Семена Шитоева не пошатнулось, а рассудок оставался таким же ясным, как в мялищевской конюховке, он непременно был бы на празднике медведя, давно отыскал бы след «красной нарты».

«Где этот шельма — шаман, будь он трижды проклят, чувствую, надоел я ему! Но нет, так просто он от меня не отделается. — Обхватив руками колени, Семен сел, глядя на сгоравшие в чувале еловые полешки, на огненные языки. Треск коры напоминал ему отдаленные одиночные выстрелы. — Господи! — вдруг взмолился Шитоев, поднимая глаза вверх, — здесь и перекреститься не на что. Исповедаться не перед кем. Столько всего натворил! А ради чего? Вон куда занесло. Считай, на край света... Только бы дышать, ходить, есть, спать, а все остальное... — Он махнул с досадой рукой. Но тут же подумал: — сколько еще надо всего сделать!»

В приоткрытой двери промелькнуло платье. Он узнал Прасковью.

— Где хозяин? — хрипло крикнул Шитоев. Прасковья будто не слышала его окрика, пошла совсем в другую сторону — бросить собакам оленьи кости.

Старый лохматый пес с тупыми изношенными зубами урчал, не подпуская к еде других собак. Сама Прасковья подбежала к деревянному ящику с одеждой, который с давних пор стоял на старой нарте, и, свернувшись в три погибели, спряталась в нем ни жива ни мертва. Она боялась

Шитоева, боялась его бредовых криков, его неспокойных, всегда ищущих глаз.

После отъезда шамана Семен просыпался только один раз и то ночью. Она дала ему травяной настой филичьей травы, он выпил, долго плевался и скоро захрапел. Прасковья знала, что через три дня, выспавшись, человек станет тихим и спокойным. Так она думала полечить Семена. «Филичья вода Ваську лечит, а русского мужика, может, не будет лечить», — женщина ходила по юрте на цыпочках, а больше была на улице, жила в каком-то предчувствии беды: наготовила много дров, пригнала оленей с дальнего болота, пересмотрела упряжь и жила ожиданием Васьки-шамана, удивляясь, как он смог оставить ее одну в юрте с совсем чужим, незнакомым человеком. «Раньше Васька так никогда не делал», — подумала она.

Сейчас она вся сжалась в комочек, услышав легкий скрип двери. В щелочку между промороженными сосновыми бревнами, из которых был сложен ящик, она увидела Семена Шитоева. Тот стоял во весь рост и был вровень с ее юртой. Собаки уркнули и, схватив кости, побежали под нарту. У старого бывалого пса на загривке поднялась шерсть, когда поручик небрежно, будто для порядка, бросил в него прислоненное к стенке полешко.

В один прыжок пес оказался возле Шитоева, вцепился в полу френча и разорвал ее в клочья.

Поручик будто только и ждал этой схватки. Он не отбивался от рассерженного пса, а хладнокровно вынул из кармана револьвер и выстрелил.

Прасковья зажмурилась и не видела, как подскочил пес в своем последнем прыжке. На снегу осталось только темное пятно и красноватая полоска, ведущая под нарту, куда уполз пес издыхать.

— Эй, хозяйка! Куда спряталась? Начну сейчас палить по твоим ящикам и коробам — продырявлю твою нечесаную голову.

После выстрела Шитоев повеселел, взбодрился. С любопытством оглядывал даль, высокие сосны с тяжелыми ветвями. Даже заметил голубоватую спинку белки, понаблюдал, как, озираясь, добежала она до края ветки, распушив хвост, легко перепрыгнула на другую сосну, побежала по стволу и потерялась из виду.

«Не стоит тратить патроны, — рассудил поручик. — Еще пригодятся, может, и для самого хозяина. А что, неужели

эта неумытая рожа оставит меня со своей вогулкой? — хохотнул Шитоев. От незнакомых звуков собаки приподняли уши, отозвались лаем молодые щенки. — Ну нет, так дело не пойдет. А ведь хочешь — не хочешь, живи. Сколько дней прошло? Сколько? И нигде ни души. Хоть бы один кто явился. Ни одного следа, кроме Прасковьиных и собачьих. И в сторону леса Прасковья ходила. Зачем ходила? Может, тоже собралась уехать, да не успела. А вдруг? А вдруг заберет оленей и оставит меня одного? Останусь тут куковать. Кто, когда сюда явится?»

— Эй, Прасковья, вылезай! — сказал он спокойным, почти ласковым голосом. — Вылезай. Я не трону тебя. Не бойся. Не зверь же. Даю тебе офицерское слово, ты как-никак меня обогрела, накормила. Какой резон тебя убивать? Вылезай, Прасковья. Ты ведь где-то тут. Я видел, твое платье промелькнуло. Вылезай, я в юрту уйду».

Он обтер снегом руки, долго и старательно тер лицо, шею и даже густые засаленные волосы.

Прасковья подняла над головой крышку ящика и спрыгнула в снег, стряхивая подол платья. Нечаянно с головы упал платок, которым всегда было закрыто ее лицо.

Шитоев успел увидеть ее смуглое чернобровое лицо и родинку возле левой губы. «Какая ладная! Надо же!» — с любопытством, без обычной злобы подумал Шитоев, когда женщина пробегала мимо него, и даже еле заметно усмехнулся, отметив в ней легкое смущение, свойственное всем женщинам.

Утро было ярким и светлым. Солнечные лучи залили редкие облака. И все живое отозвалось свету: присели снега, оголились косматые верхушки болотных кочек, залоснились тальниковые ветки, нащупывающие корешками талые воды. «И сюда идет весна. А там, дома... — вздохнул Шитоев. — Грачи прилетели...» И как-то устало присел на краешек нарты.

Прасковья, приоткрыв дверь, спросила:

— Есть будешь?

Шитоев ничего не ответил, а долго сидел и глядел на синеющий под яркими лучами снег.

На низеньком столике с вырезанными охотничьим ножом пузатыми ножками в берестяной чашке лежало вареное мясо, а рядом, в большой эмалированной кружке был налит наваристый бульон. Таким бульоном Прасковья всегда угощала русских купцов, и они говорили ей: «Емас Прас-

ковья. Сака емас!» А Васька-шаман добавлял: «Пейте, пейте. Ноги будут бегать быстрее ветра!»

И сейчас она приготовила Семену такой же бульон, положила самые лучшие куски мяса. Она и не могла сделать по-другому, она всю жизнь подавала гостям все самое лучшее. Семен Шитоев был тоже гостем в ее юрте. Но только теперь она не сидела за столом, как с русскими купцами, а, отвернувшись, растеребливала возле очага высохшие жилы оленьей голени, скручивала, ссучивала их на коленях в тонкие нити для шитья одежды и обуви.

Шитоев давно не ел с таким аппетитом. Обтирая губы замусоленным носовым платком, спросил у Прасковьи:

— Где твой Василий Николаевич?

Из рук Прасковьи выпала жильная нитка, она приподняла плечи, но ничего не ответила.

— Не слышишь, Прасковья? Где хозяин твой?

— Меня не знает. Совсем не знает, — тихим, осипшим от страха голосом сказала вогулка.

Шитоев встал, не то себе, не то Прасковье сказал:

— Ну ладно. Бог напитал, — подошел к очагу, присел на корточки. — Чего лицо-то закрываешь? — дотронулся до цветастого платка Прасковьи. Та звонко и пронзительно завизжала, на ее крик отозвались лаем собаки. — Чего кричишь? Не дотронусь, не кричи. Я без любви к вашему брату не лезу! Не привык. Бабенки-то сами меня баловали. Ох ты, Прасковья, Прасковья.

Он отошел и грохнулся на шкуру, на которой не помнит сколько дней и ночей валялся в полузабытьи.

А собаки за дверью лаяли с приступом, будто над медвежьей отдушиной берлоги.

— Угомони их! Отгони! А то сам успокою! — сказал Шитоев, боясь очередного своего срыва. — Ох ты, Прасковья, Прасковья. Ему почему-то понравилось это имя. — А что, Прасковья, — обратился он к хозяйке юрты, когда та, открыв двери, прикрикнула на собак, и они тут же умолкли. — А что, Прасковья, поедешь со мной Ваську-шамана искать? Он что, подумал, от меня можно так просто отвязаться? Не на того нарвался.

Прасковья поняла, что ему нужен Васька-шаман.

— Запрягай, Прасковья, оленей. Поедем! Ты тут не хуже его тропы знаешь. По тебе вижу — ловкая.

— Ваську стрелять будешь? — уставив на Шитоева черные, чистые глаза, спросила поручика Прасковья.

— Не знаю, — в раздумье сказал Шитоев. — Не нравится мне, как он следы путает. Понять его не могу.

Олени, сильные, объезженные, были у Прасковьи совсем рядом. Она собрала их, запрягла в две упряжки.

— Ох ты, Прасковья, Прасковья! — увидев ее, одетую в нарядную малицу, не без восхищения воскликнул Шитоев. Потом наблюдал, как ловко она выливала из каждой черепушки воду, чтобы не заморозило, не раскололо, приперла дверь юрты сосновой палкой, прикрикнула на собак, пригрозила пальцем серому нетерпеливому псу, который запрыгал, готовый бежать за упряжками.

— Брысь! Брысь! — прикрикнула на него Прасковья, и он мелкой трусцой побежал за угол.

Прасковья сидела на нарте гордо, красиво, изредка взмахивала хореем над спинами оленей. Шитоев сел на одну нарту с Прасковьей.

Немного отдохнув в Прасковьиной юрте, поручик вроде бы успокоился, собрался с мыслями.

Прасковья вскоре остановила упряжки.

— Дальше сам поезжай, — сказала она, подводя Шитоеву вторую упряжку. — Теперь дорога будет. Один охотник попадет, другой охотник попадет. Сегодня не попадет — завтра попадет, — спокойно говорила вогулка.

— Ты что, сдурела?! Куда я без тебя поеду? Гони оленей, где Васька-шаман.

— Не знаю. Васька — хозяин! — с гордым достоинством ответила поручику Прасковья. — Василия Николаевича вся тундра слушает. Он говорит — все слушают. Ты кричишь! Ты — люль! — И тут вогулка, будто враз позабыв все русские слова, заговорила быстро-быстро.

Со стороны сосновой боровинки доносился равномерный стук дятла, легкий ветерок ласкал лицо, дышалось легко и свободно.

— Куда уехал Васька-шаман? — посуровев, спросил Шитоев.

— К Ропаске уехал, на праздник медведя уехал, — четко и ясно сказала Прасковья.

— А может, он с «красной нартой» разъезжает? Эти лоскутники не дремлют! — И как рукой сняло с него всякую учтивость. Он схватил вогулку за плечо и посадил на нарту. — Живее! Гони оленей! Живее! — закричал он, и Прасковья вновь узнала в нем того сердитого мужика, который, как ей казалось, не умел говорить тихо и спокойно. — Быстрее!

Быстрее! — Шитоев испугался, что уже опоздал и не встретится с отрядом Турова. Бранись, дерись, а за своих держись, — пришла на память русская поговорка.

Прасковья вновь остановила упряжку и, не обращая внимания на поручика, достала из мешка серебряный колокольчик и привязала его на груди коренника. Она знала: по его звону Васька-шаман сразу узнает ее упряжки.

«Ну-ну, подавай знак. Думаешь, я уж такой бестолковый? Пусть звенит твой бубенец, на него скорее отзовется твой хозяин», — подумал Шитоев, не подавая виду вогулке, что сразу же разгадал ее немудреную хитрость.

Ехали целый день. К вечеру похолодало. Облизанный лучами солнца снег подтаял, оледенел, стал хрустеть под оленьими копытами.

Васька-шаман издали узнал звон колокольчика на упряжке Прасковьи: «Сенька едет! — и у него совсем испортилось настроение. Он и так ехал с праздника удрученный случившимся, теперь он пожалел, что не свернул к Молебному Камню или в какое-нибудь из своих потайных, укромных урочищ, где мог бы спокойно подумать, собраться с мыслями. — Шайтан, шайтан мне дорогу путает. Шайтан! — Ему уже стало казаться, что не только он, а сам великий Торум теряет силу, совсем забыл о его маленьком народе. — Я всегда ехал с праздника очищенным, беззаботным, всегда выпрашивал у Торума удачи охотникам. А на этом празднике я не видел их глаз. Это совсем плохо. Я не глядел им в душу».

Когда такое было, чтобы не хотелось встретиться с человеком в снегах?

Приглядевшись, он узнал две упряжки. А на них Прасковью и Семена Шитоева.

Глава сорок четвертая

У оленщика Манораги в пауле Вогул Ло стояла рубленая юрта для знатных гостей. Сам же он, сколько ни старался в ней жить, не мог: плохо спалось, с деревянных нар всегда сваливались на пол постланные шкуры, и он оказывался на

голых досках. Потом у него болели бока, будто кто-то бил по ним палками. Дым из чувала часто шел не в отверстие на крыше, а долго качался по юрте, и из глаз постоянно катились слезы, будто ему жалко было пролитой из бутыли «огненной воды». И звук, и свет, и воздух — все было не таким, как в чуме. В чуме ему было удобнее и легче.

Он всю жизнь каслал с женами за стадами и даже как следует не знал, сколько же у него детей. Жены его, старые и молодые, жили здесь, в пауле. Прокаслав с молодой женой зим пять, обязательно находил другую молодую.

Собственных стад у Манораги было больше десятка. На потемневшей палке, привязанной ремнями к нарте, ножом делал зарубки. Счет оленей никому не передоверял, не ленился — считал сам. Их гнали всегда по одной и той же тропе среди гор, и на этой уральской тропе он знал каждый кустик. По ней никто не ходил, никто не мог ходить, кроме зверя. У Васьки-шамана к Уралу тоже была своя тропа. И у Салыг-ойки, теперь она досталась Аняму Косачиный Глаз. Есть в крутых узких ущельях пастушьи тропы, но их Манорага не знал. И зачем ему знать другие дороги?

Когда на этот раз он вернулся в пауль, он явился к старому Тар-ойке, и тот сразу понял, что Манораге нужна новая молодая жена. Он и рассказал ему о празднике медведя у Ропаски, и о Куземке, мужике безоленном, но у которого есть дочь.

Манорага возвращался с праздника мрачным, перестал улыбаться, хотел свернуть куда-нибудь на тропу и скрыться с глаз этих парней, от которых так незаметно угнали упряжки Самбиндал с русским парнем. «Почему бубен Васьки-шамана на другой день стал греметь? Почему Самбиндал куда-то бежал с русским парнем? Почему Аням Косачиный Глаз тоже кружит, как заяц, по одной тропе? Гришка, сын Васьки-шамана, угнал к Уралу десять упряжек. Зачем? Купцы не приехали. Соль не привезли. Дробь не привезли. Ружья не привезли. Платки не привезли. Тар-ойка видел в пауле Софью. Она пришла в чум к старой Шохрынг-экве. Чум ее самый крайний, старый, старый. Все забываю дать ей оленьи шкуры починить. Нынче не забуду. Нет, не забуду».

Манораге вовсе не хотелось думать и вспоминать, кому еще надо дать оленьи шкуры на починку чумов. Его больше волновало другое: зачем он помогает отряду, зачем они сожгли большой чум Ропаски? Сожгли и не побоялись. А вдруг да сожгут пауль?

Упряжки бежали между высоких скал. Снежные навесы на высоких вершинах издали казались громадными крышами. Ветер свистел тут как-то по-особому гулко, и Манораге почудилось, что их догоняет стая волков. Но он знал, что ему это только кажется, но неприятные завывания все-таки лезли ему в уши, и он громко гикнул на оленей. Эхо покатилось вдоль скал, не улетало вдаль, как на пастбищах, а глухо тонуло в снегу, свистело в расщелинах гор.

Туров был вне себя. Нет, он ни на кого не кричал, просто темнело в глазах от мысли, что Никита Мялищев сбежал. И, конечно же, не без умысла. Киргизов нюхом чуял в купеческом сынке чужака... В отзвуках гиканья Манораги ему вдруг послышались звуки истерического хохота Киргизова.

От Киргизова уже целую неделю ни слуху, ни духу. «С ним-то нам надо держать связь, как договорились». Он толкнул в спину Манорагу, как толкал недавно Самбиндала. Тот вздрогнул.

— Скоро до твоего жилья?

Манорага, и не расслышав вопроса, знал, о чем волнуется человек, у которого есть в кармане совсем, совсем маленькое ружье.

— Скоро, скоро. Луна полнеба обойдет — олень дым нюхать будет. Сам побежит. Хорей поднимать не надо.

«Черт знает, чем измеряются здешние дороги. Попробуй догадаться: дым олени нюхать будут. Может, я не понял?» — Но переспрашивать не стал. Опять тянуло ногу, казалось, что какая-то сила тянет пятку к колену. Поворачиваясь, он застонал.

— Скоро, скоро, — говорил Манорага, замечая усталость давно не кормленных оленей.

— Остановись, остановись! — закричал Туров.

— Не кричи. Говори тихо. Снег с горы падет — завалит тропу, кружить будем. Тихо здесь говори.

Олени остановились. Плотников тут же явился.

— Заболели? — спросил Турова.

— Да опять эти судороги, черт бы их взял. Как ты думаешь, куда нас везет этот?

— К себе в пауль. Так они называют селение. А что?

— Ты представляешь, что это за Вогул Ло?

— Понятия не имею, — отрапортовал подпоручик.

— А не могут в этом Вогул Ло оказаться «красные нарты» или, еще похлеще, какой-нибудь красный отряд? Мы

ведь совсем ни о чем здесь не знаем. К Ропаске подъехали с удалью, а вдруг бы да там они оказались...

Туров решил послать вперед солдат на разведку, но не так-то просто оказалось послать их впереди Манораги. Он категорически возражал.

— Кто хозяин тропы? Кто хозяин? — во все горло кричал Манорага и, сверкая глазами, соскочил с нарты. — Нет, Манорага вперед себя никого не пустит! Никого не пустит. Нельзя. Манорага хозяин тропы. Ступай тропу купцов. Ступай. Там можно. Здесь нельзя. Здесь Манорага тропу торил. Отец Манораги торил, дед Манораги торил. Ты — не торил. Все старухи смеяться будут: Манорага чужих людей пустил. Дети смеяться будут! Так не бывает. Никогда не бывает! — путая русские слова, горячился оленщик. — Хороший олень вперед бежит, хороший хозяин — сам по тропе едет!

— Черт вас возьми с вашими порядками! — возмутился Плотников. Было ясно: вперед себя Манорага никого не пустит.

— Чем дальше в лес, тем больше дров! — морщась от боли в ногах, выдохнул Туров. — Пусть сам едет с солдатами. Может, и получит первым пулю в лоб.

К паулю Вогул Ло отряд подъезжал, когда взбесившаяся метель перекидывала снег через чумы, и только чуткие собачьи уши услышали скрип нартовых полозьев.

Туров уже не верил, что сможет где-то заснуть и не замерзнуть на морозе. Он схватился обеими руками за рубленый угол невысокой юрты, и даже сквозь закопченные дымом пазы уловил запах тепла. Все кружилось и качалось перед глазами поручика.

— В тепло, в тепло, — бормотал он, перешагивая через высокий порог юрты и хватаясь за косяк с каким-то испугом. Потом он молча огляделся вокруг, отдышался и громким, командным голосом крикнул:

— Расставить караулы! — Он мельком взглянул на бревенчатые стены, на висевшие шкуры, сыромятные ремни. Все плыло у него перед глазами, как в тумане. Сон легкой рукой подталкивал его в бок, и он тут же уснул.

Тем временем Манорага выгонял сородичей из чумов, освобождая их для приезжих солдат. Наскоро хватая одежонку, пряча ребятишек от взглядов посторонних мужчин, жители Вогул Ло бежали в дальние чумы и, сгрудившись, сидели безмолвно, не понимая, что происходит с пауле.

Но мало-помалу все стихло и успокоилось.

Не зная и не понимая, что же затевается приезжими с ним мужчинами, Манорага не находил себе места. Он совсем не хотел спать и стоял посреди пауля, не зная, куда податься. Он был испуган и чувствовал: сородичи ему не простят, что он привез в пауль чужих мужиков. У него появилась мысль: не уехать ли в какое-нибудь оленье стадо к пастухам и не уснуть ли там, ни о чем не думая. Но сам не зная почему, он все-таки не уехал, а направился к чуму старика Тар-ойки. Старик не спал, сидел возле чувала, ворошил тлеющие в очаге угли черемуховым прутиком. Он даже не повернул головы, чувствуя за спиной дыхание Манораги.

— Девку привез? — спросил старик после долгого молчания и, не дожидаясь ответа, строго добавил: — Ты ведь поехал к Ропаске за девкой. Может, у нее плохие глаза? Может, не длинные косы? Может, она говорить не умеет и вместо нее шайтан подарил тебе этих мужиков?

Манорага удивился дерзким словам старика, но, вздохнув, присел на корточки возле очага и молчал. Он не знал, что ответить старику.

— Зачем приехали они в наш пауль? Зачем ты показал им свою тропу в Вогул Ло? Или мало в тундре других троп? Вчера две нарты прибежали к юрте старой Шохрынг-эквы. Зачем так много шатается по тундре чужих людей? Кто пошевелил их в своей берлоге?

Манорага сопел, медленно стаскивал с ног давно не сушенные кисы, потер нога об ногу, чтобы тут же засунуть их в теплую золу.

— Кто приехал к Шохрынг-экве? Ты видел их? Ты знаешь их? — будто опомнившись, спросил Манорага.

— Ты давно не был в пауле, все время носишься на нартах, может, догоняешь ветер и не видишь ничего вокруг. У Шохрынг-эквы давно живет младшая жена шамана — Софья.

Манорага стал было снова обуваться, но Тар-ойка решительно встал и бросил кисы к противоположной стенке чума. От легкого удара с пологих стен жилища с шорохом пополз снег.

— Не тревожь старую женщину, — строго сказал Тар-ойка. Знаю, у тебя в голове туман бродит.

Манорага дивился твердости всегда смирного старика. Этот решительный жест Тар-ойки не вызвал в оленщике злобу, хотя в другой раз он вряд ли стерпел бы такое, у него

был скверный характер. Он редко прощал людей и никогда ни в чем не считал себя виноватым. Он всегда и перед всеми был прав. И только сейчас, испытывая над собой силу приехавших мужиков, призадумался. Может, он поэтому и стерпел эту дерзость Тар-ойки.

Тар-ойка утирал ладонью слезы. Манорага был удивлен, он вытаращил глаза, открыл рот и сидел так какое-то время. Слезы Тар-ойки (он никогда не видел, чтобы мужчины тундры плакали) показались оленщику плохим предзнаменованием, вестниками какой-то беды. Манорага испугался.

— Я дам, обязательно дам Шохрынг-экве новые шкуры, чтобы покрыть стены ее худого чума, затараторил Манорага. — Ей много лет, ворон знал, и тот забыл. Сын один был, и того вода унесла. — Слова его были торопливые и бессвязные, но он не останавливался. — Она учила меня петь песни Хозяину:

...Однажды в жаркое длинное лето,

Однажды в жаркое комариное лето...

Тар-ойка сидел в задумчивости, повернувшись спиной к Манораге, уставив взгляд в вышорканную возле очага оленью шкуру.

— Я Софью помню. Ее сына Григория видел. Они долго жили у русских. Григорий к Ропаске не приезжал. Василий Николаевич приезжал, — говорил Манорага, чтобы успокоить старика.

Но Манорага был не способен понять, чем обеспокоена душа старого человека. Он не догадался спросить Тар-ойку, какие думы тревожат старика, и вовсе не из деликатности, а потому, что боялся услышать что-то страшное. Внутри у Манораги что-то ныло, болело, будто какой-то шайтан нашептывал ему на ухо: плохих мужиков ты привез в пауль, большую беду ты привез в пауль!

Он встал, подобрал отброшенные кисы, натянул на босые ноги и сказал:

— Говори, учи, как отправить их. Или я сам уеду в стадо!

— Ты привез. Ты показал дорогу, — захлебываясь в удушливом кашле, произнес Тар-ойка.

Манорага выскочил из чума. Над паулем плыло высокое лунное небо. Стон с болью вырвался из его груди. Оленщик не понимал, что происходит с ним: не знал, кого винить, на кого слать проклятья. Больно сжималась грудь, он с жадностью глотал холодный воздух, стонал, но этого, к счастью, никто не видел.

Голова покрылась инеем, а он все кружил и кружил вокруг чумов сородичей. Он был в каком-то оцепенении, уже в который раз вспоминая охваченный пламенем чум Ропаски, катившуюся по снегу опаленную голову Хозяина. Ему бы зайти в любой чум, упасть на шкуры, поспать до рассвета, а он кружил и кружил, не глядя даже в сторону рубленой юрты, где были поставлены караулы.

Чья-то быстрая тень промелькнула возле чума Шохрынг-эквы. Он остановился, протер ладонью глаза. Скоро еще одна тень промелькнула и спряталась в чуме. Потом, согнувшись на усталых ногах, из чума вышла Шохрынг-эква. Манорага не ошибся. «Зачем люди ходят туда-сюда? Купцы не едут, а другие, незнакомые, идут, едут. Какая беда пришла к людям? Понапрасну собака не лает, понапрасну зверь не бежит, понапрасну олень не мычит. Люди тоже понапрасну снегами не пойдут», — рассуждал Манорага, прислушиваясь к скрипу перемерзших ремней, шорохам задубленных на морозе полушубков, приглушенным голосам.

В чум Шохрынг-эквы люди не входили, а вползали на четвереньках.

Оленщик, затаясь, неизвестно чего испугался и почувствовал, как слабеют ноги, сгибаясь в коленях, и озноб холодит спину. Он был не рад, что увидел, как в чум к Шохрынг-экве заходят люди, он быстро зажмурился, но до него доносился голос старой женщины: «Паче, паче!»

Вогулка принимала людей с уральской стороны со всей учтивостью, почтительностью, как делала всю жизнь. Ей, наверное, как и Манораге, как и всем их сородичам, не приходило в голову делить людей на плохих и хороших. Они знали людские пороки: жадность, скупость, злобу, хитрость, но утешали себя тем, что этими качествами людей наградил сам Торум, и поэтому не было у них ни на кого обиды, они всегда торопились путнику из дальних мест протянуть руку, посадить возле своего очага.

— Паче, паче,— слова Шохрынг-эквы звучали в ушах Манораги, и он шагом хитрой росомахи, часто останавливаясь, оглядываясь, подошел к чуму старухи. Он не хотел этого делать, но ноги сами его несли. Он уже ясно слышал русскую речь, мужские голоса, редкий кашель.

Он шел по утоптанной тропке вокруг чума. Хорканье быка-коренника напугало оленщика.

«Упряжки. Они бежали по моей тропе? Я чуть-чуть видел их следы. Это, наверное, «красные нарты», это тот му-

жик, который всем давал муку. Это он, — Манорага чувствовал, как сильнее забилось его сердце. Оленей не отпустили на кормежку, значит уезжать хочет, — определил Манорага. — Пускай едет. Пускай. Не купец. Пускай едет». Собаки, признавшие его, не подали голоса.

И тут он увидел частокол воткнутых в снег широких кисовых лыж. Лицо оленщика посуровело. Он вытащил нож, сделал он это машинально, но в уме его уже все было ясно.

Под ногами на снегу валялся какой-то круглый предмет. Манорага пнул его ногой, потом поднял, стряхнул о коленку снег, искоса посмотрел на упряжки. Дерзкая мысль пришла ему в голову. Одним прыжком он оказался возле нарт и перерезал ножом всю упряжь. К чуму Тар-ойки Манорага бежал, как быстроногий олень, спрятав под мышкой найденную шапку. В чум вполз на четвереньках.

— Ты опять сделал кому-то зло? — спросил его старик, но оленщик, шумно дыша, натянул в испуге на голову сшитое из оленьих шкур одеяло, молчал.

Глава сорок пятая

— Ох ты, голубок, — ощупывая лоб Павла, шептал Митрич с какой-то несвойственной ему интонацией в голосе. — Нескладно у нас получилось на самом последке. Дело мы с тобой сделали. Пусть не так хорошо, но сделали. Ни грамма не потеряли, ни грамма не утаили. Митрич, ощупывая, ловко ли лежит Павел, угодил рукой в приготовленную для выделки шкур печень старого оленя. Запахло прокисшим. — Помощник-то ты у меня отменный, на лету мой взгляд ловил. Простудился. Нелегко вытерпеть такой мороз с непривычки. Полежи, полежи.

Павел дышал тяжело, отрывисто. Митрич пытался рассмотреть его лицо, но отверстие в чуме почти не давало света и можно было только почувствовать, что парень источает жар.

В чуме было темно. Разморенные теплом, все расслабились, растянулись, кто где смог. Софья, слушая Митрича, все хотела поговорить с ним о сыне, который зачем-то погнал сорок нарт в уральскую сторону.

— Хворает? — спросила участливо, усаживаясь в ногах Павла и ощупывая горячую голову паренька. — Не знаешь, зачем Гришка в уральскую сторону оленей погнал? Спросила — не говорит. Меня взял и в Вогул Ло привез, говорит: живи, скоро приеду.

— Вести ты хорошие, Софья, принесла, — ответил Митрич.

Ей хотелось узнать о Ваське-шамане, но она боялась спросить, боялась услышать о нем плохие новости. «Ох ты, голубок мой! — опять услышала Софья. — Жар-то в тебе какой скопился, — Митрич водил безвольной горячей рукой Паши по своему лицу, шее. — Давай поправляйся. У нас с тобой упряжки наготове. Мы легонько, легонько теперь и доедем до какого-нибудь поселка, а там — нам все нипочем. Мы свое дело сделали. Хорошо сделали».

Митрич, не имевший детей, с какой-то трогательной нежностью говорил Паше ласковые слова. Они помимо воли слетали с его уст, и он их не стеснялся.

— Не вы ли уполномоченный советами по доставке продовольствия туземному населению? Соболев ваша фамилия? — спросил парень, дремавший возле чувала. — Слышали о вас. А я Павел Рубцов, — назвал он себя тихо. — Мы передовой разведывательный отряд регулярной Красной Армии. Посланы на помощь партизанам Обского Севера, ведущим борьбу с карательными экспедициями.

— До обской стороны еще далеконько, а часть карательного отряда поручика Турова совсем близко. Как бы он не явился сюда. Надо быть поосторожнее, — посоветовал Митрич, слышавший с вечера неистовый лай собак.

— Вогул Ло, — говорили нам, — место безопасное. Оно в стороне от главных троп, — прислушиваясь к словам Митрича, ответил красноармеец. — Все утверждают, что к Уралу ведет много торных троп.

— Так-то оно так... Мы вот тоже здесь оказались случайно.

Митрич намеревался сказать, что Манорага, богатый оленщик из этого пауля, остался у Ропаски, а там мог встретить карателей, которые принудят его гнать оленей именно сюда, в Вогул Ло.

Но в это время Павел закричал что-то в бреду, пытался вскочить, сбросил с себя шкуры. Он был весь в жару и поту.

— Погоди, Павлуша, погоди, — вздыхая, говорил Митрич, поправляя прилипшие ко лбу волосы. — Вот только

спадет твой жар, мы и помчимся с тобой беззаботно на легких нартах. У нас и олени за чумом стоят. Ты только поправься немножко. Мы с тобой в любую минуту, хоть в ночь, хоть заполночь вихрем умчимся. Давай, сынок, поправляйся, — поил он Павла травяным отваром, приготовленным Софьей.

— Шамана у Ропаски видел? Василия Николаевича видел? — не поднимая глаз на Митрича, спросила Софья. В это время у нее вспыхнули щеки, она была вся в ожидании ответа.

— Шаман, — с усилием повторила Софья, — был на празднике? — Она стеснялась своего любопытства, но Митрич за всеми своими заботами не заметил ее взволнованности.

— Был, — ответил сухо. Он хотел вернуться к разговору с Рубцовым, а Софья ему сейчас только мешала. Когда к нему повернулся, тот уже спал. Отовсюду слышался храп сморенных теплом красноармейцев.

«Даже чай не попили. Шохрынг-эква чай заварила, а зря, — подумал Митрич. — Теперь они могут спать до полудня, а то и дольше». Он прилег к Павлу, но уснуть не мог. Был все время в какой-то полудреме.

Солнце брызнуло в крохотное ледяное оконце юрты Манораги таким ярким светом, что Туров зажмурился.

На полу, выстланном из рубленых плах, по подстенкам и на середине большой юрты вкривь и вкось на куче оленьих шкур спали его солдаты. Ему почему-то показалось, что спят они неестественно крепким сном. Он кашлянул и нарушил тишину. В горле першило.

Подпоручик Плотников повернулся на бок, протяжно, со стоном зевнул, но глаз не открыл.

Туров свесил с нар ноги, упершись обеими руками о крепкие доски, пристально посмотрел на Плотниковаа и увидел распухшее лицо подпоручика с обмороженной щекой.

— Не спишь? — спросил Туров шепотом и отвел взгляд от перекошенного лица товарища.

Манорага вышел из чума Тар-ойки с первым лучом солнца. Оглядел островерхие жилища пауля, спустился по узкой тропке к реке, долго смотрел на ледянистый наст. У оленщика затосковала душа по тундре, по оленьим стадам.

Постояв в раздумье, он собрался было пойти к рубленой юрте, но каким-то холодом вдруг охватило его. Он поежился, забежал обратно к старику в чум, прихватил с собой най-

денную возле чума Шохрынг-эква шапку и, озираясь по сторонам, пошел.

Наивный Манорага! Разве мог он, сын тундры, ветра, мороза, пурги, представить, какую беду из-за крохотной звездочки на шапке накликал на себя и своих сородичей!

Караульные сразу его узнали. Они видели в ночи, как ходил по паулю оленщик, но не окликали его. Увидев его возле юрты, молодой солдат даже с какой-то учтивостью сказал: «Проснулись».

Манорага распахнул еле державшуюся на кожаной петле дверь, в нерешительности постоял возле порога, потом протянул Турову шапку-ушанку с нашитой красной звездой.

Он переменился в лице, глянул на Манорагу воспаленными глазами, в которых сверкало бешенство. Выхватил из рук оленщика шапку, бросил ее на пол и схватил оленщика за грудки.

Решительно ничего не понимая, Манорага сразу забыл все русские слова, лепетал что-то на своем, вогульском, но жестами, безвольным взмахом рук показывал, что он ровным счетом ничего не знает. Он едва вырвался из рук поручика, возле которого столпились все проснувшиеся солдаты.

— Где? — еле выговорил Туров, тряся его за шиворот, — где нашел?

Заслышав в юрте возню, кто-то из караула выстрелил. Этого единственного выстрела хватило, чтобы перепугать весь пауль. Солдаты бросились к низкой двери. Кто-то, ударившись лбом о косяк, заматерился, кто-то, споткнувшись, упал.

— Остановитесь! — орал подпоручик Плотников, оказавшись поваленным возле порога. — Ребра переломаете!

— Каратели здесь, — неистово закричал Митрич. Он кружил по чуму в абсолютной растерянности. Подбежав к Павлу, ощупал его пылающее жаром лицо и, приняв твердое решение, проговорил: «Мы сейчас, Паша. Мне вот только собрать тебя, чтобы не застудить. Так укутаю, и не хуже, чем в чуме будет. Неохота, Паша, вот так бестолково умирать тут. А выстрел-то был их. Здесь они, в Вогул Ло. Видать, показал им Манорага свою тропу. Показал. Вот дурак».

Схватив в охапку савики, запинаясь о шкуры, Митрич выскочил из чума. Оленей не было. Митрич побежал по свежему следу животных, но тут же вернулся и в полном изнеможении повалился на нарту:

— Вот и уехали!

— Берите винтовку! — толкнул ему в руку холодный приклад Рубцов.

В предутреннем пауле Вогул Ло будто враз покачнулись все стены чумов. Залаяли собаки.

А в Манораговой юрте все еще шла возня, хотя все вокруг было тихо.

— Господин поручик, — пыхтел Плотников, поднимаясь с пола. — Чего же это творится?

— Полюбуйтесь! — вместо ответа Туров сунул подпоручику в нос замусоленную, пропахшую потом шапку с красной звездочкой.

Плотников обомлел. То ли от страха, то ли от давки на полу ему почудилось, что что-то будто оторвалось в животе. Он присел рядом с Туровым.

— Где взял, неумытая рожа? — орал Туров на Манорагу. — Где взял, я тебя спрашиваю? — тряс он его, а тот махал в сторону леса.

— В дальнем чуме, в чуме Шохрынг-эквы.

— В ружье! — надевая помятую шинель с оторванным хлястиком, скомандовал Туров.

Манорага, шевеля плечами, почувствовал, что малица его разорвана на спине. Он вытряхнул из широких рукавов руки, перешагнул через малицу и остался в ярко-красной рубахе из атласа, расшитой белой аппликацией по подолу, рукавам и вороту.

— Иди, показывай дорогу, неумытая рожа! — толкали солдаты оленщика, и тот, посмотрев на поручика с испугом, недоверчивым удивлением, шарахнулся в сторону, предчувствуя неладное.

— Быстрей! Быстрей! — кричал Туров, наблюдая за строем солдат, бежавших во главе с Плотниковым в сторону леса по сыпучему, нетронутому снегу. Парни проваливались, брели, еле переступая ногами. Не было никакого строя, хватило бы одной пулеметной ленты, чтобы все бросившиеся к старому чуму солдаты остались навсегда лежать на этой снежной равнине. Но этого не случилось и не могло случиться. Разведывательный отряд красноармейцев даже не предполагал, что сможет встретиться вот так лицом к лицу с карателями.

— Бегите, бегите! Их много! — Софья трясла Митрича за плечо. Он молчал, обхватив голову руками. — Бегите! — настаивала женщина, толкая растерявшегося Митрича. На

ее испуганном лице вспыхнул румянец, слезы выступали на глазах. — Я видела их. Они бегут сюда. По тропе бежит Манорага. В красной рубахе. Я узнала его.

Митрич приподнял голову. Перед ним появились, как в тумане, какие-то фигуры. Дрожащими пальцами он нажал курок.

В этот момент солдаты открыли стрельбу. Со стороны чума ответно раздались выстрелы. Где-то завизжала женщина. Залаяли собаки. Манорага пугливо обернулся. Он не мог не заметить своей последней жены, которая крадучись следила за ним все утро, прячась за нартами и чумами сородичей, шла за ним по пятам. Она бежала и теперь, когда позади Манораги бежал Туров. Это она взвизгнула, когда раздались выстрелы.

— Да торопись же! Торопись! — кричал на оленщика Туров, подталкивая его в спину, глаза поручика в эту минуту были как стеклянные. — Черт возьми! Будь проклято все, — отвечал поручик на выстрелы, цепко, до боли в суставах сжимая револьвер.

— Там моя баба, — втягивая голову в квадратные плечи, остановился оленщик. — Баба моя там, — снова заговорил Манорага, чем вызвал очередной приступ злобы Турова, который уже не находил слов и не ручался за себя. Он готов был всадить в этого безмозглого вогула все пули и успокоить его навсегда. Он плотно сжал зубы. Кровь стучала в висках. Он видел, как невдалеке бежала женщина в цветастом платье. На руках, в берестяной люльке, несла ребенка. Из люльки доносился плач. Туров неистово кричал Манораге:

— Торопись. А не то я пристрелю тебя, отправлю в царство небесное!

Но не Турова, а чья-то чужая пуля угодила в спину оленщика. Никто не видел, откуда она прилетела. Манорага обернулся, вроде засмеялся в лицо поручику и тут же рухнул, по-видимому, не успев осознать, что его жизнь оборвалась.

Из чумов с плачем и криками бежали перепуганные женщины. Не испугавшись выстрелов, они пали перед Манорагой на колени, поднимали руки к небу. За ними плелись старухи, обнажив седые, полулысые головы. Казалось, им не было никакого дела до перестрелки.

— Огонь! — доносилась команда из-за чума Шохрынг-эквы. Раненый рыжеволосый парень полз к ивовому кусту, в предсмертной агонии обламывал хрусткие ветки, потом обнял куст и подмял его под себя отяжелевшим телом.

— На лыжи! — крикнул Митрич, вытаскивая из снега лыжи. Солдаты стреляли метко. «Неужели это конец? — медленно падая в снег, думал Митрич. Но в упрямой уверенности, что с ним ничего не может случиться, он силился открыть глаза. — Это несправедливо, сынок. Несправедливо, — шептали деревенеющие от смертного холода губы. — Если так, то Бог не справедлив. Совсем не справедлив...» Снежинка, упавшая на верхнюю губу, уже не растаяла.

Туров, перешагнув через Манорагу, прихрамывая на одну ногу, бежал, отдавая команду: «Огонь!» Он заметил на снегу несколько неподвижно лежащих солдат, которым было уже не подняться.

Пули свистели в белой пыли. Туров упал на снег, пополз, упираясь локтями в ломающийся наст, чувствуя, как мелкие крупинки сыпучего снега забиваются в приоткрытый рот.

— К лесу! — скомандовал поручик, но голоса его уже никто не слышал. По его лицу пробежала нервная судорога, когда он увидел глядящие на него холодные глаза лежавшего в снегу солдата. Туров отполз от него, уперся плечом о вытаявший бок кочки с черной сухой осокой и замер, закрыв лицо руками.

— Тью... тью... тью... — свистело в белой пыли.

Глава сорок шестая

Шитоева тошнило. Внутри все тряслось. А тут еще это солнце! Невыносимо яркое, ослепительное! И этот сверкающий снег. Когда каждая из миллиарда снежинок превращается в крохотное солнце — это ужасно! «Хоть завязывай глаза», — подумал Шитоев. Он раскачивался из стороны в сторону, не зная, куда приклонить голову, лег поперек нарты вниз животом.

С ровными интервалами, будто высчитывая оленьи шаги, с задней нарты доносились возгласы Прасковьи, погонявшей оленей: пыр! пыр! пыр!

Прасковья каким-то образом нашла в тундре Ваську-шамана, возвращавшегося с праздника. Вскочив с нарты,

Шитоев шел навстречу шаману, презрительно улыбался, обдумывая, как поступить с этим дикарем, и понимал, что насилием и криком он ничего от него не добьется. Слишком свободными, вольными были люди этой белой стороны. «И бубен и колотушку на праздник брал. Хитрая лиса», — подумал Шитоев и решил не вступать с ним в спор, хотя сам дрожал от негодования. Лицо шамана было утомленное, осунувшееся.

— На праздник ездил? — сквозь зубы процедил Шитоев.

— Ездил, — нехотя ответил шаман, сплевывая в снег крупинки перепревшего за губой табака.

Шитоев бухнулся на нарту Васьки-шамана. Конечно, Семен мог бы ехать на отдельной нарте, по это было рискованно. Он больше не верил Ваське-шаману. «Оставил же он меня одного в юрте Прасковьи», — опять вспомнил свою обиду поручик.

Шкура под щекой Шитоева была такая теплая и ласковая, что ему даже показалось, что чья-то рука гладит его по щеке. Тупая головная боль понемногу отпускала. Глаза Шитоева увлажнились. «Господи, — шептал он обветренными, шершавыми губами, — Господи, за какие грехи мне такое наказание?»

Сколько времени длилось это забытье или сон, он не знал, вдруг раздались выстрелы: один, другой, третий... Он пришел в себя.

— Где стреляют? — еле разжав зубы, спросил Шитоев.

Шаман хладнокровно пожал плечами, хотя точно знал: стреляют в стороне Вогул Ло.

— Вогул Ло! Вогул Ло! — кричала Прасковья, подбегая к нарте Васьки-шамана. — Там плохая сторона. Люль, люль! — она тыкалась лбом в колени шамана, но тот молчал, положив тяжелые руки на хорей и изредка кося глазами в сторону Шитоева. Ему не хотелось ехать в Вогул Ло. Он знал: туда угнал упряжки Манорага. Туда не хотела ехать и Прасковья.

— Чужая тропа. Нельзя, — мрачно сказал Васька-шаман.

— Поехали, поехали, — требовал Шитоев, указывая рукой туда, откуда долетали выстрелы.

Дорога пошла наезженная, это сразу почувствовал Шитоев: нарты летели, и явственно доносился запах дыма.

— Много, много бежало нарт, — сказал через плечо Васька-шаман, догадавшись, о чем хочет спросить его поручик. Шитоев заметил багровый румянец на щеке шамана и вы-

бившийся кудрявый завиток жестких, наполовину седых волос.

Бум, бум, бум — донеслись однообразные, глухие удары бубна. Олени, чуя скорый отдых, неслись во весь мах. Васька-шаман накрутил промороженные вожжи на кулак и дернул с такой силой, что коренник рогами коснулся спины и остановился.

— Кто-то помирает, — подставил он уху ладонь.

Глухие отголоски ударов по натянутой оленьей шкуре летели над болотами, теряясь в упругих, лоснящихся ивовых кустарниках.

За увалом показался пауль Вогул Ло. Олени остановились. Чумы вытянулись вдоль речки и походили на маленькие зароды-копешки, поставленные на первосенок.

— Ступай и узнай: что там, — нервно, хрипло сказал Шитоев шаману. — Или уже знаешь, да молчишь? Или чего боишься? Если бы ты ничего не знал, так бежал бы во всю прыть.

Шаман передернул плечами, а Шитоев с еще большей настойчивостью требовал от него идти и узнать, что за перестрелка была в Вогул Ло.

— Там русские мужики с винтовками, — забирая с нарты бубен и колотушку, немного оттолкнув Шитоева в сторону, сказал шаман и с независимым видом пошел по тропе.

— Кто? Кто-о-о-о? — закричал Шитоев и, запинаясь, побежал за шаманом. — Да знаешь ли ты, кто они? Говори же, черт тебя возьми!

— С обской стороны. Сам не видел. Аням Косачиный Глаз видел. Говорил. Весь праздник сломал, — не останавливаясь, на ходу говорил шаман.

Шитоев, ловя его каждое слово, трясся от радости:

— Пришли все-таки. Пришли. А я-то думал... Бог знает, что думал. Не знал ведь, как быть в этих снегах дальше. Им бы всем мои страдания. Всем бы... — бормотал поручик, едва поспевая за шаманом.

Надвигались сумерки. Окрики караульных заставили вздрогнуть Шитоева, но, услышав русские голоса, с трудом выдавил:

— Братцы! О, Господи, братцы, — еще не веря, что это именно они, солдаты из отряда Турова. «А быть может, не они?» — совсем запоздало промелькнула мысль. Он подчинился приказу молодых солдат.

Его, Семена Шитоева, и шамана ввели в рубленую юрту, наполненную людьми. Было темно, он ничего не мог рассмотреть. Нащупывая правой рукой в кармане револьвер, он с бешенством начал вглядываться в сидевших людей.

— Неужто Шитоев, дружище? — услышал, как далекое эхо, возглас, которого так долго ждал. Глаза его сузились, и он разглядел косматую голову поручика Турова на широких плечах.

— Это он! — хватая Шитоева в объятия, произнес Туров. — Настрадался-то как! Трудно даже представить, как в этой дикости можно быть одному. Я все время помнил о тебе. Все время. Я счастлив, что мы встретились.

Шитоев, оттолкнув от себя Турова, вдруг разразился громким, истерическим смехом:

— Я издали услышал выстрелы. В кого стреляли? С кем воевали? — хохоча, выдавливал из себя слова Шитоев. — Вот этот сразу сказал: русские стреляют — мужики с обской стороны.

Только тут все обратили внимание на Ваську-шамана, который сидел возле порога.

— Откуда он знает? — резко спросил Туров, теряя всякое терпение.

— Он еще и не то знает, но молчит. Лишнего слова не выдавишь, — отрешенно махнув рукой в сторону шамана, сказал Шитоев и снова разразился диким смехом. Сидевшие в юрте переглядывались между собой.

Шаман давно мог бы незаметно в сутолоке выйти из юрты, сесть на нарты и уехать с Прасковьей или уйти к кому-нибудь в чум, но он увидел на столе охотничий нож купца Рогалева. Он завороженно глядел на него, а перед глазами, как во сне, стоял большой сильный купец. Шаман не мог оторвать глаза от ножа с белой костяной рукояткой, расписанной узорами.

Туров нервно кусал губы, всматривался в бледное, изможденное лицо Шитоева с темными кругами под глазами. «Кто бы мог его сейчас узнать? А я еще в более худшем виде, чем Шитоев, несомненно, в худшем», — Туров чувствовал нестерпимое отвращение к самому себе. Оно было навеяно и сегодняшним днем. Где-то там, на морозе, лежат убитые солдаты. Он боится об этом думать, даже боится выходить из этой юрты. Слава Богу, что здесь он среди людей. Но они молчат, все смотрят на Семена Шитоева, который продолжает смеяться, ничего не зная о произошедшем. Туров и рад

был бы вычеркнуть этот день из памяти, но такого никогда уже не случится. На его совести и так много смертных грехов. Кто ему посочувствует? Признается ли он сам кому-нибудь в содеянном? Признаться в этом страшно, да и кому оно нужно? Разве можно быть счастливым, безмятежным в этой жизни, если припомнить все?!

— Чей нож? — спросил шаман Турова.

Туров уже забыл о ноже и не мог понять, о чем его спрашивают.

— Какой нож? Зачем он тебе? — Туров помрачнел, вспомнив о Самбиндале. Он хотел было уже отдать нож этому идолопоклоннику, но что-то его удержало.

— Николай, — проговорил Шитоев, угрюмо нахмурившись, — неужели у вас самих нет соображения? Догадаться не можете? — скривил он губы. — Жажда у меня в груди. Жажда!

Туров сконфузился:

— Где Карнаухов? В самом деле, в высшей степени... — и не договорил, встретившись взглядом с Плотниковым, который поминутно думал о сложенных за стенами юрты трупах. Он чуть не задохнулся, подбежал и, шумно дыша Турову на ухо, шепнул: «Убит Карнаухов».

— Ну тогда ефрейтора Соснина, — приказал Туров, боясь взглянуть на Шитоева, он не желал пока вводить его в курс дел.

Шитоев, находясь в лихорадочном состоянии, ничего не замечал. Только когда Плотников стал шептаться с Туровым, он не выдержал и громко возмутился:

— Какого черта шушукаетесь? Я что, тут лишний? — Лицо Шитоева побагровело.

В это время, к счастью, на пороге появился ефрейтор Соснин в обнимку с бутылью.

Туров, чтобы дать возможность Шитоеву присесть к столу, посторонился и хлопнул его по плечу. Он уже думал о завтрашнем дне, когда придется хоронить убитых.

— Черт с вами! — по-хозяйски раскупоривая бутыль, крикнул Шитоев. Вижу, вы от меня что-то скрываете, но мне плевать на все и в том числе на вашу тайну! Рассекретничались! А у меня все равно радость. Поверить трудно, что среди своих. Черт вас возьми, все равно свои же мы, свои... Давайте все к столу, как это делается по-русски. И ты, Васька Могучий, подходи сюда. Хорошо, плохо, а возил меня по тундре, возил.

Тут Туров вспомнил про охотничий нож, вытащил его из ножен и подал Шитоеву.

Васька-шаман остолбенел. Он опять, будто впервые, глядел на нож купца Федора Рогалева. Он все это время обдумывал, как поговорить с этим поручиком, и твердо решил, что позовет в посредники Шитоева и посулит ему выкуп за этот нож.

— Садитесь, садитесь, — приглашал ефрейтор Соснин всех за стол.

— Помянуть бы убитых, — встретившись с Туровым взглядом, сказал Плотников. Кто-то робко всхлипнул.

— Кого помянуть? — не понял Шитоев. — За здравие будем пить! За здравие! — подчиняясь неудержимому желанию выпить, он поднял перед собой кружку, зажмурил глаза и выпил. И когда была выпита последняя капля, Шитоев сразу обмяк, безжизненно опустив руки с длинными грязными ногтями.

Оба они, и Туров, и Шитоев, давно оторванные от своих, не знали, какой тяжелой была зима 1918 года. Все, напуганные революцией, установлением новой власти, бежали из России.

С родной земли только никуда не мог двинуться крестьянин. Он, вросший корнями в свой клочок земли, принимал все перемены времени. Нетронутым, казалось, оставался один Север. Белый, безмолвный, под чистым холодным небом. Но нет, и сюда нашли дорогу те, кто задумал переждать страшное время. Но не знали туровы, киргизовы, шитоевы, что возврата к прежнему уже никогда не будет. И что своим походом они оставляют еще один кровавый след в истории.

Туров на сколоченных нарах спал с Шитоевым «валетом». Сквозь паз в стене дуло. От ног Шитоева тошнотворно несло потом и прелью. На полу вповалку спали трое солдат, подпоручик Плотников и у порога шаман. Тишину юрты прерывали стоны Шитоева во сне. Туров отвернулся к стене. Плохо обтесанные бревна пахли смолой.

Кто-то, поднявшись с полу, лязгнул зубами о край кружки, жадно пил воду. Шитоев вскочил молниеносно, запустил ладони в отросшие до плеч черные волосы:

— Черт возьми, натопили-то как. Духотища! Вонища от этих шкур. Пора бы уж привыкнуть, а нет — не могу.

В простенке ясно обозначился квадрат окна со вставленным льдом. Наступал новый день.

Глава сорок седьмая

Кто-то растопил чувал, Шитоев кряхтел, потирая руки, намереваясь разлить остатки водки.

— Ребятам бы надо оставить, — несмело сказал Плотников, напомнив о стоящих солдатах в карауле, но Шитоев будто не расслышал. Плотников скосил глаза в сторону Турова, тот еле заметным жестом показал: не связывайся!

Туров сейчас вспоминал обрывки слов оленщика Манораги, который что-то бормотал о людях, которые предсказывали ему быть главнее Васьки-шамана, если он поможет... Кому кто поможет? Сейчас он сожалел, что не вник в слова Манораги.

Бум, бум, бум — рассекали тишину пауля ровные удары в бубен.

— Это Василий Могучий опять колдует — сзывает своих идолов! — пьяно кричал Шитоев. Все плыло у него перед глазами, качалось.

— По покойникам, — нехотя пояснил Плотников.

— Какие покойники? Перестреляли узкоглазых во вчерашней перестрелке? Хотел бы я поучаствовать. — Наспех накинув на плечи полушубок, он остановился возле порога, с нетерпением ждал Турова.

— Может, покажете покойничков, — проговорил он, не подозревая, что предстанет через минуту-другую его взору.

Бум, бум, бум — рассекали тишину пауля ровные удары бубна.

«Так умеет играть в бубен только Васька-шаман!» — вскрикнула Софья, веря, что сам Торум послал его сюда.

Всю ночь под светом луны они вместе с Шохрынг-эквой отыскивали в снегу и стаскивали к нартам убитых в перестрелке парней. Они не знали, чьи это сыновья, зачем пришли в Вогул Ло. Но для них все они были сыновьями.

Старая Шохрынг-эква, закашливаясь на морозе, пурхаясь в снегу, заволакивала на лыжи тяжелые тела и подталкивала их изо всех сил. За всю ночь она не проронила ни слова, и только когда сложила руки на груди Митрича, усевшись на корточки возле него, из нее вырвалось:

— О, Торум!

Она приподняла вверх руки, но тут же спрятала лицо в маленькие ладони и, почувствовав в спине боль, застонала и поползла в угол, где все еще в беспамятстве лежал Павел.

Звуки бубна показались Софье спасением, она уже не сомневалась, что шамана спустил на землю Торум. Она уже летела на его зов, на звуки бубна, в сторону Манораговой юрты. Снег слепил Софье глаза, подол платья зацепился за чью-то нарту, взвизгнул под ногой щенок, проскрипела на шесте оленья шкура. Софья бежала, ничего не видя вокруг, кроме собственной тени на снегу, ей казалось, что там бежит еще она Софья. Она слышит бубен шамана — сына Вечерней Звезды, он рассудит людей, скажет им всю правду.

Но нет, надо бежать к чуму Тар-ойки, оттуда доносятся голоса. Она подходит крадучись и видит Васькины руки, Васькин бубен над коленопреклоненной толпой. Посреди снега на оленьей шкуре лежит Манорага. Он будто спит и слушает песни. Подол атласной рубахи шевелит ветер. Софья глядит на руки шамана и слушает, как поет Прасковья:

Жил Манорага в дальних болотах
Среди сытых оленей.
Жили жены его в пауле, в чумах
Из оленьих шкур...

Прасковья остановилась, вдохнула запах догоравшей березовой чаги, подняла взгляд и встретилась с Софьиным, удивленным и чистым.

Была в пауле одна рубленая юрта.
Стоит она в верховьях многоводной реки
На лесной горе с хмурыми деревьями.
Звал себя Манорага Филином,
Птицей с большими ушами,
Пестрыми глазами, мохнатыми голенями.
Чуткое ухо было у Манораги,
Но не все услышало оно.
Отправляем тебя в дорогу
С мягким пухом соболиным.
Будешь глядеть ты на нас,
Покажешься нам золотым солнцем
С золотыми волосами, — закончила Прасковья.

Манорагу положили на белые шкуры, на упряжку белых оленей, и Васька-шаман, в последний раз ударив своей колотушкой, громко крикнул: «Кай-яй-ю-их!» И повезли олени Манорагу в ближний сосняк.

— ...Вот здесь они, — оказавшись за углом, Шитоев увидел убитых солдат. Лицо поручика окаменело, взгляд остановился, хмель как рукой сняло. Шитоев достал из кармана револьвер.

— Где? — с отчаянием прошептал он и, твердо печатая шаг, спешил за Плотниковым к чуму Шохрынг-эквы. В душе Шитоева клокотала злая ненависть, в нем жила только одна мысль: мщение, мщение, мщение.

Он отбросил шкуру, заменяющую в чуме дверь, влетел, как вихрь, но увидев возле очага только сгорбленную спину старухи, выскочил обратно.

Плотников понимал, что разговаривать сейчас с Шитоевым бесполезно. В запале он не сразу заметил прикрытых шкурами убитых красноармейцев, и только когда два раза обежал чум, остановился.

— Тоже нашли успокоение! Тоже! — кричал он, потом рывком выхватил револьвер и разрядил его до последнего патрона. — Откуда? Откуда они здесь? — Вид его был ужасен. Плотников боялся, что он может перенести свой гнев и на него, на бегущих к чуму солдат. Он был в какой-то горячке.

— Покровители! Надо вытряхнуть вонь из этой старухи! — в бешенстве кричал Шитоев. — Ну что, старая олениха, откуда ты знаешь этих краснозвездных? — Он несколько раз намеревался выстрелить, но револьвер был пуст.

Шохрынг-эква поняла, о чем спрашивал ее грозный, шипящий за спиной голос, но не шелохнулась. Сидела, сложив перед собой ноги, закрытые широким подолом цветастого платья. Она хладнокровно достала табакерку, взяла двумя темными пальцами щепотку нюхательного табаку и поднесла к широким ноздрям.

Совсем не кстати под шкурами простонал Павел. Шитоев в испуге переметнул взгляд и, пошатываясь, сделал два шага.

— Тут еще один недобитый, — захлебываясь гневом, шипел поручик, он схватил Павла за волосы, приподнял над шкурами.

Шохрынг-эква вздрогнула, выронила из рук табакерку, посмотрела в сторону бушующего зверем человека, медленно приподнялась.

Глаза у Шохрынг-эквы мерцали, как угольки. Зимами Шохрынг-эква слепла, ходила по чуму на ощупь, но по весне, когда наступало время отела оленихи, она прозревала, выздоравливала от первого оленьего молока. В эти дни

Шохрынг-эква была зрячей. Этой ночью она не смыкала глаз. Собрав в одну кучу убитых красноармейцев, она успела сходить к Манораге, выдернуть у него с макушки головы один волос, спалить его на угольке: когда-нибудь их дороги на небесах встретятся. Потом она жгла березовую кору, чтобы окурить дымом убитых парней. Сейчас она молилась, призывая на помощь великого Торума, затем медленно вытащила из-за голенища меховых кисов свой нож. Шохрынг-эква умеет крепко держать в руках рукоятку ножа, она знает, где, в какой стороне живет у медведя сердце. Она подняла руку высоко над головой. Рукав скатился до самого локтя, обнажив желтоватую кожу и когтистую руку с давно не стриженными ногтями, в которой сверкнуло лезвие ножа. Вначале послышался надса́дный вздох, и только потом почти мальчишеский крик Шитоева. Он медленно опустился на одно колено. В глазах его стояли слезы. Вдруг он захрапел и медленно повалился.

— Пресвятая Богородица! — завопил Плотников, пятясь из чума. — Зарезала. Заколола. Там, в чуме, — кричал он.

Шитоев лежал посреди чума в луже крови. Вбежавшие за Плотниковым солдаты увидели его остекленевшие, холодные глаза, приоткрытый рот с белыми ровными зубами и щеки, заросшие щетиной.

— Мертвец! Еще один мертвец, — истерично закричал солдат и выскочил из чума.

Туров оставался в юрте Манораги, он должен был проследить за похоронами убитых солдат. Туров боялся встречи с Шитоевым, его презрительных насмешек. На крики в пауле не обратил внимания — мало ли что, наверно, вогулы хоронят Манорагу. Разве только пастухи могут что-нибудь устроить. Он опять испугался, что они здесь, в этом кошмарном пауле Вогул Ло, надолго застрянут.

Вошел Плотников, и на глазах Турова громко зарыдал:

— Убила. Заколола.

Туров ничего не понял, о чем он говорит, но озноб от предчувствия еще какой-то беды пробежал по его спине. Он повернулся и увидел, как, перегоняя один другого, бежали солдаты, они размахивали винтовками и часто запинались о снег. Туров не решался спросить: кого заколола вогулка. Он уже догадался.

— Заколола. Подошла сзади. Такая маленькая старуха. Такая маленькая. Подошла и сразу наповал. Знаете, сразу

наповал. Господи! Спаси и помилуй, — не скрывая ужаса и отчаяния, говорил Плотников.

Туров сел на сосновый чурбан, опираясь спиной о стену жилища. С минуту смотрел на снег. Он слышал слова, но их смысла понять не мог.

Он поднял голову, сдернул папаху.

— Несите сюда, — он не мог произнести сразу: Шитоева. Как-то не вязалась смерть с этим неугомонным, взбудораженным поручиком, для которого вроде бы не существовало никаких преград

Тем временем у Шохрынг-эквы нашлись силы выволочь из чума тело Шитоева, прикрыть шкурой. Его положили рядом с Карнауховым. Окостеневших на морозе солдат хоронили торопливо. В неглубокую яму, вырытую с помощью штыков, наложили оленьих шкур и закрыли оленьими же шкурами. Земля шуршала, ударяясь о шкуры и казалось, что кто-то шепчется там, под землей.

— Шитоева отдельно. Рыть могилу рядом. Накрыть его шинелью, — взяв себя в руки, командовал Туров. Шитоев лежал откинув голову, будто отвернулся от всех.

— Царство небесное! — хмельной ефрейтор Соснин швыркал носом. — Так, без отпевания.

— В первой же церкви. В первой же церкви! — ни на кого не глядя, говорил Туров, ощущая сильное колотье в левой стороне груди.

От прощальных выстрелов всполошились собаки. Один старый пес с пятнистым боком сидел в стороне, задрав вверх морду, скулил протяжно, визгливо, навевая на всех смертельную тоску.

— Домой надо поворачивать, — кто-то сказал негромко.

О старой Шохрынг-экве не забыли. Солдаты выволокли ее из чума раздетой. Она не издала ни звука, только подумала про себя: какая легкая стала, наверно, скоро взлечу на небо. В ушах у нее стоял возглас Шитоева, похожий на хохот.

Ефрейтор Бородин толкнул Шохрынг-экву в спину. Она не обернулась, несколько шагов пробежала, протянув вперед руки, и упала. Встать уже больше не могла.

— Согнать сюда всех! Пусть смотрят! — приказал Туров, хотя сам убеждал себя: «Не надо бы трогать этих людей». Но отступать было уже поздно.

Жители Вогул Ло не знали, зачем выталкивают их приехавшие мужики, кричат и ругаются. Увидев раздетую Шохрынг-экву, кто-то тащил для нее теплую малицу.

— Брось! Оставь! — отшвыривая одежду в снег, кричали солдаты, но малицу подхватывали другие руки. Никто не знал, что случилось.

— Где олени? — кричал ефрейтор Соснин, предложивший Турову своеобразную казнь для старухи: — Надо бы привязать ее к нартам да пустить их по тундре. Пусть потаскают ее.

— Ну ты и мерзавец, — ответил ему Туров, на что Соснин без капли смущения ответил: — Мерзавец. Истинно, мерзавец. Мне про то всегда матушка говаривала. Я все равно таким остался. Сам знаю, что мерзавец, а поделать с собой ничего не могу.

— Оленей! — неистовствовал ефрейтор. Полы его прожженной шинели разметывал ветер, из наспех надетых пимов выставлялся клок грязной портянки. Рыская глазами по сторонам, он будто кого-то отыскивал, подбежав к толпе жителей Вогул Ло, вытаращил глаза и плюнул.

Оленей погонял кто-то из солдат. Животные упрямились и не трогались с места даже под сильными ударами хорея.

— Да не лезьте вы не в свое дело, — кричал Плотников. — Не лезьте!

Никто не мог догадаться, для чего пригнана упряжка оленей, но когда Соснин подтащил к ней Шохрынг-экву и стал пытаться привязать ее к нарте, толпа ахнула.

— Чего мудрить? За ноги ее к нарте и делу конец.

Ременная петля обвила ноги Шохрынг-эквы. Васька-шаман, расталкивая сгрудившихся возле нарты солдат, вытащил из-за голенища нож. Толпа попятилась, женщины закричали, встали на колени, утопая в снегу. Вид шамана был страшен: лицо его было белее снега, глаза, запавшие в темных огромных глазницах, были полны отчаяния. Взмахом ножа он успел перерезать упряжь одного оленя. Грохнул выстрел. Олени в испуге вздрогнули и рванули. Шаман пошатнулся и опрокинулся в снег. Во весь голос завопила Софья, подбегая к Ваське. Олени мчались к горизонту. Перепуганная толпа замерла в оцепенении.

Глава сорок восьмая

Оторвавшись от отряда Турова, Никита и Самбиндал гнали упряжки по свежему следу нарт Аняма Косачиный Глаз. Отъехав на расстояние двух попрысков, пастух остановил упряжки, соскочил с нарты, оглядел снег: только-только нарта пробежала, только-только. Может тоже, бежали от Ропаски.

— Не от Ропаски, а от нас, — поправил пастуха Никита. — Испугались.

— Ага, ага, — согласно кивал Самбиндал. Он хотел рассказать Никите, почему не решался уехать раньше: он боялся этих мужиков и того, что Манорага и старшина Атынг отберут у него пять молодых важенок за непослушание.

У Самбиндала болел зуб. Остановив упряжки, он отстегнул от пояса связку медвежьих зубов, снял самый большой коричневатый клык, поскоблил ножом, ссыпал белесую пыль в ладонь и положил на больной зуб, по остальным водил медвежьим клыком, будто пересчитывал. Потом погладил крутолобую морду оленя, почесал между рогами и, не поднимая глаз, спросил Никиту:

— Куда дальше оленей гнать будем?

— Пока поедем по следу.

Мирно бежали олени, искрился снег, Самбиндал прислушивался к зубной боли, боясь очередного приступа, он торопливо срезал с пояса медвежий зуб и клал его на зуб.

Вдруг Никита услышал крик Самбиндала, он остановил оленей и соскочил в снег.

— Нарты бежали. С нашей стороны бежали. — Он вскочил на нарты, обвел взглядом даль, будто хотел заглянуть за горизонт. — Может двадцать, может тридцать нарт, — сказал он Никите.

— Куда бежали упряжки?

— Олени сытые. Нарты легкие. Много следов этой зимой топчут олени туда-сюда, туда-сюда, — качал он головой, ощупывая снег ладонями и пробуя на прочность наст.

— В какую сторону бежали упряжки? — снова спросил Никита.

— Уралу, Уралу, — без всякого сомнения сказал Самбиндал. В его голосе было удивление: как можно задавать такой

вопрос, когда так ясно. — Хорошо бежали, — поправляя постланные шкуры, заключил пастух.

Солнце катило к закату. За кустарниками, вытянувшимися вдоль замерзшего берега озера, след круто повернул в глубь, к темным кедрачам.

В это время Никита думал о Григорие Анямове. Он был красивым парнем, с выразительными глазами. Все знали, что он сын шамана, но это не огорчало его.

Никита нисколько не сомневался, что именно Григорий ездил за оленями в стада, которые надо было перегнать через Урал. Если это так, то Никите нет никакой нужды ехать с Самбиндалом в стада. Упряжки нужны для перевозки отряда красноармейцев, которые шли на помощь отряду Ефима Дорошина. Если все так, то ему лучше дождаться их и сопроводить к берегам Оби...

Теперь они ехали по следу Аняма, который, не стерпев глумления над Лям-эквой, решил во что бы то ни стало украсть девушку, оставить в своей юрте. Он еще не знал, будет ли она его второй женой, или будет рубить для нее новую юрту и даст ей оленей. Когда он увидел, как опьяневший отец Лям-эквы, безоленный Куземка на потеху Манораге бил ее ремнем, в нем созрело решение спасти ее. Он увез ее поутру, когда все еще спали. Лям-эква лежала на нарте ничком, то всхлипывала, то совсем замолкала.

Когда они уезжали, он оглянулся и увидел вдали черные точки. К чуму Ропаски бежало много оленей, много чужих упряжек, много чужих людей.

Испугавшись за сородичей, Лям-эква тоже встревожилась.

— Обратно надо ехать в чум Ропаски, — сказала Лям-эква и, схватившись за край нарты, слезла, давая этим понять Аняму, что на легких нартах он скорее домчится до чума Ропаски.

Аням Косачиный Глаз посмотрел ей вслед: девушка шла пошатываясь, раза два упиралась руками о наст, но, по-видимому, чувствуя на себе взгляд Аняма, поднималась быстро, даже перевязала сбившийся на глаза нарядный платок.

Аням Косачиный Глаз, не доезжая до чума Ропаски, увидел пожар и повернул нарты назад — к оставленной в тундре Лям-экве. Он увидел ее возле дерева. Лям-эква не поднялась ему навстречу. Отгоняя от себя плохие мысли, он подумал, что она привыкла быть в лесу одна. На дрожащих ногах он торопился к дереву.

Аняму всегда нравилась Лям-эква. Он сожалел, что родился на свет многими зимами раньше Лям-эквы и что уже успел жениться... иногда ему снилось, что он увозит девушку на белых оленях.

О, Нумо-Торум! — воскликнул Аням Косачиный Глаз. — Ты зачем берешь к себе Лям-экву? Она еще мало ходила по земле, она еще мало ела хлеба, она еще не родила детей. Зачем она тебе? Ее сердце еще не стучало от жара любви, — бессвязно бормотал охотник.

Он встал перед Лям-эквой на колени, стряхивал снег с ее малицы, рыдал.

— Она так легка, — схватив девушку на руки, сказал Анял. — Земля еще не тянет ее к себе.

Мысль о том, что Лям-эква замерзла, казалась ему неправдоподобной. Он знал, что мороз усыпляет людей, но это бывает, когда мужики пьют много «огненной воды», гонят оленей куда глаза глядят, и тогда шайтан путает им дорогу. Он припал к ее холодному лицу. Капелька крови на ее рассеченной губе походила на перезревшую ягодку брусники. Девушка пахла снегом, хвоей, ветром.

— Лям-эква, я ведь скоро вернулся. Я мчался, как вихрь. Я торопился, — оправдывался Аням перед навсегда уснувшей Лям-эквой.

Подъехавших к нему Самбиндала и Никиту он увидел на расстоянии пяти хореев. Очнулся от громкого хорканья коренника, но ни удивления, ни растерянности не было на лице Аняма. Он не стеснялся своих слез.

— Померла? — с сочувствием в голосе спросил Самбиндал, уставившись на маленькую руку Лям-эквы, пальцы которой были унизаны кольцами.

— Нет, — услышал в ответ, — нет, — повторил Аням и, не сумев справиться со своим горем, закрыл лицо руками.

Но медлить было некогда. О плане Турова пойти через Урал отряд красноармейцев ничего не знал, не подозревал об опасности, которая его ждет. Он мог легко попасть в ловушку.

Глава сорок девятая

Когда упряжка с Шохрынг-эквой убежала в тундру, шаман, упав в снег, долго лежал. В глазах рябило, в голове стоял гул. «Пора умирать, — подумал он. — Какая такая беда пришла на землю моих отцов? Может, и сюда идет эта страшная релюция?»

Шаман лежал, окруженный безмолвной толпой жителей Вогул Ло. Он знал, что они ждут от него чего-то необыкновенного. Он понимал, что должен что-то сделать. «Но где взять силы? Как побороть свою слабость? Ну вставай же, вставай, Василий Могучий!» — уговаривал он себя. Вдруг издав невообразимо странный звук, ни на что не похожий, он вскочил, закружил на одном месте и стал хлопать руками, как птица перебитыми крыльями.

Все оживились, послышался одобрительный, восторженный вопль.

— Люди, я слушал землю. Я слышал ее голос. Она шептала мне словами ягеля. Живого ягеля. Она говорила: пусть идут в свои чумы жители Вогул Ло. К ним идут хорошие дни: это дни отела оленей, дни вскрытия рек и озер, дни прилета птиц. Великий Торум не забыл нас. Он все видит с небес.

Не был бы Василий шаманом, не умей он говорить с людьми, не умей вселять им надежду.

Пастухи, пригнавшие с Манорагой оленей, были в растерянности: они потеряли хозяина; но когда услышали слова шамана, предвещавшие удачу, опрометью бросились к болоту, к оленям.

— Держите их, держите, — закричал во все горло подпоручик Плотников. — Да не стреляйте! Хватит! Или так догнать не сможете? — стащив с головы папаху, он обтирал ею холодный пот со лба.

Солдаты бежали за пастухами. Кто-то все-таки выстрелил в воздух для острастки. Напуганные смертью Манораги, кое-кто остановился сразу, но пастухи помоложе бежали по насту легко и быстро.

— Убегут, убегут! — кричал ефрейтор Соснин. — Стрелять надо, стрелять!

Крик старшины заставил пастухов остановиться, только один не остановился, убежал в тундру. Следы его тянулись к болотам. Бежать за ним ни у кого не было желания.

Пастухов сразу связали по двое, спина к спине и, втолкнули в чум.

— Ну, слава Богу! — облегченно вздохнул Плотников. — Без них мы остались бы здесь навсегда. Перебьют нас здесь. Не зря же красноармейцы сюда явились. Зачем им надо было в этот Вогул Ло?

— Шли без разведки, мол, кого здесь, в этом безмолвном крае можно встретить? Какая беспечность! — с раздражением говорил Туров, грохнувшись в шинели на деревянные нары. — Какая нелепая смерть! Какая нелепая! Хоть бы в бою, а то в каком-то вонючем чуме, — говорил Туров, выходя из себя. — Кому сказать — засмеют. Старуха — и откуда силу взяла? — Поручик отвернулся к стене.

С улицы доносились голоса солдат, женский визг и лай собак. В плохо закрывающуюся дверь юрты намело снег, все тепло совсем выдуло. На улице начиналась метель. Вдоль берега юлили бахромистые снежные косы, упругие ветки тальников секли тугие струи метели.

— Караулы расставлены? — потирая озябшие руки, спросил Туров. Плотников неуверенно ответил: «Да, да». Это насторожило Турова.

Плотников не поднимал головы, он боялся сказать поручику о том, что парня в чуме старухи, из-за которого Шитоев получил смертельный удар, в Вогул Ло нет.

— Оплошность допустили. Все с этими похоронами из головы вылетело, — начал Плотников. Туров сверкнул на него глазами, он требовал подробного отчета.

— Парень как сквозь землю провалился. Все чумы обшарили. А я его вот так, как вас сейчас, видел. Большим показался, когда его Шитоев из-под шкур выволок.

— Не иголка в стогу! — закричал Туров, нервно сбросив с головы папаху, швырнул ее на нары.

— Больной он был: губы обметаны, все в волдырях. А потом суматоха, смерть Шитоева. Все врассыпную из чума.

— А вдруг убежал?

— Бежать-то тут куда? Дело бесполезное, правда, один нартовый след видели на снегу.

— Так значит смельчак нашелся? — и, не дожидаясь ответа, багровея, закричал: — Обыскать это вонючее логово!

— Напрасно, — пересиливая себя, ответил Плотников. — След вчерашний.

— Где этот шаман-целитель? — закричал Туров. — Его работа. Ему тут все в рот смотрят. Зачем он взялся здесь на мою голову?

— Он привез поручика Шитоева, — подал голос ефрейтор Палкин.

— Обыскать юрту старухи! — приказал Туров. — И чтоб все там вверх дном!

Плотников, не проронив слова, вышел из юрты, за ним, прихрамывая на одну ногу, бежал ефрейтор. Отбрасывая в чумах шкуры, заменяющие двери, кричал играющим в карты солдатам: в строй!

Над паулем залетали громкие голоса, не предвещающие ничего хорошего. Скоро яркий столб огня взвился ввысь. Горел чум старой Шохрынг-эквы. Потом огненный столб стал приседать к земле, и густой темный дым пополз извилистыми струйками между чумами и кустарниками.

Шаман лежал в чуме Тар-ойки, чувствуя немощь во всем теле, он не вышел из жилища, когда услышал о пожаре. Он думал об одном: о людской жестокости. Он, призванный всегда помогать людям, вдруг растерялся. Ему было не у кого просить совета.

«Меня перестали слушать боги. Может, и они не знают, что такое релюция», — ощущая запах дыма, бормотал он, не открывая глаз. Одному он радовался: вовремя подсказал своим женам, которые ни в чем ему не перечили, вывести из поселка Павла. Он узнал его сразу, как только Прасковья и Софья затащили его в чум Тар-ойки, вспомнил праздник в чуме Ропаски и их двоих, раздававших муку, сахар, чай. Он не знал ни тогда, ни сейчас — хорошо это или плохо, но то, что ездили по тундре они как друзья, было бесспорно.

— Я не повезу русского мужика, — догадавшись о намерении шамана, в испуге замахала руками Прасковья, вспомнив, сколько страху натерпелась от Шитоева. На груди ее часто-часто зазвенели крохотные бубенчики. Они содрогались и звенели оттого, что Прасковья плакала, и у нее дрожали плечи и грудь. — Не повезу русского мужика. Не повезу, — шептала она. — Они злые. Прасковья старая. Прасковья устала. — У нее все время кружилась голова. Она хотела уехать домой, в свою юрту. Она устала от шума, людей, от всего увиденного в Вогул Ло.

Она ждала, когда Васька отпустит ее, скажет одно только слово: поезжай. А он все молчал и молчал. Зато он так посмотрел! Прасковья знает, как умеет говорить глазами шаман.

— Не повезу русского мужика!

— Разве ты не видишь, какая беда пришла? — спросила Софья, присаживаясь к Прасковье. — Разве ты не видишь, как тяжело Ваське? Он говорит людям: «Не бойтесь! Скоро придет к вам спокойствие». Кто еще будет говорить, если они убьют его, как Манорагу?

Прасковья сжала возле груди руки, пугливо посмотрела на выход. Она всегда была сдержанна, всю жизнь беспрекословно слушала Ваську-шамана, а сейчас она не могла понять, почему так упрямо ему возражает.

— Кто? Как? — она пристально посмотрела ей в глаза, села на корточки и заплакала. Через несколько минут она вышла из чума и скоро вернулась с савиками и сумкой. Эта сумка принадлежала Митричу, она взяла ее, следуя всегдашнему правилу: не оставлять в чуме чужих вещей. Она знала, что у Шохрынг-эквы не могло быть такой сумки.

Потом она как-то бочком присела к Софье, протянула ей холодную руку с цепкими пальцами:

— Когда придет мой последний час, — шумно проглатывая слезы, сквозь силу шептала Прасковья, — ты приезжай в мою юрту. Спой мою песню. Васька не знает ее. Он петь не будет, а ты скажешь такие слова...

Каждое слово Прасковьи задело Софьино сердце. Она помнила Прасковью сильной, громкоголосой, от ее голоса у нее всегда звенело в ушах. Она вспомнила тот день, когда властная и своенравная Прасковья выгнала ее из юрты и оставила среди снега с маленьким Гришкой на руках. «Что время сделало с Прасковьей», — подумалось Софье, у нее не было злобы на старую женщину.

— Ты споешь мне:

Батюшка Нуми-Торум,
Оставь мне нож женщины-мастерицы,
Нож женщины, вырезающей узоры,
Спрячь его в рукава одежды с рукавами.

— Спою, Прасковья, спою, — говорила Софья, и у той уже не было сомнения, что Софья не забудет данного ей обещания. Они натянули на Павла савик, он непонимающим взглядом обвел вокруг:

— Куда? — проговорил он. Он попытался было спрыгнуть с нарты, но олени тронулись...

Поиски Павла были безрезультатными. Туров впал в уныние от собственного бессилия, от неудач, от предчувствия невозможности пройти через Урал. У него для этого было

немало причин, но главная — не было гарантии, что не нарвутся на вооруженный отряд красноармейцев. К тому же поручика все время тяготила мысль о побеге купеческого сына Никиты Мялищева и пастуха Самбиндала. Конечно, события в Вогул Ло отодвинули на задний план мысли о Никите, но, как полагал поручик, им еще придется встретиться.

Туров шел по паулю, по протоpенной тропке, рассматривал крепко сшитые чумы из оленьих шкур, до половины засыпанные снегом, нарты, стоявшие возле каждого жилища, оленьи шкуры, скрипевшие на ветру, свернувшихся возле стен чумов собак, скаливших зубы при появлении чужого человека. Ни души вокруг.

А вот и сожженный чум старухи. «Боже мой! Сколько троп ты исколесил по этим снегам! — подумал с болью в сердце о Шитоеве и, подойдя к запорошенному снегом сгоревшему чуму, пнул его носком сапога. — Какой черт привел меня сюда? — Туров заторопился назад к Манораговой юрте. — Зачем приходил сюда, чтобы похоронить семерых? — спросил он себя. — С Шитоевым — семерых. Господи!»

Упряжка уставших оленей, никем не управляемая, вышла из-за чума, пересекла тропу, по которой шел Туров. Взглянув, он увидел замерзшую старуху, привязанную одной ногой к нарте. Глаза ее были открыты. Туров, закрыв ладонями лицо, побежал к юрте, сбиваясь с тропы и проваливаясь в снег. «Уезжать. Скорее уезжать!» — стучало в висках.

К счастью, в юрте никого не было и никто не видел его растерянности. Не снимая с ног сапог, он бухнулся на нары, закрылся с головой шинелью. За стеной слышался скрип. «Может, Плотников? Где он там? Наверное, опять дуется в карты?» Он слышал отчетливо чьи-то шаги. Попытался посмотреть сквозь ледяное оконце, но напрасно. Рывком растворил дверь. Упряжка с привязанной к ней старухой стояла возле юрты. По-видимому, это были олени Манораги, они притащили упряжку к дому хозяина.

— Кыш, кыш! — подняв обе руки, закричал Туров. Вскоре в юрту влетел Палкин, молча он показывал пальцем на улицу. Туров, уже овладев собой, глядел на Палкина с сожалением.

— Старуха, — протянул ефрейтор, указывая на дверь.

— Позвать надо этого шамана. Может, он ее уберет, — стуча зубами, сказал Палкин.

К юрте бежали солдаты, подталкивая в спину Ваську-шамана. Взгляд его был хмур, но в нем не было и тени страха. Он взглянул на замороженное тело Шохрынг-эквы, перерезал ремень, которым была привязана старуха к нарте, поправил изодранное в клочья платье, поднял ее на руки, прижал, как маленького ребенка, и понес к юрте Тар-ойки.

К ночи закружила, завьюжила метель. Снег взвихрился, казалось, до самого неба. Выйдя из чума, Туров не смог увидеть в темноте ни одного чума: «Слава Богу, хоть в тепле переждем такую напасть. А то бы верная погибель всем. Позвать надо этого шамана. И нож пообещать. Только бы не прокараулить, а то уедут в такую метель».

Метель бушевала неделю. Ефрейтор Соснин был уже не рад, что согласился заменить повара Карнаухова.

— Они такие прожоры! Только вари и вари, а сами в карты дуются, — жаловался Плотникову. — Вогулы вон все сырое едят. Настрогают оленины, поедят и спать, а нашим только вари и вари, — бурчал он.

Теперь уже не вспомнить, кому первому пришла в голову мысль сшить папахи из медвежьих шкур, взятых у медвежатника Луки Саввича. Затея эта понравилась Турову. Раздумывать долго не стали. Согнали в один чум перепуганных женщин и приказали шить. Никто и знать не мог, что из этой затеи ничего не выйдет. Увидев медвежьи шкуры, вогулки как сошли с ума: с воплем выбегали из чума и бежали в разные стороны.

— Дуры вы, дуры, — ругался ефрейтор Соснин. — Станем с вами связываться! Угомонитесь! Пальцем вас не тронем. — Но говорить с ними было бесполезно. Ни одна из них не могла прикоснуться иголкой к священному Хозяину.

— Давайте я сошью! — предложил Соснину солдат Бородин. — Мой отец скорняк. — Он разостлал шкуры посреди чума, ловко отрезал ножом ровный лоскут, обернул вокруг головы. — В самый раз. Вот тут у них в берестяной коробке должны быть иголки, жильные нитки. — Скорняжничал, скорняжничал мой батюшка, — с каким-то азартом принимаясь за шитье, тараторил Бородин. — Я вроде одним глазом следил за отцом, а всему выучился. Он у меня на счет шкур скупенький. Не дай Бог испортить.

Но тут кто-то спросил: «А не убежал ли шаман?» Соснину подумалось, вдруг да на самом деле этого шамана и след простыл. Он бросился из чума. Подбежав к чуму пастухов, к караульным, стоявшим возле пригнанных с кормежки оленей, он

заглянул к Тар-ойке. «Неужто перехитрил? Неужто сбежал? Вот будет история. Пастухи все по-русски ни черта не понимают. С ними только на пальцах и можно объясниться».

— Где шаман? — распахивая дверь Манораговой юрты, с порога крикнул ефрейтор, даже не замечая, что Василий Николаевич сидит за столом напротив Турова.

— Разуй глаза-то, — сидя возле чувала на своем постоянном месте, тихо сказал Палкин.

Соснин отдышался, посмотрел на осунувшееся лицо поручика, бросил взгляд на шамана и в сердцах выскочил из юрты. Туров, упершись левым локтем о стол, сколоченный из толстых плах, правой рукой водил по резной рукоятке охотничьего ножа.

— Одним словом, — нож я тебе отдаю. Вот, при свидетеле. Палкин, видишь? — обратился он к задремавшему солдату. Тот сонно пялил глаза, ничего не соображая. — Видишь нож? — сухо спросил Туров.

— Да, конечно. Хороший нож. Даже очень приличный. У нас такие в Тобольске только на заказ делают. И плату за них берут, скажу я вам, немалую. — Палкин спрятал за спину грязные руки, по топтался возле стола.

— Ладно, иди, — сказал Туров снисходительно.

— Отдаю нож тебе, Василий Могучий, — протянул он ему нож.

— Чей нож? — глядя поручику в глаза, спросил шаман.

Поручик обомлел, даже приоткрыл рот от удивления, но не нашелся, что сказать. Что-что, а такого ответа он не ждал.

— Ты чего комедию разыгрываешь? — сказал Туров, выходя из терпения. — Ты чего из меня дурака делаешь? То нож просишь, то спрашиваешь, чей он? Зачем тебе этот нож? Рассказывай путем.

— Федор Рогалев. Купец с уральской стороны приезжал. Нож просил. Я давал нож.

— Ну ты и путаник. Тебя не поймешь, — вскочив с нар, возмущался поручик. — Не пойму тебя: надо тебе этот нож или не надо?

— Не надо, — ответил хладнокровно шаман.

— Тогда какого черта ты морочишь мне голову? Ну ладно. Сделка с тобой, будем считать, не состоялась. Но так или иначе, но ты нас проводишь до Обской стороны.

— Далеко, — ответил шаман, который за это время устал до изнеможения.

— Без тебя знаю, что не близко. Было бы рядом, так и сами нашли бы дорогу. И пастухам скажи: пусть не дурят, как Самбиндал, а то пуля догонит. Ясно?

— Пастухам домой надо. Оленей много теряют. Домой надо, — вздыхая, говорил шаман.

— Всем домой надо! — резко отрезал Туров.

Василий Николаевич брел в чум Тар-ойки наугад, не разбирая тропы. Он думал, что в разговоре с поручиком он узнает что-то новое для себя и успокоится. Думал он так не без основания. Встречаясь с купцами, он умел узнать разные новости, чем торгуют, какая цена на меха. «Купцы — люди деловые, а этот только кричит. Чего надо — сам не знает, — заключил шаман. — Надо сейчас уезжать из Вогул Ло. Вернусь, когда эти уйдут, успокою людям души. Отправлю вдогонку Шохрынг-экве «вечную» песню. Руки не могли поднять колотушку, бубен, не могли издать и звука. А про нож ему не скажу. Это не сын Федора Рогалева. Нет».

Отряд выехал из Вогул Ло на рассвете, когда солнце поднималось над тундрой и куталось в серо-желтом тумане.

Глава пятидесятая

Расставшись с Туровым, Киргизов думал: «Застрянешь ты, парень, в снегах, а я дойду до Обской губы». Может, так и случилось бы, если бы не стали их трепать мужики, собравшиеся в организованный отряд. Киргизов решил не терять времени на поимку отряда, а идти вперед.

К тому же доходили слухи, и вполне достоверные, что армия Колчака терпит поражение не только от регулярных войск, но и в не меньшей степени от партизан. По всему было видно: остались они без поддержки, которую им обещали. Возвращаться через села, где они наследили, было делом не только рискованным, но и безумным. «Мне бы добраться до Обской губы, дождаться навигации», — рассуждал подпоручик с нелегким сердцем. Что будет с остальными, его волновало мало, хотя он не мог не понимать своей ответственности за судьбы вверенных ему людей.

Киргизов скоро смекнул: идти с жестокими расправами, как шли они в начале своего пути, — дело хлопотное. «Молчат, — думал он о мужиках, — а дело свое проворят». С вылазками партизан они сталкивались все чаще и чаще. Неделю назад ящик патронов из короба пропал, а вчерашней ночью из конюшни вывели четырех самых лучших жеребцов с упряжью.

Киргизов занимал чистую горенку Владимира Земцова — младшего брата сатаровского торговца судами, и теперь валялся на постели в мягких подушках.

«Туров, безусловно, выбрал себе не лучшую участь: стужа, снега. А тут тепло», — размышлял он.

— Солнце на лето — зима на мороз. Градусов под тридцать будет, — услышал под дверью. Он вышел и увидел хозяина, у него было длинное, вытянутое лицо. Он потирал ладонями уши, топтался на месте, явно желая что-то сказать подпоручику.

— Какие тридцать? Вчера со стрех капало.

— У нас этак, наперекор, в несогласии с другими краями.

— Чего там нового? — без всяких обиняков вывел Киргизов хозяина на прямой разговор.

Земцов замялся, не зная, как выложить новость.

— Может, господа-офицеры точнее меня знают. А я все в делах, все в делах, а чего слышал — сказать хочу.

Киргизов насторожился:

— Ну чего там? — поручик изменился в лице.

— Сказывают, — Земцов уже пожалел, что навязался с разговором. А если по правде, то надоело ему кормить задарма этакую ораву. — Сказывают, будто отряд с вогульской стороны воротился. Все будто в медвежьих шапках-папахах. Говорят, красный отряд перебили и с победой — прямиком в Тобольск. Торопятся, пока дорога стоит.

Киргизов долго не мог вымолвить и слова.

— А еще поговаривают, — решил все до конца выложить лодочник, — будто сын купца Мялищева отдельно от них прямиком к охотничьим избушкам промчался. Ну про него разговора нету — он не куда-нибудь, а домой торопится. Только сумление: почему сам по себе, с одним вогулом — и к мужикам. А сказывали, он в вашем отряде был.

— Хватит! — заорал Киргизов. — Обскакал все-таки, — забегал Киргизов по горнице, как мышь в мышеловке. — Обскакал! Похоже на Турова! Где там Слинкин и Князев прохлаждаются? Мать твою...

Ефрейтор Карасев опрометью кинулся к бане.

Захмелевшие, разморенные в жару офицеры попеременно хлестали друг друга горячими березовыми вениками, охали, кряхтели от наслаждения.

Карасев с минуту постоял возле предбанника, откуда шел горьковатый банный дух дымка, распаренных листьев березы, каленых каминных камней, от чего у него запершило в горле и, постучав робко, сквозь хохот услышал:

— Может, кто пожаловал спинку потереть? Милости просим.

— Господин подпоручик срочно к себе требуют, — доложил в притвор двери и отскочил, боясь быть окаченным кипятком. — Господин подпоручик приказали явиться срочно! — повторил Карасев и услышал в ответ отборную брань.

Глава пятьдесят первая

Манораговы пастухи без хозяина в русские села не ездили, и сейчас везти туровский отряд отказывались. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не Васька-шаман: ему надо было гнать упряжки к Оби.

— Какой дорогой ты нас везешь? — еле приподнимая от шкуры голову, спрашивал Туров. — Манорага быстрее оленей гнал.

— Упряжки не Манорага гонял. Упряжки Самбиндал гонял. Самбиндал много дорог знает. Самбиндал как ветер летает. На нарте стоит. Самбиндал хороший пастух, — говорил шаман.

Временами Турову казалось, что все это происходит не с ним или в каком-то кошмарном сне, и стоит лишь проснуться, открыть глаза...

Под лунным светом рядом с нартами бежала, догоняя их, дрожащая тень упряжки. Ему стало не по себе, захотелось физически уничтожить этого снежного скачущего идола на снегу: громадного, неуклюжего, с большой головой. Он не помнит, как вынул из кармана револьвер и выстрелил.

Пули глухо бухнули и утонули в снегу. Васька-шаман вскочил. Нарты остановились.

— Что случилось? Что случилось? — больше всех орал ефрейтор Соснин. Увидев Турова целым и невредимым, сел рядом с Васькой-шаманом.

— Шитоев тоже так, — успокоил шаман ефрейтора. — Кричал, кричал. Снег падал, ум терял. Долго головы не подымал, все кричал, потом стрелял, потом опять песни пел. Русские мужики всегда так: едут, едут, потом голова кругом ходит. Зачем голова кругом ходит?

— К чертовой матери твои разговоры! Самбиндал, Самбиндал, — кривил Туров в истерике губы, еще раз разрядив револьвер в пошатнувшуюся на снегу тень.

— Сенька так кричал. Так, так! — спокойно говорил шаман, не предполагая, с каким бы наслаждением разрядил в него сейчас револьвер Туров.

— Гони, гони, немытая рожа, — толкнул он в спину Ваську-шамана. Тот обернулся, положил хорей на снег и зычно крикнул: кхе, кхе!

Пастухи стали заворачивать нарты обратно.

— Ты что? Ты куда? — заорал Соснин. — Господин поручик! Они же завернут обратно. Они увезут нас в Вогул Ло. — Соснин схватил Ваську-шамана за руку. — Везите нас в русское село, а там как знаете. Там сразу на все четыре стороны. Что ты?

Туров сразу сменил тон:

— Поедем, Василий. Сам, поди, догадываешься — к теплу всем надо. От того и злобим, — проговорил Туров как-то очень негромко.

Шаман поднял хорей. Опять подал пастухам голос, и они, описав круг возле нарты Васьки-шамана, безропотно погнали оленей вперед.

Как никогда, владыке здешних мест, посреднику между людьми и богом, хотелось оказаться на своем Молебном Камне, в своем бору, где шумят деревья и скрипит под окном старая сухара. Там лежат его самые большие бубны — с изображением солнца и луны. По ним он будет искать дорогу к Шохрынг-экве, Манораге, а пока он не знает, в какой мир их отправить. Куда полетит душа-тень Шохрынг-эквы? Какие слова он станет говорить перед Торумом? Надо ли поставить на ее могилу шест с изображением на нем птички — символа бессмертия души? И в кого из новорожденных вселить ее душу? Он знает, тень старой женщины бежит к устью Оби. Там она проживет столько лет и зим, сколько лет прожила на земле Шохрынг-эква, а потом уйдет в Нижний мир. А в Ниж-

ний ли? Об этом надо узнать на Молебном месте. И еще ему надо скорее узнать, не забыли ли жители Вогул Ло положить в могилу ей и Манораге амулеты, топор, кисовые лыжи? Все испугались русских мужиков, все забыли. Надо торопиться. Шохрынг-эква старая. Она может заблудиться, не найдет дорогу, ведущую в мир мертвых, а пока душа ее кружит по дорожке-ниточке из ее волос. «У Шохрынг-эквы были длинные косы, — вспомнил Васька-шаман. — Частым гребешком она вычесывала их, но не бросала на землю, заворачивала в листочек, сжигала в огне, и теперь они показывают ей дорогу. Надо скорее на Молебный Камень. Надо скорее брать в руки большой бубен».

Шаман ответил не сразу. Он погрузился в свои думы и заботы.

— Неужели не доехали до чума Ропаски? Две ночи без отдыха.

— Ропаска в другой стороне остался. Пастухи хорошо знают дорогу на Обь. Хорошо знают. Ночь едем, день едем, еще ночь едем — Обь увидим.

Туров простонал, несколько раз постучал кулаками по оленьей шкуре на нарте.

Отряд Турова ехал к Оби без всякой разведки. На последнем отдыхе он предупредил Плотникова: чтобы винтовки у всех были наготове.

Вспомнил о Киргизове. «Интересно, далеко ли он продвинулся на Север? Быть может, удачней моего все обошлось. Может, и мне повернуть к нему? Подождать там ледохода да махнуть в какую-нибудь чужую страну. А тут опять эти села, деревни. Бог ты мой! Какая еще даль!» — Он не мог и представить, что впереди его ждут дела потруднее, чем здесь, в вогульской стороне.

Часа за два до утренней зари пастухи остановили оленей и отпустили на кормежку. Соснин, подходя к Турову, перекрестился, боясь завести разговор.

— Ну? — буркнул Туров.

— Не знаю, чем дальше кормить. Хлеба — мороженая коврига осталась. Да мороженое мясо. Отощали ребята, то и дело слышу: «Соснин, Соснин». Я уж и не подхожу к ним, знаю: хлеба просить будут.

— Потерпят, молодые. Уже недалеко. Вроде собачий лай слышится, — говорил Туров.

— Мне тоже слышится, честное слово. Лежал сейчас на нарте, думал, а только задремал, слышу: собака лает. Вско-

чил и точно определить не мог: то вроде в одной стороне, то в другой.

...К Черноярке подъехали с подветренной стороны. За большим тесовым забором сердито затявкали собаки.

— Оленей-то, оленей-то, — перекрестилась Манефа Степановна, выглянув в окно.

— Кого еще леший несет? — недовольно спросил Лука Саввич, услышав грохот в крепкие ворота.

Манефа Степановна не ответила, и Лука Саввич сразу догадался: испугалась, замолчит теперь на полдня. С ней часто такое бывает. На прошлой неделе цельный день молчала, когда по решению поселкового совета репнинские мужики выгребли целый ларь овса для лошадей, которых снарядили в обоз за хлебом.

— Час от часу не легче, — сползая с печи, кряхтел Лука Саввич, все еще не отошедший от душевного расстройства да боли в ногах, из-за которой пришлось нынешнюю зиму отказаться от охоты. И когда слышал во дворе тоскливое поскуливание собак, выходил на крыльцо, не кричал на них, не замахивался от досады, а как-то виновато говорил: «Придет, придет еще наш час. Не поддамся этой хвори. Рано ей еще меня на спину-то валить. Рано». Собаки виляли хвостами и убегали в конуры.

Пока туровцы ломились в ворота медвежатника Поджарова, Пашка Вихрь, явившийся домой из лесной избушки, выскочил из дому, бросил на сани-розвальни тулуп и погнал огородами коня, не успевшего доесть в торбе овес. У Маньки еще горела щека от его поцелуя, а конь, выворачивая из-под копыт снег, был уже возле темного леса.

— Вон, вон, удирает один! — выхватывая винтовку из-под оленьей шкуры, крикнул кто-то из парней Турова и выстрелил вдогонку, но пуля его не догнала.

Лука Саввич поглядел в окно и, узнав Турова, обмяк: «Видать, пришел мой час. А я собакам обещался на охоту сходить», — сел на лавку да так и не вышел во двор, пока кто-то из молодчиков не выбил плаху в крепком заборе.

— Невесело встречаешь! — ввалившись в просторную избу, закричал Соснин, отбрасывая заслонку русской печи, из которой пахло горячими щами и репными паренками. — Али не узнал.

— Глаза бы на вас не глядели, — ответил Лука Саввич.

— А это мы быстро сделать можем, — цинично ответил Соснин и вытащил ухватом большущий чугун вместе с золой из загнеты.

Вошел Туров, поздоровался почтительно, и этим поклоном чуть смягчил Луку Саввича.

— Нечаянно тут оказались, — глубоко вдохнул теплый сытый избной воздух.

— Скоко годов вогулы не ездили по нашей дороге. Думал — забыли, а они, окаянные, вспомнили. И когда вспомнили! — покачивал головой Лука Саввич, глядя на Соснина, который вертелся возле горячего чугуна, а вместе с ним еще человек пять парней грели над паром руки.

— Шапки-то из моих медвежьих шкур. Хоть и отказываться станете — все одно скажу: из моих.

А собаки заходились от лая, будто разбудили медведя в берлоге. Гремели цепями.

— Ты-то почем здесь, святой человек?! — удивился Лука Саввич Ваське-шаману и сразу понял: не по своей воле он среди них. — Ты-то как с этими басурманами связался? — Лука Саввич привстал, чтобы обнять Ваську-шамана, и встретился взглядом с Туровым. Не испугался, а только подумал: «Ну и ощипало тя, парень, в тундровой-то стороне. Эко ощипало. Не сладко, видать, было».

Заскрипела дверь. Перемерзшие в дороге парни лезли в теплую избу, как тараканы в щель.

— Это поче сюда прете? Кто вас сюда звал? Ну-ка вон из моей избы! — Лука Саввич заковылял за перегородку и вышел оттуда с дробовиком.

— Да мы из тебя душу вытряхнем! — подбрасывая на ладошке горячую паренку, кричал Плотников.

— Ты, поди, комитетчик? — спрашивал подпоручик.

— Наплевать мне и растоптать все ваши комитеты. К лешему всех вас — красных, синих, белых. К лешему-у-у! — не унимался Лука Саввич. Он стоял посреди избы. Большая фигура чуть дрожала на больных ногах, и тряслась рыже-огненная голова. Он дернул ворот сатиновой косоворотки, верхняя пуговица оторвалась и, упав на широкую половину, долго подпрыгивала, как живая, пока не укатилась под лавку.

Туров на удивление был безучастен ко всему, но когда Соснин достал из кармана револьвер, словно проснулся:

— Прекратить! Прекратить всякие разговоры. Еды просите, а остальное потом.

Васька-шаман молча сидел рядом с Манефой Степановной на крашеной лавке вдоль стены. И вдруг привстал: одна за другой мимо окна бежали упряжки. Он понял: пастухи уезжали в тундру.

— Твою ма-а-а-ть! — завопил Плотников, бросая на пол медвежью папаху. — Так твою ма-а-ать! — и выбежал во двор. — Оленей вогулы угнали. Оленей угнали!

Изба враз опустела. Руки Луки Саввича безвольно поползли вдоль туловища. Он встал перед образами на колени и троекратно перекрестился. Упершись руками о пол, коснулся лбом промытых половиц.

— Накорми их, Манефа Степановна, — сказал жене Лука Саввич. — А не то сами везде полезут. Их не удержишь. Они, видать, голоднее голодных собак.

— Ха-ха-ха! — затрясся вдруг Туров в нервной лихорадке. Было слышно, как дробно стучат ровные, крепкие зубы.

Выстрелы рассекали дрему и хмурь бородатых пихтачей.

Кто-то из парней громко рыдал, упав на сброшенные с нарт шкуры.

— В этом зимовье со всех сторон чертовы голоса доносятся: уханье, свист. Разве вы не слышите?

— Ох, нехристи! Ох, рожи неумытые! — скрипел зубами Плотников, пиная все, что попадало под ноги. — Глаза у него были красными, как у кролика. Да только ли у него?

— Кто снял караулы? — строго спросил Туров, пряча трясущиеся руки под мышки.

Плотников, широко расставив в стороны руки, хотел было разразиться очередной бранью, но вдруг козырнул:

— Господин поручик! Кто бы мог подумать?!

— Кто снял караулы? Собрать всех лошадей и марш в Репнино!

— Не шибко-то марш. Тамо нынче вся старая власть повалена. Вашего брата на прицеле держат, — чуть оклемавшись от нервного возбуждения, тихо говорил Лука Саввич, выйдя на крыльцо.

— А тебя, краснобая, и пристрелить не грех, — не выдержал Туров, очутившись лицом к лицу с медвежатником.

— А с кем жить-то станете, ежли таких русских мужиков ухлопаете? — выпалил Лука Саввич, будто ответ этот был у него на самом кончике языка. — С кем останетесь? Убить-то ума не лишку надо. Че же ты со мной который раз силу мерить собираешься?

Слова Луки Саввича злили Турова, но в них была откровенная, подкупающая искренностью правда.

— Иди, не испытывай терпение, — строго ответил Туров.

Было светло от ласкового весеннего солнца. В голубоватом небе барахтались белые облака. Из-за реки долетали

хвойные запахи. Над ершистыми прутьями кустарников тянулась полоска бусого тумана, припудривая игольчатой изморозью оттаявший на солнцепеке серо-серебристый тальниковый кустарник. А вершины высоких деревьев казались Турову очертаниями крестов.

— Всего три лошади. Только три, — докладывал Соснин. — Сколько дворов — столько и лошадей. Остальных репнинские мужики в обоз взяли и отправили.

Из рубленого амбара Поджарова выносили упряжь. Лука Саввич качал головой, а когда мимо потащили расписную дугу с колокольчиком, на которой была надпись «Купи, денег не жалей, со мной ездить веселей», не выдержал:

— Куды тащите-то? Мало вам тамо разных дуг? Че хватаете-то, что получше: все одно ведь в дороге растеряете. Не свое — не жаль?

— Ты, Василий Могучий, оставайся. Оставайся да ночуй. Пущай их леший несет. Они про тебя вроде и забыли

— Ехать надо. Ножик надо. Добро купца Рогалева брал. На Молебном Камне держу. Ножик надо. Туров ножик собой таскает.

— Да наплевать на этот ножик. Ночуй. Завтра их нагонишь, если надо. Куда они денутся? Ай да вогулы! Ай да прищемили им хвост. А ты погоди. Мы с тобой еще водки попьем. Кто знает, может, и не увидимся. Вона они как рога крутят. Нам ведь с тобой в этом краю жить да жить. Они тут побыли да и уехали. А нам жить здесь надо.

— Шибко плохие мужики, — повеселел шаман, узнав о водке.

— Хуже басурманов не видывал, — соглашался Лука Саввич.

В избе было тихо. С приступка печи спрыгнул сытый черный кот, стал ловить на полу тень от качавшегося за рамой клочка.

— Господи. Благодать-то какая, тишина, — разливал Лука Саввич водку, придерживая скользкую бутыль холщовым полотенцем.

Васька-шаман молчал. Его мысли все время улетали далеко, к сосновому бору, на Молебный Камень.

— Манефа Степановна! — громко крикнул медвежатник. — Ну-ка замой эти следищи на полу. Глядеть неохота. Замой, ради Христа, да иди к нам. Садись рядом. Ну их к лешему. Пущай идут в Репнино. Тамо им морду-то начистят. Вон Пашка Вихрь днями рассказывал, как его дружка-то на Севере треплют.

Тихо скрипнула дверь. На пороге показалась испуганная Манька, теперь уже всеми признанная жена табачника Пашки Вихря. Она обвенчалась с ним в репнинской церкви. Лука Саввич давно ее не видел и сразу заметил, что та на сносях: отяжелела, над губами и бровями обозначились коричневатые пятнышки. Лицо вытянулось, а в глазах добавилось блеску. Будто там, внутри нее, появившийся человечек уже торопился глянуть на свет.

— Испужалась я их, Лука Саввич, — словно обезножив, присела на порог. — На поветях сидела. С собой-то Павел на этот раз не взял. Боялся растрясти, вот и привез домой. Может, и пожил бы, да их увидал. А как поехал, сказал: в случае чего, пади в ноги Манефе Степановне, пущай поможет. Боюсь одна: ведь сам знаешь, перестарок я.

— Где табачник-то твой? — спрашивал, а сам взглядом велел Манефе Степановне собираться.

— Ой, — хватаясь за косяк, виновато вскрикнула Манька. — Да в лес поехал, к мужикам. В деревнях-то страшно оставаться — свои своих выдают, пальцем показывают. Ой!

«Видать, верно говорят: до ветру ходить да родить — нельзя погодить», — подумал Лука Саввич, подавая шаману кружку с водкой.

За дверью Манька взвизгнула так громко, что Лука Саввич готов был закрыть ладонями уши.

— Ну, Василий Могучий, давай выпьем за нового человека. Выродит его Манька, хотя и перестарка. Выродит еще одного русского человека. А хорошо бы парня. Ну пущай ей легчает, — Лука Саввич фыркнул и поставил кружку. — Дух захватило, — признался он Ваське-шаману, вытирая подолом длинной косоворотки мокрые от слез глаза.

Глава пятьдесят вторая

Пашка Вихрь мчался через засеки прямиком в Репнино.

Возле совета Настена Вахонина метелкой разметала снег, рассказывала Тюшке Токаревой, как ночью отец стаскивал в погреб мешки муки.

— Ты никому больше не говори: так маменька наказывала.

Председатель Мишка Горпунов, волосы на голове ершом, губы и язык в химическом карандаше, поминутно слюнявил карандаш, ставил свои каракули на бумагах.

— Чего? — спросил.

— Так отряд-то с вогульской стороны возвращается через Черноярку.

Мишка стал собирать разложенные на столе бумаги.

— Так они в один миг тут очутятся. Надо всех предупредить. — Тюшка! Тюшка! — позвал он молодую Токариху.

— Погоди, — остановил председателя Пашка. — Вогулы-то угнали оленей. Пока туровцы к Поджарову в ворота ломились, они колокольца сняли, да и будь здоров!

— Ай да вогулы! Ай да молодцы! Так они, значит, из Черноярки своим ходом? Ха-ха-ха! Трусцой?

— Маршем!

— Давай, друг, быстро, надо передать Ефиму и в избушку.

Пашка вихрем помчался к лесу, свернув через мыс к шараповской избушке.

Пашка знал, что отряд Шмигельского ушел на Север, преследует отряд Киргизова. В охотничьих избушках только связные. На днях Петр Спирин получил от Ефима Дорошина бумагу: «Будьте наготове. Сообщите в Совет. Преследуем возвращающегося старым путем Киргизова».

Петр Спирин, Никита Мялищев и вогул Самбиндал варят в избушке из шурагаев уху. Трое ушли по реке Щучьей на промысел. В избушке тепло. Из окна видна дорога на Репнино, стоит запряженная в сани лошадь. Петр видит, как она ест сено, но замечает: почему-то настораживает уши. Проходит минута-вторая, уши лошади встали стрелками. Закипает в котле вода.

— Ложитесь, — командует Петр, сам хватает дробовик, падает на пол, приоткрыв дверь, кладет ружье на выступ порога. — Неужели попались? — мелькает мысль. — Обидно, черт возьми.

Самбиндал достал нож, лег на полу рядом с Никитой. Но вот лошадь заржала, из саней выскочил Пашка Вихрь.

— Фу ты, черт, свой, — облегченно вздохнул Петр, обтирая рукавом лоб.

— Где остальные? — спросил Павел. — В Репнино с вогульской стороны через Черноярку туровцы идут.

— Почему из Черноярки? — спросил Никита.

— Вогулы оленей отогнали. — Самбиндал, услышав новость о своих соплеменниках, засмеялся.

— В совете был, сказал. К вечеру все приедут в избушку.

Вез Киргизова через Обь молоденький митяевский парень, опоясанный кушаком. Покрикивал на лошаденку громко, но ласково, отчего серая кобылица часто взмахивала большой шелковистой гривой. Возле дома Земцова Киргизов нехотя вылез из плетеной кошевы.

Распахнув дверь в большую горницу, с порога бросил притихшим офицерам:

— Срочно выходим из Митяева. Срочно.

— Куда этих в сарае? — спросил подпоручик Слинкин о томившихся в конюшнях истерзанных митяевских мужиках.

— Не с собой же! В расход!

— Лучше оставим. Выживут — жильцы невеликие. Отбита в них мечта о народной власти, а то как бы нам в спину не стали лупить митяевские мальчишки. Хлеба-то на дорогу у нас нет. Не дали и не дают. Все спрятали. Ревмя ревут, а не дают. Может, в стога спрятали, может, в леса увезли, все обшарили — нет муки.

— Чего же раньше молчали?

— Да кто думал, что сегодня выходить? Прижились вроде тут.

— Из Сотино вышел какой-то отряд под командой Дюжева. Черт знает, откуда эти отряды плодятся. Доставайте пулеметы. К бою все должно быть приготовлено.

В Митяево поднялась беготня, захлопали двери, заскрипели ворота, залаяли собаки, потревоженные криками.

Киргизов сел на стул, облокотился о стол и сидел неподвижно.

— Господин подпоручик, — раздался почти неслышный голос подпоручика Князева. — Мужика взяли. Ехал со стороны Репнино. Несет какую-то околесицу, понять невозможно. Красных не встречал.

— Так красные идут с Севера, а Репнино где?

— Голову кружит от этих деревень.

«Не от этого у тебя голову кружит», — подумал Киргизов.

В горницу втолкнули мужика в длиннополом залатанном пиджаке, с густыми русыми волосами. Он запнулся за тканый половичок в коридоре, извинительно поклонился.

— Ну говори, чего видел.

— Да лучше бы и не видел, — сморкнулся мужик в ладонь, обтер ее о полу пиджака.

— Чего видел? — возвысил Киргизов голос.

— Цельный отряд мужиков в медвежьих папахах. Пешими шли из Черноярки в Репнино. Три лошади сзади везли пожитки. Ране видел, так арестантов водили. Я по сено ездил, спрятался за зарод и лежал в сене, не ворохнулся. Лошадь тоже вроде сеном подавилась, стояла смирно. Когда приехал в Репнино, мужики и сказывают: будто вернулись те, которые к Уралу двигались.

— А мужики чего?

— Они опять в свои избушки.

— Ладно, — процедил Киргизов. — Так почему отряд шел пешим?

— Бог их знает, — увидев изменившееся его лицо, мужик струхнул. — Мое дело крестьянское, — все тише и тише говорил он. — Ехал в Митяево. Хочу на лето тещу к себе звать. Малого нянчить надо. Сколо дел-то движется: тут и огород, и дрова пилить надо, и рыбалку не пропустить, там и сенокос подоспеет, а у меня мелкота одна — помощников покуда нету. Вроде как стишало вокруг — вот и поехал, дурак.

— Так почему все-таки отряд идет пешим? Или лошадей не стало?

— Каки лошади в той стороне? Ехали до Черноярки на оленях, а как зашли к медвежатнику, пастухи все колокольца ножами обрезали и угнали оленей в свою сторону. Какой с них спрос? Вогулы люди вольные.

Киргизов стукнул по столу с такой силой, что опрокинулась жестяная коробка с леденцами.

— Давно это видел?

— Ночь дома ночевал да три ночи в дороге был.

— Ты, значит, тоже из дому — в лес?

— Не в лес я, а кому охота подставлять свои спины? Ведь... — мужику хотелось сказать то, что думалось, но он вовремя осекся.

— Ну?

— Сказываю: по тещу поехал.

— Уведите его.

— Куда? — спросил Князев.

— Пусть едет к своей теще. Черт с ним.

— Готовы? — спросил Киргизов.

— Все готово, только без хлеба, без муки. Даже Земцов одним мешком отделался, а все говорят: к нему осенью целая баржа приходила.

— Раньше-то где были? Раньше о чем думали?

— Кто знал, что так поспешно выйдем?

Сам Киргизов был в растерянности, ничего не мог найти из своих вещей. Все мельтешило перед глазами, мысли путались. В течение всей зимы он думал о выходе из этого северного логова через Обскую губу, но отряд Антона Шмигельского постоянно мешал ему, напоминал о себе. Теперь объявились какие-то красные орлы. Оставалось одно-единственное решение: идти на соединение с Туровым.

И тут с холодеющей душу ясностью он понял: «Мы в полной изоляции. Туров не прошел через Урал, я боюсь северной стороны. Надо как можно скорее объединяться, а то неминуема гибель».

Багровое небо на краю горизонта предвещало ветреную погоду. Прилетевшая с теплой стороны ворона ворчливо кружила возле стожка под окном земцовского дома. Ветер перебирал на птице смоляные перья, топорщил хвост. Ворона замахала лениво крыльями, бочком полетела низко над землей.

Туровский отряд походил на колонну арестантов, с той только разницей, что был вооружен.

Уже на первой версте Туров почувствовал, что идти в тяжелых отсыревших валенках не может — натер пятку, и сел в простенькую кошеву, взятую у медвежатника Поджарова.

Вахонинский дом узнали издали. Он выделялся из всех железной крышей, окрашенной в красный цвет. Отряд остановился.

— Привести себя в порядок! Соблюдать строй! — скомандовал Туров. Не заходя в село, они ждали посланных разведчиков.

Скоро подвода выскочила из-за угла низкой бани.

— Не пускают. Вахонинские ворота на палке. Псы спущены с цепей. Люди как вымерли. На улице ни души, — рапортовал ефрейтор Бородин.

— Силу будем применять! Хватит им в зубы смотреть. Оружие приготовить! Шагом марш! — командовал Туров, на ходу давая распоряжение Соснину: — Всех вахонинских собак перестрелять. Самим — к купцу Лапшину.

— Иду-у-у-т! — кричал с какого-то сеновала звонкий мальчишеский голос. —Иду-у-у-т!

Туров выхватил револьвер, послал несколько выстрелов.

— Собачий край! Везде только и встречает собачье гавканье.

— Идут! — звучали ребячьи голоса.

Возле запертых вахонинских ворот сбавили шаг, двое отделившихся от строя солдат, отыскав в заплоте щель, стали стрелять по отпущенным с цепей вахонинским собакам.

— Вубийцы! Вубийцы! — узнал Туров визгливый голос Авдотьи Сергеевны. — Нечистая сила вас носит! Начистят вам мужики хвост-то! Начистят! — Пуля угодила в распахнутую дверь. Вахониха от страху заголосила на все село.

Отряд подходил к почерневшим от времени воротам с резными деревянными кружевами.

— Самого-то Якова Константиновича нету дома, — распахивая ворота, бойко говорил дворник. — Ден пять как в Митяево уехал да не воротился ишо.

— Не ври. След-то свежий, — буркнул Соснин, отталкивая дворника. — В кошеве куда-то смылся. В вогульской стороне мы научились на снегу следы читать.

Дворник, не слушая, схватил метелку и стал махать ей, подметая и без того чистый купеческий двор.

Увидев высокое крыльцо, висевшие на заплоте выстиранные самотканные половики, поленницы дров, чурбан, изрезанный топором, метлы и лопаты в углу, помятое ведро для пойла, Соснин вспомнил отцовский дом, и отпало у него всякое желание о чем-либо говорить. Только к теплу, поесть досыта теплых наваристых щей да выспаться.

Глава пятьдесят третья

Туров медленно открыл глаза. В теплой комнате было по-весеннему светло. К окну протянулась тонкая ветка черемухи и, раскачиваясь на ветру, легонько постукивала о стекло. Растертая до крови пятка ныла, простуженные колени корежило и ломало, хотя на ночь ему делали компресс из муравьиного настоя.

Услышав за матерчатой ширмой голоса, поручик притворился спящим, но кто-то непрерывно кашлял в соседней комнате.

— Чего там? — не вытерпел Туров.

— Убили. Всех убили. Плотникова убили, — хватая открытым ртом воздух, сказал Бородин.

— Чего ты мелешь? — не в состоянии скрыть дрожь в руках, проговорил Туров.

— Было у меня еще сомнение, не сомнение, а удивление: как это на ночь глядя Плотников не вернулся в село. Кто бы другой, но Плотников! Хлеб еще с ним ели по дороге, когда от этого медвежатника шли. От ковриги отламывали и ели. Он все его хвалил: давно, мол, такого вкусного хлеба не едал, — собирал все Бородин, пугливо поглядывая в окно. — У нас с ним такая договоренность была: если в селе все спокойно, возвращаться не станут, здесь нас дождутся.

— Говорят, какой-то отряд двумя днями раньше нас с уральской стороны на оленьих упряжках мимо Репнино промчался. Без единого выстрела, напрямик, в лес. Все подумали, что это мы, а потом выяснилось, что какие-то красные орлы.

Туров не мог больше слушать ефрейтора Бородина, опрометью выбежал на крыльцо.

Двое солдат шли в обнимку по середине сельской улицы, смеялись, размахивали над головами какими-то тряпицами. Белье-то только самотканное, грубое, что рубахи, что подштанники.

«Спьяну хохочут. Где-то браги хлебнули», — подумал Туров и признался себе, что с превеликим бы удовольствием напился.

Из-за угла дома вывернул Соснин, запнулся возле крыльца так, что с головы слетела медвежья папаха, укатившись прямо под ноги поручику:

— Распорядился гробы делать, так этот лодочник такой скряга! Каждую доску из рук плотника выхватывает.

Туров вроде слышал и не слышал его, прищурившись, смотрел на толкающихся возле ворот солдат.

Ни с того ни с сего между двумя солдатами началась драка. Разбираться было недосуг, но так или иначе надо было предотвратить это постыдное поведение. Поручик зычно крикнул: «Немедленно прекратить!» Но солдаты его не слышали, сбив друг друга с ног, они катались по снегу.

— Отдай! Я первым увидел. Кому говорю, отдай по добру, по здорову. — Лицо у одного было уже в крови.

— Везут! — Увидев черные точки на снежной равнине, толпа подвинулась к берегу. Барахтающиеся в снегу парни враз поднялись и побежали за остальными.

— Наденьте шинель. Ветрено. Весенние ветры опасные! — говорил Соснин, заметив синеватую бледность на лице поручика.

— Господин поручик, — опять обратился к нему Соснин. — Муки-то нет. Не хотел вам об этом докладывать, но как быть? Все сусеки пустые. Не то чтобы крупчатки, а ржаной муки нет.

— А ты думал, интендант только возле котлов крутится да водкой распоряжается? Карнаухов ко мне с такими вопросами не обращался.

— Тогда для нас было все распахнуто, а теперь-то замки висят на амбарах пудовые, собаки с цепей отпущены.

— Отставить разговоры.

У Соснина были еще сведения, которые надо было передать командиру отряда. И он, потупив глаза, сказал:

— Захар Зыбин знает, кто прикончил наших парней.

— Кто?

Соснин молчал.

— Да кто? Кто?

— Из троих назвал сына сатаровского купца Никиту Мялищева да вогула. Наверно, тот Самбиндал. У одного-то убитого ножевая рана.

— Спалю! Собственноручно спалю эту купеческую крепость! Дай только Бог дойти до Сатарово, — кричал Туров, и Соснину стало жаль своего командира. Он тихо вышел и скоро вернулся с кружкой воды. — Спасибо, брат, — еле слышно проронил поручик. — Ты мне вот что скажи: где мы потеряли шамана? Я не заметил.

— У медвежатника остался, потом видели его ребята: в село не заезжает, а все кружит, кружит.

— Хитрый, бестия, — вздохнул Туров. — Чего бы тут делать, а тоже любопытствует.

— Может, на мушку его? — но увидев строгий взгляд поручика, замолчал. Он даже забыл сообщить новость о том, что по слухам, отряд Киргизова где-то недалеко. И что какой-то новый отряд красных орлов пришел на подмогу Ефиму Дорошину. И уже в дверях, чуть не шепотом выговорил:

— А партизаны-то так и не утихомирились. Так и шли по следу Киргизова.

— Пулемет наготове?

— Так точно, — ответил Соснин.

— Завтра выходим из Репнино. Киргизов догонит. Ждать некогда — дорога уйдет. А откуда тебе это известно? — пристально посмотрел Туров на Соснина.

— В отряде говорят.

Больше всего Турова беспокоило появление в лесах красных. Он не сомневался, что красные орлы — это тот самый отряд, который должен был прийти из-за Урала.

Никита и Самбиндал встретили отряд красных орлов на тропе Анямa Косачиный Глаз. Заметив бежавшие навстречу упряжки, Аням Косачиный Глаз зычно крикнул. Эхо ухнуло среди увалов, пролетело над сонными снегами. Буровя снег, Никита и Самбиндал приближались к остановившимся упряжкам.

Аням Косачиный Глаз вдруг радостно вскрикнул и бросился обнимать Самбиндала. Ветер трепал полы его вышорканного савика, с головы свалился капюшон:

— Самбиндал, Самбиндал!

Позади его стояли низенького роста мужичок и высокий парень, который хотя и был в длиннополом савике, все равно казался стройным.

— Григорий что ли? — с любопытством глядя на сына шамана и отмечая в нем сильное сходство с отцом, выкрикнул Никита. — Ну, брат, на ветрах да в снегах как вытянулся. Не узнать. Все щупленьким да маленьким казался.

— На родной земле и заяц силен, — сказал низенький мужичок, протягивая руку Никите, — командир отряда красных орлов Емельян Пуртов. Мы так надеялись на встречу. Обеспокоены: разведка, посланная в Вогул Ло, не вернулась. Пришлось изменить план, поехать тропой Аняма.

— Не надо, не надо в Вогул Ло, — замахал Самбиндал. Туда злой мужик ехал. Обь другой тропой ехать надо. Совсем другой. Самбиндал знает тропу. Знает.

— Ну спасибо. Ну и слава Богу, — произнес Пуртов. — Он озорно подмигнул: — Теперь и Шмигельскому с Дорошиным будет полегче. Теперь уж наверняка доберемся.

Ночью, темной и звездной, в Репнино вошел отряд Киргизова. Вахониха, узнав грозного подпоручика, умолкла, утянулась к девкам на кухню, оставив все на произвол судь-

бы. Она прижимала к себе вспотевшую Настену, готовую без устали глядеть на прибывших солдат: «Наказанье ты мое Господне», — причитала Авдотья Сергеевна, обтирая подолом рубахи ее слезы. Настена прижалась к матери и, горько всхлипывая, заплакала. И эти слезы страшнее, чем крики, сжимали сердце строптивой Вахонихи.

— Господин поручик! — высунув голову в притвор двери, шептал Бородин, стоящий в карауле: — Киргизовцы ночью в село вошли. У Вахониных остановился Михаил Иванович с офицерами. Сюда собирается.

Туров вроде и ждал встречи с Киргизовым, но вдруг както растерялся. Не хотелось предстать перед подпоручиком в таком потрепанном виде.

— Где бритва? Где мундир? — потребовал он, вскакивая с постели. На полусогнутых от боли ногах подошел к стоявшему во весь простенок зеркалу. Спасала Турова только молодость и высокая ладная фигура. Будь он десятком лет старше, казался бы старой развалиной, а тут... конечно, волосы нуждались в стрижке, лицо — в бритье. Ну а что делать с душой? Если бы можно было заглянуть туда...

Они встретились по-юношески трогательно, обняли друг друга.

— Уходить надо немедленно, — сказал Киргизов. — Появились какие-то красные орлы. Преследовать нас будут, несомненно.

— У меня лошадей нет, — пожал плечами Туров и развел руками.

— А оленей пастухи в тундру угнали, — добавил Киргизов.

— Угнали, черт их всех разорви.

— Готовьтесь выступать. Ваши лошади у нас еще в порядке, да в Репнино все прочистим.

— Парни мои обезножили от усталости, — вроде пожаловался Туров. Он боялся, что Киргизов узнает о Никите Мялищеве, и тогда хоть пулю в лоб. Теперь не время подливать масло в огонь.

— А зря не установили там надзор. Они, эти комитетчики, наладили такую связь, — сказал Туров.

— Выходить надо! — торопил Киргизов.

— Как видно, хлеба и здесь нет.

— Нет. Это дело советов. Мы уходим, а на местах остаются они. В день, когда вы пришли с Черноярки, здешний

председатель еще за столом сидел, бумаги подписывал. Могли бы его тепленьким взять.

Туров словно одичал в этой вогульской стороне, выговор Киргизова слушал, как молодой подпоручик.

— Надо сказать тебе, у них сила. Нам бы только до Сатарово добраться, а там...

К вечеру Репнино опустело. Еще слышался скрип отъезжающих полозьев.

— Разведку вперед, и наготове все пулеметы! — Киргизов отдал приказания.

Глава пятьдесят четвертая

Из Черноярки Васька-шаман уезжал с рассветом. Лука Саввич с крепкого похмелья не сразу понял, что шаман собирается в дорогу. Он долго кряхтел, кляня весь перепутанный мир, из-за которого, как снег на голову, навалились на него неприятности и подтачивают его, как черви корни могучего дерева.

— Да чтоб я с энтакой капельки морщился? — бурчал медвежатник, сползая с печи. — А как в Тобольске-то гуляли, а? Дым коромыслом. Теперича закроешь глаза — и все, как на картинке: татары-степняки с крутогривыми жеребцами, китайские торговцы слепошаренькие с шелками да фарфоровыми чашками. А уж с вашей-то стороны одне меха! Горы меха, и больше всего собольи. А уж бабоньки каки, леший бы их сломал, все мельтешат, все подолами машут. Тут тебе и татарки, и башкирки, и цыганки. Но только русские по моему вкусу. Был грех, был. И ведь хорошо, что был. Че остается-то теперя? То спину отсекает, то ноги корежит, то глаза туманит. Вроде все конь-конем был, а эти нехристи, — сплюнул на пол Лука Саввич, — эти сопляки всего исщипали. Вроде бы как на уклон покатился, и так катит, хоть ревом реви.

Шаман согласно кивнул и протянул руку для прощания.

— Да ты-то куды торопишься? — посожалел Лука Саввич. — Куды? Когда еще сойдутся наши дороги? Скоко годов-то тебя не видел?

Но шаман слушал его безучастно.

— Оно каждому свое, — вздохнул Лука Саввич. — Поди, оне и в твоей стороне делов наделали тогда, ехать тебе надо.

На прощание обнял Ваську-шамана, долго хлопал широкой ладонью по спине. Во дворе грозно прикрикнул на псов.

Олени, стряхивая со спин слежавшийся снег, побежали возле ворот, пружиня стройными ногами. Но за поворотом Васька-шаман остановил упряжку. Ему не хотелось ехать в Репнино, не хотелось попадаться на глаза Турову и даже купцу Вахонину, у которого он всегда останавливался: устал от людей, шума, криков, и он погнал оленей за реку. Надо было покормить на болоте оленей и побыть одному.

Скоро, привязав на шеи оленям длинные палки, чтобы далеко не убежали, отпустил пастись. Сам, сбросив с нарты на снег оленью шкуру, лег навзничь и глядел на легкие облака, которые торопились в его светлую северную сторону. Привыкнув к тишине, стал прислушиваться к хрусту снега в дальней стороне болота. И коренник, вытянув шею, тоже поднял рогатую голову. Но вкусный белесый пучок ягеля, прилипший к толстой губе, дурманил запахом, и бородатый пятигодовалый бык безвольно вставал на колени, зарываясь мордой в снег.

«Тепло идет, — сказал шаман. — Ягелем пахнет, филичьей травой пахнет, заячьей капустой пахнет». Бык поднялся и, шурша привязанной к шее палкой, зашагал к дальнему углу болота.

Там паслись чьи-то олени. Отвязав от нарты лыжи, обшитые гладким мехом, шаман пошел за быком: кто еще с его стороны приехал сюда, и что ему здесь надо?

По вырезанной на левом ухе тамге, похожей на заячьи ушки, узнал оленей из стада Манораги. «Самбиндал, — сразу догадался шаман, но не без тревоги подумал: — Чего делает так долго пастух в русской стороне?»

По всему было видно: олени сытые, пасутся давно, два быка лежали, по-видимому, всю ночь, потому что снег под их боками подтаял, углубился, и только олениха с отвислой губой беспокойно топталась в сыпучем снегу, почувствовав то ли приближение человека, то ли приход весны. След Самбиндала давно припорошило, и только опытный глаз смог бы разглядеть и определить, с какой стороны он шел к болоту.

Васька-шаман пробыл на болоте полный день и не мог решить, в какую сторону поехать. Даже мелькнула мысль: не съездить ли к купцу Василию Афанасьевичу? Но тут же

передумал. Потом думал о Прасковье, о Софье, о Молебном Камне, о пауле Вогул Ло, и все захороводилось в голове. Он машинально достал свой бубен и, чуть слышно барабаня по тугой шкуре пальцами, зашептал, обращаясь к Великому Торуму:

Не сердись, старик урмана,
Не на праздник тебя поднял
И прошу не об охоте.
Ты, сын Торума-владыки,
Расскажи, кто волчью морду
Прячет в лисий хвост пушистый?
Кто кривит свои дороги?
Мне, охотничьему сыну,
Расскажи все по порядку —
Мудрость дум твоих великих,
Дай мне силу твоей лапы!
И скажи, кто рысью ходит?
Много лун ходить я буду,
Отыщу по всем урманам,
И свинец тому пошлю!

Не открывая глаз, явственно услышал скольжение лыж по насту. «Может, сам Торум явился ко мне?» Рука потянулась к омулету из медвежьего клыка, но по округе полетел гортанный звук пастуха: эге-ге-ге-ге!

Шел Самбиндал. В лучах заходящего солнца фигура пастуха казалась шаману огромной, он стал лихорадочно тормошить память: где разговаривал с пастухом? Оказалось, он ничего не знал о парне, кроме того, что тот простой пастух в дальних Манораговых стадах, что пас их и охранял лучше, чем пастушьи собаки.

От радостного голоса пастуха Васька-шаман поднял голову.

— Ерынг! Могучий! — воскликнул Самбиндал. — Какие ветры принесли тебя на это болото? Почему ты кормишь своих оленей таким тощим ягелем?

Шаман молча глядел вдаль, готовый, если бы умел, обратиться в птицу и улететь за стаей на озеро Лунт-тур, откуда легко по засекам прийти к сосновому бору, к Молебному Камню. А гусиный клин маячил у горизонта темными точками, потом каждая птица стала похожа на крохотную дробинку и совсем потерялась за горбатыми тучами облаков.

Повелительным жестом шаман показал Самбиндалу присесть рядом с ним, хотя и не знал, о чем говорить с пастухом.

Ветер запорашивал лыжный след, выдолбленные оленями лунки между кочками, оленье лежбище, сыпал колючие снежинки на широкие подолы малиц, на непокрытые головы и спускающиеся по сторонам косы, крепко заплетенные в жгуты.

— В Репнино пришли мужики из Черноярки? — не глядя на пастуха, спросил наконец шаман.

— Дальше ушли, — ответил Самбиндал и удивился проворству шамана, легко вскочившего с нарты.

— Куда ушли? Зачем ушли?

— Испугались, — не раздумывая, ответил пастух. — Мужиков испугались. Партизан. Они в лесу живут. И я с ними жить буду. Скажи Манораге: Самбиндал далеко пойдет, в Тобольск пойдет.

У Васьки-шамана округлились глаза.

— Там всех кончать будем. Зачем нашу сторону ходили?

— Перестань, — выдавил шаман.

Пастух достал табакерку, щепотью поднес к ноздрям табачную пыль и чихнул так громко, что дремавшие олени в испуге шарахнулись. Они сидели вдвоем посреди снежного поля. В тишине слышно было, как шуршит по насту сыпучий снег. Шаман задумчиво глядел на коренника, у которого когда-то отвалился правый рог, на упряжь, исшорканную возле самой нарты, потом с любопытством поглядел на Самбиндала, аккуратно соскабливавшего белый порошок с медвежьего зуба. «Самбиндал совсем молодой, — подумал шаман. — Ему можно ездить туда-сюда. Но зачем он поехал в леса? Купцов нет, товара нет. Винка нет. Совсем плохо в русской стороне. Лука Саввич хворает, Василий Афанасьевич тоже хворает, Федор Рогалев бежал».

— Много оленей гонял Гришка в уральскую сторону? — глядя в глаза пастуху, спросил шаман и сразу же добавил: — Будешь говорить неправду, пошлю на твою голову все проклятия моего большого бубна.

Самбиндал склонил голову на плечо, загадочно посмотрел, отвел взгляд, промолчал.

— Много оленей угнал Гришка из моего стада? — повторил шаман и смолк, ожидая ответа.

Самбиндал рукояткой ножа прочертил четыре полоски с десятью кружочками в каждой.

— Так много нарт! — удивился шаман, расстегивая ременный узелок возле ворота малицы. Ему показалось, что в поле совсем мало воздуха. На лбу и висках выступил пот. —

Домой хочу, в свой чум хочу, — проговорил с тоской в голосе. В глазах его вертелись красные огоньки, он сел рядом с Самбиндалом, дотянулся холодной рукой до руки пастуха.

— В тундру поезжай. Оленя коли. Кровь свежую пей, — сочувственно проговорил Самбиндал, понимая страдания шамана.

Шаман покачал головой, со вздохом, чуть слышно сказал:

— Ножик надо. Ножик купца Рогалева. Купца Федора Рогалева. С уральской стороны. К морю поехал. — И замолчал, долго и неподвижно смотрел вдаль, думал: рассказать Самбиндалу о Рогалеве или нет. — Слушай! — сказал решительно. — Слушай. Я нож свой давал купцу Рогалеву. Он мне добро привез. На Молебный Камень поставил. Купец Федька Рогалев пальцем грозил, говорил: «Кто ножик покажет, того на Молебный Камень вези — добро отдавай». Говорил, сам в тундру поехал. Один поехал. Нет, баба с ним была. Нож у злого Турова видел. Как попал? Кто давал? — искренне дивился шаман. — Я так спрашивал, по-другому спрашивал — не знает Туров купца Рогалева. Где нож брал? Кто давал?

Лицо Самбиндала вспыхнуло. Он поклонился шаману и долго не говорил и слова.

— Шли проклятия на мою голову! Я хоронил мужика. Его долго олени таскали по тундре. Еле-еле теплый был. Помирал. Старшина Атынг знает. Нож упал в снег. Я подобрал нож, — сказал тихо пастух. — Турову ножик не давал.

У Васьки-шамана полегчало на душе. Он вроде как свалил с себя груз, но известие о смерти купца Рогалева его ужаснуло.

— У Турова нож брать надо? — громко и требовательно спросил пастух шамана. — Надо? — в голосе Самбиндала была решимость.

— Как не надо? Надо. Добро за нож отдавать надо. На Молебный Камень ехать надо. А я все кружу, кружу, — качал головой шаман. — Дел много. Шибко много. Манорагу хоронили — большим бубном дорогу не казал. — Самбиндал глядел на шамана, вытаращив глаза. Известие о смерти хозяина его удивило.

— Шохрынг-экву хоронил — дорогу тоже казать надо. Сеньке Шитоеву дорогу казать надо. Мужику Митричу — дорогу казать надо. Шибко много надо бить в бубен, отправлять души на небеса.

Самбиндал, сжав кулаки, глядел на шамана, ни о чем не переспрашивал его. Это не в их обычае — переспрашивать

шамана. Каждое слово его всегда верно. Пастух с трудом мог представить, что случилось в Вогул Ло. Он рухнул в снег на колени и стоял так, подняв вверх руки. Затем, понурив голову, подошел к шаману.

— Я привезу нож. На шкуре медведя слово давать буду: привезу нож. Гришке скажу, Аняму Косачиный Глаз скажу, Никите скажу, Пуртову скажу. Нож Ваське-шаману надо! Привезу.

Шаман, еле переступая, пошел к нарте.

Самбиндал поймал и запряг оленей, поправил на нарте шамана шкуры, мешок с бубном и колотушкой, тихо свистнул, и олени тронулись, набирая бег, помчались в снега.

Глава пятьдесят пятая

Весна в Сатарово пришла незаметно: сразу после метелей с сырым снегопадом выдались ясные дни. Мелкий дождь-сеянец наполовину смыл снежные наметы, затопил талой водой широкую пойму реки.

В сельсовете с утра до ночи председательствовал Степан Голощапов.

Даша, долгое время прожив в лесных избушках, преследуя отряд Киргизова почти до Обской губы, вернулась в Сатарово. Она потеряла прежнюю нежность, тяжелее стал ее взгляд, и только глаза по-прежнему светились и лучились.

Со Степаном они говорили о своих.

— У них ведь теперь каждый день полон забот. Ладно, на помощь с Урала красноармейцы пришли на оленях с Никитой Мялищевым да Григорием Анямовым, сыном шамана. У них и винтовки и провиант с собой.

— А сам-то Туров к Уралу сворачивал?

— Сворачивал, сказывают, да только опять воротился. У наших-то тоже уже пулемет есть. Мужики наши не знали, как к нему и подойти, ладно кто на войне был да сбежавшие из туровского отряда, — сбивалась в разговоре Даша. — Василий-то Афанасьевич, сказывают, велел девкам все пельмени истоптать да собакам скормить. Недели две девки, счи-

тай, десять тысяч штук этих загогулин щипали, а вчера с самого утра топтали.

— Зачем топтать-то? — удивился Степан Петрович.

— Прослышал: Туров возвращается.

— Про Никиту, поди, узнал? А надо бы, чтоб узнал.

— Лопнет еще сердце. А главную-то новость слыхали? Васса-то, кухарка мялищевская, мальчонка принесла. Никто сном-духом не знал, что она брюхатая, а ночью-то за Маитовой старухой девчонка сбегала. В ночи и в тиши объявился новый человек. А в купеческом-то дому... весь дом вверх дном! «К капиталу подбираешься, голь перекатная!» Это Акулина Федоровна кричала, ногами топала.

Даша пристально посмотрела в глаза Степана Петровича:

— Может, ее к нам? Не обидим.

— Сами-то с хлеба на квас перебиваетесь, — сказал председатель, подходя к Даше, провожая ее к двери.

«Все наперехлест идет, — подумал Степан Петрович. — Отец вражина, сын — вон в каком деле был», — вспомнил он про Никиту, о котором все в точности узнал из донесения Ефима Дорошина, привезенного Липатием Сорокиным. И еще в этом письме он писал об Иване Дмитриевиче Соболеве, Митриче, что он среди туземного населения ездит и государственный хлеб раздает по совести и даже был на медвежьем празднике, но там устроил мену. Вогулы в долг муку и сахар не брали.

А слухи по селу летали разные, как весенние ветры. Кто-то боялся возвращения отряда Турова, кто-то поговаривал, что будто он перешагнул через Урал, кто-то утверждал, что от них остались рожки да ножки и что будто сельские мужики вовсе не преследуют никакой отряд и не партизанничают, а живут себе по избушкам, ходят на охоту и наплевать им на туровский отряд.

«На каждой роток не накинешь платок!» — подумал Степан Петрович. И кто бы чего не говорил, а за столом сидит он, выбранный большинством голосов на сельском сходе. Печать у него, бумаги почтарь возит с адресом: Сатаровский совет рабоче-крестьянских депутатов, а это подтверждало: прочно встала на ноги народная власть.

Назавтра назначалось заседание совета. Степан Петрович готовился к нему долго и старательно: надо было говорить о нехватке хлеба и об изъятии его из кулацких закромов. Это сделать было проще простого, и он решил расска-

зать об обстановке в стране, опираясь на известные ему факты. Но долго не мог придумать, с чего начать. «Попроще бы надо мужикам», — елозил он за столом, бессчетное количество раз скручивал «козью ножку» и пялил глаза на серый лист бумаги, куда хотел записать главные мысли.

За дверями послышался шорох. Степан Петрович положил в сторону ручку. Темная тяжелая дверь открывалась медленно, без скрипа, будто сама собой.

— Кто? Заходите, — отозвался председатель и непроизвольно передернул плечами — посмотрел в окно на серые сумерки и пожалел, что не зажег лампу.

— Долго засиживаешься, Петрович, — узнал по скрипучему голосу лодочника Ивана Валериановича, у которого только вчера по решению сельского совета были описаны все выстроенные, просмоленные каюки, лодки и весь тес.

— Все дела, — стараясь казаться спокойным, ответил Степан Петрович, выйдя из-за стола, чтобы зажечь висевшую на стене керосиновую лампу.

— Не зажигай. На огонь, как мотыли на свет, люди придут, а мне с тобой без этих голодранцев поговорить надо.

— Без их совета и согласия мне ничего не решить, не перерешить.

— Не зажигай огонь! — настойчиво и сухо произнес лодочник.

Он не напрасно явился в совет. Прибывший с северной стороны почтарь привез ему письмо от брата, который в подробностях писал о стоявших у него на постое офицерах, об их планах, а главное, о том, что «добра от них не жди — не дождешься. Опустошат все, выгребут из каждого ларя и туда же навалят. Мне, — писал в письме старший Земцов, — после них надо зачинать все сначала, хоть голову в петлю толкай — так все жалко, так все жалко, даже умереть охота. А сила у них невеликая, мужики понужают только так. Ты тамо с советами-то не задирайся. Чего надо, сам отдай. Все одно среди их жить. Помозгуй. У тебя голова светлей, а у меня вроде как одна мякина осталась — думать совсем не могу: все не так, все не этак». Но Иван Валерианович, на несколько раз перечитав письмо брата, возмутился, с раздражением произнес: «Совсем рехнулся» — и тут же порвал его на мелкие части. Иван Валерианович совсем не собирался так просто расставаться со своим добром. Он едва дождался сумерек, то и дело посылал к совету дворового парнишку, чтобы застать там Степана Голощапова одного.

— Я тебе, Степка, по-хорошему говорю: плетью обуха не перешибешь, — присаживаясь на лавку возле самого порога, сказал лодочник. Он глухо закашлял, сдернул с головы шапку, сунул в нее лицо с козлиной бородой и затряс узкими плечами. Прокашлявшись, обтер рукавом лоб. — Я тебя по-хорошему прошу: погоди, не принимай никаких решений, не пиши в своих бумагах. Не марай их. Погоди. Сам еще не знаешь, чем все обернется. Тебе за нас, за крепких мужиков держаться надо. А ты заодно с беднотой. У них царя в голове нет.

Степан Петрович сидел молча, положив руки на стол, не зная, с какого края вести разговор, а тот свое:

— Мы вот посоветовались: сумму тебе предлагаем немалую. Можно на нее в столице каменный дом купить. Тебе, конечно, не до каменных домов, а на ноги встать — со многими будешь вровень, да кое-кому нос утрешь. А эта власть — переменчива.

— Ты не пьян? — спросил Голощапов лодочника. В ответ тот засмеялся тоненько.

— Освобождай-ка этот стол и уезжай подобру-поздорову на все четыре стороны, а мы тут сами управимся. Есть кого нам посадить на твое место. Слова твои говорить станет, а делать — по-нашему, а то больно ты крут.

— Кого же? — полюбопытствовал Степан.

— Много знать станешь — скоро состаришься, а тебе еще дело заводить надо. Деньги-то тратить тоже надо умеючи.

— Какие деньги?

— А вот они. Вота. Ты только пощупай, как хрустят. — Иван Валерианович на полусогнутых подошел к столу и положил на его край сверток. Постоял и направился прямиком к двери. Но возле порога приостановился и жестко припечатал: — Завтра на совете-то не надумайте изымать в закромах хлеб. У вас и на это ума хватит: не сеяли, не жали...

Быть может, Степану Петровичу показалось, а может, так и было на самом деле, но из совета Земцов вышел бодрым, зашагал торопливо, размахивая тростью.

В совете наступила тишина. Расхрабрившаяся мышь пробежала от печи к порогу, пискнула и юркнула в щель. За окном скрипнули ставни. С улицы доносился пьяный голос Егора Шилоносова — дворника бывшего старосты волостной управы. Рядом с ним шел рослый незнакомый парень. Он чуть пошатывался. Возле совета приостановились. В густых сумерках Степан Петрович видел только крепкую фи-

гуру незнакомого парня, но и этого ему хватило, чтобы понять, что не так просто появился он в Сатарове.

На душе было неспокойно. Не зная, куда деть оставленный Земцовым сверток — не хотелось даже дотрагиваться до него рукой — приоткрыл ящик стола и деревянным наконечником ручки столкнул его туда.

От берега тянуло дымом. «Мужики лодки смолят», — подумал, хотел свернуть в проулок, но зычный пьяный голос Егора Шилоносова отбил это желание.

Степан Глощапов не то чтобы испугался прихода лодочника Земцова: в его жизни были и покруче дела, но сознание того, что эта притихшая нечисть ждет своего часа... Не мытьем, так катаньем стараются новую народную власть опорочить.

Заседание совета было назначено в полдень. Вопрос стоял один: о нехватке хлеба и о том, как изъять его из кулацких закромов.

Степан Петрович, всю ночь просидевший возле окна, решил не отступать от задуманного и не утаивать от людей разговор с лодочником.

Мужики собрались дружно. К изумлению многих, в совет вдруг явился священник, которого уже давно не было видно в селе. О его возвращении в село узнали по колокольному звону.

Мужики все встали перед ним в поклоне.

— Здравствуй, батюшка, здравствуй! — обрадовалась ему и Ефросинья Алексеевна. — Прости нас, многогрешных!!

Он только бровью повел и сел возле порога. Явились и лодочник Земцов, лавочник Плотников, седобородый, с бледным, как папиросная бумага, лицом, брат Нестора Прохоровича Шлеина — Максим Прохорович. Позже всех явился Василий Афанасьевич — долго сморкался возле порога, обметая подошвы о березовый голик.

Степан Петрович уверенно подошел к столу и начал.

Было так тихо, что слышно было, как падают на пол капли из рукомойника.

— Многие мужики еще не говорят во весь голос своего мнения, все выжидают, ни туда — ни сюда. А враг не дремлет. Вот. — И он достал из стола сверток. Лодочник Земцов опустил глаза. — Я не глядел, что в нем лежит. Но мне велели убираться из Сатарова подобру-поздорову. Мол, вместо тебя есть человек — слова будет говорить твои, а делать будет по-нашему! Поглядите, что там. — Все будто воды в рот

набрали. — Там, по всей видимости, деньги. Надо при всех составить акт и передать их в государственную кассу.

— Да пропадите вы все пропадом, — не выдержал лодочник.

Пересчитать деньги попросили лавочника Плотникова. Он не куражился: в ловких пальцах зашуршали ассигнации. Отсчитав стопку, поплевал на два пальца, и снова новенькие бумажки замелькали одна за другой.

— Десять тысяч.

— Вот и составьте бумагу по всем правилам.

— Топтать надо этого вражину! — крикнул Липатий Сорокин.

Но всех перекричал Василий Афанасьевич. Он подошел к столу, встал рядом со Степаном.

— Я по делу пришел. Не секрет — в прошлую навигацию мало шло барж с хлебом в нашу сторону. Но у меня есть, есть хлебушко. Не пухнуть же всем с голоду. Отдам я его. Отдам. Берите.

— Ой ли? — послышалось с разных сторон.

Купец махнул перед лицом ладонью, будто отгоняя надоедливых мух:

— А сам жить стану, как Бог пошлет, — и у него в плаче задергались плечи.

Это было для всех полной неожиданностью, тем более что на днях он только и твердил: «Всех заморю голодом. Всех!»

— Я к вам с добром пришел. Прошу и к моей семье относиться по-божески. Или вам неизвестно, что в моем доме голь перекатная родней стала? — Василий Афанасьевич поднял голову, пристально поглядел Степану Голощапову в глаза. Он опять махнул возле лица. — На нее, нищенку, тоже пай кладите. Как там по вашим правилам?

— А сноху-то не видно, поди, в подполье держишь. Гляди у нас!

— Голь перекатная всегда живей живучего. Пусть за счастье считает — не побрезговали. Вот принародно ее снохой называю. Я всякого наслышан: вроде все у вас будет сообща, все артельно, и бабы тоже. Так к Вассе не допущу. А по хлеб приезжайте, — Василий Афанасьевич, не оглядываясь, пошел к порогу, но, заметив Дашу Дорошину, приостановился. — Ты-то, Дашутка, куда в мужицкое дело лезешь? Глянь-ка, чего от тебя осталось: кожа да кости. Не мудрено, челноком-то маячить то с северной стороны, то в северную.

— Дела, Василий Афанасьевич, — бойко ответила Даша.

— И ты, старая мочалка, — повернулся он к Ефросинье Алексеевне, — поди, задницу в северных краях ознобила.

— А на что она мне? Пусть и ознобила — кому како до нее дело?

— Тьфу, — Василий Афанасьевич мотнул головой, натянул шапку по самые брови, бойко вышел на крыльцо, а по улице шел запинаясь, еле волоча левую ногу.

«Эко че сболтонул! Эко! А все с перепугу, чтоб этот душной козел нас всех на чистую воду не вывел. Эко! Сам за хлебом позвал».

Вернулся домой чернее тучи: глаза ввалились, плечи ныли, во рту пересохло.

— Ох ты Господи, Матерь Божья! — Он встал, пошатываясь, долго рылся в шкафу, достал тяжелую из каслинского литья чернильницу с двумя львиными головами, в которой когда-то водились чернила. Поглядел на сухое дно, крикнул:

— Воды горячей несите! Слышите?

Записку приставу Спиридону Бурмантову писал долго, часто обтирая перо о голенище старого пима.

— Мышью сбегай. Никому на глаза не попадайся, — наказал Вассиной помощнице на кухне. Ту как ветром сдуло.

Он подошел к окну, оперся о крепкие крашеные косяки.

Солнце катилось за гору, но еще светило ярко и будто играло с облаками в прятки. Гибкие ветки черемушника свистели на ветру. С соседнего двора тянуло кисловатым запахом навоза, нагретого с солнечной стороны. Слышалось тихое мычание коров, беспокойно топтавшихся в грязном загоне.

Пристава Василий Афанасьевич увидел скоро, не успела прибежавшая девчушка отдышаться. Он шел вдоль улицы, покачиваясь, остановился возле купеческих ворот.

— Экая у тебя грязища, Василий Афанасьевич. Вроде и не твой двор, — сказал пристав, обходя стороной коровью лепешку.

Купец хотел пожаловаться, что теперь стал каждый себе господин, но, увидев, как Спиридон Ларионович поскользнулся и припал на завалинку, махнул рукой. «Ну и нализался. Поди, неделю пьет, не меньше. Перегаром как несет — убить может!» — подумал, подставляя приставу плечо.

Усевшись на нижнюю ступеньку крыльца, Спиридон Ларионович стал стаскивать с ног грязные сапоги:

— Уж нет. Уж тут я сам. Не то мне этими сапогами бабы всю башку разобьют. Вот за это весну и не люблю. Зимой благодать! — икнул пристав. — Зимой голиком — раз, два! — И он снова икнул. Прищурил мутноватый глаз: — Примета. Рюмочка требуется.

— Найдем. Найдем, — Василий Афанасьевич проводил пристава в горницу.

Позже пришли Иван Валерианович и Максим Прохорович.

— Какую промашку дали. Какую промашку! Моих-то денег там целая половина, — сидя на полу, рыдал лодочник Земцов. — Думал, скоро весна: разберут их мужики, расплывутся они по великой реке, воротятся денежки в карман, а он вон чего вытворил: в государственный банк! Голоштанный дурак.

— И моих немало, по моим-то доходам, — подал слабый голос Максим Шлеин.

— А тебя, Василий Афанасьевич, и на перекладине вздернуть не грешно. Такое сморозить: приезжайте, хлеб берите. Да их теперь только голодом надо хватать за горло, держать в повиновении. В газеты не глядишь, не читаешь? С голоду мрет люд, с голоду. Неоткуда брать хлеб новой власти, сухари по деревням собирают, а он в амбары приглашает. Так кто ты после этого, а?

— Так, так, — соглашался с обвинениями Василий Афанасьевич. — Так. Можно и на перекладине вздернуть, можно и в конюшне, можно на поветях.

— Теперь обратно не повернешь. Теперь надо что-то такое думать, чтоб у всех от страху глаза выпучило.

— Это на что ты намекаешь? — спросил Василий Афанасьевич. — Отраву каку в муку подмешать, а? Это до чего же дошла человеческая злоба-а-а! — во весь голос закричал купец.

— Не дури, Василий Афанасьевич, не дури. Послабления тебе от новой власти никакого не будет, хоть ты и перед всеми голь перекатную своей снохой назвал. Забудь, наплюй и разотри.

— Вон из моего дому! Вон. И так все углы испоганены. Теперь душу испоганить велите. Во-о-о-н! Все по ветру пущу, все синим пламенем загорит, а тому не бывать, о чем просите. Голым останусь.

— Дайте ему капель. Поищите. Есть же они где-нибудь в шкафу, — обеспокоились пришедшие.

Через две недели после родов Васса окрепла, она чувствовала, как полнятся молоком ее груди и часто смачивается рубашка от густых капель.

— Не ленись, не ленись, — нашептывала она, сидя за печкой, и трясла младенца за подбородок. — Глотай пошибче. Как токо к титьке прижмешься, так и спать, так и спать. Не ленись.

Шаги наверху стали утихать. Васса сунула малышу в рот тюрю из жеваного хлеба, завернутую в тряпочку, быстро поднялась по лестнице и припала ухом к западне.

— Это же надо так обмишуриться! Это же надо! — вздыхал лодочник, — какие коленца выкинули, а? От денег отказываются. Да от каких денег... Они таких денег и в руках не держали. Больше червонца-то у Степки в карманах и не бывало. Не пожалел бы об этом разговоре, Василий Афанасьевич.

— Переживу и это. А не переживу — туда и дорога. Хватит лаяться — еще дела есть.

Василий Афанасьевич со вздохом упал в кресло да так и охал минут пять.

— Отряд Турова нас не минует. Дорогу ему давать надо. Встречать не только хлебом-солью, и пулю кое-кому в затылок! — скривив губы, процедил лодочник, оглянувшись по сторонам, зыркнул глазами в приоткрытую дверь спальни.

— Да никого нет, — успокоил Василий Афанасьевич.

— Сведения у меня невероятно важные, — послышался голос Максима Прохоровича.

Васса прищурила глаз.

— Пусть пока эти голодранцы порадуются. Пусть. Недолог их час. Правитель-то Сибири не безголовый. Если и отступать будет, — знает, по какой дороге. А союзники на что? Думаете, так все и сдались? Слава Богу, вовремя перехватил у почтаря бумагу. Она на имя Нестора Прохоровича еще писана.

— Так, поди, давнишняя, — засомневался пристав.

— С самыми последними новостями. Сразу по вскрытии реки нам предстоит важных гостей встречать.

— Господи! — не выдержал Василий Афанасьевич. — Неужто опять?

— Это не карательные отряды, а части самого Колчака.

— Я про другое слышал, — подал голос лавочник. — С Севера отряд гонят обратно. Ефим-то Дорошин оклемался. Говорят, Турову очухаться не дают.

— Может быть, — подтвердил Василий Афанасьевич. — Дашка Дорошина вчера в церковь забегала. Сам видел — перед Богом лукавит. На все мои вопросы только головой качает, мол, ничего не знаю.

— Отряд-то, сказывают, штыков в сто.

— Откуда? Я вчера в уме пересчитывал, так человек тридцать пять насчитал, — вставил лодочник Земцов, приподнимая от стола голову.

— Не говори пустое! — возразил пристав. — К ним из-за Урала пополнение пришло. Все красноармейцы!

— Того и гляди, гости-то с Севера быстрей явятся. Они, сказывают, все в медвежьих папахах.

— Значит, у Луки Саввича были, — покачал головой пристав. — Не знаю, как ему и в глаза смотреть.

— Главное помните: со вскрытием реки части регулярной армии тут будут. Сведения эти точные.

— Степку Голощапова тепленьким надо взять. Глаз не спускать. Человека найму. Он еще вспомнит про мои, про наши денежки, — поправился лодочник.

Васса на животе сползла по крашеным ступенькам. Надо было не мешкая бежать к Степану Голощапову, передать услышанное.

— Куда это ты собралась? — услышала она голос Акулины Федоровны, которая вдруг вышла из-за печки. Лицо ее было багровым, отвисшие щеки дрожали, а глаза метали искры. Своей злобы она не скрывала.

— К тетке Лупентихе сбегаю, сынка покажу, — пятясь от купчихи, отвечала Васса.

— Наследники нашлись! Извести его надо было в самом зародыше.

Васса никогда не видела такой ненависти у Акулины Федоровны. Было что-то жуткое, отвратительно хищное в ее взгляде и в изогнутых бровях. Вассе стало страшно, но не за себя, а за младенца, нареченного Пахомом, в память ее батюшки. Она стремглав побежала к печи, где лежал малыш и, посапывая, сосал тюрю.

— Вон отсюда, душегубка! — схватив ухват, во весь голос закричала Васса. Бросив его, схватила лежащее на полу березовое полено и замахнулась на хозяйку. — Мир не без добрых людей! На что мне ваши хоромы! Вот скоро воротится Никита, ответ перед ним держать будете.

— Будь он трижды проклят! Нет и не будет ему нашего благословения.

Васса с грохотом бросила на пол полено, торопливо завернула Пахомку в одеяльце, прикрыла полой шубейки и выбежала из купеческого дома.

— Она все слышала, на лестнице сидела, — дрожа от злобы, сказала купчиха Василию Афанасьевичу, спустившемуся на шум. — И убежала. Наверно, к Степану Голощапову. Не иначе, туда.

Глава пятьдесят шестая

В то раннее весеннее утро, когда партизанский отряд должен был зайти в Репнино, безногий дедушка Пимен Феоктистович Чуприн, а по прозвищу дедушка Пим, вел спор с внуком.

— Красная Армия разобьет Колчака в пух и прах, — говорил Сережка, которого старшие ребята не взяли с собой в лесную избушку.

— Может, и так. Только у Колчака, говорят, сила агромадная.

— Это все врут буржуи. Супротив Красной Армии никому не устоять.

— Дай-то Бог, — ответил Пим, ерзая на прошорканном клочке кошмы, — да есть англичане, американцы, французы, японцы. Они, говорят, все против советской власти. Все на нас. Японцев я, слава Богу, знаю, с ними воевал в русско-японской войне, там без ног-то остался.

— Всех Красная Армия перебьет, — не сдавался Сережка, только голос стал тише. — Она же нас защищает. Нашу рабоче-крестьянскую власть.

— Вот бы Бог помог! Бывало, и мы японцев в Маньчжурии бивали. Народ у них мелкий, можно было по два на один штык. Потому они нас со штыком близко не подпускали, и порядка в армии не было.

— Бога-то, дедушка, нету. Мы сами должны помочь советской власти да Красной Армии.

— Это ты откуда взял, что Бога нет? — замахнулся на внука дедушка. — Ты мне Бога не тронь! Кто это тебе сказал о Боге-то? Тоже, поди, в газетах пропечатывают?

— Там прочитал.
— Вранье. Слушай ты антихристов.
— Ты же слушаешь всякое вранье про большевиков.
Шум на улице прервал их разговор.
— Кого еще леший несет? — перекрестился дедушка Пим, припав лбом к холодному стеклу. — Ну-ка, Сергунька, гляди, — подозвал он внука. — Это вроде нашенские мужики. Этих-то надо бы хлебом-солью встретить. Где мать-то? Вона бери ковригу, сыпь на ее соль да беги к первой-то лошади. Беги, сынок. Мужики-то все испростыли в лесах да избушках. Беги. — А сам, ловко перебросив себя на порог, вытащил самодельные сани и выкатил за ворота.
— Нашенские. Вона сатаровского плотника Панкрата узнал. А тут будто рыбак с Лачи.
Сельские парни-подростки словно выросли из проулка. В руках несли два красных флага, а люди высыпали на обочину главной улицы. Скоро вылетели оленьи упряжки. Самбиндал, стоя на нарте, несся обочиной, за ним остальные.
— Одна, две, три... десять, одиннадцать, — считал дедушка Пим. Не удержался, спросил кого-то пробегавшего мимо: — С ними, что ли?
— Ага, — ответил мальчишка.
А подводы прямиком направились к вахонинскому дому. Там над крыльцом трепетал на ветру красный флаг.
Авдотья Сергеевна Вахонина, сидя возле окна, видела, что в резной кошеве сидели Ефим Дорошин с Антоном Шмигельским, а кто-то из партизан придерживал древко красного знамени, привязанного к облучку. Она тоже считала оленьи упряжки и от волнения не услышала, как вошла в горницу толстобрюхая рябая Мехоношиха.
— А Пашка-то Вихрь как по селу пролетел, вожжами над головой машет — свист стоит. И Мишка-то Горпунов тут как тут со своей печатью. Уже за столом сидит. Люмка-то, баба его, сказывала, как он раз печать-то потерял, так никому глаз сомкнуть не дал до самого утра. Все: и дед, и старуха, и все ребятишки по полу ползали, в кажной щелочке искали, а нашел-то где? Возле божницы. Люмка только и просила: черт, черт, поиграй да отдай. Нашли с первыми петухами. Петух прокукарекал, Мишка как вскинет глаза на божницу, а печать там и лежит. Вот ведь! — вздохнула Мехоношиха, приносившая в купеческий дом все сельские новости.
Авдотья Сергеевна не отвечала.

— Кабы сам Михаил Дмитрич отдал дом-то, теперeча какой почет был бы. — Мехоношиха знала, с каким трудом и неохотой он отдавал ключи Пашке Вихрю.

Еще она знала, что всю мебель: столы и стулья дворовые люди Вахониных заперли в амбары и что Пашка Вихрь приходил не раз — то за лампой, то за красной материей.

— А красную-то материю они, знаешь, на че извели? — спросила Мехоношиха и тут же ответила: — На стену натянули да по ней какие-то буквы написали.

— Не свое — не жалко, — ответила купчиха сквозь зубы.

— Поди, и эти тряпицы на палках трясутся из вашего ситца.

— Не из твоего же! — зло ответила Авдотья Сергеевна, и Мехоношиха поняла, что ей надо замолчать, повременить, пока хозяйка успокоится, а уж потом рассказать главную новость.

Полоумная Настена, торопливо разбивая молоточком грецкие орехи, часто ударяла по пальцам, дула на них.

— А ты не торопись, не торопись, — ласково говорила дочери Авдотья Сергеевна, всячески удерживая ее дома. Орехи она оставляла для пасхального пряника. Но ничем не могла остановить дочь, которая так заблажила, хоть уши затыкай.

На стене мерно раскачивался большой маятник, и уже третий раз под тихий мелодичный бой серенькая кукушка высовывала в распахнутую дверцу маленькую головку и подавала голос.

Купец Вахонин затаился в своей спальне, и Мехоношиха никак не могла найти случая спросить, не прихворнул ли хозяин.

— Я вечор у Петуховых была, — начала она издалека. Носила Лаврентию шепотку чаю на примочки. Он парит его да на глаза тепленьким кладет. Жалуется — к вечеру все туманится и перед глазами один мрак. — А у меня еще тот, твой-то, остался, я и принесла.

— У нас бы спросила. Я его не пью. От него в левой половине застучит, застучит, и в плечо отдает, и в бок. А ежли вечером выпью, так всю ночь с боку на бок ворочаюсь. И какие только думы не передумаю.

— Которые у вас-то были и у Земцова, сказывают, теперича в Зенкино остановились. Пулеметы по всем бокам наставили, винтовки наизготове. Энтих, которые с красными тряпками идут, поджидают. У них молоденькие-то парни-

солдатики, кто в медвежьих шапках и другие, убегли в лес. Мол, говорят, воевать с мужиками не будем, и все тут. Тайком ушли. А с главным-то кучка осталась, вот оне и выставили пулеметы. Че ждет их? — перекрестилась Мехоношиха.

— А пущай друг друга лупасят, — ответила Авдотья Сергеевна.

— Ты это пошто так говоришь? Жисть-то людям Бог дает, а отымать будет каждая гадина? Так, че ли, по-твоему? — У Мехоношихи затрясся толстый подбородок. По-твоему получается: пущай лупят друг друга?

— Разговорилась. Не от этих ли красных тряпиц сердце взыграло? — спросила Авдотья Сергеевна.

— Может, и от этого.

— Давай иди. Иди, — не желая разговаривать с Мехоношихой, отмахнулась Авдотья Сергеевна.

А Настена бежала уже по улице. Пробегая мимо дедушки Пима, остановилась и на ухо шепнула:

— Мехоношиха маме сказывала: в Зенкино-то солдаты кругом пушки наставили. Пулять в энтих будут.

— Погоди, девка, — раскачиваясь в санках, говорил безногий Пим. — Погоди. Еще скажи. У меня ноне уши плохо слышат.

— Тише, — сверкнув зелеными глазами, стала повторять Настена. — Ну, значит, парни-то эти, которые у нас ночевали, ну, которые мамку хлестали, — в лес убежали. А остальные в Зенкино со всех сторон пушки наставили. Вот те перекрещусь! — говорила Настена.

— Так ты про это вон тому расскажи. Вон, видишь, в бараньей шапке. Нашенский мужик, из Сатарово. Ефим Дорошин.

— Боязно. Еще отлупят. И мамки боязно. Она всегда говорит, что у меня язык как помело. Нет, боязно, — зыркала по сторонам Настена, улыбалась каждому, а когда Алешка Мальцев сграбастал ее в охапку, так, для баловства, она закатилась радостно-визгливым смехом, опрокинула голову, закатила под лоб глаза, да так и повисла на руках парня.

Пимен Феоктистович, упираясь ладонями о снег, катил свою тележку к кошеве с красным флагом. Легонько потянул Ефима за полу полушубка. Тот сразу признал деда, выскочил из кошевы и присел возле него на корточки.

— Раненый ты че ли? — заметив неловкость в движении и бледность на лице Ефима, спросил Пимен Феоктистович.

— Все заживет. Теперь вроде конец виден.

Тут Пимен Феоктистович подмигнул и откатился подальше от шумной толпы.

— Я ведь че услышал: архаровцы-то в Зенкино запрятались. Все пулеметы свои возле дороги выставили. Глядите в оба. Как бы...

У Ефима по спине пробежал озноб. И даже заливистый наигрыш трехрядки, смех и веселье вокруг казались далеким эхом. Он не задавал Пимену Феоктистовичу ни одного вопроса, а только пристально глядел на него воспаленными от усталости глазами и покачивал головой, понимая какими важными сведениями располагал старый человек. В порыве он обнял Пимена Феоктистовича, поцеловал в желтую дряблую щеку и зашагал в совет.

— Ступай, сынок, — глубоко глотнув воздух, с шумом выдавил из себя старик.

— Срочно собрать штаб! — распорядился Ефим. Через полчаса комната была полна народу. Вовсю палили самосад. Над потолком висело синее облако дыма. Кашель слышался со всех сторон. Узнав о предпринимаемых мерах туровцев, мужики призадумались. Дорога в Зенкино одна.

— А нет ли обходной? — поинтересовался Пуртов, раскладывая на столе карту. Разные там кружочки и черточки казались пустой затеей.

Прокопий подошел, посмотрел и изрек:

— Мы на ощупь все здесь знаем. Без ученостей. — Мужики захохотали.

— Вопрос поставлен по существу, — сказал Ефим, снимая полушубок. — Нет ли обходной дороги?

— Мы ведь разведку послали. Вот воротятся, тогда и решим, — с веселостью в голосе проговорил Панкрат.

— Вот разве спросить медвежатника Луку Саввича Подкарова? Тот каждую тропку знает, — вставил Антон Шмигельский. — Только вряд ли он согласится. Не очень-то он признает нашу власть.

— Просить его надо. Человек в летах. И просить его надо от имени советской власти, — взволнованно сказал Ефим.

— Можно и попросить. Не переломимся. Мы все думаем, если человек крепко ведет хозяйство, то он лютый враг. Ничего подобного, — добавил Михаил Горпунов, вспомнив, как вел себя медвежатник, когда в Репнино лютовали туровцы.

— Я, конечно, дорог здешних не знаю, — подошел к столу командир отряда красных орлов, — но думаю, мои бой-

цы смогут нанести удар именно с неожиданной для карателей стороны. — Тут он переглянулся с Ефимом и продолжил: — Надо обратиться за помощью к пастухам-оленеводам, они пока еще с нами, за эти дни мы попривыкли друг к другу. Без оленей ни о какой объездной дороге и говорить нельзя. Сами знаете, какой нынче снежище.

— Самбиндал, Аням Косачиный Глаз — парни что надо! — вставил Никита и, хлопнув по плечу Григория, который сидел с ним рядом, сказал: — Не кто-нибудь, а сын Васьки-шамана. Он упряжки гонял через Урал, привез красных орлов.

— Так едем к Поджарову? — решительно спросил Ефим. — Упряжки наготове, а если что решим другое, то всех пастухов надо отпускать в стада. Там отел начинается.

— Ясное дело — надо, — поддержал Антон Шмигельский, обеспокоенный задержкой посланных в разведку.

Лука Саввич согласился не сразу:

— До Зенкино кружным путем не меньше двух суток. Этих антихристов надо, как медведей в берлоге, обложить со всех сторон. Промашки с ними делать нельзя.

— А если на оленях?

— Олень — скотина быстроногая, — говорил Лука, стаскивая с русской печи шерстяные портянки. Он одевался долго, основательно, как будто пошел на охоту. Манефа Степановна все подносила ему по порядку, без слов, и он только кивал да поглядывал в ее сторону. Возле порога перекрестился, наказал: «Дом-то храни». И хотя он всегда говорил так, Манефа Степановна вздрогнула, благословляя его в дорогу.

Признав в Никите купеческого сына, Лука Саввич спросил:

— Неужто супротив отца пошел? Кровей-то купеческих, не в первом колене. И капитал у тебя. Неужто на все махнул рукой?

— Я тот капитал не наживал, — услышал в ответ Лука Саввич и покачал головой.

Езда по такому снегу, крепкому насту уморила оленей. Останавливаясь на короткий отдых, они жадно лизали снег, долбили копытами твердый наст, ощупывали языками головки ягеля. Пастухи похлопывали их по спинам и чувствовали, как легкая дрожь пробегает под толстой, ворсистой шкурой животных.

— Скоро, совсем скоро, — как бы извиняясь перед коренником, говорил юркий пастух, сгребая с бороды быка льдистые комочки.

Позади остались хмурые буреломы, болотные янги, крутоярые берега таежных речушек.

— Столько ходил и все ногами, ногами. Да столько ли? — оглядываясь назад, дивился про себя медвежатник. Он не желал думать о встрече с карателями, которые не то чтобы напугали его, а как-то совсем с другой стороны потревожили душу. Перевидав немало разного люду, он всегда находил оправдание людским порокам, а тут сколько ни мучил себя, не мог понять: как можно безбоязненно, бессовестно крушить то, что тебе никогда не принадлежало.

— Дымком потянуло. За увалом Зенкино будет, — сказал Лука Саввич Никите. — Тут я пешим пойду.

В Зенкино туровцы разместились основательно. Солдаты отдыхали в крестьянских избах, выгнав хозяев в дымные бани. Для офицеров был облюбован крепкий дом рыботорговца Новицкого, который он навещал раз в году, во время рыбной путины.

Приказчик, коренастый краснощекий мужик с курносым красным носом, слезно просил господ офицеров написать ему расписку, что отдал ключи от дома не самолично, а по требованию властей. Туров несколько раз выбрасывал его за шиворот, как котенка, но тот возвращался и требовал своего. И только когда дали команду кнутобойцам отхлестать его по всем правилам, чтобы неповадно было, он, сползая с лавки и натягивая портки, прошептал:

— Благодарствую. Все одно на душе полегчало. Это у меня заместо расписки перед хозяином.

Через узкий коридор дорожки вели в светлую горницу с тремя окнами на улицу, двумя — во двор, к амбарам. В середине горницы — большой стол под белой скатертью. Вокруг стола простенькие стулья, на подоконниках цветы в глиняных горшках. В углу, в бочке, разросшийся куст чайной розы. От солнечного света каждая ветка подалась в рост, выметала набухшие бутоны.

Туров с Киргизовым не то чтобы поссорились, а молча жили в каком-то напряжении. Говорить ни о чем не хотелось, каждый лелеял мечту — дать партизанам смертельный бой, и тогда подобру-поздорову унести ноги.

— Приковывать, что ли, к пулеметам? — сказал Туров с досадой после обхода боевых позиций. — Пулеметы стоят, а рядом никого нет — все в избах греются.

Киргизов ничего не ответил, сосредоточенно чистил револьвер.

Лука Саввич тихо вошел в село — не взлаяла ни одна собака. Возле крыльца дома рыботорговца стояли на посту одетые в полушубки солдаты с трехлинейками. В окнах светился тусклый свет и мелькали какие-то тени. Он прошел за угол.

— Чего расходился? — услышал зычный голос парня. Не дождавшись ответа, тот пулей влетел в дом. — Лука Саввич тут ходит. Медвежатник!

— Не обознался? — спросил Туров.

— Нет. Точно — он!

Но Лука Саввич смекнул, что его какой-то малец признал, спрятался за угол, подождал с минуту, а когда услышал крики возле крыльца, громко свистнул.

Никита на оленьих упряжках ждал этого свиста. С шумом и гиканьем ворвались в Зенкино упряжки со стороны заснеженного урмана. Поднялась пальба, застрочили пулеметы, охранявшие дорогу.

В маленьком селе с полутора десятком крестьянских изб начался переполох: стрельба, крики, собачий лай, треск пулеметов.

Партизанский отряд Антона Шмигельского подоспел ко времени и вел смертельный бой, а Ефим, подбадривая мужиков, полз по снегу, стараясь обезвредить пулеметные гнезда.

Пулеметы трещали зловеще. Изрешетили каждый метр проходившей мимо села дороги. Пули летели в кусты, в стволы деревьев, в снег. Один пулемет был установлен на крыше бани, он строчил наугад, не видя цели.

— Обошли, обошли! С болотной стороны налетели! — кричал кто-то из бежавших.

Олени, вспуганные выстрелами, носились между избами, рвали упряжь. Коренник из упряжки Аняма Косачиный Глаз упал и захрапел. Долго не раздумывая, вогул одним махом перерезал ременную упряжь, оставив на снегу околевшего оленя, помчался вдогонку и заколол хореем с боевым наконечником выскочившего из-за копешки сена молодчика в медвежьей папахе.

— Сюда! Здесь главари! — кричал Никите Лука Саввич. Зверя-то с головы глушат. Туто они, в большой горнице, притаились, я сам их видел. Самбиндал ни на шаг не отставал от Никиты.

Ребята из отряда красных орлов вбегали в дом рыботорговца.

— Там притаились, — махнул рукой Лука Саввич, с горечью думая над тем, какой разор несут крестьянину все эти передряги.

— Сдавайтесь! Все равно вами все проиграно! — Туров закрыл уши ладонями, зажмурил глаза. Он узнал голос Никиты. И вдруг раздался истерический хохот. Это был Киргизов. Он сопровождался пулеметной и ружейной стрельбой.

— Да опомнитесь вы, нашли время! — дергал за локоть подпоручика Князев.

— Дай насладиться, черт возьми! А то получу пулю в лоб и не успею выплеснуть душу! Я хочу драться, черт возьми. Неужели вы меня не понимаете? — орал он и снова захлебывался смехом.

Туров, выбив стекло, выставил дуло пулемета и строчил изо всех сил, стараясь бесперебойной пальбой заглушить смех Киргизова. Он еле стоял на ногах.

— Сдавайтесь! Сопротивление бессмысленно, — крикнул Пуртов.

В комнате творилось невообразимое: пальба заглушала человеческие голоса. Выстрелы в беспорядке летели по деревне.

— Сдавайте оружие! — кричал Пуртов, дав команду со всех сторон окружать дом. — Жизнь гарантируем. Сдавайте оружие!

И только тогда, когда кто-то из красноармейцев, подобравшись к окну, бросил в комнату гранату, все враз стихло, сквозь дым и пыль обозначились на полу фигуры. С минуту никто не шевелился.

— Кто живой, сдавайтесь! — кричал подбежавший на взрыв Ефим. Трое бросили к порогу револьверы. Один не поднимался с пола. Это был Князев. Он угодил лицом в разорвавшуюся кадушку с землей и лежал возле срезанного чьей-то пулей бутона чайной розы.

— Ножик! Ножик давай! — влетев в избу и узнав Турова, кричал Самбиндал.

Вид Турова был жалок: волосы всклочены, лицо в копоти и крови. Стоял понуро, скрежетал зубами. Самбиндал стал шарить в карманах поручика, и тот, не раздумывая, брезгливо плюнул Самбиндалу в лицо.

А Киргизов приоткрыл глаза только вроде для того, чтобы увидеть это, и опять разразился смехом.

— Ножик! — требовал Самбиндал.

— За голенищем! — крикнул Туров.

Он увидел, как ефрейтор Соснин, оставляя после себя кровавый след, полз по полу. Перебитая окровавленная рука безжизненно, как полешко, волочилась по чистым половикам.

— Все оружие сдать! — послышался голос Антона Шмигельского. — Убитых и раненых на подводы. Безоружных пленных гнать пешим!

— Этих перестрелять! — закричали партизаны, выталкивая из дома рыботорговца офицеров. — Этих к расстрелу.

Никто не заметил, как взошло солнце, как, пурхаясь в сенной трухе возле копешки, чирикали воробьи, в конюшнях мычали коровы, просились на волю, но перепуганные хозяйки боялись открывать двери, не пускали к окнам малышей, да и сами глядели украдкой, молили Бога отвести от их дома беду стороной.

— Тут все оружие по полному списку, — докладывал Савелий Тиунов: — Шесть пулеметов, сто пятьдесят русских трехлинейных винтовок, две тысячи патронов, гранаты и личное оружие офицеров.

Взглянув на загруженные оружием подводы, Антон присел на облучок кошевы:

— А мы с дробовиками, — шепотом говорил он Ефиму, глотая воздух. — Куда лезли? Да они нас могли бы так перещелкать! Да чего нас? Все село, на каждого хватило бы!

Ефим тоже не ожидал такого. Он даже на фронте не видел такой оснащенности армии.

Со всех сторон неслось: «К расстрелу их! К расстрелу!»

— Арестованных офицеров следует доставить в Тобольск. Самоуправство будет наказано по закону военного времени, — приподнимаясь в санях, сказал командир красных орлов Пуртов и увидел, как Самбиндал один за другим наносит удары по лицу Турова.

— Ай да вогул! Поддай ему еще, чтобы крепче помнил вашу северную сторону.

— Как они-то нас тиранили! — кричал Липатий. — Хлещите их ребята, а то и правда, заставят с них пылинки стряхивать. Вот кому, мужики сказывали, надо рожу-то мылить. Вот кому! — подходя к Киргизову и поплевав на ладони, хлестал он подпоручика по лицу. — Может, припоминаешь меня? Может, деревню Кедрушку вспомнишь? Вражйна ты несчастная. Руки-то им свяжите, свяжите ребята. Убегнуть не смогут и так ясно, но пущай стреноженными идут. Да

тащите какие-нибудь веревки! Айда, поворачивайся! — толкнул Киргизова в спину.

Проходя мимо, Лука Саввич приостановился, покачал головой, сморщился, жалея поручика. — Домой подамся. На Черноярке тишь, а тут какие страсти.

— Благодарствуем за помощь, Лука Саввич, — пожимая руку медвежатника, сказал Ефим, распорядившись отвезти Поджарова на лошадях до самых ворот его дома.

— Стоит ли принимать благодарность? Сам не пойму, туда ли полез со своей старой башкой. — И прихрамывая, пошел к подводе.

... На десятый день подходили к Сатарово. Лошади шли устало. Дорога ухнула в глубокие, залитые водой колеи.

«Ну, лошадушки, скоро свои конюшни увидите, своих хозяев узнаете. Без вас они надсадились. Куда в крестьянской жизни без вас?» — пробираясь от подводы к подводе, приговаривал Панкрат.

Над землей поднимался рассвет. Малиновым шарфом затянуло окоем, казалось, что он плывет и качается, подхваченный легкими облаками. Вдали по берегу маячили темные точки.

— Олени! — в испуге крикнула Акулина Федоровна, упершись в плечо Василия Афанасьевича.

— Какие еще олени? В такую пору? — сопел купец, доставая из кармана футляр с очками.

— Это зачем они? — попятился от окна Василий Афанасьевич, и тут же мелькнула мысль: «Не Васька ли шаман надумал пригласить его в гости?»

— С красными флагами едут! Это ведь наши мужики едут. Домой возвращаются. Ефим Дорошин вроде!

— Купцы-то нынче не ездили в тундру, вот вогулы-то, поди, и явились за хлебом. Голод-то не тетка, — обрадованный собственной догадкой, повеселел купец.

— За каким хлебом? — во весь голос заголосила Акулина Федоровна. — Мужики с красным флагом. Олени уже промчались мимо нас. Глянь-ка. Вона и наши лошадушки, погляди, узнаешь.

Василий Афанасьевич разом стих, откинулся на спинку стула.

На улице творилось не поймешь что. В распахнутую форточку летели разные голоса, смешивались с собачьим лаем, плачем и хохотом.

— Дубасьте их, бабы! Дубасьте! — кричали со всех сторон.

Плач Марюхи, вдовы Арси Попова, протяжный и сиротливый, несся у самых окон купеческого дома. В нем было столько боли, страдания, что невозможно было слышать его без содрогания.

Василий Афанасьевич молчал, все сидел на том же месте, как без памяти.

— Так их! Так их! — кричал Маит, забегая то с одной стороны дороги, то с другой, чтобы посмотреть на офицеров и солдат в медвежьих папахах.

— Туров-то, Туров на кого похож? Разбойники! Душегубы! Утопить их всех разом в Оби и только! Прямо башкой в холодную полынью и делу конец!

Киргизов ни о чем не мог думать, кроме одного: «Пулю бы в лоб или одну пулеметную очередь выпустить! Да. Одну. На всю эту толпу. Без разбору!»

В дверях купеческого дома стоял Никита. Он молча глядел на мать, и та, пристально смотря на него своими большими глазами, не могла проронить ни слова.

— Никитушка! — шепнула вдруг онемевшими губами.

Василий Афанасьевич чуть заметно вздрогнул, сощурил глаза и по щеке его поползла тяжелая слеза. Он был бледный, с выступившими на лбу капельками пота.

— Отец, — тихо, сдержанно прошептал возле самого уха купца.

— Неужто помираю? — сказал с легкой, еле заметной улыбкой купец. — Слышу тебя, Никитушка. Слава Богу, слышу. Устал я. Покоя хочу.

— Кормилец ты мой! Не вовремя говоришь такое. Не вовремя. Никита-то поумнее нас оказался. Молодые-то всегда зорче глядят.

— Воды принесите да форточку распахните! — крикнул Никита, не отпуская тяжелеющую руку отца.

— Сынок у тебя родился, сынок, совсем маленький, — тихо проговорил купец, приоткрыв глаза, хотел было улыбнуться, но уже не смог и закрыл глаза. Сердце Никиты стучало и замирало. Рука Василия Афанасьевича безвольно повисла.

— Река тронулась! Река! — послышался звонкий, ликующий голос Вассы. — Степан Петрович сказывает: завтра пароход «Грозный» сюда подойдет. Река тронулась!

Увидев в комнате Никиту, замерла. Все это время Васса бегала по селу в надежде хоть издали увидеть Никиту, но его

нигде не было. Она не разбирала дороги, не глядела на лужи, не слышала крики людей. — Река тронулась! — Она кричала с такой силой, чтобы заглушить в себе крик отчаяния. В голове была только одна мысль о Никите. И Никита протягивал ей свою руку.

— Пароход скоро придет, — лепетала она, понимая, что все говорит не то. Но нужных слов не находилось. И вдруг, спохватившись, обняла его за шею. Она плакала.

От реки тянуло холодной влагой бушующих волн. Гулко ухали о берег тяжелые льдины. Стая перелетных птиц летела на Север, неся на своих крыльях весну.

Содержание

Глава первая
4
Глава вторая
15
Глава третья
28
Глава четвертая
39
Глава пятая
44
Глава шестая
47
Глава седьмая
63
Глава восьмая
73
Глава девятая
76
Глава десятая
83
Глава одиннадцатая
93
Глава двенадцатая
97
Глава тринадцатая
109
Глава четырнадцатая
118
Глава пятнадцатая
126
Глава шестнадцатая
138
Глава семнадцатая
149
Глава восемнадцатая
156
Глава девятнадцатая
166
Глава двадцатая
174
Глава двадцать первая
182
Глава двадцать вторая
187
Глава двадцать третья
197
Глава двадцать четвертая
204
Глава двадцать пятая
208
Глава двадцать шестая
213
Глава двадцать седьмая
222
Глава двадцать восьмая
226
Глава двадцать девятая
235
Глава тридцатая
242
Глава тридцать первая
251
Глава тридцать вторая
255
Глава тридцать третья
264
Глава тридцать четвертая
272
Глава тридцать пятая
277
Глава тридцать шестая
283
Глава тридцать седьмая
288
Глава тридцать восьмая
292
Глава тридцать девятая
300
Глава сороковая
307
Глава сорок первая
320
Глава сорок вторая
332
Глава сорок третья
343
Глава сорок четвертая
348
Глава сорок пятая
355
Глава сорок шестая
361
Глава сорок седьмая
367
Глава сорок восьмая
374
Глава сорок девятая
377
Глава пятидесятая
384
Глава пятьдесят первая
386
Глава пятьдесят вторая
393
Глава пятьдесят третья
398
Глава пятьдесят четвертая
403
Глава пятьдесят пятая
408
Глава пятьдесят шестая
418

Анисимкова М.К.

А 67 Наледь: Исторический роман. — Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во. Новое время, 2000. — 432 с.: ил.

ISBN 5–93714–001–X

В пер.: 5000 экз.

Новый исторический роман М.К. Анисимковой, члена Союза писателей России, повествует о событиях далеких революционных лет, происходивших на Севере Западной Сибири.

ББК 84Р7

Издается по заказу комитета
по средствам массовой информации и полиграфии
администрации Ханты-Мансийского автономного округа.

Анисимкова Маргарита Кузьминична
НАЛЕДЬ

Редактор М.Э. Чупрякова
Художник К.Ю. Комардин
Компьютерная верстка и предпечатная подготовка
А.Ф. Агзамов
Корректор Г.И. Гломоздова

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 066595,
выдана 19.05.99 г.

Сдано в набор 12.12.1999. Подписано в печать 18.01.2000.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 24,4. Тираж 5000.
Заказ № 33.

ООО «Средне-Уральское книжное издательство. Новое время»
620142, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 67.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Маргарита Кузьминична Анисимкова,
член Союза писателей России,
живет и работает в г. Нижневартовске
Тюменской области.
Автор книг «Мансийские сказы»,
«Земное тепло», «Лицом к ветрам», «Ваули»,
«Порушенная невеста», «Плач гагары».

Маргарита Анисимкова
НАЛЕДЬ